

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкарров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят восьмой год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan;
P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff;
I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 299, июнь 2020

© 2020 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Игорь Гельбах</i> – Опоздавшие. Роман	5
<i>Игорь Джерри Курас</i> – Ворота в никуда. Стихи	81
<i>Марина Эскина</i> – Не о любви. Стихи	86
<i>Геннадий Кацов</i> – Смена часовых. Стихи	91
<i>Дмитрий Игнатов</i> – Два рассказа	97
<i>Екатерина Преображенская</i> – Стихи	130
<i>Константин Шакарян</i> – Стихи	133
<i>Борис Фабрикант</i> – Стихи	138
<i>Елена Литинская</i> – Понять нельзя простить. Bildungsroman	143
<i>Андрей Бауман</i> – Стихи	209
<i>Игорь Метельский</i> – Стихи	214
<i>Дария Брылевская</i> – Стихи	218
<i>Григорий Марк</i> – Стихи	220

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Марк Уральский</i> – Яснополянские летописи раввина	225
<i>Джозеф Краускопф</i> – Яснополянские летописи (Публ. – <i>М. Уральский</i>)	232
<i>Е. Дубровина</i> – Неопубликованные письма Юрия Мандельштама ...	266
<i>Юрий Мандельштам</i> – Обращение к читателю. Письма (Публ. – <i>Елена Дубровина, Мари Стравинская</i>)	274

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

<i>Елена Кулен</i> – Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей. 1945–1950 годы	290
<i>Сергей Шиндин</i> – Мария Моравская. Из «теневого окружения» О. Э. Мандельштама	335

ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

<i>Павел Глушаков</i> – Вокруг одного письма Василия Шукшина	361
<i>В. М. Шукиин</i> – Письмо к В. П. Некрасову (Публ. – <i>П. Глушаков</i>)	365

БИБЛИОГРАФИЯ

Виктор Леонидов – Солженицынские тетради: Материалы и иссле-

дования. Вып. 7; *Барри П. Шерр* – Марк Уральский. Горький и евреи, Марк Уральский. Бунин и евреи. По дневникам, переписке и воспоминаниям современников; *Ирина Муравьева* – Григорий Марк. Четыре времени ветра. Сборник поэзии; *Марина Тёмкина* – Лиля Газизова. О летчиках Первой мировой и неконтролируемой нежности. Сборник поэзии; *Марина Гарбер* – Марина Тёмкина. Ненаглядные пособия. Сборник поэзии 366

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Ю. А. Сандулова. 1953–2020 389

ОБ АВТОРАХ 390

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Игорь Гельбах

Опоздавшие

На вершок бы мне синего моря,
на игольное только ушко!

О. Мандельштам

Часть первая

ГЛАВА 1

Салон самолета, летевшего из Кракова в Ригу, был полупустой, и полет прошел в тишине. В том же ряду, что и я, через проход у противоположного иллюминатора расположились два католических священника, чистые, аккуратные и ухоженные. Они беззвучно беседовали, изредка отпивая глоток-другой минеральной воды, предложенной стюардессой. Мы приземлились, почти не ощутив момент встречи с землей, и священники вежливо зааплодировали. Вскоре самолет остановился, и через минуту нас пригласили на выход. Снаружи было тепло и немного душно, а от летного поля доносилась смесь запахов бетона и скошенной травы. Затем открытый транспортный автобус повез нас к зданию аэровокзала, где светловолосый мужчина лет тридцати в новенькой офицерской форме открыл мой синий израильский паспорт, *даркон*, глянул на меня и поставил на чистой странице штамп о въезде. Я прошел мимо портретов официальных лиц и латвийского флага с двумя карминовыми и одной белой полосой между ними, получил багаж, миновал таможенников и попал в полупустой зал аэропорта, где меня ожидал Эрик.

— Эрик, — позвал я его.

— Саха! — воскликнул он и, отойдя от стойки справочного бюро, направился в мою сторону. Привычку называть друг друга по имени мы сохранили со школьных времен.

Мы направились на стоянку. Там я положил чемодан и пакет с польской водкой «Ян Собеский» в багажник его «Мерседеса». Эрик уселся за руль, и через несколько секунд мы уже ехали в сторону Юрмалы.

– Поедем в объезд, – сказал он, – ехать всего минут на двадцать дольше, но дорога спокойнее, можно будет поговорить... Я приехал из Берлина два дня назад, переночевал в Варшаве. Ну а на следующий день остановился перекусить в Каунасе. Чудный городок, помнишь?

Тогда нам было лет по пятнадцать. Ездили мы в Каунас из Риги вместе с моими родителями, весной, когда свежeweымытый и чистый город на холмах весь нежился и сиял в лучах весеннего солнца.

За те два года, что я не видел Эрика, он почти не изменился; взгляд его карих, с темным ободком, глаз, которым он меня окинул, был всё тот же – внимательный и цепкий. Его сходство с отцом только усилилось.

В свое время, еще в Риге, он закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Превратившись в известного специалиста в достаточно специфической области знания, он по-прежнему интересовался множеством вопросов, никак с этой областью не связанных. Так, во всяком случае, мне казалось.

Когда-то он был отличным игроком в теннис и, насколько я знал, продолжал регулярно выходить на корты и теперь. Но одно дело выходить на корты в тенистом рижском парке, где рос вяз, посаженный еще Петром Первым, а другое – играть на открытых кортах университета в Тель-Авиве, куда Эрик Кромас эмигрировал из Латвии в начале восьмидесятых, практически одновременно со мной. После переезда в Тель-Авив он работал в одном из колледжей университета и вел исследовательскую работу. Время от времени Эрик выезжал на научные конференции в Европе и уже после падения Берлинской стены получил приглашение на работу в университет на Унтер-ден-Линден, там он преподавал и участвовал в работе над проектом, связанным с деятельностью Европейского космического агентства. Что касается открытых теннисных кортов, то сезон в Берлине начинался с 1 апреля, зависел от погоды и заканчивался в начале октября.

По словам Эрика, жизнь в Берлине пришлась ему по душе еще и оттого, что там его не изматывали характерные для Тель-Авива хамсины, к которым я всё еще пытался привыкнуть в ту пору. Хамсин – это сухой воздух, жаркий пустынный ветер, несущий песок и пыль, это серое небо и отсутствие линии горизонта над морем. И так – пятьдесят дней в году, распределенных между тремя временами года, – зимой, осенью и весной. Особенно неприятны весенние хамсины, изгоняющие призрачное и почти эфемерное ощущение весны, насладиться которой в полной мере можно, только выехав из города в Галилею, где тебя поражают цвета: желтые лилии и красные маки, лиловые, белые и синие анемоны, цикламены, нарциссы и цветущий миндаль.

Выезжали мы и на юг, в Негев, где все анемоны – красные, а барвинки – лиловые... Цветение их, однако, продолжается недолго, и через несколько недель пустыня Негев возвращается к своему изначальному состоянию, с орлами, парящими над редкими водопадами и руслами пересыхающих рек.

Раздражало Эрика и присутствие медуз, всегда покидавших прибрежные воды на девятое ава, в день гибели иерусалимского храма. Для наших прибрежных средиземноморских вод и теперь, и в те годы характерны были два типа опасных медуз: бледно-лиловые в крапинку Пелагии-ночесветки (*Pelagianoctiluca*) и белые или голубоватые Ропилемы-номадика (*Rhopilemanomadica*), достигавшие полуметра в диаметре. И «ночесветки», и «номадки» светились в темноте, что было необычно для глаз уроженца Балтики, а Эрик любил прийти на пляж летней ночью и посидеть на песке, обдумывая нерешенное днем. Светящиеся медузы беспокоили его. Более того, он знал, что соприкосновение с медузами может вызвать чрезвычайно болезненные ожоги и даже потерю зрения, и оттого не рисковал входить в воду, пока медузы не исчезали. «Пусть отсохнет десница моя и язык мой прилипнет к гортани...», – приводил он слова из псалма Давидова, утверждая, что потеря зрения, ослепление и выжигание глаз естественно встраиваются в ряд, принадлежащий всё той же истории, той единственной, что у нас есть.

И даже то, что 9 ава каждый год приходился на иной день по привычному для нас григорианскому календарю бесконечного жаркого лета, причем амплитуда колебаний порой достигала нескольких недель, как и тот факт, что природа подчиняется лунному, а не солнечному календарю, – факт, который нельзя было не признавать, – слегка раздражал его, ибо он противоречил требованиям «чистого», «геометрического» разума, этой основы всех великих цивилизаций, начиная ну хотя бы с египетской, – утверждал Эрик, признавая, что выбрал египетскую цивилизацию с тем, чтобы не выходить за пределы ближневосточного региона.

То обстоятельство, что потомки Иакова покинули Египет с его пирамидами, не смогло изменить их отношения к геометрии, утверждал он, достаточно взглянуть на так называемую «звезду Давида», этот идентификационный знак и символ веры последователей Моисея. Именно так – «последователем Моисея» – назвал себя в начале XX века Эйнштейн, отвечая на вопрос анкеты Пражского университета, где ему предстояло работать. В Австро-Венгрии того времени было предпочтительней принадлежать к любой из известных религий, нежели объявить себя агностиком или атеистом. Что касалось Эрика, то я не замечал каких-либо признаков религиозности в его

поведении, но строгость и четкость построения звезды, составленной из контуров двух треугольников, ее ненарушаемость и симметрия увлекали его. Более того, Эрик полагал, что сама так называемая «звезда Давида» есть не что иное, как символическое обозначение звезды, указывающее лишь на неизменный, многотысячелетний интерес человечества к ночному небу... Спорить с Эриком на подобные, столь удаленные от обыденности, темы казалось мне довольно бессмысленным занятием, ведь обстоятельства его жизни сложились именно так, что в Берлине он занимался выяснением наличия ручек, горловин или иных экзотических ответвлений и связей у пространства, в котором существует наша Вселенная. Согласно самому Эрику, он участвовал в возведении этой пирамиды научного знания в качестве геометра-тополога, чьим далеким предшественником был не кто иной, как античный землемер, измерявший площади земельных участков на поверхности Геи-Земли.

Что же до медуз, достигавших невероятных размеров и больно жаливших зазевавшихся в прибрежных водах купальщиков, – прозрачно-хрустальных, колоколо- или грибообразных медуз с плавно колеблющимися в воде щупальцами, – то он относил их генезис к явлениям, описываемым уравнениями того же типа, что и образование «атомного гриба» в атмосфере, звездных туманностей в глубинах космоса и таинственных шаровых молний с их квазиразумным поведением, – чему, как это хорошо известно и неоднократно засвидетельствовано в научной литературе, было немало свидетелей...

Медузы, мигрирующие по мировому океану согласно лунному календарю, каким-то косвенным, но ощутимым для него образом подрывали основы геометрической картины мира, построенного из сфер, эллипсоидов, тороидов и многогранников, намекая на то, что указанные геометрические фигуры не исчерпывают всего богатства и разнообразия присутствующих в мире форм. Эрик, естественно, не отрицал существование точек или зон ветвления решений, или даже само существование переходных, таинственных, как андрогины, и, по-видимому, неизбежных форм, но, в сущности, всё это интересовало его крайне мало и лишь по необходимости...

К тому же мы жили в молодом городе, южной частью которого оказался стоящий на прибрежных холмах четырехтысячелетний Яффо, куда уже более полутора тысячелетий назад приплывали направлявшиеся в Иерусалим христианские паломники, воззрения Эрика на которых я бы определил как идеологически нейтральные.

– Я не исключаю того, что сезонную миграцию медуз и паломничество можно описать с помощью сходных уравнений, – как-то раз предположил он, – во всяком случае, и миграция медуз, и прибытие

паломников должны быть как-то связаны с наличием жизни на холмах. Ведь люди вовсе не случайно живут в тех или иных местах, — пояснил он.

Однажды он сообщил мне, что прекрасно осведомлен о существовании пираний в реках и водоемах Южной Америки, но не испытывает никакого интереса к проблемам экологии этого региона... Равным же образом, я полагаю, его, в сущности, не очень интересовал ближневосточный регион с его проблемами, хотя он, как и я, иногда призывался на сборы и даже участвовал в разработке каких-то оборонных программ, тесно связанных с определенными свойствами мира геометрических фигур, среди знатоков которого имя Эрика пользовалось определенной известностью. Увлечение его геометрией началось в юности, когда Эрик познакомился с основами теории относительности в ходе лекций, прочитанных в планетарии одним из сотрудников рижского университета.

Когда же обстоятельства сложились так, что он собрался переехать из Тель-Авива в Берлин, а это было уже году в 91-м, вскоре после падения Стены, я спросил у него, как он рассматривает свой уже решенный переезд в связи с Холокостом, нацизмом и всем тем, что происходило в Германии совсем недавно.

— Понимаешь, Саша, — сказал он, — давай посмотрим на это так... Во-первых, с тех пор прошло почти полвека... Уверен, что большинство этих мерзавцев давно умерло. Хотя случается, что они доживают до девяноста и более лет. Но... мне предложили поработать в известном европейском университете и принять участие в весьма интересном проекте. Отличный оклад и возможность пожить в центре Европы. Поездить... И, наконец, я не переезжаю туда навсегда, мой сын остается здесь.

— Всё это я понимаю. Но ведь тебе придется жить среди них, — продолжал я.

— Да, — признал Эрик, — это, наверное, непросто... Но опять же, я еду туда на время... Ну а что касается общения, то в Берлине живет довольно большое число рижан. Есть и ряд наших с тобой знакомых. Кстати, мне говорили, что Рихард Дубровский переехал туда незадолго до падения Стены, помнишь его?

Естественно, я помнил имя этого известного в наши рижские времена актера и драматурга и в ходе последовавшего разговора вспомнил и некоторые его роли, да и его самого, но в тот день сообщение о том, что Рихард Дубровский покинул Ригу — город, естественной частью которого он мне в свое время казался, не слишком меня удивило... В те времена самые разные люди разъезжались и даже разбегались в самые разные края, кто куда, — в Южную Африку,

на Юго-Восток и даже в Австралию и Новую Зеландию... Я уж не говорю об известных местах Европы или Северной Америки... Уезжали из России, из Латвии – со всего пространства бывшего Союза. Речь шла о сдвигах тектонического масштаба...

Примерно за неделю до отъезда Эрика в Берлин я собрался в Иерусалим: там, на кампусе университета, у меня была назначена встреча с одним специалистом по математической лингвистике из Петербурга, и Эрик, встречавший этого человека на одной из конференций в Европе примерно за год до прибытия того на историческую родину, согласился составить мне компанию, так что очередной наш разговор на всё те же, связанные с его отъездом, темы начался в автобусе в Иерусалим и продолжался в такси, доставившем нас от автостанции к строениям университета на горе Скопус.

– Все изменилось, даже в России, – сказал Эрик. – Ты когда-нибудь мог представить себе нечто подобное?

Вскоре после окончания встречи с питерским лингвистом, в небольшом лекционном зале, куда мы заглянули в поисках коллеги Эрика, он указал мне на пожилого с седой бородой мужчину со слегка вздернутыми вверх, к переносице, густыми черными бровями. Я запомнил его скользнувший по аудитории взгляд. Мужчина был в черном одеянии, на голове – черная шляпа, темные глаза глядели спокойно и несколько отстраненно.

– Это Элиягу Рипс, – сообщил мне Эрик.

Человек в черной шляпе жил в Иерусалиме уже более двадцати лет. Выпускник математического отделения Еврейского университета, Элиягу Рипс стал профессором Эрика. Со временем он превратился в глубоко религиозного человека. А в далеком прошлом, в апреле 1969 года, студент Рижского университета Илья Рипс попытался совершить самосожжение на площади у памятника Свободы в Риге, после чего по приговору суда провел два года в психиатрической больнице...

К началу в автобусе разговору мы возвращались не единожды, и всё, к чему свелись наши рассуждения, оказалось возможным суммировать просто и достаточно коротко: «Что делает время, не делает разум». Признаю, что суждение это в моем переводе с иврита звучит несколько коряво. Утверждает же оно, что возможности познания ограничены и связаны с присущими и нашему миру, и его развитию элементами непредсказуемости...

– Тут, собственно говоря, существуют две основные стратегии, – заметил как-то раз Эрик, – или ты стараешься вернуться туда, где ты и

твои предки жили и откуда вы были изгнаны; возвращаешься и снова борешься, чтобы завоевать себе место под солнцем, – или же ты уходишь, уходишь в другую страну и начинаешь жизнь на новой земле так, как это произошло с поселенцами в Америках, в Австралии и здесь, в Израиле. Но здесь это «старо-новая земля», как говорил еще Теодор Герцль, т. е. случай дополнительного ветвления... Altneuland, – привел он оригинальный термин Герцля, – в случае же частной биографии, – продолжал он, – такой, как моя собственная, возвращению всегда присущи кое-какие персональные особенности или стороны... Ну а с точки зрения математики для такого понятия, как «старо-новое», можно, пожалуй, найти какие-то аналоги в топологии, если взять, к примеру, ленту Мёбиуса...

«Всё, как всегда, – подумал я, – у Эрика продумано до мелочей...» К тому же Берлин напоминал ему Ригу, об этом он говорил в мой первый приезд в бывшую столицу рейха, когда в солнечный выходной день решил показать мне виллу на берегу озера Ванзее, где в начале 30-х проводил летнее время Эйнштейн.

– Представь себе, он был против того, чтобы к нему на дачу провели телефонную линию, и в случае, когда с профессором было необходимо связаться, коллеги и знакомые Эйнштейна звонили его соседу на другой стороне озера, а тот, получив сообщение, записывал его и поднимал специально выделенный для этой цели вымпел на флагштоке. В ответ на флагштоке у дачи Эйнштейна возникал вымпел профессора, означавший, что сообщение получено и герр профессор отправляется на своей яхте на другую сторону озера для получения записанного послания. Я, правда, думаю, что всё это было придумано для того, чтобы дать профессору возможность сбегать от жены, ибо иногда он исчезал вместе с яхтой... Обычно это случалось после телефонного звонка. А потом он, как ни в чем не бывало, возвращался домой на той же яхте, объясняя свое отсутствие тем, что ему необходимо было обдумать какой-то вопрос, и он нуждался в одиночестве. Эльза ревновала его ко всем жившим у озера дамам – ведь ей рассказывали, у чьих именно причалов видели прищвартованную яхту профессора, но ничего поделать она не могла, ей пришлось мириться.

Из этого рассказа видно, я думаю, что с годами Эрик не растерял ни чувства юмора, ни интереса к авантюрам.

Вскоре после признания новой Россией независимости Латвии Эрик прилетел в Ригу и поздней осенью 1991 года купил дачу на Взморье, объяснив это тем, что мечта или просто мысль о покупке дачи впервые пришла ему в голову давным-давно – в те годы, когда

его родители каждое лето снимали дачу на три месяца – с тем, чтобы вывезти Эрика и его брата на лето из Риги.

– И вот теперь, когда у меня есть такая возможность, – пояснил он, – я подумал: а почему бы мне это не сделать? Теперь я смогу проводить лето на Взморье, – так что прилечай, я буду рад. Жить будешь у меня на даче... И, кстати, здесь, в Дубултах, я встретил Илону, – добавил он, завершая наш телефонный разговор, – помнишь ее?

– Илону? – переспросил я.

– Ну да, Илону Алунан, – прозвучало в трубке.

– Как она? Как выглядит? – спросил я.

– Ну, – ответил Эрик, – если тебя это действительно интересует, то Илона выглядит просто прекрасно... Кстати, ты ведь интересовался судьбой Рихарда, не так ли? – добавил он, стараясь, как обычно, не упустить важные детали возникающей перед ним картины.

Тут, наверное, мне следует кое-что пояснить...

В свое время Рихард Дубровский был мужем Илоны, вернувшейся вскоре после развода с ним в Москву, где она прожила часть своих школьных лет и все студенческие годы. Что же до недавно исчезнувшего Рихарда, то его судьба занимала меня, и я искал контактов с людьми, так или иначе знакомыми с обстоятельствами его отъезда из Латвии в Берлин, а затем – в Южную Америку, откуда от него уже года два не поступало никаких известий...

Направившись в Латинскую Америку в поисках своих родителей, он первоначально посетил Мексику, а затем побывал в Гватемале, Аргентине и на Огненной Земле, откуда вернулся в Мексику. Затем он, по некоторым сведениям, больше напоминавшим слухи, отправился как будто на Кубу. Но никаких четких подтверждений этого ни у меня, ни у кого-либо другого не было... Впрочем, в те времена подобные исчезновения не были редкостью; отсутствие надежной связи между удаленными друг от друга регионами оказывалось главной причиной долгих и томительных ожиданий...

Уже после того как разговор закончился, и я повесил трубку, мне пришло в голову, что, возможно, Эрику было приятно повторять ее имя, ибо в самом звучании «Илона Алунан» всегда было и есть что-то волнистое, округлое, напоминающее о цифре восемь или о ленте Мёбиуса. Этим, созданным воображением немецкого математика, геометрическим идеальным объектом и его свойствами Эрик заинтересовался еще в школьные годы... Звучание шести гласных и двух согласных ее имени, причем в окончании своем возвращающемся к своему же началу, напоминает о колокольчике или ручье, окатывающем камни-голыши...

Иногда мне казалось, что одной из причин нашего с Эриком взаимного интереса было то, что с течением времени различия в нашем поведении, воззрениях и привычках никуда не исчезли, скорее наоборот, различия эти и создавали тот элемент неожиданности и новизны, который поддерживал наш интерес друг к другу.

Ко времени нашего знакомства во вновь созданной средней школе, где обучение начиналось с пятого класса, я уже успел увидеть по телевидению ряд хрестоматийных спектаклей МХАТа и Малого театра. Правда, это было телевидение периода экрана в почтовую открытку за увеличивающей изображением стеклянной линзой, заполненной дистиллированной водой, что, впрочем, никак не влияло на четкость изображения, не говоря уже о том, что спектакли были сняты и смонтированы совершенно замечательно, с отлично продуманной раскадровкой, создававшей порой, в особенности в сценах с двумя-тремя действующими лицами, полное впечатление присутствия. И поскольку увиденных таким образом спектаклей было немало, мне казалось, что с достижениями русского театра его классической поры я уже более или менее знаком...

Но когда однажды Эрик предложил мне начать совместное изучение многотомного собрания сочинений К. С. Станиславского, количество стоявших за стеклом старинного книжного шкафа томов никак меня не вдохновило. В конце концов, всё сложилось так, что Эрик стал математиком, а я предпочитаю называть себя журналистом.

Книжный шкаф в доме Эрика стоял в простенке между двумя окнами пятого этажа, глядевшими вниз на убегающую в сторону стадиона улицу Энгельса. Дом был выстроен до войны, скорее всего, в начале века. Плавно двигавшийся между этажами просторный лифт, выложенный плиткой холл перед ним, надпись SALVE на полу подъезда, прозрачная стеклянная крыша, через которую свет с небес освещал лестничную клетку вместе с панелью для вызова жильцов и домофоном на стене перед массивными резными дверьми, – все эти детали выдавали время возведения дома: начало двадцатых годов. Родители Эрика происходили из немецких евреев, приехавших во второй половине девятнадцатого века из Ульма, на юге Германии, в Ригу. Здесь, в столице Лифляндии, главным языком общения оставался немецкий – несмотря на то, что Рига уже полтора столетия была одним из городов Российской империи.

Отец Эрика – высокий строгий темноволосый мужчина в свитере и в очках в позолоченной оправе. Его темные усы были коротко подстрижены, лицо хорошо вылеплено – мясистое, со складками вокруг рта и слегка красноватой кожей. Голос у него был низкий и

ровный, говорил он по-русски очень чисто, легко и аккуратно выговаривая слова. Был он врачом-паразитологом и работал в Институте биологии при сельхозакадемии. Во время войны он воевал в составе Латышской дивизии, где помимо латышей воевало немало русских, евреев и поляков. Семья Эрика провела время войны в Уфе и оттого осталась в живых. Эрик, как и я, родился вскоре после окончания войны. Был у него и младший брат, он учился в той же школе, что и мы. Родители Эрика свободно говорили по-латышски. Хорошо знал латышский язык и сам Эрик.

Помню, однажды мы с ним вышли на улицу вечером – с тем, чтобы попытаться углядеть на небе первый спутник, пролетающий над Ригой. Уже на улице Эрик рассказал мне, что его дядя со стороны отца написал фантастический роман о будущем Земли, которое пришло не в результате революции, а в процессе эволюции. Возможность применения этого слова или понятия в отношении событий, связанных с переменами общественных формаций, противоречила всему тому, что мы слышали в школе... Разговор наш случился вскоре после событий 1956 года в Венгрии, где советские танки подавили, как нам объяснили, «контрреволюционный мятеж», и после очередных «беспорядков» в Польше, которым газеты, впрочем, уделили не более трех строк.

ГЛАВА 2

Расскажу теперь кое-что о себе... Ко времени моего появления в летней, слегка сонной Риге начала девяностых у меня позади был довольно длинный период работы в нескольких тель-авивских русскоязычных газетах и журналах, которые оказались созданиями короткоживущими, несмотря на самые серьезные намерения их основателей. Происходило это из раза в раз в силу различных запутанных обстоятельств, неизменно связанных с проблемами финансирования. Всё это обескураживало и порождало желание не зависеть от каких-то сложных расчетов и огромных сумм, связанных с изданием не настоящей газеты, а информационного листка с ценами на поступившие в продажу консервы, прогнозами погоды, расписанием радио-программ и рассказами о скандалах с участием звезд эстрады...

В конце концов мне удалось убедить владельца одной из иерусалимских типографии в том, что издание выполненных на скорую руку переводов на русский язык популярных английских и американских детективов без покупки прав на перевод может принести нам вполне приличные деньги. Никто в Тель-Авиве не поверил бы в эту идею. В этом городе у моря люди слишком практичны для того,

чтобы верить во что-либо вообще. Они предпочитают денежные знаки, и лучше, если речь идет о наличных. Но Иерусалим – это совершенно другое место. Резкие перепады температуры в городе на холмах и постоянно висящие над холмами облака или грозовые тучи придают мрачное величие тому пространству для мечты, раздумий и надежд, каким является этот древний каменный город.

– Так вы предлагаете мне участвовать в «пиратских» изданиях? – спросил меня владелец типографии в ходе нашей первой встречи.

– А вы подписывали Стокгольмскую конвенцию? – осведомился я.

– Нет, – ответил он, и, услышав нотку интереса в его голосе, я начал свой рассказ о том, как будет работать наш проект.

Главное, объяснял ему я, это приучить читателя к не слишком толстым книжкам, издавать их в картонных, ярких переплетах и удерживать цены на уровне – так, чтобы книжки были конкурентны. Серия началась известным романом Джерома Пинчера «Убейте Далай-ламу!», а затем ее успешно продолжил роман Франсуа Деламотта «Железный ягуар». Желтая обложка первой книги с кровавым пятном красной туши над нижним обрезом, голубой с размытым акварельной ракушкой посреди и парящей над нею обнаженной женской фигурой показалась мне подходящей для всей серии и отличалась от обложки второй книги только написанным черной тушью названием. Мы решили не менять дизайн мгновенно привлекавшей внимание обложки. Менялись только имена авторов и названия произведений. Дизайн обложки отталкивался от работ Дали и в какой-то степени подтверждал мысль Китса «a thing of beauty is a joy forever» – «прекрасное пленяет навсегда». Помните сцену из «Римских каникул», где принцесса спорит с героем Грегори Пека о том, кому принадлежат эти слова, – Китсу или Шелли?

Судя по всему, читатели наши желали какой-то стабильности и предсказуемости, и мы отвечали на их запросы неизменной обложкой, стабильной ценой и содержанием самих романов, которые постепенно, по мере формирования спроса, стали переводить бригадным методом, чтобы регулярно выбрасывать на рынок новые книги. В период расцвета нашей деятельности каждый новый выбранный для перевода роман делился на пять-шесть частей, над которыми трудились столько же переводчиков. Через несколько дней роман был готов; мы проводили сверку написаний имен и других деталей – названий городов, гостиниц, напитков, затем я перечитывал объединенный текст с тем, чтобы не допустить каких-либо ляпсусов, после чего завизированный мною текст шел в печать. Романы для перевода я подбирал в книжных лавках second hand на улице Алленби, поблизости от тель-авивского базара Шук Кармель. Романы

Эрика ван Ластбадера, Джо Хогана, Артура Шлезингера и других обладателей не менее известных и звучных имен сдавали в эти лавки и туристы, и местные жители, любители этого сорта литературы. Я обычно проглядывал десять-пятнадцать страниц книжки, затем смотрел в конец и решал, подойдет нам это или нет.

– Смотрите, Саша, будьте осторожны, – напутствовал меня владелец типографии, человек из Ростова, с печальными глазами и осторожными, тяжелыми руками. Он мягко вносил в конторку на втором этаже огромные коробки с книгами, словно не замечая их веса. В конце концов я нашел этому объяснение: он понимал, что имеет дело с духовной пищей, а вовсе не с книгами о вкусной и здоровой пище, которые он издавал вместе с календарями и плакатами. Призывы же его к осторожности связаны были с тем, что сам он считал, что отобранные мною для перевода книги могут и «не выстрелить»...

– ...представьте себе, что книга «не выстрелит», – говорил он, устремив на меня внимательный и печальный взгляд, – и что тогда? Что будет с нами?

– Нас спасает обложка, – объяснял я, – даже если какой-то роман и слабее других, то покупатель, а в особенности покупательницы, обычно хотят иметь всю серию. Это инстинкт собирательства. А купоны? Чем больше куплено книг, тем выше скидка на каждую пятую... и для читателей это беспроегрышная лотерея, – твердо отвечал я. – Просто одна книга из семи должна быть явно лучше других...

– Но почему из семи? – не успокаивался он.

– Это как девятый вал. Но с книгами немного по-другому... Вы помните Айвазовского?

На этот вопрос он обычно не отвечал, но однажды спросил у меня, бывал ли я на Ростовском море и знаю ли, что такое *рыбец*?

– Ну, смотрите... Мое дело печатать, – обычно заканчивал он и уходил в печатный цех.

В то время, о котором я рассказываю, люди еще читали книги. В особенности эмигранты из СССР, плохо знавшие иврит или только пытавшиеся овладеть им. Многие люди нуждаются в чем-то типа жвачки для мозга, и мы честно поставляли ее вместе с возможностью погружения в экзотический мир погонь, перестрелок и взрывов, тайн, обжигающих страстей, отличной выпивки и роскошных автомобилей. Еще одной из причин нашего успеха было то, что Москва, где те же романы переводились таким же образом и издавались большими тиражами, была далеко, и оттого, попадая в Израиль, дешевая московская продукция становилась дорогой и неконкурентоспособной.

Выход каждой новой книжки мы отмечали скромными возлия-

ниями в задней комнатухе одного рыбно-колбасного магазина, привлекавшего нас наличием не только закуски, но и разнообразного алкоголя на полках. Выпив виски, закусив и обсудив все текущие, но важные вопросы, мы обычно направлялись куда-нибудь еще – выпить пива, а затем уже разъезжались по домам. И всё это было бы неплохо, если бы постепенно все переведенные фрагменты романов не стали сливаться в моем сознании в один огромный кошмар, преследовавший меня во сне. И я понял, что если не желаю превратиться в человека с постепенно портящимся характером и склонностью к алкоголю, мне следует заняться каким-то другим делом – не говоря уже о том, что было у меня несколько не оставлявших меня в покое замыслов...

Так прошло несколько лет и, наконец, я с удовольствием отошел от работы над переводами и устроился консультантом по вопросам эмиграции из России в штабе одной из крупных политических партий. Произошло это случайно, мне повезло. Предложение заглянуть в штаб этой партии, расположенный в высотном здании в центре Тель-Авива, пришло через мою жену Иву, чья приятельница, с которой она пила кофе в обеденный перерыв на работе, оказалась женой одного из видных деятелей партии, рассчитывавшей на голоса новых эмигрантов из бывшего СССР.

К тому времени мы уже получили в банке ссуду и почти осуществили мечту жены, купив просторную и светлую квартиру в центре Тель-Авива на Нордау, у хозяина которой, по мароккански стройного, с острым профилем и загорелым лицом мужчины по имени Дани, не было времени на поиски серьезных клиентов из-за сложностей, связанных с состоянием его дел в Северной Каролине, где он собирался обосноваться вместе с семьей. Его агент, огромный темноглазый мужчина с желтого оттенка кожей, внешностью своей немедленно наводил на мысль о фаумских портретах. Звали его Рафи. Он неплохо говорил на нескольких языках и, казалось, проникся к нам симпатией. Мать его была родом из Болгарии, и оттого он до какой-то степени понимал, о чем идет речь, когда мы с Ивой разговаривали по-русски. Отец Рафи был *сабра*, так называют себя евреи, родившиеся в Израиле, указывая тем самым на свое сходство с этим пустынным растением, чей сладкий и мягкий плод покрыт колючей шкуркой. Понятие «сладкий», как оказалось, для израильтян – синоним всего приятного и по-человечески дорогого; таких людей они называют словом *мотек*, что и означает *сладкий*, или – *метука, сладкая*.

Когда все детали сделки, наконец, утряслись, оказалось, что мы – первые клиенты Рафи, а Дани – его бывший армейский начальник. В своем офисе Рафи сварил нам турецкий кофе в медной джезве, раз-

лил его по чашечкам и поставил на столик блюдце с финиками. Он открыл бутылку Johnny Walker Red Lable и предложил выпить. Ива сказала, что пить ничего не будет, ей еще предстояло вернуться на работу. Беседовали мы по-английски, и ему было легко рассказывать о себе, поскольку, говоря на чужих языках, он как бы смотрел на себя со стороны, так он сказал нам.

– Кроме того, на английском можно говорить о чем угодно, а на иврите и на арабском есть вопросы, которые не обсуждают.

Оказалось, что он стал агентом по продаже недвижимости по настоянию жены уже после того, как ушел из армии.

– Я служил в военной разведке, – сказал Рафи, – и эти ночные встречи под мостами с арабами, продававшими нам информацию о террористах и подготовке терактов, меня доконали. Каждый раз, отправляясь на встречу, я не знал, вернусь ли домой живым. Кроме того, я должен был там же, на месте, понять, где настоящая информация и где ложь, и тут же решить, стоит ли платить за эти сведения или нет. Мы платили осведомителям немало денег.

– А как вы их находили? – спросил я.

– По-разному, но чаще всего они предлагали информацию сами.

– Сами? Но отчего?

– Объясню, в чем дело, – ответил он. – Главное в жизни арабской семьи – это дом. Арабы любят строить дома, а это недешево. Обычно на строительство большого дома на семью, состоящую из родителей и нескольких детей с их семьями, уходит много лет. И важнее этого дома у них ничего нет. Некоторые готовы продать даже родственников, не говоря уже о соседях. Да, они продают информацию за деньги, но всё равно – это опасно. Тебя могут убить, могут организовать засаду или попытаться похитить. Или соврать, чтобы получить деньги, или соврать для того, чтобы в засаду попали твои товарищи. И ты всё время анализируешь. Ты всё время в напряжении. Нельзя ничего пропустить. В конце концов у меня началась бессонница и тряслись руки. Я думал о смерти. И моя жена сказала мне, что я должен уйти. Хотя на службе меня очень ценили. «Ты должен уйти, или ты сойдешь с ума», – сказала она, и я послушал ее. Ушел в отставку и стал агентом по продаже недвижимости, – заключил он. – Но когда я вспоминаю эти ночи под мостом и то, как ждешь прихода информатора, я снова нервничаю...

Новое место работы, где мне регулярно платили зарплату вот уже третий год, мне нравилось, я составлял вопросники, встречался с приехавшими в Израиль иммигрантами, а затем писал отчеты о проделанной работе с приложением анализа результатов опросов и моих рекомендаций по способам решения постоянно возникавших

проблем. Надо ли рассказывать о том, каким сложным был, в том числе и для меня, 91-й год, когда в страну прибыло более миллиона человек из бывшего СССР?.. Затем пришел 92-й год, а за ним 93-й... Всё было по-прежнему сложно, но именно тогда я собрался отдохнуть и прийти в себя.

Я уже начинал думать об отпуске, когда мне позвонил Эрик и сообщил, что собирается провести летние каникулы на Взморье, один, без жены, которая, по-видимому, останется в мошаве (в деревне) в двадцати минутах езды от Хайфы, где ее мать проходит курс лечения в больнице Рамбам. Через две недели я вылетел в Краков, где собирался побывать еще со времен юности, когда познакомился с польскими фильмами, радикально отличавшимися по интонации от той кинопродукции, что появлялась на советских экранах. Однако иногда случается так, что осуществить самое простое и ясное намерение оказывается совсем не так просто. Так случилось и с поездкой в Краков. Примерно за год до состоявшейся поездки Эрик уже приглашал меня присоединиться к нему в Кракове, куда он направился из Берлина на конференцию, связанную с тем обстоятельством, что за пять веков до того Николай Коперник начал знакомиться с основами математики, астрономии, медицины и богословия в Ягеллонском университете. Однако тогда мне не удалось прилететь в Краков из-за крайней загруженности на работе, и вот теперь Эрик подсказал мне идею полета в Ригу через Краков.

— Чуть раньше или чуть позже, но ты должен осуществить свое намерение, — сказал он, — уверен, тебе это будет интересно. К тому же, город лежит просто на пути в Ригу. Так что ты прибудешь из «новых» для тебя декораций в «старые», — завершил Эрик свои, как всегда, несколько усложненные построения.

Надо сказать, что возможность встречи с Эриком в «старых декорациях» привлекала меня, помимо всего остального, связанного с естественным желанием встретиться со старым другом, еще и дополнительной возможностью узнать — что, собственно, я почувствую, вернувшись в Ригу после стольких лет; какого рода ощущения я испытаю, удастся ли мне «снова войти в ту же реку». Занятно, что использование этого, известного со времен Гераклита, образа напоминало мне о юности, когда мы каждым летом выезжали на дачу в Яундубулты, и в середине июля мы с жившими по соседству товарищами отправлялся за черникой, отыскивая ее в зарослях растущих под соснами папоротников... Помню, мы шли через еловый лес, сосновые перелески и, наконец выйдя на опушку леса и заливные луга, подходили к болотистым берегам впадающей в залив реки Лиелупе.

Серо-голубая, с легким фиолетовым оттенком вода в реке была теплой и, если забыть о темном придонном течении, казалась недвижимой, незаметно обтекавшей кувшинки и лилии...

Возвращаясь в настоящее, признаюсь, что из занимавших меня в ту пору планов следовало бы выделить никогда не оставлявшую меня идею создания приличного литературного журнала. В девяносто втором году, когда количество читающих по-русски людей сильно возросло, такого рода проект начал казаться мне осуществимым. Было ли это хорошей идеей? Не знаю. Не знала этого даже моя жена Ива, у которой обычно есть свое продуманное мнение обо всем, что мы когда-либо обсуждали.

Когда-то, еще до рождения нашей дочери, Ива ревностно меня поддерживала во всех моих литературных начинаниях и готова была сидеть до глубокой ночи, перепечатывая мои выправленные рукописи. Родители назвали ее при рождении Авивой и сумели настоять на внесении этого имени в метрику, но сама Авива, что означает «весна» на иврите, называла себя Ивой еще до переезда в Тель-Авив. Мое же имя – Александр – присутствует, как оказалось, в древнейших текстах на иврите благодаря известному ученику Аристотеля, завоевавшему полмира и оставившему о себе благожелательные отзывы и в Талмуде, и в писаниях Иосифа Флавия.

Я встретил Иву в университете, где мы учились на разных факультетах: я – на историко-филологическом отделении, а моя будущая жена овладевала основами химии и биологии. В те университетские годы Ива никогда не скрывала ни своего мнения, ни своего отношения к тому, что я писал, и я еще со студенческих времен привык обсуждать с нею приходившие мне на ум соображения. Не скажу, однако, что я обсуждал с ней все занимавшие меня вопросы. Некоторые из них я обсуждал только с Эриком.

– Итак, ты говоришь, вопрос о твоих потенциальных читателях уже решен самой историей. Но ты не можешь осуществить свои планы относительно журнала в одиночку, тебе нужен партнер. Кого еще это может заинтересовать? К тому же это требует больших денег, и ты хочешь заложить свою еще не выплаченную квартиру, так? А ты уже советовался с Ивой? – спросил он, когда я рассказал ему о своей идее.

– Нет, не советовался. Не думаю, что стоит советоваться с ней о такого рода вещах, – пояснил я.

После наших десяти проведенных в Тель-Авиве лет интересы жены претерпели определенные изменения. Похоже было, что Иву вовсе не тянуло в Ригу. У нее, как и у меня, не осталось там родствен-

ников – лишь кое-какие знакомые; с кем-то она переписывалась, об остальных, похоже, старалась не вспоминать – ее больше интересовала живая, текущая реальность, частью которой была и наша, еще не до конца выплаченная, но требовавшая ремонта квартира на улице Нордау, высокооплачиваемая работа Ивы в крупной фармацевтической компании и тревожнения нашей дочери Ханны, уже прошедшей армейскую службу, чья личная жизнь была всё еще зыбкой и неустроенной. Помимо всего остального, Ива – в силу ее окружения на работе – знала иврит гораздо лучше, чем я, в свое время вместе с нею приступивший к его изучению на курсах для олим хадашим, новоприбывших, – так что мы, до некоторой степени, жили в разных мирах.

– Ты не хочешь толком изучить язык и понять людей, среди которых живешь, – сказала мне Ива однажды.

– Я предпочел бы понять себя для начала, – признался я, – и дело вовсе не в том, насколько хорошо я знаю язык. Заметь, что когда я говорю с тобой, я вовсе не чувствую необходимости переходить на какой-то другой язык, то есть я продолжаю жить почти в том же культурном пространстве, где и жил... – возражал я в некотором раздражении. – Да, я продолжаю читать книги на русском и на английском. И меня по-прежнему мало волнуют ежедневные программы телевидения, которое я вообще не люблю, не люблю на любом языке, а если мне хочется послушать песни или песенки, то они обычно нравятся мне больше, если я не понимаю, о чем в них поется... Наверное, поэтому я так люблю песни французских шансонье...

Ива знала, что мне нравятся многие исполняемые на иврите песни и звучание множества ивритских слов. Началось всё со слова *нахаш*, означающего змею. Иногда я даже говорил Иве, что в ней есть что-то от нахаш, шелестящее и мудрое, древнее и молодое, гибко склонившееся над чашей с ядом. Правда, добавлял я обычно, всё это я понял еще в Риге, еще в студенческие годы, вскоре после того, как мы познакомились. Но стоило, пожалуй, пройти через то, что довелось нам, чтобы узнать и слово *нахаш*, и его звучание в родной для него среде. Возможно именно оттого, что я никогда не скрывал от Ивы, что она мне по-прежнему нравится, мне было приятно, когда Ива сказала:

– Ну что ж, если тебе так хочется поехать в Ригу, чтобы встретиться с Эриком, – пожалуйста. У меня отпуск в октябре, и, надеюсь, мы с тобой улетим в Неаполь, а на обратном пути заедем в Рим.

И вот тогда я вспомнил слова Эрика о том, насколько иррациональна может быть любовь к тому или иному месту.

– Многие израильтяне любят Рим и считают это совершенно естественным, но ведь Второй храм, потерю которого оплакивают по сию пору, был разрушен именно римлянами, – сказал он.

Мне следует, наверное, объяснить причину особого отношения Ивы к Италии. Всё дело в том, что прабабка моей жены со стороны отца была итальянской еврейкой. Она была дочерью музыканта, жившего вместе с семьей в римском районе Трастевере, пела в римской опере, а затем вышла замуж за проходившего стажировку в том же оперном театре немецкого дирижера, которого однажды встретила рядом со зданием синагоги неподалеку от своего дома. За этой встречей молодых людей последовали другие, затем помолвка и, наконец, состоялось традиционное бракосочетание, проведенное раввином из всё той же старинной римской синагоги в Трастевере. Вскоре после этого молодые уехали в Ригу, где глава семьи начал работу за дирижерским пультом в Немецком театре благодаря рекомендательному письму от Джакомо Мейербера. И хотя Рига стала одним из городов Российской империи после подписания Ништадского мира 1721 года, все спектакли этого театра, даже оперы Чайковского, шли на немецком языке, и это оказалось тем обстоятельством, которое Ивина прабабка, чьим родным языком был итальянский, никак не могла принять. Естественно, карьера ее как певицы пришла к завершению.

Считается, что Ива похожа на прабабку, и каждый раз, приезжая в Рим, она чувствует себя в этом городе как дома, с легкостью, не глядя на карту, находит, как добраться из любой точки города на виллу Боргезе. И я не знаю, как это объяснить, не подсказками же прабабки из того мира, где она всё еще поет в римской опере?

Должен признаться, что Рим изменил и мое поведение. В наш первый приезд, во второй половине серого ноябрьского дня, когда мы с Ивой дошли, наконец, до Campo del Fiore, где в середине февраля 1600 года в возрасте 52 лет был сожжен Джордано Бруно, я неожиданно для себя купил белые каллы и возложил их к подножию памятника еретику. Возможно, что причиной тому было внезапно всплывшее в сознании воспоминание о сильнейшем впечатлении, которое произвело на меня чтение повести Б. Брехта о Бруно. Правда, случилось это еще в юности.

Помню несколько удивленный взгляд Ивы. Мы прошлись по площади, я мысленно наметил точки съемки, а затем несколько раз сфотографировал площадь с торговыми рядами и поставленный в конце XIX века памятник. Вскоре стемнело, и мы решили пообедать в trattoria на углу площади, за спиной у стоящей на постаменте фигуры. Посетителей было немного, и из разговора с официантом Марио, а он вполне прилично говорил по-английски, я узнал, что trattoria – более двух тысяч лет, и одним из ее первых совладельцев был когда-то Гней Помпей. Заметив мою улыбку, Марио обратился к хозяину заведения Луке, и тот, покинув стойку, повел нас за собой в

подвал, освещая путь поднятой над головой свечою. В подвале, куда мы попали, спустившись по старым, выложенным в незапамятные времена ступеням, он нашел выключатель на сводчатой стене и зажег свет под потолком. В подвале было прохладно и на двух длинных столах стояли пластиковые емкости, заполненные льдом и рыбой.

— *Guarda il pavimento signora.* Посмотрите на пол, синьора, — предложил он Иве, бросив взгляд в мою сторону. Я уловил в его тоне нечто вроде почти неслышного отзвука ликования. Но глаза его, круглые черные глаза под густыми бровями, глядели на меня невозмутимо, так, словно он был одним из запечатленных на мозаичном полу персонажей... И тут ничего не поделаешь — римляне, я замечал, часто смотрят на приезжих с выражением доброжелательной снисходительности, ведь они живут в городе, который видел всё.

Оказалось, что мы стоим на древней мозаике с изображением трех мужчин, птиц, рыб и змей. На ней же стояли и столы с белыми пластиковыми емкостями. Лука пояснил, что трое изображенных на мозаике мужчин — члены римского триумвирата: Цезарь, Помпей и Красс.

— *Tutti e tre sono finiti male, ma la trattoria da allora non ha mai chiuso,* — сказал он, и Ива перевела эту фразу на русский. — Все трое плохо кончили, но trattoria с тех пор никогда не закрывалась.

«Вот она — вечность, — подумал я, — trattoria, которая никогда не закрывалась...»

И сколько же рыбы здесь было съедено...

И вот тут-то мне и пришла в голову мысль о том, что мне нравится Рим, что связан с интересующими меня людьми, ну, скажем, с Байроном. Он останавливался в пансионе на площади Испании через четыре года после смерти чахоточного Китса. Помню, как мы с Авивой посетили квартиру у Испанских ступеней, где Китс прожил свои последние годы... Или, скажем, мне нравится приходить на Площадь Цветов, где был сожжен Джордано Бруно, осужденный за ересь и невыносимо чванливый характер... Меж тем как Авиву привлекает сам город и его архитектура, этот бесконечный, избыточный набор дворцов, монументов, пирамид, каменных слонов, нимф и фонтанов, наводящий меня на мысль о коллекции гигантских каменных тортов и тарталеток — творений не желавшего и даже не мыслившего возможности остановиться кондитера; творений пышных, строгих или даже текучих, как фонтан ди Треви, прославленный усилиями Феллини, Мастроянни и Аниты Экберг.

Итак, я смотрю на Рим как на уникальные декорации, строившиеся и перестраиваемые, как детские дворцы из кубиков и прямоугольников, меж тем как для Авивы это во многом близкий и понятный

город. И это не преувеличение, ведь дело доходит до того, что иногда к ней обращаются на улицах местные жители с вопросами, как пройти в то или иное место. Но когда ночные улицы становятся пустыми, а ты, направляясь в аэропорт, проезжаешь в машине мимо театра Марцелла, и свет вдруг выхватывает из тьмы уже поглощенную ночью группу отдельно стоящих колонн, выхватывает их из тьмы, заполняющей пространство внутри и вне каменного остова театра, и они, эти высвеченные колонны, предстают перед тобой как живые, вот тогда-то всё и меняется, и ты начинаешь чувствовать, что город этот, возможно, каким-то образом существует и сам по себе. Та же мысль посещает тебя, когда вдруг открываешь, что вода в струях уличных фонтанчиков для пешеходов гораздо лучше и вкуснее воды, доставляемой современным водопроводом.

То, что обычно вело Иву к загаданной цели, было, возможно, не чем иным, как *déjà vu*, думал я, каким-то не описанным до сих пор типом памяти, связанным с чем-то вроде «пробуждения» спавшего до этого момента знания, – нечто, напоминающее хорошо известный и описанный еще в 30-х годах «иерусалимский синдром», редкое психическое состояние, посещающее некоторых туристов и паломников в Иерусалиме. В этом состоянии человек внезапно начинает воображать и чувствовать себя воплощением того или иного библейского или евангельского персонажа – апостолом Павлом, Христом или пророком Исайей... А может быть, иногда думал я, состояние это возникает из преломленного и гипертрофированного стремления адаптироваться к городу и связанным с ним через посредство *déjà vu* или «наплывающей памяти» персонажам и событиям.

Тут следует пояснить, что последний использованный мною термин связан с именем родившегося в самом начале ушедшего века философа Ханса-Аншеля Вундерлиха (1901–1989), за работу над жизнеописанием которого я хотел взяться в ту пору. Уроженец Риги, завершивший свой жизненный путь в Цюрихе, он за год до смерти посетил Иерусалим и прочитал лекцию о «иерусалимском синдроме» и проблемах изучения и осмысления памяти в одной из аудиторий университета на горе Скопус. Профессор полагал, что «иерусалимский синдром» есть яркое и драматическое подтверждение того, что живая человеческая память во многом напоминает наплывающие друг на друга облака, иногда даже – грозовое небо над Иерусалимом. А связанную с синдромом метаморфозу личности профессор Вундерлих уподобил рязряду молнии во время грозы.

К концу его лекции небо над городом, лежавшим внизу, за большими стеклянными панелями окон, словно загустело, стало темным, фиолетово-серым, грозовые тучи поползли друг на друга, блеснула

острым зигзагом молния, загремел гром, и на Иерусалим и его каменные улицы, сады и строения на холмах рухнула стена дождя.

Помню, я посмотрел на Эрика и понял, что лекция Вундерлиха произвела впечатление не только на меня.

В 1910–1918 годах юный Ханс-Аншель Вундерлих, родившийся в Риге в 1901 году, учился в известной рижской гимназии при Домском соборе. В этой же гимназии преподавал химию и другие естественные науки его отец, приехавший в Ригу из Берлина в самом начале века. Отец будущего философа был немец, а мать происходила из укоренившейся в Риге семьи немецких евреев, владевшей одной из известных в городе аптек. Она увлекалась литературой, пыталась писать пьесы и уехала в Петербург вскоре после начала войны в 1914 году. Гимназист Ханс-Аншель, уже заслуживший к тому времени репутацию вундеркинда, оставался с отцом в Риге, а после того, как война окончилась, переехал вместе с ним в Германию. В молодости будущий философ учился в университетах Берлина, Вены и Франкфурта. Интересы его фокусировались на психологии, математике и теории относительности. Выпускник Франкфуртского университета и сотрудник кафедры философии своей *almamater*, автор известной монографии «Относительность и время» (*Relativität und Zeit*, 1927 г.), он в 1929 году переехал в Берлин, где женился на балерине Кэти Дашевской. Однако вскоре жена Ханса-Аншеля открыла в себе драматический талант и ушла от него к своему старому приятелю, и в 1930 году супруги разошлись.

Отец Вундерлиха, продолжавший свою педагогическую деятельность в Берлине, вступил во второй брак в 1931 году, после чего его отношения с сыном окончательно испортились. У Вундерлиха-сына началась депрессия, он общался с психоаналитиком Вильгельмом Райхом и злоупотреблял алкоголем. В 1933 году Вундерлих вторично женился – на враче-психиатре Эстер Нойхаузен, и этот союз оказался более успешным, чем первый, хотя детей у супругов не было. В 1934 году он вместе с женой покинул Германию и после долгого ожидания на юге Франции получил официальное разрешение на въезд в Мексику, где жили ее родственники. В этой стране Вундерлих провел полтора десятилетия, преподавая в местных университетах и путешествуя по Латинской Америке вместе с женой.

Наблюдая рост кактусов в пустыне и кровавые закаты над отрогами Сьерра-Мадре, он разработал свою теорию психологического времени, связав ее с собственной же теорией памяти. В начале 50-х годов он перебрался из Мексики в Шотландию. Проработав с десяток лет в шотландском Сент-Эндрюсе, на берегу Северного моря, он про-

должил свою научную и педагогическую деятельность в университете Цюриха. В последнее десятилетие жизни профессор путешествовал и занимался вопросами связи коллективной памяти с искусством наскальной и пещерной живописи. Профессор Вундерлих полагал, что геометрические узоры в пещерах представляют собой первые попытки создания графических знаков единого праязыка для запоминания мифов и обрядов.

Через год с небольшим после выступления в Иерусалиме профессор Вундерлих скончался от осложнений, вызванных неизвестным доколе вирусом гриппа.

Вскоре после его кончины стало известно, что Вундерлих завещал свой архив университету в Иерусалиме. Последовавшие его смерти публикации усилили мой интерес к его фигуре, и я прочитал итоговую книгу Вундерлиха «Память и ничто» (*Gedächtnis und Nichts*), после чего начал собирать материалы, так или иначе связанные с его биографией, и составил немалое число заметок по его биографии и людям, в нее вовлеченным.

Итак, кем же на самом деле был Вундерлих? Если говорить о нем как о представителе определенного психотипа, то скорее всего он был интроверт, неврастеник с тяготением к крайностям, время от времени срывавшийся с накатанного пути. Достаточно вспомнить его экстравагантный брак с Кэти Дашевской, известной прежде всего как своего рода *la femme fatale*. Или его второй брак – с убежденным последователем классического психоанализа, врачом-психиатром... Характерным, однако, представляется мне то обстоятельство, что покинув вместе с ней Германию и обрета работу и убежище от нацистов в Мексике, Ханс-Аншель Вундерлих не удержался, чтобы не установить контакты с Л. Д. Троцким, искавшим спасения от длинных рук агентов НКВД. Этот факт представляется мне ясным указанием на то, что философа интересовали не только ответы на отвлеченные вопросы, но и анализ тех тенденций, которые явно преобладали в современном ему мире. Его книга «Завещание Троцкого» отличается от близких по тематике книг его современников и коллег тем, что в ней голос философа почти сливается с голосом «малого пророка марксизма». Именно так именует своего героя Х.-А. Вундерлих, и всякий непредубежденный читатель его книги, скорее всего, согласится с этим его описанием Троцкого.

Интересно отметить и то, что после окончания работы над книгой профессор Вундерлих предпринял ряд путешествий и поездок по странам Латинской Америки. И всё это произошло в тот период, когда сей континент был еще более небезопасен для путешественников, нежели сегодня, когда мы то и дело узнаем из интернета, газет и телевидения о деятельности разнообразных революционных, терро-

ристических и просто преступных объединений и картелей, пытающихся, и порой довольно успешно, установить свою власть и свой контроль над тем или иным регионом. Власть, основанную на насилии и деньгах, связанных с торговлей наркотиками.

Не могу не признать и того, что тема странствий, весьма явно прорисованная в биографии Вундерлиха, меня чрезвычайно привлекала, ведь весьма сходным образом странствовал в свое время по Европе и Бруно. Вундерлих в своем иерусалимском докладе коснулся этой темы, отметив, что если когда-то ученики и последователи Аристотеля занимались философией, прогуливаясь в садах Академа, то в наше время философу зачастую приходится странствовать по миру, что связано не только с возросшим интересом к философии, но и с опасностями для жизни философов, возникающими время от времени в самых различных странах. При этом Вундерлих упомянул в качестве примеров и «философский пароход» из России, и судьбу Анри Бергсона. Говоря о судьбе Бруно, Вундерлих отметил, что еретик находился под влиянием элейских и неоплатонических идей, суть которых, или *élan*, он изложил следующим образом: Бог и Вселенная есть одно и то же бытие; Вселенная бесконечна в пространстве и времени; она совершенна, так как в ней пребывает Бог. Несколько позднее, обратившись в ходе доклада к вопросу о влиянии элейской школы на взгляды Бруно, профессор Вундерлих упомянул о том, что в самом начале 30-х побывал в Риме, где проходил философский конгресс, в кулуарах которого, как он с отвращением вспоминал, ему пришлось пожать руку дуче.

— И, поверьте, я испытал чувство отвращения, связанного с презрением к самому себе, — признался он.

Побывал ли он в Элее и Пестуме, спросил кто-то из зала.

— Теперь я понимаю, что именно с рассказа о посещении этих городов мне следовало бы начать, — прозвучало в ответ.

Вспоминаю улыбку профессора, смущенную улыбку мудреца, понимающего и оценивающего всю профанность заданного вопроса, его терпеливый вздох и, наконец, его смущение. Причем, именно смущение представляется мне самой главной и, собственно, характерной деталью его поведения в той встрече, ибо оно открыло и подчеркнуло, во всяком случае для меня, как бесконечно удален этот человек от нас, от слушающей его живой и озабоченной самыми простыми вопросами аудитории. Пропасть эту ощутил, возможно, и он, ибо через мгновение добавил, словно бы делая жест доброй воли, что ему доводилось общаться и с другими людьми. Один из них, сказал он, был до определенной степени монстром...

— Но я писал об этом, — добавил он тихо.

Скорее всего, Вундерлих имел в виду его впервые опубликованную в начале 1942 года книгу «Завещание Троцкого», основанную на личном знакомстве и долгих беседах с убитым в Мексике революционером. Эта книга о Троцком и будущем Латинской Америки была переведена на многие языки, включая и китайский. Именно в «Завещании» Вундерлих предсказал появление того гибрида католицизма с марксизмом, который в наше время называют «теологией освобождения».

Не исключаю, что мой интерес к фигуре Вундерлиха связан был в определенной мере с обстоятельствами моей жизни после отъезда из Риги. Я никогда не собирался поселиться в Израиле. Меня интересовали англоязычные страны. В студенческие годы я иногда раздумывал о Калифорнии или Канаде, допускал и мысли о жизни в Австралии или даже в Новой Зеландии. Итак, я был бы совсем не прочь попасть даже на край света, но действительность оказалась устроенной так, что в конце концов я оказался в Тель-Авиве. Что стало тому причиной? Уговоры жены и родителей или искушение жить в стране, где тебя не будут считать гражданином второго сорта? Или, быть может, отсутствие желания поддерживать тысячелетнюю еврейскую традицию вынужденных скитаний?

* * *

Вскоре после нашей встречи в Тель-Авиве, куда Эрик прилетел из Вены на несколько недель позднее меня, он как-то раз в ходе одной из бесед, что мы вели, сидя за столиком кафе в старом порту неподалеку от здания электростанции с его огромной, напоминавшей маяк трубой, сообщил мне, что все мы, согласно Эйнштейну, живем в темнице своих идей, и оттого каждый человек должен еще с юных лет стремиться взорвать ее, чтобы попытаться сравнить свои идеи с реальностью.

— В конце концов, — добавил он, — мы вырвались из тюрьмы и надо попробовать жить по-новому, как-то иначе. И я думаю, из этого может выйти что-то путное.

В ту пору у нас оставалось мало свободного времени, большую его часть мы проводили в Тель-Авиве, где решили обосноваться. Время от времени встречались с друзьями, иногда ездили к знакомым, оказавшимся в других городах нашей небольшой страны. Довольно часто я по делам бывал в Иерусалиме. И тем не менее, клаустрофобия присутствовала во мне, знакомая и привычная, как привкус чая определенной марки, который ты пьешь каждое утро, — при том, что изгнать или хотя бы приглушить и убрать это неприятное ощущение мне не удавалось.

Со временем, однако, многое изменилось и многое стало возможным, в том числе и поездки за границу, и, возможно, что именно наши довольно частые, но недолгие поездки в Европу разбудили во мне интерес к длинным путешествиям или даже к самой возможности путешествий, но, увы, никаких шансов на осуществление этой мечты не было.

Иногда мне даже казалось, что именно благодаря всё тому же клаустрофобическому привкусу Эрик и оказался в Берлине. Однако я никогда не спрашивал у него об этом.

И вот теперь, в первый же день, уже после того, как мы сходили на пляж и пообедали, я решил рассказать Эрику о том, что, собственно, показалось мне важным и интересным в биографии профессора Вундерлиха, который в рижские свои годы проживал в одной из квартир старинного двухэтажного здания, выстроенного в последней четверти XVIII века на Ратушной площади. Теперь в нижнем этаже этого здания размещались сувенирные магазины и небольшое кафе «У Вундерлиха». На стене дома была установлена мемориальная доска с вырезанным в камне профилем юного Ханса-Аншеля. Об этом рассказывалось в посвященной памяти профессора публикации в «International Herald Tribune», где указывалось и на то, что его теория психологического времени, опиравшаяся на исследования нейрофизиологов из центра Гильермо Розенблюта в Мехико, принесла профессору Вундерлиху известность и международное признание. Однако, как не без сарказма отмечал автор статьи, все предпринятые в свое время попытки философа перебраться из Мексики в Соединенные Штаты, поддержанные рядом крупных ученых и известными университетами, встретились с сопротивлением американских иммиграционных властей.

Далее в статье рассказывалось о том, что в конце 40-х годов профессор Вундерлих вернулся в Европу, приняв приглашение старейшего шотландского университета Сент-Эндрюс на берегу Северного моря. Уже находясь в Шотландии, он узнал, что его мать покончила с собой в 1937 году в Москве, чтобы избежать ареста. Это случилось вскоре после расстрела сотрудников московского латышского театра «Скатуве» (Сцена), с которым она сотрудничала в качестве драматурга. Ее оставшиеся в Риге родители попали в рижское гетто в середине июля 1941 года и через несколько месяцев были расстреляны в лесном массиве Бикерниеки на восточной окраине Риги. Отец профессора Вундерлиха погиб вместе со своей женой в ходе бомбардировок Берлина в апреле 1945 года.

Из Сент-Эндрюса профессор Вундерлих переехал в

Швейцарию, где его академическая деятельность была связана с университетом Цюриха. Там были написаны его главные труды, объединенные в цикл «Страдания и время: Траектории сознания» (Leiden und Zeit: Bewusstseinsbahnen). Цикл этот стал широко известен и даже популярен в конце 60-х годов благодаря прочитанному во франкфуртской alma mater курсу лекций «Человеческое время» (Menschliche Zeit). Статья завершалась указанием на то, что главные научные творения Вундерлиха, его теория «обобщенного переживания времени» и трехмерная цветовая шкала для описания «траектории страданий» продолжают привлекать внимание ученых и по сию пору. Упоминался и факт передачи архива покойного профессора университету в Иерусалиме, а заканчивалась публикация указанием на то, что заполненный сверкающей сталью контур профиля молодого Ханса-Аншеля вырезан на доске из черного мрамора и напоминает о кремации тела покойного философа и пепле, развеянном над прозрачными голубыми водами Zürichsee (Цюрихского озера).

Когда я закончил рассказывать, мы отправились к морю на прогулку по холодному ночному песку под бледным северным небом с едва заметным летним ожерельем Млечного Пути.

– Ты говоришь о книге, о жизнеописании, – сказал Эрик, – но те, кого Вундерлих интересует профессионально, будут читать его биографии, написанные другими учеными. Ну а тебе, – продолжал он, – как я вижу, хочется написать книгу о жизни философа. Как сделать философа героем романа? Ведь основные повороты в жизни такого человека случаются в его сознании. Да, он – свидетель и участник событий своего времени. Это правда. Но интересна ли его непосредственная реакция на эти события? Что ж, может быть и такое. Ведь мы знаем, что и философам приходилось спасаться от преследований, некоторые даже кончали жизнь самоубийством, как Вальтер Беньямин. Но Ханс-Аншель Вундерлих – это, пожалуй, пример ускользающего от опасностей философа. Похоже, что он не борец, а человек, всё время подходящий к краю пропасти, но успешно избежавший падения. Так мне кажется, – завершил он и вдруг предложил: – Но, может быть, тебе будет интереснее поговорить об этом с Илоной? Она появится здесь на днях, прилетит из Москвы, – пояснил он.

ГЛАВА 3

На следующее утро мы отправились в город на электричке, и я, не желая отвлекать Эрика от заранее намеченного посещения семинара в нашей alma mater, условился о встрече с ним в два часа дня неподалеку от памятника Свободе – там, где когда-то стояли доволь-

но большой киоск с газетами и журналами и башенка с часами «Лайма». Проходя мимо памятника, я вспомнил день, когда из купленной в киоске газеты «Ригас Балсс» узнал о смерти тридцатисемилетнего французского актера Жерара Филипа, мы знали его по исполнению ролей Фанфан-Тюльпана, Жюльена Сореля и Фабрицио дель Донго. Столь ранняя смерть человека, воплотившего на экране обаяние молодости и надежду, казалось, отрицала то обещание, которым представлялась мне жизнь, и тогда, в школьные еще годы, весной, я вдруг ощутил желание и готовность умереть ради того, чтобы актер остался жив.

Был прохладный день, но светлый, я запомнил ветви деревьев в зеленых пятнах, ощущение боли и потери, голубую поверхность городского канала, Бастионную горку, спешащих куда-то людей и запах свежееотпечатанной газеты. Заметка была небольшая, в несколько строк, но их оказалось достаточно.

Позднее я прочитал у К.-Г. Юнга о том, что порывистая юношеская готовность и даже желание умереть ради осуществления идеала сменяется в более зрелые годы желанием жить и бороться ради достижения поставленной перед собой цели.

Тут же на площади вспомнил я Илью Рипса, его седую бороду, темную шляпу, летящие вверх брови над темными круглыми глазами и довольно молодое еще лицо. Потом мне пришло в голову, что подобного рода фигуры встречались, должно быть, на улицах довоенной Риги, города с большим еврейским населением и даже еврейским театром.

Расставшись с Эриком, я отправился побродить по центру города, где, за исключением рекламы, всё было более или менее как в старые времена: пятна света на асфальте чередовались со свежими зелеными газонами, голуби бродили по каменным плитам в поисках крошеного хлеба, звенели на поворотах летние полупустые трамваи и поливальные машины медленно двигались вдоль газонов, разбрызгивая над ними слои радужной пыли.

После двух часов приятных и совершенно бесцельных блужданий по согретому солнцем центру города я оказался в магазине «Максла».

В стародавние времена улица, на которой находился магазин, называлась улицей Суворова, и порой, возвращаясь домой после прогулок с Эриком, я проходил мимо освещенной витрины магазина «Максла», что по-латышски обозначает «искусство», принимал к стеклу, разглядывал обложки книг: так началось мое знакомство с творчеством Диего Риверы, Давида Сикейроса, Хосе Клементе Ороско и

других мексиканских муралистов, о которых много писали и рассуждали деятели отечественной культуры в то время.

Название магазина запомнилось легко и быстро, мгновенно, возможно еще и потому, что звучанием своим оно напоминало то ли о слове «масло», то ли о живописи и красках, масляных красках в металлических серых тюбиках с бумажными наклейками. Слово это запомнил я в свое время вместе с другим, основательным, темным и угловатым «майзе», означавшим «хлеб».

В юности, возвращаясь домой из школы, я почти каждый день заходил в хлебный магазин на улице Свердлова, где покупал батоны, халы и черный хлеб с тмином. Помню висевшие на стене за кассой портреты вождей первого в мире социалистического государства. Затем я шел домой по улице Кирова мимо Стрелкового парка, или, как его называли коренные жители Риги, парка Кронвалда.

Мои родители и я переехали в Ригу уже после войны. Латвия в ту пору нуждалась в специалистах-энергетиках для восстановления разрушенной войной энергосистемы. Уезжали они из полуразрушенной Одессы в город, где отцу предложили не только работу, но и служебную квартиру, в которой мы и жили вплоть до отъезда в Израиль.

Засыпанные желтыми листьями аллеи парка и голубая гладь городского канала, вдоль которого и был разбит парк с деревьями, под которыми росли кусты боярышника и японского багрянника, привлекали меня не только осенью, но и зимой, в неяркие зимние дни, когда парк превращался в мерцающее оттенками белого и серого полотно с темными ветвями деревьев и снегом, помеченным следами пешеходов и птиц. В солнечные же дни зимы горки сметенного с тротуара снега сверкали на фоне темных стволов, сгущавшихся в глубине парка. Все это, мне казалось, требовало запечатления, но отчего-то не привлекало большого внимания местных художников.

Придя домой, я отрывал очередной листок домашнего отрывного календаря. Сменялись дни, уходили памятные даты, но я сохранял отдельные, заинтересовавшие меня странички, отпечатанные на сероватой газетной бумаге. Обычно это были странички с портретом того или иного исторического лица вместе с указанием дня, даты и того события, что делало этот день юбилейным. Например, это мог быть день рождения Катулла, Канта или академика Тарле, чья книга о Наполеоне стояла на той же полке, что и тома «Всемирной истории».

Иногда, в дождливые дни, когда жизнь казалась монотонной и скучной, я садился у окна с видом на желтую стену, темные рамы и серые стекла соседских окон, глядевших в тот же «колодец», и пересматривал странички календаря, пытаясь заполнить молчание стен и высокого потолка, лишь изредка прерывавшееся боем часов.

В те времена внутреннее пространство магазина «Максла» отличалось от пространства прочих подобных магазинов просторными деревянными столами, играющими отраженным светом паркетными полами и геометрически идеальными древесными полками с книгами по искусству и глиняными горшками, наполненными кистями и цветами, свободно стоявшими у стен мольбертами с натянутыми на подрамники холстами и прислоненными к стенам подрамниками и рамами самых разных видов и размеров. Присутствовал в глубине магазина и рабочий стол для изготовления подрамников и рам, заваленный наборами реек, плашек, разного вида багета, инструмента для нарезания стекла, разнообразного вида заклепок и мотков тонкой серой веревки.

Краски, мелки и карандаши были представлены в магазине в изобилии, так же как и кисти различных размеров в покрытых глазурью глиняных кувшинах. Помимо тюбиков с красками, кистей, мольбертов, рам и репродукций за толстым стеклом витрин располагались на полках альбомы по искусству, книги по искусствоведению, в том числе и выпущенные местным издательством того же названия, что и магазин.

В глядевших на улицу Суворова витринах стояли глиняные сосуды, заполненные живыми цветами, от фиолетовых ирисов и красных гвоздик зимою – до пунцовых роз и бледно-желтых и порою даже бледно-лимонных кувшинок летом.

В те годы юности «Максла» был единственным в своем роде магазином в пространстве студии; что же до издательства под тем же названием, то я не знал, где оно располагалось, помню только, что часть выпущенных им книг была на русском языке.

Ближе к концу последнего школьного года я иногда заглядывал в «Максла» после киносеанса в расположенном неподалеку и наконец-то восстановленном после пожара «Палладиуме» и, поглядев на книги, просил показать мне заранее намеченную. В ответ продавцы непременно спрашивали, по карману ли мне эта дорогая книга, хочу ли я купить ее или просто посмотреть, и я или признавался, что хочу просто посмотреть книгу и не знаю, куплю ли ее, либо, приоткрыв кошелек и показав несколько денежных купюр, отвечал, что ищу подходящую для подарка книгу. В этом случае я обычно просматривал несколько книг и покупал какую-нибудь книгу с репродукциями или об искусстве. Продавщиц такой выход устраивал, меня тоже. Иногда я покупал книги о театре – чаще всего мемуары, иной раз и томики пьес современных авторов.

Порой попадались мне книги о современном западном театре, и такого рода книги были интересны не сами по себе, а лишь набором

цитат, представлявших воззрения тех или иных театральных деятелей и критиков. Их, посвященных театру, литературе, философии или живописи, выходило в пору моей юности немало. Читали их самые разные люди; часть их, как я понял позднее, читала по тем же причинам, что и я, ибо в ту пору множество порой совершенно не связанных между собой людей уже понимали, что им придется знакомиться с идеями ряда философов и мыслителей по пересказам и цитатам. Впрочем, всё это было позади, как и те «золотые денечки бокса», о которых говорит герой фильма Майкла Андерсона «Меморандум Квиллера» по сценарию Гарольда Пинтера.

В те дни лета 1993 года, о которых я рассказываю, магазин «Максла» нуждался в ремонте, в свежей краске для стен и в новых стеллажах для книг. Книг было много, и вскоре, проглядывая полку *second hand*, я обнаружил довольно потрепанный экземпляр книги Рихарда Дубровского «Жизнь на сцене». Полистав пожелтевшие страницы изданной в 1988 году книги, я открыл раздел иллюстраций, напечатанных на более качественной, глянцевой бумаге, и сразу же наткнулся на фотографию Рихарда и Илоны в сцене из «Ромео и Джульетты». В этом поставленном Рихардом спектакле Илона исполняла роль Джульетты, а Рихард появлялся на сцене в роли отца Лоренцо.

Я не запомнил тот первый, давным-давно ушедшей день, когда Илона появилась у нас в классе в качестве преподавателя истории. Было это в самом начале сентября нашего последнего, выпускного года; но даже и годы спустя, обмениваясь с одноклассниками сведениями о том, что произошло с общими знакомыми, мы вспоминали ее. Она была старше нас лет на пять-семь, но, общаясь с нами, всегда оставалась открытой и прямой, и одной из причин общего доброжелательного отношения к ней было, возможно, то, что, являясь частью мира взрослых, она никогда не подчеркивала этого в отношениях с нами. С годами различие в возрасте стало малозаметным, а симпатии наши поддерживало то обстоятельство, что она была не только достаточно известной в городе персоной, но еще и хороша собой. Лето она обычно проводила на взморье, где у ее родителей была дача.

Когда-то, довольно давно, Илона была женой Рихарда Дубровского и, как говорили, они поддерживали приятельские отношения в течение многих лет после развода, что до какой-то степени подтверждала лежавшая передо мной книга. Имя ее фигурировало в выходных данных, где Илона Алунан значилась редактором, а в кратком авторском предисловии сказано было о «глубокой и искренней благодарности» автора Илоне, «без деятельного участия которой эта книга никогда не была бы написана и не увидела бы света...»

ГЛАВА 4

Шелест пожелтевших страниц напомнил мне о книгах, обнаруженных на купленной Эриком даче. Книги эти, судя по выходным данным, собирали годами. Разрозненные тома «Библиотеки приключений» и собрание сочинений Томаса Майн Рида, дополненное отдельным изданием «Всадника без головы», а также том сочинений Ивана Ефремова, включавший и повесть «На краю Ойкумены», – всё это я обнаружил на полке в детской комнате дачи, купленной Эриком вместе со всей мебелью, старым кабинетным роялем в гостиной на первом этаже и кухонной утварью, оставленной хозяевами.

Второй этаж представлял собой обширную, разделенную на несколько спален и коридор, мансарду с наклонными, глядевшими на облака и верхушки сосен, окнами.

Просторная кухня-столовая располагалась на остекленной веранде, глядевшей на несколько теснившихся у деревянного забора лип.

– У кого ты купил эту дачу? – спросил я у Эрика.

– Еврейская семья, которая эмигрировала в Штаты, куда-то в Калифорнию или во Флориду, я так и не понял, – ответил Эрик задумчиво, – они как бы говорили о Калифорнии, но отделение банка, на которое я переводил деньги, оказалось в Майами. Всё как всегда... Абсурд и путаница...

Читалась написанная Рихардом книга легко и содержалось в ней немало интересного материала. Читал я ее по утрам, до завтрака, и каждый день, отправляясь на пляж и глядя на облака над дюнами, соснами и убегающим вдаль зеркалом Рижского залива, вспоминал прочитанное накануне.

Покончив с завтраком, мы, выйдя за калитку, направлялись по песчаной дороге к железнодорожному полотну, за которым начинались поросшие высокими соснами дюны. За ними простирался сбегавший к морю песчаный берег, у края которого начиналось море, зеленоватая с желтоватым оттенком вода и череда отмелей, помеченных светлыми полосами прозрачной влаги, уходившей вдаль и постепенно менявшей цвет в сторону берлинской лазури на фоне тронутого желтизной неба свода, в котором плыли, громоздились, сливались и висели тронутые фиолетовыми бликами облака.

Если же попытаться выделить то, что показалось мне важным в книге Рихарда Дубровского, – она вполне убедительно свидетельствовала о том, что за годы, прошедшие со времени моего отъезда, многое изменилось, а сам Рихард Дубровский из фигуры, скажем, театральной, то есть как минимум двусмысленной или даже несколько спорной в пору моей юности, действительно превратился в одну из

признанных фигур культурного ландшафта определенного, уже оставшегося позади периода в жизни города. Изменения, впрочем, коснулись не только статуса Рихарда Дубровского, но и сферы при-
ложения его талантов.

Ко времени издания книжки он почти прекратил сниматься в красочных эпизодических киноролях лощеных джентльменов или гестаповских офицеров, а превратился в театроведа, известного драматурга и популярного у студентов консерватории лектора и руководителя курсов сценического мастерства. Следует также упомянуть и о том, что несколько его пьес впервые увидели огни рампы в его постановке.

Написана книга была довольно живо, эмоционально и со множеством ярких деталей, сохранных до наших дней цепкой памятью Рихарда. Начиналась она с рассказа о путешествии молодого актера из Тбилиси в Ригу, предпринятом в 1948 году, о его первых впечатлениях от города на Даугаве и описания посетившего его ощущения возвращения во времена проведенного в Берлине детства. Рихард делится впечатлениями от встречи с образцами архитектуры стиля Art Nouveau и различных его вариаций, включая и тяготеющий к своим немецким истокам Jugendstil. Затем в повествовании возникало имя Сергея Эйзенштейна, уроженца Риги, чей отец внес немалый вклад в создание архитектурного направления, именуемого *рижский модерн*. Доходные дома, спроектированные и выстроенные им, с монументальными лицами его любимых оперных певиц на фасадах, словно заставили разговориться и даже запеть немые до того улицы и удачно вписались в изначально строгий облик северного, с садами и парками ганзейского города, раскинувшегося на берегах голубой реки с ее бегущими к заливу и отдающими зеленью волнами...

Рассказ Рихарда о поисках жилья и первых знакомых в послевоенном городе с руинами сгоревших и разрушенных домов, о поисках родственников и их судьбах, о первой своей встрече с труппой Театра русской драмы, недавно возобновившей свою деятельность, о взаимоотношениях с режиссерами и, наконец, о своих проблемах, связанных с незнанием местных прибалтийских реалий; краткие упоминания о послевоенных отрядах «лесных братьев» и их «расстрельных списках», об их жестокости и постепенном перерождении из «борцов за свободу» в криминальные банды. И, наконец, осторожно и даже, я бы сказал, *вскользь* касался Рихард проблем, связанных с продолжавшимися вплоть до 1954 года депортациями десятков тысяч людей, «социально чуждых» и «националистически настроенных». В целом же книга Рихарда рассказывала о том, как складывался его путь в драматургию и режиссуру, ибо пока его первая

оригинальная пьеса о судьбе писем Пушкина, адресованных А.П. Керн, дописывалась и переписывалась с учетом разнообразных требований и пожеланий рецензентов и медленно продвигалась в сторону сцены, Рихард написал и поставил несколько вполне оригинальных сценических адаптаций знакомых и полюбившихся ему со времен юности произведений. Пьесы его были с интересом приняты зрителями, и критикой, и даже заслужили лестный отзыв от одного из оставшихся в живых учеников Мейерхольда, указавшего на наличие в них «трагического звона».

В один из вечеров мы с Эриком, вспоминая прошлое, засиделись за полночь, и вдруг в разговоре наступила пауза. Эрик задумался, а я ожидал, чем его молчание закончится. Так уже бывало с ним и не раз: перед тем как рассказать что-то важное, он вдруг замолкал на какое-то время, а потом... мне оставалось только слушать его.

– Не знаю, как сказать, вернее, как начать говорить об этом, – сказал Эрик, – поверь, я не считаю, что то, что происходит между мной и Илоной, является в какой-либо мере странным, неестественным или постыдным. Я просто хочу сказать тебе, предупредить тебя о характере наших отношений, чтобы ты не чувствовал себя в той или иной мере даже не обманутым, нет, – скорее, *не предупрежденным*, – просто для того, чтобы избежать ненужной сконфуженности, хотя я ни на минуту не предполагаю, что тебе, твоему поведению или оценкам присуще ханжество или лицемерие...

Я попытался было сказать что-то в ответ, но он остановил меня легким движением руки, и я снова обратился в слух.

– Правда, я понимаю, как это выглядит со стороны, – я говорю не об Илоне, я говорю о себе и о моей жене. Но тут я хочу сделать отступление и спросить тебя – нет, нет, не думай, что я спрошу у тебя, изменял ли ты своей жене? Жизнь полна возможностей, какие-то мы отвергаем, какие-то вынуждены принять, каким-то бросаемся навстречу. Не знаю, о чем думала она, Илона, но у меня возникла – ты меня поймешь – какая-то иллюзия свободы, – и он снова отпил глоток коньяка из бокала. – Пойми, я привык к своей регулярной жизни – дом, работа, иногда концерты в филармонии, семья, наконец, – всё это я покидаю только тогда, когда раздумываю над своими, как ты говоришь, «призрачными фигурами» и связанными с ними вопросами. Вообще-то занятие это называется топологией, что, в сущности, неважно. Важно совершенно другое... Я как бы позабыл о многом, когда приехал сюда, то есть жизнь моя изменилась, и я как бы увидел Илону со стороны, не только через мое персональное время, отмеченное известными мне событиями, но я вдруг увидел ее иначе...

– Ее? Кого ты имеешь в виду? – спросил я довольно глупо.

– Да-да, ты прав, я неточно выразился, и понять то, что я сказал, можно двояко, – это, пожалуй, именно тот случай, когда то, что я сказал, относится и к моей жизни, и к Илоне. И само изменение в том, как я ее вижу – как я вижу мою жизнь, – связано с Илоной, при том, что и ее я стал видеть и воспринимать совершенно иначе. Пойми, она вошла в мою жизнь и изменила ее кардинально. Именно кардинально... Ты знаешь о том, что такое кардинальность в математике?

Именно в этот момент я понял, что Эрик растерян и оттого пытается анализировать свою жизнь и произошедшие в ней изменения в каких-то смутных и далеких от меня математических терминах – возможно, чтобы объективировать ее, найти какой-то способ посмотреть со стороны... На Илону? На свою жизнь?

Потом я вспомнил рассказ Эрика об Эйнштейне, который однажды спросил: изменится ли Вселенная оттого, что на нее смотрит мышь? Наверняка, пример берлинского профессора повлиял на Эрика, ведь он так же занимался вопросами геометрии, – и вот теперь, прожив несколько лет в Берлине, он заинтересовался давно знакомой ему женщиной настолько серьезно, словно сам осознал, что нечто чрезвычайно простое, подобное падению яблока с дерева, связано с загадочной силой, управляющей мирами, их формой и судьбой...

– Я понимаю, что это звучит как бред, – сказал Эрик, – но я не лгу... Иногда мне кажется, что я всю жизнь к этому стремился, возможно и не отдавая себе отчета... Мне кажется иногда, что я ее искал, – добавил он, – и что из-за нее я сюда и приехал...

– Выпей еще, – сказал я, – это помогает. Постепенно всё станет на свои места...

– Какие места? О чем ты говоришь? – сказал он, словно не понимая. – Теперь у меня две жизни: одна в Берлине, а вторая здесь... И когда я не работаю, мне кажется, я разделяюсь на две части, которые вновь соединяются в одно целое, только если я начинаю заниматься своими делами....

– Ну а что-то подобное с тобой уже бывало? – осведомился я.

– Нет, – ответил мне Эрик, – никогда... То есть, у меня было несколько связей на стороне, но всё это было как бы ситуационно, внешне... Ну, знаешь, какая-нибудь конференция, где однажды вечером все так напиваются, что потом трудно вспомнить, как ты затащил ее в постель... Или еще что-нибудь... А тут всё происходит совершенно иначе... Ты в ясном сознании, но оно направлено в необычную сторону... Ты как бы всё понимаешь и, в то же время, тебе кажется, что тебя куда-то уносит... И всё предстает и видится совсем по-другому... Впрочем, ты сам всё увидишь и поймешь...

Она появилась на следующее утро, часов около одиннадцати, с букетом из белых, желтых и розовых цветов. Сначала я увидел ее из окна: она отворила калитку и направилась к дому. Похоже было, что последнее десятилетие прошло мимо Илоны, ее не заметив. На плечи ее была наброшена кремовая шаль из шелка; шаль струилась и слегка переливалась.

Я вспомнил, что ее дочь должна была поступать в МГУ в этом году, Эрик рассказал мне об этом прошлой ночью.

– Что-то очень экзотическое, – сказал он, – типа антропологии...

Потом я услышал голос Илоны, обращенный к хозяину дома, который встретил ее и провел в гостиную.

– Я привезла настурции, – сказала она, – но не знаю, есть ли у тебя ваза? Если ее нет, то мы можем поехать и купить, я знаю одну лавку с хорошей керамикой...

Через мгновение я спустился вниз.

– Илона...

– Да, Саша, – произнесла она и сделала шаг мне навстречу, – давай будем на «ты», ведь мы уже взрослые люди, правда?

Мы обнялись. Я коснулся губами ее щеки.

– Рад тебя видеть, – сказал я.

– И я тебя, – ответила она.

Так мы встретились первый раз после долгого перерыва.

И тут, пожалуй, будет правильно и уместно рассказать о том, что представляется существенным и важным для данного повествования, не впадая при этом в крайности восторга или осуждения. Говоря просто, я предлагаю придерживаться фактов, к которым мы обратимся без каких-либо попыток морализаторства.

Итак, прежде всего нам следует отметить, что обстоятельства жизни Эрика и его жены изменились после кончины ее матери. Произошло всё это достаточно гладко, так как Эрику удалось убедить жену в том, что любое вовлечение адвокатов в процесс перестройки их семейных отношений обернется против них обоих. И это, я думаю, подтверждает то, что Эрик однажды сказал о своей жене. «Она умеет считать, – сказал он, – на несколько ходов вперед. И если ты сумеешь убедить ее, что поступаешь правильно или что избранная тобой стратегия ведет к взаимовыгодному решению, то она готова принять твои доводы. Она тоже получила математическое образование. Этим, наверное, исчерпываются преимущества.» Признаюсь, больше ничего заслуживающего внимания о его бывшей жене я от Эрика не слышал.

История его семейной жизни начиналась еще со времен университета: Эрик и Фаина учились на одном курсе, и Эрик с удоволь-

ствием пользовался ее конспектами лекций. Фаина была аккуратна, серьезна и, как мне казалось, бесконечно преданна Эрику. Их сын служил в израильской армии в десантной части, был ранен в ходе одной из операций, награжден и, покинув армейские ряды, поселился вместе с семьей на севере, недалеко от границы с Ливаном. В те же края, поближе к сыну, переехала и бывшая жена Эрика после смерти ее матери.

– Видишь ли, я предложил Фаине перевести наши отношения не в стадию развода, а в стадию *separation*, разделения, то есть раздельной жизни, ибо мы с Илоной никогда не рассматривали вопрос о браке. И Фаина на это пошла, – сказал Эрик в нашу следующую встречу. – Ну а что до наших отношений с Илоной, то мы приняли за основу концепцию партнерства. *Partners in crime*, – усмехнувшись, добавил он, – теперь мы стали кем-то вроде сообщников. Поверь, Саша, нам очень хорошо вдвоем, нам нравится быть вместе, путешествовать, смотреть по сторонам, пить кофе, беседовать, обмениваться мнениями, нам интересно – и мы уважаем друг друга. Что еще нужно для счастья?

Часть вторая

ГЛАВА 1

Ян Артурович Алуна, отец Илоны, был высокий и крепкий человек с серыми глазами, светлой с проседью, стриженной под бобрик головой и бледным румянцем на щеках. Родился он в самом начале века в латышской семье из Елгавы, оказавшейся в Томске вместе с другими переселенцами вскоре после начала Первой мировой войны и начала немецкой оккупации Курляндии. Окончив Томский технологический институт, где он получил приличное по тем временам образование инженера-путейца, молодой инженер участвовал в организации институтского отдела развития железнодорожного транспорта и в создании первой партийной ячейки среди преподавателей и сотрудников института. Пройдя не одну чистку, он остался на руководящей работе в Сибири, а с 1931 года жил в Москве, где работал в аппарате Совмина.

Он научился подчиняться приказам, молчаливо проклиная в глубине души и приказы, и тех, кто их отдает. Определенного рода стоицизм помогал ему и дома; женился он в 1936 году, совершенно не подозревая того, с какого рода персоной ему предстоит делить припасенные жизнью радости и невзгоды. Будущая жена привлекла внимание Алуна сразу же во время их первой встречи. С другой стороны, он

знал, что если будет женат к тому моменту, как подойдет его очередь на улучшение жилья, шансы на получение отдельной квартиры неизмеримо вырастут. К тому же состоявшаяся в скором времени после знакомства встреча с родителями этой светловолосой, стройной девушки укрепила его уверенность в том, что он делает правильный ход.

Мать Илоны, Любовь Андреевна Щелокова, закончила Историко-архивный институт и, при содействии своего отца, сотрудника архива Министерства обороны, попала на работу в архив Совмина, где и столкнулась однажды со своим будущим мужем, составлявшим очередную затребованную сверху справку.

– Будешь работать в архиве, дочка. Справки составлять. Глядишь, там и мужа себе отыщешь, – предсказал задолго до их встречи Щелоков-старший. Он в свое время женился на одной из активисток женотдела, встреченной на курсах повышения квалификации совпартработников.

Когда родители Любы узнали о предложении руки и сердца, сделанном Яном Артуровичем Алунаном их дочери, они серьезно задумались, стоит ли Любе выходить замуж за этого серьезного, но не очень понятного им человека; смущала нерусская фамилия и отсутствие возможности познакомиться с родителями Алунана, проживавшими в далеком Томске. В конце концов, и Щелоков-старший, и его супруга благословили молодых, но благословили не без колебаний.

В целом же будущий зять представлялся родителям Любви Андреевны человеком серьезным, хозяйственным, организованным и не пьющим, во всяком случае сверх меры, – этого, по их представлению, было достаточно для счастливой семейной жизни.

Учеба в вузе потребовала от Любы серьезных усилий и дисциплины, особенно в части изучения иностранных языков, и эти нарабатываемые качества в сочетании с удачным браком сделали из Любви Андреевны Алунан партийную даму, скрывавшую за строгим взглядом и ненакрашенными губами любовь к пирогам, пельменям и незлобное, а скорее, доброе женское сердце.

Вскоре после рождения дочки, произошедшего перед самым началом войны с Германией, Ян Артурович принял участие в организации переброски промышленных предприятий за Урал, провел несколько лет в Сибири, а затем вернулся в Москву, где все эти годы находилась его семья. Позднее, уже после смерти Сталина, он получил назначение в аппарат латвийского правительства, нуждавшегося в опытных специалистах для управления восстановленной после войны промышленностью Латвии.

После переезда семьи в Ригу Илона проучилась несколько лет в

русской школе, где одним из предметов был латышский язык, и ей пришлось изучать латышский дополнительно, со специально нанятым преподавателем, чтобы сдать выпускные экзамены вместе с одноклассниками. Покинув школу с золотой медалью, она поступила на исторический факультет Московского университета. Защитив диплом, она после длительных раздумий решила, к удивлению родителей и знакомых, не поступать в аспирантуру, а вернуться в Ригу и начать преподавать в школе для обретения того, что называется «жизненным опытом», который позволил бы ей точнее определить, чем она, в сущности, хочет заниматься. После пяти лет в Москве сама идея жизни в Риге, где она обычно проводила часть летних и зимних каникул, казалась Илоне чрезвычайно привлекательной. Присутствовал в этом проекте новой рижской жизни и определенный, уже знакомый Илоне аромат другого жизнеустройства, памятный по совместным с родителями поездкам за границу, в Польшу и Чехословакию.

Конечно, это была совсем не Москва с ее размахом и грохотом, фестивалями и выставками, но было в Риге свое очарование, пусть скромное, но вполне европейское, которое казалось ей несомненным достоинством. Нравилась ей и возможность улучшить свой латышский, родной язык отца, а отца она искренне любила.

Илона начала работать в вечерней школе и уже в следующем году была принята в труппу «народного театра» – достижение, которым она гордилась, ибо блестяще прошла три тура конкурса и собеседование с приемной комиссией, где, она была уверена, никто ничего не знал о том, кем является ее отец, ибо на первый экзамен она пришла, что называется, «с улицы», то есть без каких-либо предварительных звонков или разговоров.

Ей нравились рижские бульвары, сады и Бастионная горка, нравилась старинная фарфоровая посуда и керамика в комиссионных магазинах, нравилась рижская мебель, дома в историческом центре города и следы ганзейского присутствия. И еще она любила рижскую весну и поездки на взморье, медленно текущие реки и большие белые с желтым кувшинки. Здесь, в Риге, в отличие от неумолкающей Москвы, она ощущала себя не случайной частицей огромной и подвижной мозаики, а действующим лицом в естественном окружении. К тому же Илона знала, что, возникни у нее желание, она всегда сможет вернуться в Москву, ибо в столице за Яном Артуровичем оставалась средних размеров квартира в Лиховом переулке, где по-прежнему проживала ее бабка со стороны матери.

В следующем учебном году гороно направило Илону преподавать историю в нашу небольшую школу, возникшую в результате разделения большой и шумной школы, размещавшейся в облицованном

серым камнем конструктивистском здании со стеклянными панелями фасада над входом. Новая школа, в которую были переведены лучшие классы из старой, находилась ближе к центру города, на уютной небольшой улице, в здании, которое еще совсем недавно занимал райком партии, переехавший, в свою очередь, в новое строение по соседству с огромным угловым домом на улице Ленина, занятым управлением госбезопасности.

Сам же Янис Алунан, как его теперь называли, вместе с женой и дочерью Илоной жил в просторной квартире на бульваре Яна Райниса, отремонтированной перед их въездом. Кроме того, в их распоряжение поступила дача на взморье, в Булдури. И, наконец, у них появилась домработница Милица, пожилая и одинокая уроженка Латгалии.

Милица неплохо говорила по-русски и понимала все распоряжения и указания матери Илоны, но с гораздо большим удовольствием выслушивала наставления, исходившие от самого Яна Артуровича.

Появление Милицы многое изменило. Жизнь в доме стала более устроенной и предсказуемой. Похоже, ее присутствие внесло новую ноту в отношения между его обитателями и отметило весь их быт и порядок существования определенной балтийской мерой. С ее приходом среди блюд, подаваемых к завтраку, обеду и ужину, появилось немало блюд традиционной латышской кухни. Теперь в холодильнике всегда можно было найти всевозможные домашние сыры вроде бакштейна, а также почитаемый в Латвии, да и вообще в Прибалтике, тминный сыр. Более того, время от времени Милица готовила молочный суп с рыбой, подавала на стол жареные колбаски с брусничным соусом, тушеную капусту со свиным шпеком, запеканку с селедкой и картофелем, а также клопсы — бифштексы с луком, не говоря уже об овощных пирогах и киселях с ревенем, сливками или фруктами.

Появилась в доме и новая, керамическая посуда работы местных мастеров, отличная рижская мебель и несколько пейзажей, приобретенных в комиссионном магазине по совету эксперта из Министерства культуры.

Появление в доме Милицы заставило Любовь Андреевну обратить больше внимания не только на свою диету — она страстно не желала полнеть, но и на то, что женская мода в Риге несколько отличалась от московской: это был север, Прибалтика и, кто знает, быть может и само наличие стран Скандинавии в числе географических соседей отражалось на рижской моде и поведении рижанок. И хотя Любовь Андреевна не задумывалась об особенностях геополитического положения Латвии, какие-то вещи и факты она смогла оценить мгновенно, даже и не пытаясь осмыслить их.

Вскоре после переезда в Ригу Любовь Андреевна начала работать в отделе русской книги республиканской библиотеки, а изучением латышского языка занималась с приходившей в квартиру на бульваре Яна Райниса учительницей. Именно от нее Любовь Андреевна узнала, что носит ту же фамилию, что и создатель письменной латышской поэзии. Более того, ту же фамилию носил, как оказалось, и один видный деятель латышского национального театра. Это ее поразило, она начала понимать, отчего в глазах ее коллег по работе появлялась порой тень вопроса, когда собеседники узнавали ее фамилию.

Однажды, сидя на кухне, уже после обеда, она принялась, ссылаясь на услышанные от своей учительницы латышского языка сведения, расспрашивать мужа о его прошлом, родителях и родственниках, но ничего, по сути, не добилась. Он внимательно выслушал ее, глядя на тарелку с недоеденным винегретом и стоявшую перед ним кружку светлого пива. То, что в Москве никогда и никого не интересовало, здесь всплыло на поверхность в ходе одного из первых же уроков латышского языка.

Естественно, он объяснил своей жене, что имеет весьма косвенное отношение и к поэту, и к известному деятелю театра, что родителей его уже, как ей хорошо известно, давно нет в живых, к сожалению, а город Елгава, или Митава, как он ранее назывался, был чрезвычайно сильно разрушен в ходе последней войны, и он сомневается, удастся ли ему отыскать кого-либо из действительно близких людей, – учитывая то, что родители его когда-то жили и вели хозяйство на хуторе, разоренном и заброшенном еще в самом начале Первой мировой войны.

С той же учительницей улучшала свои познания в латышском языке и Илона. После занятия с педагогом она обычно убегала в расположенный на одноименной улице репетиционный зал «Народного театра имени Кришьяна Барона». Пожалуй, помещение театра было именно тем, почти единственным, местом, где Илона, постепенно привыкавшая к жизни в Латвии, чувствовала себя «вполне на месте».

Первая же постановка, в которой Илона успешно справилась с ролью учительницы, направленной в «трудную» школу, упрочила ее положение в труппе и убедила в том, что все затраченные усилия были не напрасны. Ее героиню любили, ею восхищались, и порой Илоне трудно было различить, к кому относились те слова, которые ей нравилось слышать.

Впрочем, слова эти ей доводилось слышать уже не раз.

Ухаживали за нею сверстники в школе, позднее были у нее поклонники среди студентов с истфака и других факультетов, да и в театре не оставалась она без внимания. Но она не увлеклась настоящим ни исполнителем роли Ромео, ни даже талантливым и

дерзким молодым человеком, назначенным на роль Меркуцио, хотя ей и нравилось смотреть из-за кулис на синеглазого и черноволосого Андриса Иванова, читающего монолог, посвященный королеве Маб:

Всё королева Маб. Ее проказы.
Она родоприемница у фей,
А по размерам – с камушек агата
В кольцо у мэра...

.....
Она пересекает по ночам
Мозг любящих, которым снится нежность,
Горбы вельмож, которым снится двор,
Усы судей, которым снятся взятки,
И губы дев, которым снится страсть...

Однако увлеклась она, в конце концов, не Андрисом, а приглашенным для постановки этого спектакля Рихардом, который к тому же исполнял роль духовника Ромео, отца Лоренцо.

При первом своем появлении в «народном театре» Рихард сказал, обращаясь к труппе:

– Я знаю, что многие из вас хотели бы спросить у меня, отчего мы выбрали именно «Ромео и Джульетту» для нашей следующей постановки. Как это относится к нашим дням? Ведь действие «Ромео и Джульетты» разворачивается несколько сотен лет тому назад. Да и к тому же Верона, где разыгралось действие этой трагедии, так далека от нас географически. Уверен, однако, что все вы слышали о недавно поставленной в Нью-Йорке «Вестсайдской истории». Либретто этого мюзикла написано по мотивам шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» и рассказывает нам о трагедии любви в капиталистическом мире. Ну а нам, наверное, следует взяться за постановку этой трагедии Шекспира для того, чтобы рассказать нашей молодежи о силе любви, побеждающей все преграды и предрассудки!

Слушая его, Илона поймала себя на том, что голос Рихарда, говорившего, в сущности, ни о чем, обволакивал, и ей хотелось повиноваться этому голосу, в нем были и сила, и спокойствие, и уверенность в себе, и та загадочная дополнительная нота, которая заставила Илону подумать о том, что этому мужчине она могла бы отдаться целиком и без оглядки. Более того, она желала этого.

– Ну вот, – сказала она себе через мгновение, – ты и влюбилась в актера. Как самая заурядная барышня. Но что же делать, если он такой интересный?

И она засмеялась, так как ощутила или поняла, что ее жизнь меняется, и ей предстоит нечто, не идущее ни в какое сравнение с уже пережитым и прочувствованным ею.

Всё дело в том, что, уехав из Москвы в Ригу, к родителям, Илона распрощалась и с профессором В. А. Андреевым, человеком, который покровительствовал ей на протяжении трех последних курсов, руководил ее дипломом и стал ее первым любовником. Это был интересный в общении, хорошо сохранившийся неженатый мужчина средних лет, талантливый историк, специалист по античности, галантный и щедрый кавалер, которому, безусловно, льстило то обстоятельство, что Илона увлеклась им настолько, что без колебаний уехала с ним отдыхать в Крым после окончания третьего курса, сообщив при этом родителям, что согласно утвержденному учебному плану отправляется на раскопки древнего Херсонеса Таврического.

Определенная ирония ситуации состояла в том, что Илона следовала не учебному, а намеченному ею самой плану, совпавшему с планами профессора В. А. Андреева. План же Илоны состоял в том, что ей хотелось стать, наконец, женщиной, но прийти к этому результату ей хотелось в достаточно комфортабельных и в то же время романтических условиях и окружении. Несмотря на несколько ироничное отношение к этому своему плану, Илона считала его разумным и вполне осуществимым. «Надо только не мешать ему», — думала она о профессоре В. А. Андрееве, к которому относилась хорошо, но с некоторой долей иронии; такой же легкий оттенок снисходительности присутствовал и в ее отношении к родителям, которых она, безусловно, любила, полагая при этом, что они — дети своей эпохи, и требовать от них чего-либо иного, в определенные стандарты не вписывающегося, было бы просто глупо.

Однако не всё оказалось столь интересным и захватывающим, как это представлялось Илоне поначалу, и речь тут идет вовсе не об интимной сфере, в этой зоне бытия всё произошедшее показалось ей достаточно естественным, волнующим, приятным и дарующим освобождение, а сам профессор В. А. Андреев — внимательным и чутким партнером, что наполнило ее ощущением благодарности к нему, когда наиболее тонкая и деликатная часть их общения пришла к своему естественному разрешению. Нет, сложности оказались связанными с сопутствующими, периферическими обстоятельствами.

Дело в том, что значительная часть отношений профессора с коллегами, товарищами и администрацией, а также отношение его к жизни *en general*, а Илона любила французский язык, который изучала в университете, так вот, значительная часть отношений профессора показалась ей весьма устаревшей по стилю и провинциальной по

существо. Возможно, именно в силу этих обстоятельств ей захотелось чего-то другого, и она, приняв решение об отъезде из Москвы, осуществила его, ни на йоту не отклонившись от намеченного плана, хотя и понимала, что ведет себя достаточно жестоко по отношению к профессору, под руководством которого писала свою дипломную работу, посвященную участию императора Марка Аврелия в войне с германцами.

Когда дипломная работа Илоны уже подошла, по утверждению профессора В. А. Андреева, к своему завершению, он познакомил ее со своею матерью, всё еще подвижной, чрезвычайно воспитанной, но несколько ироничной по отношению к своему сыну дамой, однако ничего так не желавшей, как увидеть своего сына и его избранницу под венцом. Виктория Александровна занимала в прошлом довольно высокий пост в одном из крупнейших московских академических издательств и была близко знакома с рядом талантливых и неординарных людей, частью репрессированных. Несмотря на возраст, она сохранила ясную память и весьма недвусмысленным образом оценивала определенные страницы уже прошедшего времени. Более того, ее замечания и комментарии становились всё более ироничными по мере того, как сын начинал свои попытки урезонить ее. Похоже было, что он опасался ее критических замечаний, направленных в адрес власть предержащих. Илона же не могла не солидаризоваться с Викторией Александровной, ибо в некоторых ситуациях профессор В. А. Андреев звучал почти так же, как ее отец, Ян Артурович Алуан, и тогда Илоне казалось, что за ней, русалкой (а она отчего-то считала себя русалкой), ухаживает не молодой князь, а старый мельник.

Парадокс же ее отношений с Рихардом заключался в том, что его саднившая в ту пору рана не исчезла с появлением Илоны. Во всяком случае, чувство его по отношению к Илоне было несравненно глубже чувств, что он испытывал и к героиням всех остальных его театральных романов, и по отношению к своей предыдущей пассии, Зиночке Савельевой, травести, которая со времени появления в театре нового, прибывшего из Ленинграда главрежа, сразу обратившего на нее внимание, стала делить свое время между ним и Рихардом.

Правда, Зина, в конце концов, выбрала главрежа. Тот, пригласив Рихарда к себе в кабинет, поинтересовался его творческими планами и пожеланиями в связи с началом работы над новым спектаклем и, наконец, сказал, глядя в глаза Рихарда: «Ну, не на Савельевой же у нас свет клином сошелся... Есть, в конце концов, в театре и другие травести...»

После чего Рихарду пришлось, используя выражение пушкин-

ской поры, retirоваться, то есть расстаться с милой и забавной Зиной Савельевой. И хотя Рихарду не раз хотелось дать этому сморчку-главрежу по уху, он, естественно, ничего подобного не сделал.

Интересно, что когда отношения Рихарда и Илоны перешли в особую, предшествовавшую бракосочетанию, фазу, именно Любовь Андреевна, которую Рихард очаровал и обаял, твердо заявила Яну Артуровичу, что дочь их должна быть счастлива даже несмотря на то, что у Рихарда нет родителей, с которыми можно было бы познакомиться, а в качестве места рождения в паспорте его указан Берлин, что казалось Алунану особенно странным и подозрительным.

Однако всему этому имелось одно простое объяснение, о котором Илона в конце концов сообщила своей матери: отец Рихарда занимался, в сущности, тем же, чем и его родившийся в Баку друг по имени Рихард Зорге, в честь которого он и назвал своего сына. И совершенно неважно, подчеркнула Илона, что Рихард Зорге профессионально занимался журналистикой, а Аксель Дубровский был ветеринаром, оба действовали в интересах СССР, гражданами которого они всегда оставались. Что же до французского, то Рихард, по его собственному признанию, выпитал его с молоком матери, которую отец его встретил в начале 20-х в Берлине. Так были закрыты и более не поднимались вопросы о месте рождения Рихарда и об окутанной мраком судьбе его родителей.

— Все сведения о них и теперь остаются засекреченными, — пояснил Рихард со вздохом, сделавшим продолжение расспросов занятием совершенно неуместным.

ГЛАВА 2

Моей первой встрече с Рихардом Дубровским предшествовал разговор с Илоной в год окончания школы.

— Я знаю, многие считают его актером, работающим несколько отстраненно, не «во весь голос»; иногда люди даже говорят о нем, как о «холодном профессионале». Но это неправда, — сказала мне Илона, — ведь он просто приглашает нас внимательно взглянуть на его героев. И, поверьте, он умеет пользоваться своим обаянием, — добавила она.

Илона появилась у нас в школе в качестве нового преподавателя истории, но, помимо этого, всем одновременно, как это обычно и бывало, стало известно и то, что она совсем недавно стала женой известного всему городу актера Рихарда Дубровского-Балодиса. Стоит добавить, что между собой мы называли ее просто Илоной, она никогда не пыталась поставить кого-либо в сложное или двусмысленное положение, и мы платили ей тем же, полагая ее одной из «своих».

Бракосочетание ее, случившееся незадолго до прихода в нашу школу, оказалось приметным событием городской жизни. Сходный эффект произвела в свое время регистрация брака чемпиона мира по шахматам Михаила Таля и актрисы ТЮЗа Салли Ландау. Местная газета «Ригас балсс» (Голос Риги) опубликовала репортаж об этом событии под названием «Ход королевой».

— Так что все эти разговоры — неправда, — повторила Илона. Последние слова она произнесла слегка смущенно.

Разговор шел на перемене, мы встретились на лестнице, и она внезапно решила продолжить обсуждение спектакля «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Б. Шоу, на котором мы побывали всем классом. Рихард, естественно, играл роль Цезаря. Пожалуй, именно в этой роли он «рвал страсть в клочья», как никогда ранее.

— Он — талантливый человек, поверьте мне, — добавила она.

Вместе они представляли интересную пару. Оба — высокие, красивые люди. Она — с круглыми, большими карими глазами и хорошо прорисованными губами — прекрасно смотрелась рядом с видным, на полтора десятилетия старше ее мужчиной с голубыми глазами и эффектной прядью седеющих волос надо лбом, с хорошо поставленным голосом и величественно-правильными чертами лица, запечатлевшими необъяснимую готовность выразить что-то неизъяснимо важное и благородное. Впрочем, готовность эта могла быть рождена долголетней практикой исполнения определенного типа ролей в пьесах, поставленных на сцене театра, и совершенно ничего не значить в реальной жизни и даже, более того, не иметь к ней никакого отношения. Могла она означать и просто готовность актера ответить на ожидания публики именно таким образом, который ее бы устроил и к которому она была готова. Назовите это проявлением конформизма или просто защитной реакцией, но, в конце концов, и первое, и второе не перестает быть человеческой, а не формальной, реакцией на ситуацию, а это само по себе особенно ценно в наши времена...

Не следует, однако, думать, что Рихард Дубровский был человеком пустым и глупым, отнюдь. Он прекрасно знал тексты Пушкина, мог цитировать его письма, заметки, et cetera. Перу его принадлежала уже не раз переписанная пьеса, посвященная событиям жизни А.П. Керн.

Надо сказать, что Рихарду нравилось вести беседы о драматургии и обсуждать связанные с этой стороной его деятельности темы. При этом глаза его загорались каким-то оттенком золотисто-рыжего цвета — такой была когда-то, по слухам, его шевелюра. Того же оттенка щетина покрывала порой и щеки, заставляя его появляться на пуб-

лике в мягких, коричневатых тонов пиджаках и зеленоватых галстуках. Не забывал он и о том, что идет ему модный в ту пору и популярный в Прибалтике сине-зеленый цвет, — именно в такого цвета пиджаке приехал он однажды на реставрированном черном автомобиле марки «Мерседес-Бенц» к нам в школу для того, чтобы увезти с уроков свою молодую жену.

— Куда?

— Да как обычно, в «Лидо», — назвала она позже популярный ресторан на взморье, где в тот день собралась большая компания, отмечавшая начало съемок историко-приключенческой ленты из времен Первой мировой войны, где Рихарду предстояло сыграть роль жестокого жандармского офицера, тайно сочувствовавшего арестованному немецкому шпиону.

ГЛАВА 3

Вернемся, однако, к написанной Рихардом пьесе с определенной «рижской перспективой», возникшей в силу того обстоятельства, что центральным персонажем его была Анна Петровна Керн, жена генерала Керна, коменданта Риги в конце первой четверти XIX века. Историю ее отношений с поэтом проигрывала и в собственном воображении, и на сцене сама Анна Петровна. Не лишенная определенного писательского дара, она, как известно, переводила на русский романы Жорж Санд.

Итак, на сцене — пятидесятичетырехлетняя дама со следами былой красоты, решившаяся, наконец, ввиду крайней нищеты, продать письма поэта. При этом Анна Петровна утверждает, что история ее отношений с Пушкиным побудила поэта написать одну из его «маленьких трагедий», а именно «Каменный гость». Поэт изобразил себя в Дон Гуане. Анна Петровна полагала, что она — прообраз жены Командора.

Впрочем, сам поэт, называвший Анну Петровну «нашей вавилонской блудницей», был не слишком высокого мнения о ее литературных талантах. Вот что писал он своей жене в ответ на просьбу А. П. Керн пристроить ее перевод книги Жорж Санд издателю Александру Смирдину: «Ты мне переслала записку от М-me Kern; дура вздумала переводить Занда и просит, чтоб я сосводничал ее со Смирдиным. Черт побери их обоих! Я поручил Анне Николаевне (Вульф) отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама верный список с М-me Sand, то успех ее несомнителен...»

Имя поэта в списке действующих лиц пьесы отсутствует. Последние сцены пьесы, в которых больная старуха продает письма поэта, отмечены были подлинным драматизмом.

Рихард писал свою первую пьесу несколько лет, писал кусками, то отчаиваясь и бросая замысел, а то переполняясь новыми приливами энтузиазма. Отдельные детали, сопряженные с обстоятельствами личной жизни актера, приобретали порою статус легенд.

Так, рассказывала позднее Илона, однажды она получила письмо Рихарда, отправленное из Магнитогорска, с гастролей. В письме присутствовали следующие строчки: «Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я вас люблю, что иногда я вас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасы, что я целую ваши прелестные ручки, что целую их еще раз в ожидании лучшего, что я более не в силах, что вы божественная...» В то время Илоне, не так давно закончившей истфак МГУ, девушке начитанной и достаточно образованной, не составило большого труда установить как имя автора этих строк, так и имя его адресата.

Отвечая на его подписанное вымышленным именем письмо дружественным по тону посланием, она попросила его избегать совершенно излишних двусмысленностей, на что ответил он пушкинскими строками: «Что в имени тебе моем? / Оно умрет, как шум печальный... Ему нравилось играть с нею, она была порядочно его моложе.

В одном из своих писем Илоне, поясняя мысль о связи между событиями личной жизни поэта и его творениями, Рихард утверждал: «Известно, что в трагедии Пушкина Дон Гуан говорит о Командоре: ‘Вкусил он *райское* блаженство!’ Ну а сам Пушкин писал в адресованном А. П. Керн письме: ‘Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая.’»

В первой редакции пьеса именовалась «Мимолетное виденье». Название это было в конце концов отброшено по настоянию цензуры и заменено на «Твои небесные черты». В этом сочинении Рихард обильно цитировал обращенные к Анне Петровне письма поэта. «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там всё семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете... куда? в Тригорское? вовсе нет; в Михайловское! Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение», — писал поэт в одном из них. А вот суждение А. П. Керн о поэте из написанного после его смерти мемуара: «Живо воспринимая добро, Пушкин не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота».

Вот как описывал Рихард коллизию, сопровождавшую отношения поэта и А. П. Керн, в одном частном разговоре:

— Да, в Тригорском он посвятил ей замечательное стихотворение, но не мог простить ей того, что она благосклонно относилась к Алексею Вульффу и в Тригорском, и, позднее, в Риге. Она, можно ска-

зять, держала Пушкина на back burner (задней горелке), – говорил он, используя популярное английское выражение, – и поэт никак не мог простить ей этого. Именно поэтому он столь грубо описал результат своего свидания с «гордячкой» и «нашей вавилонской блудницей» в Петербурге, и его можно понять, – признавался Рихард, – ведь, в конце концов, я тоже любил многих женщин и довольно бурно провел свою молодость...

– Боже, какой же он пошляк, – возмущались Рихардом некоторые, – да кто ему позволяет так рассуждать о Пушкине?

– Но отчего они не скажут чего-либо подобного о Пушкине? – искренне изумлялся Рихард. – Ну да, ревность и жажда мести сделали его пошляком, – продолжал он, – это его, собственно, и погубило, окончательно погубило позднее, когда он обвенчался и нарожал детей с Н. Н. Гончаровой.

При всем том, однако, никто не спорил, что исходная, сродни первобытной, энергия таланта жила в Рихарде, не переставая открываться какой-либо искренней, почти что и до конца прочувствованной пошлостью, ибо именно пошлость была, подозревал я в то время, наиболее яркой и подлинной чертой его сущности. Что же до пьесы, то в конце концов ему довелось увидеть ее поставленной не на одной сцене, и произошло это, скорее всего, потому что ему удалось каким-то непостижимым образом угадать и прочертить работу феерического, подобно явлению кометы, сознания поэта, угадать и наметить его двуязычность и, как следствие, «двухэтажность» сознания, чему немало помогло знание Рихардом французского. Оно позволяло ему цитировать бесконечные куски из писем Пушкина, Керн, etc., что обычно производило немалое впечатление на собеседников. Отвечая на вопрос о том, отчего персонажи его пьесы изъясняются на двух языках, оценивая себя и всё происходящее в двух сосуществующих потоках сознания, Рихард пускался в пояснения, суть которых сводилась к тому, что и само время-то, да и вся жизнь людей того класса, к которому принадлежал поэт, были в ту эпоху двуязычными...

Более того, приводил он в поддержку своей мысли слова Проспера Мериме в письме к С. А. Соболевскому: «Я нахожу, что фраза у Пушкина совершенно французская, я имею в виду французский язык XVIII века, потому что теперь так просто уже не пишут». Далее Мериме задает вопрос: «Может быть, вы, бояре, сначала думаете по-французски, а потом уже пишете по-русски?»

Сама же встреча с Рихардом Дубровским произошла благодаря счастливой случайности.

Занятия в школе кончались, нам предстояли выпускные экзамене-

ны, последний экзамен уже ближе к концу июня принимать должна была Илона, а день рождения ее приходился на середину месяца, и я вместе с Женей Алкснис были выбраны классом в качестве посланцев с тем, чтобы доставить Илоне большой букет цветов. Женя Алкснис, связанная с Илоной летними дачно-соседскими узами, созвонилась с ней и сообщила мне, когда и куда мы должны были прийти.

Встретила нас Илона. Цветы ей шли, это был пышный букет темно-красных с лиловой примесью роз; она расцеловала нас, подхватила букет и понеслась по коридору к двери в кабинет, куда пригласила и нас. Кабинет был заставлен цветами, и Илона сообщила нам, что у нее уже не осталось стеклянных ваз и ей придется опустить черенки принесенных роз в заполненную водой старую, окованную серебром пивную кружку. Она предложила нам сесть, после чего отправилась на кухню варить кофе, а к нам присоединился появившийся в кабинете Рихард. Вскоре на столике появились печенье, шоколад и бутылка коньяка. Не слушая возражений Жени Алкснис, он налил коньяк и в ее бокал.

— Ну, за виновницу торжества вам все-таки придется выпить, — сказал он, мягко улыбаясь, и поднес к губам край бокала с армянским коньяком «Ахтамар», на темной наклейке которого изображена была женская фигура на возвышавшейся над синим озером скале. Коньяк отдавал легкой смесью ароматов сливы и орехов.

Рихард был одет в стеганный шелковый халат, наброшенный на красивую, заправленную в темные брюки сорочку. Сверкающие темные туфли и лиловый шейный платок дополняли картину до почти немыслимого в то время совершенства. Надо сказать, что все, когда-либо говорившие со мной о Рихарде, всегда и почти в один голос утверждали, что он никогда не жалел денег на хорошие напитки, шарфы, халаты и разного рода симпатичные безделушки, придававшие своеобразную атмосферу кабинету, где он обычно принимал гостей.

Умеренных размеров, но вполне комфортабельная квартира его в старом доходном доме на ул. Лачплеша досталась ему после нескольких разменов, связанных с драматическими изменениями в семейной жизни актера. Темный коридор оклеен был театральными афишами и плакатами с фотопортретами актера и вместе со сверкающей множественностью мелких светильников люстрой и отражавшим ее свет старинным, висевшим на стене зеркалом в бронзовой раме создавал ощущение театрального фойе, плавно, благодаря паре открытых дверей переходившего в кабинет-гостиную хозяина, декорированный во все том же театральном стиле, но уже с присутствием гардин, штор, глу-

боких кресел, полок с книгами и висящих на стенах театральных масок. На стене у окна висело несколько старых и три старинных фотографии в рамках.

– Это мои родители и мои прибалтийские предки, – пояснил Рихард с легкой улыбкой, – а также тбилисские родственники.

Присутствовали в его кабинете и кинжалы, напоминавшие, как говорил Рихард, о тех временах, когда, оказавшись в Тбилиси, он поступил учиться в театральный институт, вскоре после окончания которого уехал в Ригу. Похоже было, однако, что Рихарду не хотелось говорить о той части его жизни и карьеры, что связана была со сценой в самом прямом смысле этого слова, хотя в разговоре с нами он упомянул и о том, что начал свою театральную карьеру в качестве актера, самой судьбой предназначенного на роль *Jeune premier*, или «первого любовника».

– Однако, – добавил он со смехом, – жизнь вносит свои коррективы и иногда не считается с нашими пожеланиями и чужими ожиданиями.

Постепенно разговор перешел на кино и популярных актеров, и в ходе его Рихард довольно внимательно прислушивался к нашим замечаниям. Как оказалось, ему, как и многим другим любителям кино того времени, нравились манера игры и образы, созданные на экране Жаном Маре. Что же до чрезвычайно популярного в то время Жерара Филипа, который умер за год до нашей встречи, то Рихард заметил, что персонажи его представляют собой в большей мере знаки, нежели образы.

– У него никогда не звучат те огоньки иронии и даже сарказма, которые время от времени вспыхивают у Маре и освещают всё происходящее как-то по-иному. Герои Маре – люди со сложной внутренней биографией, – пояснил Рихард. – Это как различие между столовым ножом на витрине и лезвием ножа в руке убийцы. Кстати говоря, отец Жерара Филиппа поддерживал нацистов и после войны был приговорен к смертной казни. Но сын помог ему бежать в Испанию.

Затем он заговорил о фильме 1947 года «Опасное сходство». Сценарий его был написан близким другом Жана Маре, поэтом Жаком Кокто. Фильм этот каждое лето показывали в кинотеатрах Юрмалы.

– У меня такого друга, к сожалению, нет, – продолжал Рихард, и через мгновение счел необходимым пояснить сказанное: – Я имею в виду поэта или сценариста, который написал бы сценарий для меня...

– Но ведь нужна еще какая-то идея, Рихард, – вступила в разговор Илона.

Рихард долил себе коньяка, посмотрел на Илону и, выпив содержимое бокала, внезапно пустился в рассуждения о фильме «Разбитые

мечты» – оказалось, что в оригинале он назывался «Les Amants de minuit» (Любовники полуночи). То, о чем он говорил, относилось, пожалуй, к искусству театра или лицедейства вообще. Пожалуй, это было некое *credo*, высказанное как признание и обращенное, как я понял, к Илоне.

– Героя этого фильма зовут Марсель, и он прилетает в Париж, охваченный обычной лихорадкой перед приходом Рождества. И надо же, получилось так, что этот безупречно элегантный мужчина с ослепительной улыбкой остался один в этот чудесный предпраздничный вечер. И вот наш принц знакомится с Золушкой, в фильме ее зовут Франсуаз, скромной девушкой, работающей в магазине, и делает ее счастливой, – да, на время, но по-настоящему. Она работает продавщицей в магазине одежды, это не особенно ловкая, скромная девушка. Хозяева не слишком довольны ею и в вечер перед Рождеством оставляют ее в магазине допоздна для того, чтобы она убрала, разложила товары по полкам, а затем закрыла магазин и ушла...

Тут он остановился, задумался, но уже через мгновение продолжил свой рассказ:

– Но перед тем, как она уже собралась уйти, в магазин заходит мужчина, Марсель. Он тоже одинок, как и она, и он предлагает встретить Рождество вместе. Он предлагает девушке взять красивое платье, туфли и аксессуары. Он оставляет деньги в кассе для того, чтобы она не волновалась, и они проводят чудесный романтический вечер...

В этом месте Рихард остановился, мысленно перебирая всё случившееся далее.

– ...Затем Марселю пришлось расстаться с девушкой и бежать из страны. На прощание он сообщил ей, что купюры, которыми он расплачивался за драгоценности, фуа-гра, шампанское и всё остальное, были фальшивыми. А те, что он оставил ей, были настоящими. Но, увы, – продолжал Рихард, – в этом фильме с Жаном Маре девушка сожгла настоящие купюры. Но ведь нечто подобное происходит и в театре, – тихо произнес он: – Все наши слова – тоже фальшивые купюры. Всё то, что мы произносим на сцене, наши позы, наши поступки – всё, всё изначально фальшиво, но оно может оказаться настоящим... Да и что такое – подлинность? Мы погружаемся во тьму просмотрового зала, – продолжал он, – и вот прилетел самолет из Аргентины, спустился по трапу на летное поле и улыбнулся Жан Маре, и это столь же подлинно, как вступительные аккорды Пятой симфонии, под звуки которой в комнату актера из «Ночей Кабирии» въезжает столик со сверкающим медным колпаком над блюдом с зажаренным фазаном! Пошлая история обманутой Золушки, или Кабирии, будет разыгрываться бесконечно, ибо она есть сопряжение

возвышенного и земного... А потом душа и мечты бедной Кабирии раскроются нам на сеансе у мага-гипнотизера.

Илона внимательно его слушала, понимая, вероятно, что Рихард рассказывает это всё для нее.

ГЛАВА 4

Надеюсь, что мой отрывочный рассказ о нашей жизни в ту пору сумел до какой-то степени показать, каким важным фактором было тогда кино. Оно, как и радиопрограммы, пересекало границы, порою, правда, задерживаясь на десятилетия. И, наверное, оттого, что фильмы Франции и Италии появлялись на наших экранах нечасто, эффект, которого им удавалось порой достичь, мог быть малопредсказуемым и даже оглушительным. Не берусь рассуждать об успехе таких фильмов, как «Фанфан-тюльпан» или «Хлеб, любовь и фантазия», – они, по большому счету, не оказали значительного влияния на жизнь моего героя. Но вот вышедший на наши экраны в 1967 году фильм Ф. Феллини «Дорога» (La Strada), именовавшийся в советском прокате «Они бродили по дорогам», подействовал на него чрезвычайно, напомнив о его отношениях с предыдущей пассией, которые, хотя и не содержали ничего необычного или экстравагантного, тем не менее время от времени заставляли его мысленно возвращаться к ушедшим уже временам, оставившим саднившую по сию пору рану. Иногда Рихард ощущал себя персонажем, не столь уж отличающимся от сыгранного Ричардом Бейсхартом клоуна Мато, влюбленного в Джельсомину и убитого ревнивым Дзампано.

Началось это с того, что постепенно, с течением времени, Рихарду стало казаться, что Илона, увы, в глубине души презирует всех представителей актерской профессии и, хотя никогда не признается в этом, преисполнена даже и сочувствия к ним, рассматривая их просто как людей несамостоятельных, но талантливых и действительно необходимых. Более того, однажды она намекнула Рихарду, что с ее точки зрения, пьеса его о судьбе А. П. Керн есть не что иное, как главная его удача и достижение.

– Ведь тебе, мой милый Рихард, – медленно произнесла она, – удалось увидеть жизнь Пушкина как преломление одного из главных мифов европейской культуры, мифа о Дон Жуане.

– Мифа? – переспросил он. – Но ведь Пушкин – это вовсе не миф.

– Ну конечно, и именно это делает твою пьесу такой интересной, – пояснила она.

В конце концов он утешился тем, что и сам «потрясающий

копьем» был, согласно всем известным отзывам, довольно посредственным актером. Правда, однако, состоит в том, что Рихард был достаточно ответственным и профессионально грамотным исполнителем воли режиссера, но не более того, и ему положительно чего-то не хватало в том, чем он занимался, и, как он сам говорил, это не давало ему «выложиться до конца». Часть его сознания дремала, признавался он, пока он произносил чужие тексты. Он ценил тактичность и преданность Илоны и со временем почувствовал и осознал, что в жизни его наступил момент, когда он готов положить ее догадки в основу своих планов.

Итак, ему следовало написать несколько пьес и попытаться поставить их, — то есть в каком-то смысле уйти со сцены для того, чтобы остаться в театре. Но нечего было и думать и глупо было надеяться на то, что всё это можно спрогнозировать и осуществить в соответствии с задуманным расписанием. Оставалось тянуть театральную лямку, ожидая прихода идей, вдохновения, удачи, а уж потом, и он это ясно понимал, предстояло затратить множество усилий для достижения зыбкой и, возможно, эфемерной цели.

Излагая то, что следовало бы назвать его *философским credo*, Рихард писал, что в процессе работы над своими пьесами он постепенно осознал, что немалое число вопросов и проблем, интересующих его как драматурга, связано с тем, что люди обычно называют «человеческой памятью» — персональной, видовой, исторической, et cetera. Более того, он совершенно чистосердечно признавался, что ощутил определенный прилив вдохновения, натолкнувшись на книгу немецкого философа Ханса-Аншеля Вундерлиха «Память и ничто» (*Gedächtnis und Nichts*), русский перевод которой был опубликован издательством «Наука» под грифом «Для научных библиотек» в 1962 году. О выходе этой книги Илона узнала от своих московских друзей и приобрела ее в бибколлекторе, где у нее работала приятельница по народному театру. Как-то раз Рихард, заметивший, с каким интересом читает эту книгу Илона, открыл ее и почувствовал, что натолкнулся на нечто значительное и важное. Особый интерес вызвало у Рихарда то обстоятельство, что философ, непрестанно размышлявший над проблемами памяти, утверждал, что человеческая память как таковая может быть рассмотрена двояким образом: и как палимпсест (фундирующая, или видовая память), и как набегающие друг на друга облака (персональная компонента памяти), указывая при этом на то, что образ палимпсеста представляется ему естественной и удобной точкой отсчета для начала рассмотрения данного вопроса.

Хорошо известно, продолжает Рихард, пересказывая соображения Вундерлиха, что помимо папирусных палимпсестов античного

мира существуют еще и палимпсесты на пергаменте, которыми широко пользовались в средние века. Далее Рихард сообщает, что согласно Вундерлиху, несмотря на всё разнообразие методов уничтожения старого текста (смывание, а иногда выскабливание), добиться полного его исчезновения никогда не удавалось, ибо чернила проникают в пергамент очень глубоко и подобны «словам мудрых». Тут философ, по-видимому, цитирует слова Коэлета-Экклезиаста: они «как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря», – цитирует, не давая при этом никаких пояснений и, как представляется Рихарду, указывая на то, что речь идет о Вселенной и человеке как о некоем послании, написанном на фундаментальном метаязыке. Возможно, оговаривается Рихард, что в этом месте своего текста Вундерлих использует данную цитату для достижения определенного сценического эффекта. Следует также отметить, что известные толкования воззрений Вундерлиха предполагают, что набегающие друг на друга облака или сменяющиеся записи палимпсеста символизируют не что иное, как коллективную историческую, а также и персональную, память, в то время как «одинокое облако» – образ, используемый Вундерлихом, – есть не что иное, как указание на библейского Бога, как бы скрывавшегося в нем, или на его ангелов, указывавших путь и сопровождавших евреев в их бегстве из Египта.

Всё это, с точки зрения философа, указывает на то, что еще древние понимали, что именно память и процессы ее трансформации занимают центральное место в архитектуре сознания. Что же до роли памяти в сознании и жизни людей нашего времени, когда сама идея участия Бога в ее течении и событиях была поставлена под сомнение рядом мыслителей и ученых, то Вундерлих пытается осознать и описать положение одинокого человека в этом мире, используя своего рода театральную метафору. Вот что говорит обо всем этом наш философ: «...Похоже, эта персональная компонента человеческой памяти устроена как набегающие друг на друга облака. И оттого непроясненные или неясные начертания ушедшего и наши попытки наделить его смыслом постепенно превращают прошлое в подобие пьесы с более или менее правдивыми ремарками и репликами действующих лиц, обреченных на призрачное существование. Именно этим и объясняется наш интерес к театру: мы готовы пойти на жертвы ради обретения смысла».

Более того, поясняет Вундерлих, театр предоставляет нам возможность опознания и общения с призраками, живущими в нашем сознании, и, как оказывается, ему совершенно не чуждыми. За подтверждением этой мысли философ, что вполне естественно, обраща-

ется к анализу пьесы о Гамлете и попыткам интерпретации проблемы взаимоотношений принца и Призрака.

Обращаясь к вопросу о нашей готовности идти на жертвы, философ пояснял, указывает Рихард, что имеет в виду ту часть нашей жизни, которая целиком и безвозвратно уходит в ремарки. «Люди, не умеющие или неспособные забывать, не обладают воображением, необходимым для того, чтобы познать смысл происходящего», — утверждал Вундерлих.

Отмечал он и определенную связь между указаниями на скрывающегося в облаке Бога и странствующим во Вселенной Черным облаком из романа английского астрофизика Фреда Хойла. Особое внимание Вундерлиха привлекло то обстоятельство, что гипотезы создателя термина «Большой взрыв» оказались не так уж и далеки от воззрений сожженного в Риме еретика о Боге и Вселенной. Ибо, продолжает Вундерлих, читая роман Ф. Хойла «Черное облако», мы узнаем о том, что ученым удалось установить связь со странствующим в космосе Черным облаком непроницаемого газа. Облако — живой организм, наделенный сознанием; оно пытается разгадать смысл своего существования. Приближающееся к Земле Облако сообщает ученым, что время от времени какое-нибудь из живущих во Вселенной Облаков сообщает своим собратьям о приближении к разгадке тайны существования Вселенной, жизни и сознания, — и это обычно предшествует гибели этого Облака.

Перед своим отлетом в удаленную от нас часть Вселенной Облако дает возможность ученым приобщиться к *summa summagum* его познаний посредством специального телегипносеанса. Участие в этом сеансе приводит двух ученых-добровольцев к гибели от того, что сбалаansirованные и устойчивые структуры их памяти и сознания просто не смогли осознать и усвоить предлагаемую Облаком информацию.

— Мы — ограниченные и самонадеянные создания, — сказал мне Эрик, рассказывая о главной мысли этого романа сразу после окончания лекции Вундерлиха в Иерусалиме. — Ну а что касается Хойла, то это человек с дерзким и оригинальным умом, и, естественно, проблема памяти не могла не оказаться в сердце его романа.

Потом он задумался на мгновение и добавил, как бы зачитывая мотивировку присуждения дополнительного приза:

— И, наверное, чтобы быть справедливым, нечто подобное следует сказать и о Леме с его «Солярисом», написанным несколько позже, чем «Черное облако», — всего на три года.

Но даже и принимая изложенные выше воззрения как теорети-

ческую, программную подкладку работы Рихарда в драматургии, не стоит забывать, что источником вдохновения для него всегда оставались впечатления его детства и юности, и всё то, что он писал для сцены, связано было с его ранними впечатлениями, чему находил он оправдание:

– Театр для меня, – говорил он, – это своеобразные воспоминания; это, по существу, попытка вспомнить то, что я почувствовал, понял и пережил, впервые с чем-то столкнувшись. Тут у меня нет расхождений с Вундерлихом. Но... – добавлял он, – театр должен заставить людей вспоминать, мучительно вспоминать, как это было, ибо мы говорим о чем-то известном, но забытом, о чем-то из подвалов памяти. И мы должны вырвать зрителей из того летаргического сна, в котором проходит их жизнь. И именно поэтому театру удобно выбирать как основу для своих спектаклей знакомые и проверенные временем сочинения, давно входящие в списки классики.

Иногда, в заключение того или иного выступления, посвященного судьбам театра, читал Рихард стихотворение «Только детские книги читать...», творение семнадцатилетнего в пору написания его О.Мандельштама. Чтение Рихарда неизменно производило сильнейшее и, порой, самое неожиданное впечатление на слушателей.

– Поразительно, – признался как-то раз Ян Артурович Алунак своей жене, – даже эти стихи о детских книгах приобретают в его исполнении какое-то антисоветское звучание.

ГЛАВА 5

Напомним теперь о сценических адаптациях Рихарда, которые, я полагаю, заслуживают определенного внимания хотя бы в силу того, что проясняют круг его интересов и рефлексий.

Первой увидела огни рампы его пьеса «Барабаны Империи» – свободная историческая реконструкция той ситуации, что возникла, когда вскоре после начала войны 1812 года французские войска создали угрозу Риге. Известно, что в ответ на обещание Бонапарта передать завоеванный город Пруссии губернатор Риги приказал сжечь предместья города. Пожары приостановили французов и дали возможность русским войскам перейти в контрнаступление. К началу декабря 1812 года территория Латвии была очищена от наполеоновских войск. События эти были представлены на сцене через восприятие осаждавших город французских офицеров.

Несмотря на то, что персонажи пьесы существовали в совершенно иную эпоху, достаточно удаленную от той действительности, в которой жили и автор пьесы, и ее предполагаемые зрители, вся атмо-

сфера «Барабанов Империи» и драматическая ткань взаимоотношений ее персонажей оказались подобны совсем недавним нашим временам, напоминая о них поклонением действующих в пьесе офицеров отсутствующему на сцене Императору, погруженному, согласно репликам действующих лиц, в решение вечных вопросов Войны и Мира.

Основная мысль пьесы состояла в том, признавался много позднее Рихард, что Бонапарту пришлось принять реальность существования общества, готового воевать за свою свободу, не подчиняясь измышленным им правилам ведения войны, и готового заплатить за эту свободу любую, даже немыслимую цену – при том, что свобода эта ему совершенно не нужна.

И только благодаря тому обстоятельству, что пьеса эта, несмотря на всё вышесказанное, могла быть прочитана самым различным образом, в том числе и как локальная версия событий, описанных Л. Н. Толстым в «Войне и мире», она, в конце концов, увидела сцену и обрела свою собственную жизнь, а Рихард вступил на тернистый путь официально признанного драматурга.

Выступая на заседании реперткома, Рихард подробно изложил свои соображения о том, как следует ставить пьесу, и, указав на наличие уже упомянутой ее связи с таким явлением отечественной культуры, как эпопея Толстого, попросил художественный совет театра и репертуарный комитет Министерства культуры предоставить театру возможность создать спектакль о противостоянии духу агрессии и милитаризма.

Правда, представленный в пьесе эпизод с поджогом собственных предместий по приказу практически полубезумного губернатора Риги заставил некоторых членов худсовета усомниться в том, правильно ли будет понята пьеса, но тут Рихард решил пойти *va banque*.

– Так неужели же мы должны стыдиться того, что разгромили Наполеона? – воскликнул наш герой на худсовете, и, в конце концов, пьеса «прошла», т. е. получила «добро» на постановку.

– *À la guette comme à la guette*. На войне как на войне, – с удовольствием пересказал он Илоне подробности процесса утверждения пьесы.

Более того, сценическая жизнь пьесы «Барабаны Империи» оказалась вполне успешной, благодаря зрелищности и динамизму этого поставленного самим Рихардом спектакля. Говоря об успехе спектакля, следует отметить и то, что, обращаясь к рижской публике, Рихард сумел, скорее всего инстинктивно, уловить тот угол «остранения» действительности, что был вовсе не чужд восприятию публики, посещавшей спектакли русского театра в той части страны, где русские в той или иной мере ощущали себя в гостях.

Разумеется, прямое изложение подобного рода соображений начисто отсутствует на страницах написанной Рихардом книги, и я лишь пытаюсь наполнить каким-то содержанием те общие замечания, на которые нельзя не обратить внимания. Речь тут идет о тех замечаниях, которые посвящены обсуждению проблем «интерпретации в контексте тех или иных привходящих обстоятельств», и в связи с этим мне следует, наверное, рассказать и о том, что основным упрек к «Барабанам Империи», прозвучавший в ходе обсуждения пьесы, был сформулирован заместителем заведующего репертуарным комитетом, кандидатом филологических наук И. Ф. Ивановым следующим образом: «Дорогие товарищи, в рассматриваемой нами сегодня чрезвычайно интересной и острой пьесе нашего дорогого Рихарда и город Рига, да и сама Латвия, в силу некоторых, возможно недостаточно продуманных реплик, предстают предметами политического и военного торга, что, пожалуй, бросает некоторую тень на события, предшествовавшие началу войны с Германией...» Тишина, возникшая в помещении, где шло заседание реперткома, ясно указывала на серьезность выдвинутых претензий. Рихарду, однако, почти удалось заглушить тревожную ноту, прозвучавшую в выступлении кандидата филологических наук, фразой из пушкинского «Путешествия в Арзрум». «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», – улыбнувшись, процитировал Рихард слова поэта и осведомился:

– Что ж, мы и Пушкина будем винить за это высказывание? Объявим его нарушителем границы и т. д.? И разве не правда то, что наши войска сражались и отстояли наши края и от войск Наполеона, и от немецко-фашистских захватчиков? Или мы должны отказаться от части нашей истории?

Слова эти изменили весь ход обсуждения пьесы и позволили председателю реперткома, кандидату театроведения Бруно Озолиню с досадой посмотреть на кандидата филологических наук Игоря Иванова и произнести: «Что же, Игорь Федорович, так и будем собственной тени бояться?» – что, собственно, и означило окончание дискуссии.

Через несколько дней после чрезвычайно успешной премьеры, заслужившей высокую оценку не только у публики, но и у людей театра и у прессы, председатель реперткома Бруно Вольдемарович Озолинь взглянул на свое импозантное изображение в зеркале, висевшем на стене его кабинета, и еще раз молча похвалил себя за ту поддержку, которую он оказал молодому драматургу. Затем он закурил сигарету и позвонил Рихарду Дубровскому. Поздравив автора с прекрасной рецензией в республиканской газете, он предложил ему

встретиться с тем, чтобы обсудить вопросы углубления сотрудничества между реперткомом и театром. Встреча прошла в ресторане «Таллин», и после завершения серьезного и обстоятельного застолья Бруно Вольдемарович выразил пожелание знакомиться с будущими пьесами Рихарда еще до передачи их на читку в худсовет театра. Завершая беседу, он отметил, что рад достигнутому между ним и Рихардом взаимопониманию, не говоря уже о том, что чрезвычайно уважает Яна Артуровича, с которым не так давно встречался, и теперь, пользуясь случаем, просит передать ему свои наилучшие пожелания.

Более того, Бруно Вольдемарович высказал мысль о том, что театру, возможно, следовало бы в соответствии с духом времени открыть еще и так называемую «малую сцену» и использовать ее для спектаклей экспериментального направления, предоставив драматургам и режиссерам больше возможностей для интересной работы. Более того, если планы эти будут поддержаны министерством и отделом культуры ЦК, то, как полагал Бруно Вольдемарович, именно Рихард мог бы взять на себя руководство этим новым экспериментальным театром. Итак, ему и его единомышленникам в театре предлагалось нечто напоминающее определенную творческую независимость, но, если говорить до конца, независимость ограниченную. Впрочем, можно ли было мечтать о чем-то большем?

Все произошедшее, естественно, обрадовало, но в то же время и несколько обескуражило Рихарда. Он готов был предположить многое и даже поверить не только в то, что Бруно Озолиню понравились и его пьеса, и он сам, но даже и в то, что Озолиню просто захотелось лишний раз посидеть с ним в ресторане. Что ж, думал Рихард, в жизни всё бывает. Мог он предположить и то, что Озолинь просто использовал ситуацию с его пьесой для того, чтобы насолить своему заместителю, кандидату филологических наук И. Ф. Иванову, и показать последнему, кто в доме хозяин. Мотивы всего произошедшего, то есть тех или иных поступков Бруно Озолиня, могли быть, естественно, различными, включая и демонстративное проявление национальной солидарности, ибо Рихард всегда с гордостью указывал на то, что бабка его со стороны отца носила фамилию Балодис. Завершение встречи с Озолинем, однако, ясно показало, что свою и, скорее всего, немаловажную роль в установлении этого благожелательного отношения Озолиня к Рихарду сыграло знакомство Озолиня с Яном Артуровичем Алунаном, отцом его, Рихарда, жены. И вот тут-то наш драматург внезапно ощутил себя в мышеловке; но он не только не стал, но и не собирался о чем-либо расспрашивать Илону, ибо не

допускал и мысли о том, что Илона могла попросить отца оказать определенную поддержку ему, Рихарду, в его отношениях с администрацией театра и с сотрудниками Министерства культуры. Скорее всего, полагал он, то была инициатива самого Яна Артуровича, которого, в свою очередь, могла вдохновить на это его жена, Любовь Андреевна. И, тем не менее, хотя время и шло, но неприятное ощущение захлопнувшейся мышеловки не проходило. Более того, Бруно Вольдемарович, с которым ему время от времени приходилось встречаться, стал представляться ему Полонием, закончившим, как известно, отнюдь не самым лучшим образом. Ян Артурович предстал в его воображении Клавдием, а Любовь Андреевна – Гертрудой. В этом он признался Илоне позднее, в разгар работы над новой пьесой, получившей название «Спектакль на Небесах».

Судя по перечню действующих лиц, пьеса рассказывала о судьбе актера бродячего театра в Англии начала XVIII века, то есть через сотню лет после смерти Шекспира. По ходу спектакля изуродованный актер, оказавшийся в центре разворачивавшейся интриги, рассуждал о Судьбе, мечтал о роли Гамлета и вспоминал рассуждения датского принца о предназначении театра. Однако подлинным творцом драматических изменений в жизни героя оказалась отнюдь не Судьба, а один из второстепенных персонажей пьесы, бывший актер и неудавшийся драматург, ушедший в политику интриган и циник, одержимый корыстью, тщеславием и идеей создания театра, на сцене которого актеры будут играть его пьесы. Развитие и крах замыслов обоих персонажей – и актера, и неудачливого драматурга – и составляет, по сути дела, драматическую интригу пьесы, что позволило Рихарду развить важную для него тему бунта и отказа персонажа от исполнения предназначенной ему роли.

Так начинался театр Рихарда Дубровского – театр брошенных в Историю людей и марионеток, страдающих и восстающих.

Действие этой пьесы разворачивалось на Небесах, в ходе представления, разыгрываемого персонажами пьесы в ожидании Страшного Суда. Нельзя не отметить и то, что идея Небес, где пребывают действующие лица, и Страшного Суда, в ожидании которого они разыгрывают спектакль, появилась у Рихарда благодаря ночной прогулке по осеннему пляжу, на которую подвигла его Илона. Смутные очертания фигур, бредущих по покрытому опустившимся туманом пляжу вдоль неслышного моря, взволновали и подстегнули его воображение, всегда обретавшееся в нескольких мирах одновременно. Сыграла свою роль, конечно, и выпитая в этот, проведенный на даче у родителей Илоны, вечер бутылка хорошего армянского коньяка, собственно, и подсказавшая Илоне мысль о прогулке.

– И всем этим я обязан тебе, моя Офелия, – говорил он Илоне, – не сходи мы на эту прогулку, я не смог бы придумать всё это...

Рихард никогда не скупился на похвалы и всегда рад был услышать мнение или же замечание Илоны.

– Поверь мне, я почти ничего не знаю. Я вырос в Тбилиси, на улице. А книги начал читать только здесь, в Риге, в дождливые дни, – говорил он.

Иногда она недоумевала: неужели в том, что он говорит, есть какая-то доля правды? И насколько эта доля велика? Между тем он действительно с интересом слушал ее. Он был достаточно образован, и его нельзя было назвать неучем, но, пожалуй, в познаниях его отсутствовала система. Обычно его выручала интуиция. Ей он доверял не меньше, чем Илоне. Однажды он сказал:

– Мои родители были образованные люди из приличных семей. А я сам не знаю, что я такое, но это я говорю только тебе.

ГЛАВА 6

Так прошло еще несколько лет, в ходе которых Рихард узнал, что такое настоящий успех. При этом он отдавал себе отчет в том, что успех пришел к нему не только оттого, что у него была хорошая фантазия, вкус к острым сюжетам и умение писать диалоги. Помимо этого, ему удалось добиться, чтобы актеры хотели играть в его пьесах, любили созданных его пером и фантазией персонажей, – и время показало, что у него хватило знания театра и владения тонкостями драматургической техники для решения этой задачи.

Следует отметить и то, что практически с самого начала своих занятий драматургией Рихард взялся за пьесы с центральными женскими образами, которые позволили нескольким актрисам театра, членом труппы которого он всё еще оставался, пережить яркое, хотя и мимолетное чувство благодарности по отношению к их автору. Обращаясь к вопросу о женских персонажах в пьесах Рихарда, напомним, что помимо пьесы, посвященной судьбе А. П. Керн, следует отметить еще две, посвященные совершенно иным героиням.

Первая из них рассказывала о судьбе двух женщин: Герты, экономки берлинского профессора, открывшего «принцип относительности», и проститутки Марго. Действие пьесы разворачивалось в Берлине, во времена Первой мировой войны, когда мужчины гибли на фронтах, женщины из бедных семей отдавались мясникам за кусок мяса, а берлинские профессора пытались понять судьбу кантовского «нравственного закона внутри нас», после того как наблюдения астрономов за «звездным небом над нами» указали на справедливость

принципа относительности. Завершался спектакль сценой в пивной, где ветераны войны праздновали изгнание профессора из университета и города под звон пивных кружек и звуки «Лорелеи» в исполнении Марго.

За этой пьесой последовала другая, «Мидии», – о женщине с греческого острова, написанная, согласно Рихарду, в жанре «античной комедии». Мужское население острова занимается грабежом проходящих мимо острова парусников. Ожидая возвращения мужа и его сотоварищей на родные берега с добычей и пленными, Марция обычно бродит у моря, собирает выброшенные волнами мидии и вспоминает свою мать, похищенную местными пиратами из Остии. Драматический поворот в представленных на сцене событиях возникает после того, как Гай Юлий, один из захваченных в плен римлян, потребовал от островитян увеличить требуемую у римского диктатора Суллы сумму выплаты за свое освобождение. Дальнейшее развитие событий не отклонялось от известной из хроник истории пленения Цезаря пиратами.

Нужно ли говорить о том, что пьеса была посвящена Илоне и основана на ее пересказах античных хроник?

Оценивая пьесы Рихарда с позиций сегодняшнего дня, скажу лишь то, что все упомянутые его работы характерны своим четко определенным «постбрехтовским отношением» к задачам, стоящим перед театром и драматургом, что связано было, не в последнюю очередь, с прекрасным знанием немецкого, языка его берлинского детства, и со всё более усиливавшимся влиянием драматургии Б. Брехта и проникновением его теории иного, «эпического», театра на жаждавшие порыва свежего воздуха и нового дыхания большие и малые сцены нашей необъятной страны. Подобного рода поиски были вполне естественны и согласны с духом своего времени, но, пожалуй, находились достаточно близко к той опасной зоне, где властвовал термин «аполитичность» и господствовали цензурные запреты. Более того, говоря о том, как и насколько поиски Рихарда укладывались в мозаику театральных тенденций времени, следует признать, что они отнюдь не представляли собой сколь-нибудь радикальных попыток изменения каких-либо незыблемых принципов во имя неясных идеалов, а скорее, являлись попытками последовательного пересмотра некоторых давно уже укоренившихся и привычных легенд.

ГЛАВА 7

Итак, всё то, что предвидела и планировала Илона, свершилось. Свершилось, естественно, с поправками, с необходимыми изме-

нениями, коррекциями и исправлениями, но главное состояло в том, что будущее, которое она предсказывала Рихарду, пришло! Он перестал ощущать свое положение актера как подчиненное; теперь это положение было лишь частью его профессионального облика, включавшего и новое, присвоенное им лицо — лицо автора-демиурга... Персоны, саму возможность рождения которой, подобного рождению Афины Паллады из головы Зевса, предсказала Илона, преданно следовавшая за мужем все эти годы...

Итак, перерождение Рихарда свершилось: бабочка выпорхнула из кокона и принялась вытанцовывать свой, завещанный ей природой и генетической памятью танец... Теперь Рихард вел пару курсов со студентами, изредка, время от времени, выходил на подмостки и не оставлял своих занятий драматургией, работая попутно редактором сценарного отдела на киностудии... В театральные же планы его входило написание пьесы «Пиастры», основанной на «Острове сокровищ» Р.-Л. Стивенсона, и пьесы под названием «Spionen tango», или «Шпионское танго», навеянной воспоминанием о романе Грэма Грина «Наш человек в Гаване», где его поразила фраза о том, что большие диктаторы затягивают в свои сети маленьких.

Что же до Илоны, то она постепенно поняла, что кино волнует ее гораздо больше, чем театр. Ей нравился мир живущих на экране и не стареющих призраков; мир, куда можно было возвращаться сколько угодно раз. Ей нравилась идея застывшего и даже остановленного мира. Мира навсегда запечатленных историй. Ей нравилась концепция иллюзиона. Ее волновала идея киноглаза и реконструкции утраченных фильмов. И она решила поступить в аспирантуру ВГИКа, на факультет киноведения, что ей удалось осуществить достаточно легко, ибо ее образование, умение формулировать мысли и внутренний опыт, приобретенный за годы в театральной среде, помогли ей. Она вновь стала студенткой, и эта новая студенческая жизнь оказалась для нее своего рода вхождением в *vita nuova* — не стоит забывать, что Илона была, несмотря ни на что, достаточно романтична, и Рихард, надо отдать ему должное, эту сторону ее чувствований ценил и всячески поддерживал. Что, правда, не помешало ему в первый же отъезд Илоны в Москву завести интрижку, которой он не придал никакого значения.

Надо признать, здравый смысл всегда подсказывал друзьям Рихарда, что последовательность этих интрижек, растянувшаяся на ряд лет, должна была чем-то закончиться, и она, к радости его друзей, завершилась достойным во всех смыслах браком с дамой, постоянно имевшей дело с драматургией, — завлитом одного из рижских театров.

Произошло это, как мне объяснили, в ту пору, когда главреж театра, где долгие годы служила дама, решил обратить свое внимание на одну из последних пьес Рихарда. Правда, пьеса была написана по-русски, и ее следовало перевести на латышский язык, – вот тогда-то Рихард, вполне прилично овладевший латышским к тому времени, начал в процессе работы над переводом контактировать и сотрудничать с завлитом театра.

Важно и еще одно обстоятельство, что предшествовало этому. В какой-то момент оказалось, что период пребывания Рихарда и Илоны в браке – то есть время любви и совместного проживания – вдруг само собой завершился, причем завершился довольно мирно. В какой-то момент Илона почти неожиданно для себя осознала, что часть ее жизни, связанная с театром, кажется ей суетой, и, более того, она обнаружила, что начала смотреть и на свою жизнь с Рихардом точно таким же образом – со стороны. В то время он был совершенно упоен *своей* жизнью, погружен в нее без остатка – и дело тут было, собственно, не только в театре. Рихард вовсе не нуждался в *одиночестве*, меж тем как Илоне оно было нужно и даже *жизненно необходимо*. Если Рихарду нравилось *обсуждать* что-либо, то Илоне нравилось всё это *обдумывать*. Она не любила рисковать, ей не нравились спонтанные суждения и, как однажды выразился Рихард, она была несколько более серьезным созданием, чем требовалось, – требовалось, надо полагать, ему, и оттого именно ему со временем стало довольно трудно мириться «со всем этим», как он говорил. «Она – слишком учительница, но требовательна, как Муза», – пришел он к печальному выводу.

Развод произошел в довольно мирной и почти дружественной атмосфере; делить к тому же было совершенно нечего, и спустя некоторое время уехавшая в Москву Илона, к собственному своему удивлению, обнаружила, что вновь встречается с профессором В. А. Андреевым, чья мать уже покинула этот мир. Поначалу В. А. Андреев отнесся к возвращению Илоны с определенным недоверием: его интересовала возможность какого-то скрытого, пока еще не выявленного, мотива, но после нескольких встреч он почувствовал и пришел к выводу, что никаких «скрытых мотивов» в поведении Илоны нет – ей просто хотелось естественного, не усложненного ложью и комплексами общения, ей хотелось быть любимой, и оттого она совершенно естественным образом потянулась к тому человеку, с которым так или иначе уже пережила когда-то всё то, к чему стремилась в ту пору. Теперь Илона полагала, что покинула в свое время профессора В. А. Андреева в силу собственной незрелости и слегка отчужденного взгляда на московскую жизнь, порожденного и вызванного опы-

том проведенных в Риге лет. Те годы в Прибалтике привели ее, в свое время, к определенным переменам в системе оценок – ибо по сути дела она попала из России в один из осколков Северо-Восточной Европы.

Позднее, однако, Илона поняла, что новая встреча с В. А. Андреевым связана была еще и с острым чувством одиночества, которое настигло ее после расставания с Рихардом, который, хоть и безумец и законченный эгоист, однако способен был на искренние порывы, переживания и редкие моменты полной откровенности, что делало разделенную с ним жизнь похожей на приключение в джунглях; глядя на Рихарда, она часто вспоминала строчки из поэмы Уильяма Блейка:

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чаши,
Чьей бессмертной рукой
Создан грозный образ твой?

(Перевод С. Маршака)

Илона теперь жила на два дома, поскольку жизнь ее и ее семьи – а она стала женой профессора Андреева – и профессиональные занятия связаны были с Москвою, в Риге же продолжали жить ее престарелые родители, к которым она часто, практически регулярно, приезжала; по работе она выступала в кинолекториях, и время от времени взятые ею интервью появлялись в тех или иных журналах, а иногда все те же журналы публиковали ее статьи о современном состоянии и тенденциях в европейском кинематографе.

Со временем у Илоны родилась дочь, родители называли ее Валерией, что устраивало и Илону, которой нравилось звучание этого имени, и профессора, глубоко погруженного в события эпохи Октавиана Августа. Рождение дочери изменило Илону на глубоко внутреннем уровне, ощущение связи с этим новым, пришедшим в мир существом наполнило ее какой-то спокойной силой и уверенностью в оправданности и необходимости ее существования на земле. Она оказалась прекрасной матерью и управлялась с младенцем, да и позднее с уже подросшей дочерью, в спокойной и уверенной манере. Профессор В. А. Андреев был без ума от Валерии, любил ее и охотно гулял с нею, хорошо понимая, как важен для Илоны, всегда радовавшейся возможности побыть наедине с собою, этот час-другой, который он проводил с коляской в саду «Эрмитаж». Случалось это, к сожалению и самого профессора, и его супруги, не слишком часто, поскольку В. А. Андреев отдавал много сил своей

лекционной деятельности, дополненной разнообразными общественными и административными нагрузками. Помощь и поддержку оказывали Илоне и родители, время от времени наезжавшие в Москву, где останавливались совсем рядом с Илоной, в Лиховом переулке. Они, пожалуй, пришли в себя, совершенно успокоились после рождения Валерии и уже не вспоминали о тревожностях, связанных с разводом Илоны. Внучка стала новым центром их жизни, хотя Любовь Андреевна иногда и удивлялась про себя тому, что дочь ее как будто вполне счастлива и довольна отношениями с В. А. Андреевым, который казался матери несколько скучноватым по сравнению с Рихардом.

Сама же Илона теперь жила в просторной кооперативной квартире профессора на улице Чехова, недалеко от ее пересечения с Садовым кольцом. Некоторую монотонность и элемент скуки, порожденный общением с коллегами и приятелями В. А. Андреева, Илона в те годы полагала неизбежностью, с которой следовало смириться. Ее своеобразным утешителем стал белый экран просмотрового зала ВГИКа, где она вместе с другими аспирантами и кинодеятелями знакомилась с еще не изуродованными по цензурным и прокатным требованиям лентами. И в этом смысле она, хотя бы и частично, продолжала существовать в ином мире, достаточно резко отличавшемся от того мира, в котором жило ее тело. Поначалу она увлекалась польскими фильмами, и увлечение это сопровождало ее долгие годы; один из фильмов Рене Клера, а именно «В квартале Порт де Лиля» (*Porte des Lilas*), оказался в фокусе ее первого исследования, заставившего руководителя ее аспирантуры присмотреться к ней серьезнее, чем он собирался; пожалуй, Рене Клер был верным шагом, и со временем Илона стала специалистом по фильмам И. Бергмана – фильмам, которым она внимала с полной отдачей, что в конце концов привело к тому, что Илона превратилась в полноценного соавтора книги, написанной ее руководителем и посвященной творчеству этого шведского режиссера. Немало интересного почерпнула она и из краткого, увы, общения с Лив Ульман, с которой познакомилась во время поездки в Швецию в составе официальной делегации Союза кинематографистов. Постепенно возник замысел написать исследование о «женских образах в фильмах И. Бергмана», по завершении которого Илона защитила диссертацию, причем журнальная версия исследования опубликована была в журнале «Искусство кино». Так удалось ей завоевать для себя определенную нишу в мире кинокритики. Но мечты ее этим не ограничивались.

Она продолжала писать статьи и брать интервью, участвовать в заседаниях «круглых столов» и изредка выступать на телевидении. С

годами ей всё больше нравилась идея написания сценария, действие которого основано было бы на растревоживших в свое время ее воображение рассказах Рихарда. Но как это сделать? – спрашивала она у себя. Вернее, можно ли представить себе, что нечто подобное тому, что ей грезилось – и даже вполне ясно рисовалось на воображаемом экране, – будет запущено в производство на студии, скажем, в Прибалтике? Для этого сценарий нужно было не только написать, но и утвердить в верхах – что, как она ясно понимала, было совершенно невозможно.

Впрочем, то были лишь мечты и раздумья, фактически лишь несколько записей в отдельной папке, куда Илона время от времени добавляла вспомнившиеся ей факты или пришедшие на ум соображения. Что, в общем-то, соответствовало тому, как она обычно начинала разработку новой интересовавшей ее темы: Илона всегда собирала исписанные первоначальными соображениями бумаги в заведенную для этого канцелярскую папку – как бы открывая новое «дело».

ГЛАВА 8

Валерии не было еще тринадцати, когда ее отец, профессор и член-корреспондент Академии наук В. А. Андреев скоропостижно скончался из-за оторвавшегося от стенки сердца тромба. Умер он на работе, в своем рабочем кабинете; в тот день профессор собирался решить множество накопившихся вопросов административного плана и оттого уехал на работу пораньше, и врачу, прибывшему в карете кардиологической помощи, не оставалось ничего, как только зафиксировать смерть в результате тромбоэмболии, – таков был предварительный, позднее полностью подтвердившийся, диагноз.

Илоне сообщили о смерти мужа по телефону, ей стало дурно, но, к счастью, дома находилась юная Валерия, она в тот день не пошла в школу по причине простуды; девочка сильно кашляла, и Илона собиралась поить ее чаем с малиновым вареньем, медом и лимоном. Валерия услышала звук выпавшей из руки Илоны телефонной трубки и прибежала в гостиную. Она усадила внезапно побледневшую мать на диван и принесла ей из кухни воды.

Через несколько дней, благодаря усилиям друзей и университетской администрации, тело профессора, члена-корреспондента В. А. Андреева было предано земле на Троекуровском кладбище – сразу же после завершения гражданской панихиды, собравшей немало друзей, коллег и студентов.

После смерти мужа Илона облачилась в траурную одежду, жизнь ее серьезно переменилась, и то, что раньше казалось более или менее предсказуемым и надежным, – то есть достаточно размеренный

семейный быт, работа, поездки, отдых и планы на будущее, — всё это внезапно изменилось, оказалось под вопросом и, главное, утеряло свою определенность. Будущее стало неустойчивым, она это ощущала совершенно ясно, как и то, что еще достаточно молода и полна сил, желаний и замыслов. И что ей следовало делать со всем этим, было неясно. Однако она знала, что должна продолжать и даже удвоить усилия, связанные с воспитанием Валерии, как и свою лекционную и журналистскую деятельность, как и участвовать с должной энергией и настойчивостью в работе комиссии по публикации научного наследия профессора В. А. Андреева. Правда, всё это давалось ей нелегко, в особенности в тот первый год, когда и Илона, и Валерия были в определенной мере раздавлены потерей мужа и отца.

Тем не менее, после того, как период траура подошел к концу, их жизнь постепенно вошла в прежнее русло и понеслась в будущее с той же скоростью, что и раньше, — правда, теперь уже под взглядом висевшего на стене в гостиной фотопортрета профессора В. А. Андреева. Сделан был фотопортрет еще в ту пору, когда только что закончившая университет Илона отправилась вместе с профессором на раскопки Херсонеса Великого. Портрет появился на стене квартиры вскоре после вселения в нее Илоны, словно бы подчеркивая ее ничем не прерывавшееся присутствие в жизни и судьбе профессора В. А. Андреева. Так, по крайней мере, воспринимала историю семьи Валерия, и Илона совершенно не спешила просвещать дочь относительно извивов и тонкостей своей биографии, полагая, что дочь еще молода и успеет узнать обо всем в свое время.

— Это портрет твоего отца того времени, когда мы были совсем молодые и только-только встретились, — так изложила Илона историю этого фотопортрета своей дочери.

Личная же жизнь Илоны теперь была как будто никак не связана с Ригой, где продолжали жить ее мать и отец, давно вышедшие на пенсию. Похоже, что именно по этой причине в Риге никто и никогда не говорил об этой стороне ее жизни, хотя и ясно было, что Илона не могла не привлекать внимания, ведь даже будучи и не первой молодости, она оставалась интересной женщиной, обладающей своеобразной аурой, придававшей ей какой-то «неместный шарм», как выразился об этом один из моих одноклассников.

Причем, определение «неместный», как он пояснил, относилось в данном случае и к Москве, и к Риге. Ее никак нельзя было назвать москвичкой или рижанкой. В ней было что-то от спокойствия женщин Северной Европы или даже Скандинавии, и в то же время присутствовала в ее поведении какая-то унаследованная от матери поры-

вистость движений. Глаза ее были по-прежнему молоды, а несколько седых прядок в волосах даже шли ей. Одевалась она с неизменным вкусом. Она всё так же любила янтарь, но достаточно неожиданно стала уделять внимание и бирюзе.

Похоже, она побывала во многих странах, от Польши до Италии и Швеции. О многих вещах и явлениях говорила она со спокойной уверенностью человека знающего и проникшего в суть проблемы, однако, надо заметить, высказывания или суждения ее никогда не звучали надменно, она была тактична.

Разумеется, она не занимала никаких постов в Союзе кинематографистов. Говорили, однако, что ряд людей талантливых – из тех, что пытались делать новое документальное кино, – ценили ее мнение и прислушивались к ней.

Возможно, что факт ее сотрудничества с Рихардом в период работы нашего героя над его книгой воспоминаний привлек столько внимания и стал широко известен среди рижан именно в силу того, что не дал никакого материала для слухов и сплетен, дойдя в своем естественном и незамутненном виде и до нас, к тому времени уже оказавшихся в иных краях, но не до конца оборвавших свои связи с оставленным городом.

ГЛАВА 9

Вершинным же достижением Рихарда в драматургии стала его сценическая адаптация материала, гораздо более близкого к нашим дням, нежели его античная комедия. Речь идет об адаптации опубликованной в 1930 году новеллы Томаса Манна «Марио и волшебник», действие которой разворачивалось в период правления Муссолини на провинциальном итальянском курорте. Что же до драматического развития, то в новелле оно связано с выступлением в концертном зале гостиницы гастролирующего мага и волшебника, злого, отталкивающего и уродливого кавалера Чипполы. В ходе представления иллюзионист и гипнотизер подчиняет своей воле всю аудиторию, а затем принуждает официанта Марио поверить в то, что стоящий перед ним Чиппола и есть девушка, в которую он влюблен. Более того, Чиппола принуждает Марио объясниться ему в любви.

Хочу напомнить, что нечто подобное произошло и с героиней фильма Федерико Феллини «Ночи Кабирии». В ходе своих блужданий по Риму героиня фильма Феллини попадает на сцену небольшого театра и принимает участие в сеансе гипноза. Однако, в отличие от осмеянной и униженной Кабирии, оскорбленный Марио стреляет в гипнотизера и убивает его.

Литературоведы всегда усматривали в этой новелле Т. Манна аллереорию завораживающего действия харизматичных лидеров на массы, которые бездумно и слепо следуют лозунгам своих вождей. Рихард к тому же полагал, что новелла вдохновила не только Ф.Феллини, но и М. Булгакова – на эффектную главу из романа «Мастер и Маргарита», посвященную выступлению Воланда в театре Варьете. И вот, вдохновленный, как он признавался, сценой из фильма Феллини, Рихард взялся за адаптацию для сцены этой новеллы Томаса Манна.

В одном из разговоров с Илоной он признался, что, помимо всего остального, его взволновало упоминание Торре ди Венере, где Рихард и его родители отдыхали за год до окончательного отъезда из Германии. Хочу отметить, что то, что многим может показаться простым совпадением, для Рихарда было, скорее всего, определенным знаком, предвестием, значение которого он не склонен был недооценивать. Скорее наоборот, подобного рода намеки очень часто вели Рихарда и, как ни странно, реально приводили его к желанной цели.

Однако он был еще и скептик. Скажем, задумавшись над сценической адаптацией новеллы Т. Манна, Рихард задал себе простой и ясный вопрос: откуда у официанта Марио пистолет?

– Это ведь не Сицилия, а вполне мирный регион на северо-западе Италии, не так ли? – сказал он, ссылаясь на чеховское указание: «если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить», – из чего, по мысли Рихарда, следовало, что если в конце пьесы Марио стреляет из пистолета в Чипполу, то присутствие пистолета должно быть обнаружено и оправдано задолго до конца пьесы...

Ответа на вопрос о происхождении пистолета в новелле Т. Манна нет, да это, собственно, и не нужно, – утверждал Рихард. Появление пистолета у героя и сам выстрел есть, в сущности, тот бой часов, что превращает карету из сказки о Золушке в тыкву. Но, рассуждая таким образом, мы остаемся в рамках магического, одним из проявлений которого является и дар Чипполы. В то же время, полагал Рихард, рассуждая о возможности сценической адаптации новеллы, ответить на вопрос о происхождении пистолета необходимо. Рихард пришел к заключению, что ему предстоит самому написать первый акт будущей пьесы, который и создаст основу и предпосылки для всего того, что произойдет во втором акте, основанном на новелле Т. Манна. Отмечу попутно, что ничем иным, как творением вивисектора, я эту пьесу назвать не могу, ибо Рихард, не моргнув глазом, пожертвовал значительной частью новеллы, не сделав даже попытки сохранить ее фабулу. Более того, он перенес действие в середину 30-х годов, когда

Италия, следуя курсом на воссоздание Новой Римской империи, вела войну в Эфиопии.

Но что остается делать, если вы, подобно Рихарду, чувствуете и понимаете, что не можете и не хотите писать «проходимые», то есть приемлемые с точки зрения цензуры, пьесы о жизни современного вам общества? Вы пытаетесь отыскать убежище, и Рихард нашел его в сценической адаптации известных произведений литературы, деформировав их до определенной формы, допустимой цензурой и принятыми обществом условностями и требованиями.

Итак, действие в пьесе Рихарда начиналось и разворачивалось в лучшей гостинице города Ла Специя на берегу Тирренского моря. В этой гостинице работает Марио. Он безответно влюблен в дочь своего хозяина, Сильвестру, которая слегка кокетничает с приезжающими в гостиницу постояльцами. Она взволнована сообщениями об открывающейся в Ла Специя авиационной выставке и предстоящих воздушных парадах. Сильвестра знает, что один из сыновей Муссолини стал летчиком, и мечтает о том, что судьба пошлет ей встречу с прекрасным молодым офицером. То есть, как объяснял сам Рихард, обращаясь к актерам, она предается обычным грезам не слишком умной, но живой девушки, для которой Марио и его чувства – еще одно подтверждение того, что цели, которые она ставит перед собой, скорее всего, достижимы.

Один из приехавших в гостиницу офицеров, Полковник, чье имя не названо, прибывший для проведения авиационной выставки на военной базе в Ла Специя, внимательно наблюдает за Марио, беседующим с Сильвестрой. Согласно Рихарду, Полковник – человек в мундире с эполетами, с внешностью Витторио Гассмана, – олицетворение фасада возрождаемой дуче Империи, вот уже несколько лет ведущей войну в Эфиопии.

Завязав беседу с Марио, Полковник пытается увлечь его военной карьерой, внушая мысль о превосходстве идеи Patria, Отчизны, над идеей Madre patria, Родины. Идея служения Отчизне, государству, возрождению величия Империи... ее внешние атрибуты – ликторы, фации, салюты и, наконец, – самоотверженная смерть за Империю как идеал служения ей... При этом, согласно Рихарду, тайные импульсы и порывы Полковника связаны с его гомоэротическим вожделением: он надеется соблазнить Марио, и пистолет, который он ему показывает, – о вещественная, в этой интерпретации, мужская сила...

Между тем Сильвестра делится с Марио своей мечтой:

– Мы усядемся в кабину пилота, Марио, он заведет мотор, я надену очки и – фьюить, мы улетели... а, как тебе это?

– Улетели? Куда? – мрачно спрашивает Марио.

– На край света, – беззаботно отвечает Сильвестра и уходит.

– Клянусь, я не допущу этого! – оставшись один, восклицает Марио.

После чего он похищает пистолет из номера Полковника.

Второе действие пьесы начинается с прибытия в отель нового постояльца – кавалера Чиппола. Гипнотизер и духовидец, циник и ловец душ человеческих, он без особого труда угадывает связанное с чувством к Сильвестре напряжение, что скрывается за вежливостью и легкой отрешенностью Марио. В ходе представления, устроенного в зале гостиницы, горбун Чиппола демонстрирует свои экстраординарные способности публике, угадывая тайные и явные желания толпы. Попивая коньяк, подобно папаше Карамазову, он время от времени щелкает хлыстом и постепенно подготавливает публику к финальному акту своего шоу – осквернению обнаженной человеческой души...

Наконец Чиппола приглашает Марио на сцену.

– Ну же, Марио... покажи, какой ты смелый.... пойдешь на сцену, – обращается к нему Сильвестра, пришедшая на представление в обществе молодого офицера. И Марио поднимается на сцену, где постепенно оказывается во власти Чиппола. Наконец, введя Марио в транс, маг и волшебник заставил его поверить в то, что он, Чиппола, и есть Сильвестра, и, выслушав признание Марио, позволил тому запечатлеть поцелуй на своей безобразной, желтой, покрытой гримом щеке. После чего Чиппола прерывает состояние транса Марио, а заодно и состояние замороженности публики, резким ударом хлыста.

Зажигается свет, и безжалостный луч прожектора освещает ошарашенного Марио и хохочущего всеми многочисленными складками своего темного морщинистого лица Чиппола. Так обезьяна хохочет над одуроченным ею человеком. Слышен нарастающий гул моторов пролетающих над городом самолетов. Гул становится все сильнее; достав из кармана пистолет, Марио стреляет в Чиппола.

Смерть мага безобразна и отвратительна – похоже, это умирает дергающая своими конечностями обезьяна. Пантомима смерти Чиппола разыгрывается на звуковом фоне постепенно затихающей арии Риголетто из оперы Верди.

Последняя ремарка пьесы – «Народ безмолвствует».

Далее – занавес.

Несмотря на прозвучавшие на генеральной репетиции овации, спектакль не был показан широкой публике на сцене родного для Рихарда театра.

Происходило это на фоне той войны в горном Афганистане, в сердце Азии, вскоре после выхода из которой режим, установленный

за семьдесят с небольшим лет до этого, рухнул. Но в середине восьмидесятых, когда до гибели режима и распада Советского Союза оставалось еще несколько лет, никто не знал, да и не мог знать, как будут разворачиваться события. Написанная Рихардом пьеса, казалось, указывала на актуальные исторические параллели. Это, естественно, не осталось незамеченным. Представители ЦК в репертуарной комиссии министерства культуры закрыли спектакль «до лучших времен», усмотрев в нем «крамолу» и зловещую «аполитичность». И ни ходатайства труппы, ни письма в отдел культуры местного ЦК не помогли. Единственно, чего удалось добиться Рихарду при закулисно-дипломатической поддержке Бруно Вольдемаровича, так это организовать несколько закрытых, предназначенных исключительно для театральной общественности, спектаклей, что на определенное время сделало Рихарда героем латвийских театральных горизонтов. Но, увы, даже и Бруно Вольдемарович оказался не столь всесилен, как хотелось бы; к тому же он не имел прямого отношения к вопросам культурного строительства в условиях обострившейся международной обстановки, а выступал лишь в качестве гаранта высокого художественного уровня постановки, проявляя отеческую заботу об авторе и никак не противореча и не вступая в конфликт с теми идеологическими установками, что были как будто нарушены в этом крамольном и аполитичном спектакле.

Решение же предоставить возможность театральной общественности ознакомиться с плодами трудов Рихарда и труппы мотивировано было и признанием талантов Рихарда, и высокой оценкой вложенного в постановку труда, да и связано было с рассмотрением вопроса о том, не отправить ли спектакль за рубеж на один из театральных фестивалей, ну хотя бы в Эдинбург или Берлин, на театральный фестиваль, проводимый под эгидой ЮНЕСКО. Рихарду, человеку театра, для которого сочетание ярко освещенной сцены и темных пространств за нею являлось совершенно естественным, сложившаяся ситуация пришлась по душе; она, в определенной мере, его устраивала: известность его начала приобретать определенное дополнительное измерение и привкус фронды, более того, репутация драматурга, автора полузапрещенной пьесы и соавтора самого Томаса Манна, его тешила. К тому же, вскоре после закрытия спектакля Рихарду было предложено начать работать со студентами на театральном отделении консерватории.

Вопросы о том, какие, собственно, курсы или занятия может и будет вести Рихард, планировалось решить к началу следующего учебного года, но рабочее место уже существовало, приказ о зачислении Рихарда в штат в качестве лектора был уже подписан, и

Рихарду начали выплачивать зарплату еще и на театральном отделении в консерватории, где он время от времени появлялся, стараясь «не дразнить гусей», охранявших сей храм искусств.

ГЛАВА 10

Книга Рихарда была опубликована за несколько лет до распада последней великой империи, и текст ее, изобиловавший намеками и недоговоренностями, отразил всю двусмысленную сущность того переходного периода или состояния полураспада, в котором империя находилась в то время. Даже рассказывая о своих пьесах и о тех принципах, которым он следовал при написании оных, то есть излагая свое видение и понимание потребностей театра того времени, Рихард вынужден был, как позднее утверждала Илона, избегать особенно резких суждений и обходить некоторые так называемые «острые углы».

Идея же его, простая и ясная, состояла в том, чтобы рассказать пришедшей в театр публике о своем времени, используя оптику и хирургический инструментарий иных времен, то есть основываясь на уже как бы апробированных и не запрещенных цензурой произведениях. К тому же, полагал он, некоторые явленные миру в виде прозаических сочинений произведения тяготеют, на самом деле, к подмосткам, и в качестве живого и ясного примера ссылался на Достоевского, указывая на то большое влияние, что оказало на писателя чтение драматических произведений во времена его юности, на его всем известную любовь к драмам романтиков, сопровождавшую всю его жизнь, на его постоянное цитирование Шиллера, высказывания о произведениях В. Гюго, ревностное отношение к распределению ролей в любительских спектаклях, в которых он принимал участие, и, главное, на чрезвычайную театральность его романов с их фантастически закрученной интригой и длинными, страстными, почти бесконечными болезненными монологами, исходная мысль которых почти неизменно возвращается на круги своя после нескольких сложных и вязких пассажей, перемалывающих те или иные ее вибрации.

Правда, отмечал Рихард, сам бы он не решился подвергать сочинения этого писателя вивисекции, ибо ничем иным, как вивисекцией, назвать все существующие сценические адаптации Достоевского нельзя. Этот автор, писал Рихард, пожалуй, несколько сложноват для театра, поскольку он, в принципе, предназначен для иной системы общения, а именно, общения один на один, то есть на общение автора с читателем. Сам же Рихард всегда стремился адаптировать для сцены именно те произведения, что полюбил еще в юности, те, в

которых примат драматического начала над, скажем, описательным или философским, был бы ясно выражен.

Справедливости ради надо сказать, что Рихард не побоялся подвергнуть вивисекции «Человека, который смеется» В. Гюго, одного из старших современников Ф. М. Достоевского. «Еще в юности, – писал он, – раздумывая над этим романом, я вспомнил бредущих вдоль берега моря актеров из ‘Гамлета’, путешествие принца в Англию, подделанное им письмо, казнь Гильденстерна и Розенкранца, утонувшую Офелию, и догадался, что безумный Гамлет – это такой же обездоленный человек, что и Гуинплен, произносящий свой монолог в Палате лордов. Через много лет мы как-то раз гуляли вместе с Илоной по ночному пляжу в тумане. В тот вечер, после обеда с бутылкой хорошего вина, сознание мое парило, и я внезапно понял, что у этих произведений, то есть у трагедии и романа, есть общая система перспективы и точка схода ее – в Вечности, на Страшном суде. Остальное было делом техники.»

Здесь, возможно, следовало бы рассмотреть и вопрос об отношении Рихарда к тому, что мы называем «свободой совести».

– Ну что же я могу сказать обо всем этом, если таких, как я, запрещено было хоронить на церковных кладбищах, – признался он как-то раз Илоне, прогуливаясь вместе с нею по Домской площади. Затем он добавил:

– Я жил в разных странах. И в каждой из них люди молились, а затем убивали друг друга. Так что я решил не терять времени на бесплодные размышления, а пытаться делать то, что люблю и что представляется мне изначально нужным. И вот таким местом для меня и является театр.

Хотя, как признавался Рихард позднее, были и в его жизни периоды поисков ответов на мучительные вопросы о природе *счастья, любви*, etc., ясно обнаружившие себя в его пьесе об А. П. Керн и письмах Пушкина. Следуя этой линии мысли, указывал Рихард и на то, что именно в «Маленьких трагедиях» наблюдаем мы тот примат философского над драматическим, что и сегодня препятствует приходу этих трагедий на большую сцену... Можно ли не считать парадоксом то, что роман в стихах «Евгений Онегин» живет на оперной сцене, а «Маленькие трагедии» не могут найти себе места на драматической? – пишет Рихард, призывая различать между *кажимостью* и *сущностью*...

Как бы то ни было, возвращаясь к вопросу о сотрудничестве Рихарда и Илоны в процессе работы над его первой книгой, следует отметить, что именно Илона сумела убедить Рихарда ограничиться в первой книге его материалами, абсолютно «проходимыми». Ибо, ука-

зав Рихарду на стремительные перемены в жизни страны, она предсказывала, что скоро, совсем скоро наступит время, когда «всё будет вольно и так будет просто, что ничего не будет...»

Когда же Рихард спросил у Илоны, что сие выражение означает, она со смехом напомнила ему, что слова эти принадлежат Толстому и взяты из того места романа «Война и мир», где, рассказывая о богучаровских мужиках, писатель замечает: «Слухи о войне и Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле».

– И вот сейчас произойдет примерно то же самое, – сказала Илона, – всё рухнет, ничего не останется – империя с ее пестрым национальным составом не может существовать в условиях гласности, ибо, выпущенные, подобно джинну из бутылки, национальные силы ее развалят...

– Разве ты не видишь, что творится кругом? – продолжала она, и Рихард мысленно назвал ее Кассандрой. – И на самом деле, милый Рихард, если говорить серьезно, тебе следует начать готовиться к этому будущему, и коль скоро ты хочешь написать книгу без умолчаний и цезур, тебе следует начинать эту подготовку прямо сейчас. Вспомни о римских историках... – начала было она, и Рихард расхохотался, настолько нелепым показалось ему это сравнение.

(Продолжение в следующем номере)

Игорь Джерри Курас

Ворота в никуда

* * *

Памяти Анны Агнич

Я нашел в лесу ворота в никуда:
никудышные, проржавленные, старые;
ни дорожки, ни тропинки, ни следа —
только сосны, то гурьбой, то снова парами,
а за ними ни болота, ни пруда —
сосны, сосны: худосочны, сухопарые.

Прошлогодняя трава из-под корней,
в чем могла она сознаться, что не выдала?
Кто, измучивая, сжалился над ней?
Два столба, как будто два поганных идола.
Снова сосны сухопарые длинней
в небе сходятся совсем уж неевклидово.

Я нашел в лесу, что лес умеет быть,
что и сосны вместе сходятся с такими же.
Что любая вверх протянутая нить
тоже связана с другими. Что не вымыслен
знак, оставленный мне мертвым, чтобы жить.
Посмеешься надо мною? Взвесив, примешь ли?

Мне бы что-нибудь неброское взамен
всем исчезнувшим. Тогда безукоризненно,
точно Иов твой, приму и буду нем,
ты же знаешь, как безропотны мы издавна —
вот ворота в никуда, столбы без стен —
и молчим мы, благодарные пожизненно.

Но не дашь мне даже этого. Висят
здесь ворота, там ворота в жадной ржавости.
Испросившей у тебя неброский сад,
ни тропинки ты не дал, ни тихой старости;
хоть ворота в никуда, хоть сосен ряд,
неужели было жалко этой малости?

Прошлогодня мертва трава-ковыль,
в чем она могла сознаться, что не выдала?
Что не знаю я о линии судьбы,
уходящей прямо в небо неевклидово?
Истуканами застывшие столбы,
что замыслили вы, два поганных идола?

* * *

Ты далеко, а здесь повсюду снег.
Дома всё те же, но морозны окна;
трамвай, как зачарованный ковчег
плывет один сквозь грубые волокна,
которые случаются, когда
заснежены повсюду провода.

Плетусь по снегу. Слушаю: во мне
забытая мелодия тугая
(натянута — ведь тянется извне),
едва звучит, еще не достигая
тональности, в которой я сейчас,
но я узнал ее как в первый раз.

Я помню дворик. Неприютных стен
разводы грязно-желтые на пегом;
твой за окном нелепый цикламен,
как будто опрокинутый под снегом.
И если уж добрался до метро —
ныряй со всеми в самое нутро.

Теперь плетусь и думаю: чудно,
что вспомнил вдруг и, смастерив, приладил
к сегодняшнему снегу заодно
заснеженное прожитое. Ради
другого снега где-то впереди
или с тоски? Хоть душу бережи.

И правда мне тоскливо: оттого,
что ты не здесь, и никогда не сможешь
быть там, где было время до того,
пока не стало после. И, похоже,
что нет тебя совсем: ни там, ни тут;
хотя и там, и тут тебя зовут.

Любимая и прочие. Куда
я вечером один плетусь по снегу?
Здесь сверху вместо неба провода
протянуты к трамвайному ковчегу.
Но разве одному позволят в путь?
Один не пара – должен утонуть.

Возьмите на поруки – я же свой!
Я, может быть, еще сгожусь на стыке
времен, когда пытаюсь я домой
сквозь вечный снег пробиться и сквозь блики,
которые случаются в глазах,
когда глаза, случается, в слезах.

Хоть сто снегов друг с другом поменять –
они похожи, как ночные окна.
Забудьте про меня и вспоминать,
где законный цикламен промок, но
очнулся и усталился на снег.
Как будто тоже смертный человек.

* * *

Вдруг вспомнится: проснешься на Свечном –
и пахнет чем-то сладким и аптечным;
с виолончельным вогнутым смычком
дед в шароварах возится над вечным.
А вечного в избытке на Свечном,
слова созвучны: в навсегда ночном
пространстве ленинградском вдоволь боли –
что музыка? Шестнадцатые доли,
отсчитанные капли перед сном,
на шароварах след от канифоли.

О, вдоволь боли! Вдовы всех мастей
снуют во все концы по коридору.
Дед мастерит концерт из трех частей,
бормочет что-то в ноты без разбору.
Пространство ленинградское в ночном
прислушается: где-то на Свечном
виолончель препятствует раздору.
И миротворец в мире сволочном –

где пахнет стиркой, склокой, беломором,
где вдовы подпирают мир плечом –
блаженный устремился в вечность взором
с наивным си-бемодем под ключом.

* * *

Хотел бы я на подмосковной даче
вдруг оказаться, перейти пути;
носком ботинка подцепить, как мячик
еловой шишки музыку – лети!
Явиться по-простому, по-соседски,
в калитку постучать.
И вот, в окно
доверчиво ты выглянешь, как в детство,
по-бабьи вспыхнешь, выбежишь чудно.
Ты выбежишь ко мне, откроешь двери:
нечёсаная, ясная, в простом
домашнем платье – гибкая, как пери,
вселившаяся в подмосковный дом.
Поет тоску скрипучая терраса,
и в дом раскрыты двери предо мной:
а там пирог и Яблочного Спаса
припасы,
крупы,
пряный дух грибной.
Я в этот миг, наверное, заплачу –
всё покачнется, поплывет кругом,
как в гамаке,
на подмосковной даче
в другом тысячелетии,
в другом.

* * *

Как же плохо, как тошно тебе, дорогой книгочей,
среди тусклых неприбранных дней и горбатых ночей,
как тоскливо тебе, и не знаю, смогу ли помочь,
я тому, у кого каждый день окунается в ночь.
Не пойму я, зачем ты решил, что не брат я, а враг.
Помню, в детстве за школой был сад, а за садом овраг,
и в враге на самом на дне был бурлящий ручей –
неглубокий, но шумный и буйный, как ты, книгочей.

Мы туда убегали с уроков, и был он суров –
этот странный овраг, этот шов, этот шрам, этот ров.
По нему проходила когда-то блокады межа –
наша школа стояла с другой стороны рубежа.
А на той стороне, если вброд переходишь ручей,
был измученный голодом город, седой книгочей.
Только шаг по воде – сбросив кеды на том берегу,
где за школой был сад, о котором тоску берегу.
Только шаг по воде босиком, только глинистый след –
и окажешься там, где от голода умер мой дед.
Где нелепый кораблик плывет среди белых ночей –
если помнишь, великий о нем написал книгочей.
Где с тех пор этот яркий кораблик всю жизнь напролет –
не над городом даже – над нами над всеми плывет.
Босиком, босиком, сбросив кеды, по глинистой мгле –
с каждым шагом мы ближе к его золочёной игле.

Бостон

Марина Эскина

Не о любви

ПЯРНУ

Всадник без головы
мчится среди песчаных дюн,
ты – юн, я – гамаюн,
оба мы одеты
в свои секреты
полишинеля,
как в латы,
твой пересказ незамысловатый
гудит полетом шмеля
и звенит земля,
мои стихи,
влажные от чепухи,
намекающей на грехи
десятилетней девочки,
откликаются немощью,
жаждой одиночки,
тайной нераскрытой почки,
но тебе представляются
творчеством, почти пророчеством.
Так пролетели –
стайкой, гурьбой –
три недели
неразлучного пляжного счастья,
прощаться
мы тогда не умели,
стали, зато, причастны
звездному небу
над головой,
погрызли лунного хлеба,
видели эту и ту звезду,
пока закон небесный
находил-искал свое место
в нашем детском раю, аду.

L'ELISIR D'AMORE

Как бы ни был смешон эликсир любви, с чем бы не был смешан,
Со святой мошеннической водой, или с чем покрепче,
Ты всю жизнь искал его, весел и безутешен,
С любовью в сердце вставал и засыпал под вечер.
Допивал его из горла до последней капли,
Пока любовь кокетничала жестоко и равнодушно,
И всегда не доставало чуть-чуть, чтобы не наступать на грабли,
Не терять голову, сплетню в дверях подслушав.
Отчаявшись, ты готов был уйти в солдаты
За тридевять земель – утешиться в объятиях смерти,
Но у тебя хватало глупости и бравады
Верить в эликсир – ну что вы смеетесь, черти.
*Una furtiva lagrima** закипает, полощет горло
Тенором, тетеревом, и вот уже любовь бежит к тебе, задыхаясь,
Ты раскланиваешься, думаешь: наконец попёрло,
Занавес падает, и концовка оказывается совсем другая.

**Una furtiva lagrima* – «скрытая слеза», знаменитая ария из оперы *L'elisir d'amore*.

НОВЫЙ ОРФЕЙ

Вывел за руку на свет впереди,
лай, и хохот, и вой за спиной,
вывел и отпустил – мол, иди,
дальше можно уже и одной,

осторожно оглянись и вернись
в голосащую привычную тьму,
только раз еще крутну эту ось –
посмотреть тебе вослед, одному.

* * *

Ласка, нежность – пленные зверки
женского опасливого рода,
не достать рукой твоей руки,
не пустить зверушек на свободу,

голубь до тебя не долетит,
утомится, к вечеру вернется
с веткой из далеких палестин,
приголубь уж там кого придется.

* * *

Нет, это я не о любви,
о чем тогда? сама не знаю,
о том, что, как ни назови,
я не ищу и не теряю,

о том, каким я вижу свет,
не близким, не в конце тоннеля,
он прорывается в ответ
моим вселенным параллельным,

у этой силы световой,
меня обнявшей и хранящей,
подчас бывает облик твой,
а голос — раз в году, не чаще.

* * *

В понедельник утром она спит непривычно крепко,
и будильник в половине седьмого
выдергивает ее, как репку,
почти из мира иного —
отвезти его на вокзал,
соблюсти ритуал,
уезжая на пару дней, ненадолго,
он не любит путешествовать налегке;
проверить банку супа, чтобы не потекла в рюкзаке, —
поверхностный интеграл семейного долга.

Можно было бы притвориться спящей,
или заснуть по-настоящему,
под гул воды, пока ты брешь
незаросшую за ночь щеку,
но так образуется брешь,
в которую ухают годы, сбившиеся со счета,
поэтому я неурочно воскресаю, встаю
в понедельник ясный ли, мутный,
оказаться ведь можно в аду, в раю,
в любую непредвиденную минуту.

ДИАЛОГ

Одна говорит –
у меня было много мужчин
всегда,
начиная с детского сада,
Костя свистеть учил,
Митя совал мне яблоки, булочки,
смешно и досадно,
как будто мне было надо;
проводить меня
стояли в очереди,
я – темнила,
дразнила в глаза
просто так или за прыщи,
реже благоволила,
когда хотела
допускала к телу;
Ты не думай –
четыре раза
была замужем,
выбирала лучшего
из лучших,
потом наскучило,
теперь ищи свищи.

Другая говорит –
у меня было много любви,
начиная с детского сада,
булочки отдавала Саше,
яблоко подвигала Гале,
воспитательниц тоже
любила, но они были выше,
недосягаемей,
любила улицу Марата,
троюродного брата
из Минска,
деревья в Павловске;
в мальчика влюбилась
в четвертом классе
скрытно, восторженно,
но, конечно, все всё знали,
разве иначе можно,

дух захватывало,
как на качелях,
радовалась даже
драке портфелями,
зная, что это ничем не кончится;
ела в столовой пончики –
сахарная пудра над смуглой губой,
дщери Иерусалимские –
говорила сама с собой,
слова сбегались гурьбой,
Песня Песней,
повесть повестей,
любви оказалось больше,
чем мужчин и детей.

* * *

Чуть пригреет и вспомнишь,
хоть кажется, что ерунда,
но, подумай, любовь не бывает
прошедшей, последней,
даже если тщета
заливает
сквозь щели в передней
жизнь саму –
дом на сваях,
и скорая помощь
не едет по вызову,
что уж
любовь.
Но в момент непрозрачной тоски
в глаз и в бровь
полыхнет вдруг светящейся гранью,
ослепляя страдание,
как они, впрочем, близки
в тесноте темноты.
Эй, с косой в капюшоне, кто ты?
Не проси, не зови,
опирайся на твердь,
на носочки вставай, на носки,
дотянуться до первой любви,
побеждающей смерть.

Бостон

Геннадий Кацов

Смена часовых

* * *

посмотришь на пейзаж с балкона —
коробки зданий, этажи
с чужим их бытом законным,
с рассказами про чью-то жизнь

с горящим для кого-то светом
в квартире малой и пустой,
как будто со времён Завета
воюющего с темнотой

а всюду полдень, два едва ли,
застыл запруда-небосвод,
и всё, что нам преподавали,
уйдет из памяти вот-вот

и будет вниз пространства выгнут
в морозном воздухе полет —
и человек-лягушка прыгнет,
подпрыгнет, а затем замрет

МОНОЛОГ С СУДЬБОЙ

не пора ли, как говорится, часовых сменять
снять шинель и домой налегке почопать
век учись, ходят слухи, только хватит с меня
сесибон! уже вот она где, ваша учеба

ни ума не нажил, да и опыт так себе
цель та же — в иголке, а иголка — в яйцах
хороша перспектива: роскошный собес
хоспис... одним словом, давай, собирайся

упаковывай вещи, коих наплакал кот
когого не было — на котов аллергия

ибо жизнь — диссонанс исключительно ког-
нитивный и живым неизбежно врагиня

сам себе же вали подобру, пока
племя младое не схватило под ручки
незнакомое не подбросило так в облака
чтобы только попа осталась, без ручки

короче, что называется, вахту сдавать
самое время — подтяни штаны и
врубись: кранты... всё... в дрова...
не только вовеки, присно, но и ныне

* * *

след птицы в промёрзшем стекле
витраж на жемчужном крыле
сквозь дырочку видишь в заборе
фигуры непрожитых лет
со спин — думал будет поболе

челнок как посажен на клей
застыл и не выше колен
прилив у чернильного стикса
ждет в черном снегу околева
паромщик — куда торопиться

похоже на вечер у клер
и явь и мечты как в смоле
прозрачной свернувшейся шаром
метель не метет в вязкой мгле
и как ни трясина — только даром

слезы увлажняющий крем
для тех кто иссохся в земле
внутри Настоящего — время
и кто бы найти в нем велел
твое настоящее имя

* * *

опять рассвет, и некому помочь:
враги луну упёрли — до заката,
тиха была украинская ночь
(убитых только тридцать три солдата)

на лобном месте вешают детей —
какое утро без стрелецкой казни,
и бодрый выпуск свежих новостей
о западных расскажет безобразьях

по ком звонит их колокол «дин-дон»,
к чему электорат их призывают?
пусть тех, кто возглавляет вашингтон,
собьёт вагон столичного трамвая

в дамаске тоже утро, и оно
не для павлинов — для дамасской стали:
«бук», «тополь», «буратино» — на панно
из местной флоры, как родные стали

кореец чон кин, из тувы сержант,
стоит у баллистической ракеты,
с утра он на посту — всея гарант
от мирного процесса до победы

кого-там-нет — идут в свой правый бой
по континентам, городам и весям:
командующий, прапор, рядовой —
в одном ряду, в большой упряжке вместе

впадают по пути в законный раж:
по нашему, по флотски, по советски...
и варварство стихи писать сейчас,
когда по новой строится освенцим

* * *

Пустяки разговор. Самому на себя попенять —
это плёвое дело, тем паче в осеннюю пору:
и меняются страны, и улицы, и имена,
и ты — в прошлом, как в школьном пальто, и оно тебе впору.

Что там можно исправить? Найти бы цыганку сейчас,
что гадает на прошлое по постаревшим ладоням:
может, линию жизни спрямит, пусть бы малую часть,
лишь бы впредь об упущенных шансах в судьбе не долдонить.

Ибо, словно я ехал, меняя маршруты в пути,
и меня календарно по дням и в них брошенным фразам
собирали, как будто металл, пионеры в утиль,
разбирая по многу непрожитым дням раз за разом.

Сколько было «конечных» из станций с забытым лицом
и безлюдных перронов с весь день торговавшей старушкой
желтой в масле картошкой с укропом, в ведре – огурцом
малосольным, с крутым первачом за полтинник из кружки.

Знать тогда бы, чего нагадает, прощаясь, она,
проводив окна взглядом, сжимая в руке свою мелочь,
расплатиться бы с ней надо было сторицей, сполна,
чтоб и счастья себе, и страна быть счастливой сумела б.

* * *

мир январский не сух, оттого сыр и вял
после массы дождливых событий,
и не жив – дождевым сразу отдан червям,
как итог в монологе про «быть иль...»

шелестящий гортранспорт... без пары с утра,
банку пива ломает у входа
в продуктовый... гриппозное et cetera –
вирус-спам наступившего года,
поджидая за каждым кирпичным углом,
гудит ветер, спуская до цента
всю получку – в наследство полученный дом,
и дурдом с прошлогодней наценкой

доедает квартира свой праздничный торт
в ожидании камерных действий,
пока сходит скрипящею лестницей тот,
кто обрезан был по-иудейски,
пока пьяниц компания входит в квартал,
алкоголь разливая по лужам,

пока официантом, пока не устал,
без проблем новый год им послужит

едут двое – четвертые сутки пути –
просыпаясь и вновь засыпая,
и простывший водитель не может найти
их жилище из двух смежных спален,
хор подростков на площади тихо поет,
проводив и встречая устало,
пузырится в бокалах дежурный «тоёѐ»
(не «тоёѐ», не сейчас, не в бокалах)

убери хоть все убери – будет всё так,
как и было: бессвязно, печально,
а дожить бы до ночи – твоя темнота,
как в *тот* год, что был в самом Начале

* * *

с влагой выплеснут липкий комочек, кусочек
(ведь младенец, когда подсыхает, песочен)

с верхней долго ссыпается в нижнюю чашу:
раз в мгновение, два за секунду – не чаще

там, волнуясь на дне, до истерики точен
(после года младенец, обычно, проточен)

за волною волна, бьется в пене при мысли
как теперь от течений клепсидры зависим

как спастись от кессонки с банальным удушьем
(ведь младенец лет в тридцать, обычно, воздушен)

вдох всегда отделить, поглощающий воздух,
от земли, поглощающей время, не поздно

и густея к рассвету, томна и восточна
(ведь младенец годам к девяноста височен)

кровь, свой цикл завершая по поиску счастья,
остывает комком в обороте причастном

* * *

широты и долготы не знать
самому себя забросить в лес
без опознавательного знака
без еды и алкоголя без

без ай-фона без стола с пи-си
чтоб карман как и сума был пуст
как у битлз только небо синее
как у них трава зеленой пусть

там сплести близ родника шалаш
и разжечь не зная как костер
называть себя с тех пор шаманом
знать богов их братьев и сестер

в их же честь писать стихи им петь
сделать бубен коль найдется хряк
и как с волком разобрался петя
обмануть судьбу прожив не зря

самому же свой развеять прах
сам себе на небесах посол
так легко взойти как бы по трапу
чтоб никто на свете не нашел

Нью-Йорк

Дмитрий Игнатов

Два рассказа

ОН. ОНА. ОСЕНЬ.

Виктор отбил заголовок парой пустых строк и закрыл крышку ноутбука, полностью перепоручив муки творчества писательской нейросети. Теперь хитрая программа продолжила сочинительство без него, используя метод свободных ассоциаций и изученный ранее его персональный писательский стиль.

Сначала он с недоверием относился к машинному творчеству, представляя, что из хаотического набора слов в своем словаре компьютер сможет соорудить как максимум какое-нибудь шизофреническое псевдофилософское эссе на манер тех, которыми регулярно грешат неудачники с литературных сайтов. Но после нескольких пробных текстов нейросеть научилась писать довольно складные рассказы с сюжетными поворотами и интригами. В какой-то момент Виктор решил рискнуть и отправил такую рукопись издателю. Его удивлению не было предела, когда текст, в котором человек не написал фактически ни одной связной строчки, был принят к печати. Устоять перед соблазном было слишком сложно, поэтому и следующий «свой» рассказ Виктор «написал» точно так же. После третьего машинного «шедевра» обманывать стало легче. Однажды писатель дополнительно скормил компьютеру немного Чехова, а потом с нескрываемым злорадством читал в редакторской колонке литературного альманаха, что у него появился «неповторимый стиль: иронический и немного грустный».

Надо сказать, что ноутбук у Виктора был не из новых, но хозяин был к нему не особенно требователен, компьютер долгие годы исправно выполнял роль пишущей машинки. Теперь же устаревший аппарат с заметным скрипом проворачивал инструкции нейронного движка. Он накидывал описания мест и интерьеров, потом тщательно подбирал слова, лакируя стиль, и надолго зависал, обдумывая диалоги персонажей. Вероятно, более современная машина справилась бы с задачей в разы быстрее. Зато так у Виктора создавалась полноценная иллюзия сложного творческого процесса, а свободное время,

которого у него образовалось в избытке, он с удовольствием проводил бездельничая.

Писатель сунул ноги в сильно поношенные, но удобные теннисные туфли, набросил на себя вытертую на руках ветровку и вышел из дома. Небольшой загородный коттедж с заостренной на готический манер крышей когда-то считался в его семье летней резиденцией. Сюда, как тогда говорили – «на дачу», отец вывозил всех в середине мая и почти до самого конца августа. Мать пыталась разводить какие-то цветы, но тень окружающего леса так и не позволила ей развернуться в полную силу своих творческих планов. Теперь лес стал еще гуще и темнее, а из-за множества накренившихся и упавших стволов казался каким-то неопрятным. Впрочем, это совершенно не мешало прогуливаться по хорошо вытоптаным дорожкам и тропинкам.

Это место всегда ассоциировалось у Виктора с детством. Самыми светлыми и счастливыми моментами – наверное, как и у всех. В отличие от тесной городской квартиры, где долгое время болели и скончались оба его старика. Поэтому, когда после смерти родителей перед Виктором встал вопрос, где оставаться жить, выбор для него был очевиден.

Жизнь скучающего на природе писателя прельщала его как внешним антуражем, так и собственным искренним желанием сбежать, наконец, от городской суеты. К тому времени Виктор уже приобрел популярность, издатель с удовольствием брал в печать его рассказы и романы, а авторские гонорары, когда-то поддерживающие стареющих родителей, теперь с лихвой покрывали все его скромные потребности.

Погрузившись в невеселые воспоминания, писатель углубился в лес. Сухая листва шуршала под ногами и делала его размышления еще более тоскливыми. Интересно, но в последнее время он почти разучился размышлять на отстраненные темы и совсем перестал фантазировать. Выдуманные истории казались Виктору какими-то пустыми и бесполезными – разве что они хорошо продавались. Когда-то давно желание излить мысли на бумагу вырывалось наружу. Чуть позже его подкрепило желание заработать на жизнь. Виктор мог днями просиживать за клавиатурой, не выходя из дома. Теперь же заниматься писательством по старинке у него не было ни желания, ни потребности. Он стал полностью свободен и мог, наконец, просто прогуляться по лесу – как сейчас. Писатель не помнил, куда именно ведет дорожка, на которую он свернул, он просто пошел вперед.

Скоро Виктор вышел на берег реки. Лес здесь обрывался почти у самой воды узкой полоской полудикого пляжа, а ряд нескольких старых деревянных скамеек, поставленных кем-то давным-давно,

создавал впечатление небольшой набережной, протянувшейся вдоль воды. Виктор присел на лавочку и провел рукой по шершавым доскам с отшелушивающейся краской. Он помнил это место. Они с отцом приходили и купались тут по полдня, иногда пропуская обед. Мама ругалась на них, когда они приходили назад мокрые, но довольные, с всклоченными волосами. Писатель грустно вздохнул. Неужели ему больше не о чем думать? Почему внутри не осталось ничего, кроме воспоминаний?

Неожиданно от этих тоскливых мыслей его отвлек чей-то кашель. Он обернулся и увидел в десятке шагов от себя девушку с фотоаппаратом. Она увлеченно нацеливала объектив на какие-то одной ей ведомые листочки, ветки, кроны деревьев и довольно часто щелкала затвором. Писатель нашел ее интерес странным и отвернулся, решив, что это, вероятно, одна из периодически приезжающих туристов, спешащих бездумно запечатлеть каждый понравившийся вид, чтобы потом запостить в социальных сетях. Впрочем, денек выдался и правда довольно приятным и красивым. Солнце ярко золотило красноватые кроны и серебрило мелкую рябь на воде. И эта девушка с ярко-рыжими крашеными волосами, в каком-то смешном оранжевом шарфе, тоже казалась какой-то осенней и, странным образом, весьма уместной, словно специально вписанной в окружающий пейзаж. Писателю вдруг захотелось еще раз на нее посмотреть. Он осторожно и чуть нерешительно обернулся, но девушки уже не было.

* * *

Наталья проснулась ранним утром. Она лежала на раскладушке прямо так, как и уснула вечером, не снимая верхней одежды, укрывшись колючим верблюжьим одеялом. В доме было пусто и холодно. Двухконтурный бойлер вчера так и не захотел заработать, а старенький электромасляный обогреватель явно не справлялся с кубатурой помещения.

Девушка потянулась, поправила высокий и толстый, как бублик, ворот своего вязаного свитера в бежевые и коричневые полосы, вдоль которых росли елки и скакали олени, отключила обогреватель и включила вместо него пузатый электрический чайник. Разровняв пальцами свои спутавшиеся за ночь огненно-рыжие волосы, она связала их резинкой в хвост и принялась с обезьяньим проворством копать в небольшом рюкзаке.

Прежние жильцы не побеспокоились о том, чтобы оставить хоть какую-то мебель. Поэтому и электрочайник, и рюкзачок, и небольшой кофр для зеркального фотоаппарата располагались прямо на полу рядом с раскладушкой. Зато в этом совершенно неудобном доме можно

было оценить геометрию пространства и ощутить какую-то особую визуальную магию конструктивной пустоты, требующей, чтобы ее заполнили.

Вчера Наталья потратила почти два часа, фотографируя отдельные, как ей казалось, интересные детали. Неровности досок, фрагменты несущих балок, отдельные царапинки и выбоинки, нарушающие целостную текстуру стен, пола и потолка. Вероятно, всё это будет сокрыто под новой отделкой вскоре после того, как она примет решение об окончательном переезде. Эта информация будет надолго, а возможно и навсегда, потеряна. Истинный облик помещения скроется под типовыми и безликими обоями, стеновыми панелями, напольным покрытием и потолочной плиткой. Пройдет год или два, пока новые поверхности окажутся вновь естественным образом «зафактурены». И в каком-то смысле это будет уже совсем другое пространство.

Чайник забурился и щелкнул, изрыгая в холодный воздух струю горячего пара. Девушка налила кипятка в крышку от термоса и высыпала из пакетика растворимый кофе. Не лучший вариант, но, за неимением другого, вполне подходящий. Отказать себе в утренней чашечке кофе она, в любом случае, не могла. Девушка неторопливо отпила слишком горячий, слишком сладкий и слишком ненатуральный напиток и прикрыла глаза от удовольствия.

Окончательно проснувшись, девушка еще раз окинула взглядом пустой дом, обмотала шею длинным оранжевым шарфом, перекинула через плечо кофр с проверенной зеркалкой и уверенным шагом вышла в осенний лес. В чуть обжигающей нос утренней прохладе ощущалось скорое приближение зимы. Лес уже начал местами обнажаться, словно когтями царапая чистое голубое небо острыми черными ветками. Но золото не опавшей до конца листвы всё еще горело яркими красками, словно отдавая сейчас весь тот солнечный свет, который впитало за лето.

Наталья вынула зеркалку из кофра, открыла объектив и со щелчком включила фотоаппарат, отозвавшийся легким приветственным писком. Теперь она была готова к фотоохоте. Снимать Наталья начала довольно рано: еще в школе дедушка подарил ей небольшой, но довольно приличный фотоаппарат. С тех пор она не помнит случая, чтобы расставалась с объективом. Желание снимать всё подряд – начиная от своего завтрака, отражения в зеркале и заканчивая собственными вытянутыми в кадр ногами – быстро прошло. Наталья решила заняться фотографией всерьез и стала разборчивее в выборе объектов для съемки.

Сначала она, как, возможно, и многие, представляла себя фотохудожником, создающим в своих оригинальных фотосетах уникальные

образы. Процесс выглядел со стороны весьма эстетичным и привлекательным и к тому же сулил неплохой доход. Но на десятый раз Наталью уже буквально тошнило от очередной тупой курицы с надувными губами, желающей запечатлеть себя в образе лесной нимфы. Глядя на очередную клиентку, девушка вновь и вновь ловила себя на мысли, что ничего путного из этой болотной кикиморы всё равно не получится.

И в один прекрасный день она просто не пришла на съемку. Прожив в подавленном состоянии пару дней, девушка от нечего делать пересмотрела весь свой архив, а потом взяла и выложила его целиком в Сеть для платного скачивания. Всё подряд: свой завтрак, вытянутые ноги, верхушки деревьев, виды из окна... Каково же было ее удивление, когда в течение нескольких минут была продана первая фотография – старый кадр с шишкой, лежащей на пеньке, который она сняла еще будучи школьницей.

Быстро оценив все прелести цифровой торговли и почувствовав вкус успеха, Наталья принялась за дело с удвоенной силой. Изучая статистику скачиваний, она определила, что доходнее всего пейзажная съемка и зарисовки природы. Всевозможные макропланы с листиками, ягодками и жучками превосходно раскупались для оформления сайтов и журналов; обширные пейзажи охотно брали издатели гляцевых журналов и рекламщики для своей полиграфии, а фото, заполненные травой, листвой или камешками с удовольствием использовали для текстур разработчики компьютерных игр.

Постепенно в электронной коллекции Натальи оказались все мыслимые и немыслимые кадры весенней и летней тематики – почти всё, что можно было собрать в длительных прогулках по городским паркам, скверам и дворам. К осени девушка решила подготовиться обстоятельнее, так родилась мысль о переезде «на природу». Поиск подходящего места продлился недолго. Отфильтровав по цене предложения на сайте недвижимости, она сразу наткнулась на дом, в который моментально влюбилась. Широкий, с треугольной крышей, огромными витражными окнами под самый потолок, с двумя просторными комнатами-студиями на первом этаже и импровизированным вторым ярусом под крышей, а главное – совершенно пустой, без отпечатка жизни предыдущих жильцов.

В тот же вечер Наталья внесла залог, а уже на следующий день, забрав заветные ключи, поехала осматривать будущее место своего обитания. Ни старый автоматический бойлер, отказавшийся работать, ни полное отсутствие каких-либо светильников не расстроили восторженную покупательницу. Она уже мечтательно представляла, как когда-нибудь всё обустроит под прибежище одинокого фотохудожника.

Пока же она снова и снова нажимала на кнопку затвора, каждый раз думая, что никогда не смогла бы сделать такой звенящий и яркий кадр в проклятом пыльном городе. Двигаясь по лесной дорожке и часто сворачивая с нее в поисках интересного вида, она постепенно углубилась в лес и неожиданно для самой себя вышла к реке. Запечатлев вид на воду и противоположный берег, сняв засыпанную пожелтевшей листвой деревянную лавку и макроплан с одиноким листиком, лежащим на старых растрескавшихся досках, она сконцентрировалась на ветках огромной разросшейся ивы. Вытянутые листья дерева красиво свисали на фоне воды, чудесно размывающейся солнечными бликами в короткофокусном объективе.

Сделав несколько кадров, Наталья вдруг ощутила чье-то присутствие и обернулась. На одной из скамеек, стоящих вдоль воды на манер небольшой импровизированной набережной, сидел человек. Он показался ей чем-то странным. Человек сидел неподвижно, задумчиво глядя на воду, вероятно, полностью погруженный в мысли. Девушка машинально подняла фотоаппарат, посмотрела на сидящего в прицел видоискателя и уже было занесла палец над кнопкой, но остановилась. Вспомнились вдруг привередливые «красавицы» с накаченными губами, она даже поморщилась. К тому же, как разумно рассудила Наталья, такое фото вряд ли кто купит. Без имени модели, задействованной в съемке, коммерческое использование будет затруднено. Покупатели в Сети не рискуют связываться с фотографиями, на которых запечатлены случайные люди.

Она еще раз придирчиво взглянула на иву и пошла вглубь леса, где виднелись ярко-алые кроны осин.

* * *

И это утро Виктора было похоже на предыдущее. Позавтракав на скорую руку, он позвонил издателю, выслушал избыточно восторженное о том, как прекрасно продаются его книги, статистику платных скачиваний электронных версий и сомнительные размышления о возвращении интереса читателей к печатному слову. Потом писатель какое-то время еще повалялся на диване, щелкая кнопкой пульта и бессмысленно переключая телеканалы. Подойдя к книжным полкам с классикой, он долго пересматривал корешки, но так и не решил, что бы мог перечитать. За полдня он не притронулся к ноутбуку, где уже, вероятно, всю развилался сюжет «его» нового рассказа. В итоге Виктор не придумал ничего лучше, как еще раз пройти по лесу к берегу реки.

День выдался не по-осеннему теплым. Солнце заметно пригрело. Река, играя яркими искорками, так и манила, словно приглашая окунуться в себя с головой. Писатель осторожно подошел, стараясь

не съехать вниз по топкому илистому берегу, и опустил руку в воду. Вода была ледяной, прозрачной и совершенно пустой. Летом здесь кишела жизнь, внутри бегали мальки, с берега в ряску хлопались пухлые лягушки, над водой летали стрекозы, теперь же не было видно даже водомерки. Жизнь засыпала в приближении холодов.

Виктор подошел к скамейке, на которой сидел вчера, и только сейчас обратил внимание, каким толстым ковром из желтой опавшей листвы покрыто всё пространство вокруг. Он сделал пару шагов по этому пушистому шуршащему покрывалу и, подчиняясь какому-то ребяческому чувству, лег на него, раскинув руки в стороны, и закрыл глаза. В его сознании вспыхивали и улетали отрывочные воспоминания о детстве, летних днях, проведенных на этой реке...

– Вам плохо? – внезапно прозвучал сверху женский голос.

Писатель открыл глаза и увидел ту самую девушку. Она была точно такой же, как и вчера: огненно-рыжая, чуть растрепанная, в нелепом оранжевом шарфе. Ее лицо было слегка взволнованно, а зеленоватые глаза обеспокоенно глядели на Виктора.

– Нет, мне хорошо, – ответил писатель и, заметив фотоаппарат на шее девушки, добавил, – только не надо снимать.

– Почему вы решили, что я буду вас снимать?

– Ну, вы же, судя по всему, фотограф.

– Да... Но я не снимаю людей.

– Почему?

– Ну... Это неважно, – девушка чуть замялась, а потом вдруг спросила, – можно к вам?

– Пожалуйста... Если вы считаете, что это уместно, – ответил писатель и даже чуть подвинулся.

– Ну, вы же считаете, – Наталья легла в листву буквально в двадцати сантиметрах от Виктора. – Хм... А тут и правда очень интересный ракурс.

– Я смотрю, вас сложно поставить в неудобное положение... – заметил писатель, наблюдая, как девушка фотографирует снизу вверх оранжевые кроны деревьев, обрамляющие небольшой клочок голубого неба.

– Да, мне вполне удобно, – не отвлекаясь, ответила она. – Учтывая, что в последнюю пару суток я сплю примерно в таких же условиях.

– У вас нет дома?

– Нет, дом у меня есть. В нем нет отопления... Кстати, – девушка повернула голову набок и посмотрела на Виктора, – вы случайно не инженер?

– Нет, я писатель, – ответил он, всё так же глядя вверх на кроны деревьев.

– А-а... теперь я вас узнала... Вы писатель... Тот самый...

– Да, я тот самый писатель.

– Жаль...

– Непривычно такое слышать, – Виктор, наконец, посмотрел на девушку. – Обычно читатели сразу хотят взять автограф или сделать сэлфи.

– Ну, я же не читатель. Я вас не читаю, – улыбнулась она.

– Обидно.

– Не расстраивайтесь, в последнее время я не читаю не только вас, но и других.

– Это немного утешает. Так, а что с вашим отоплением?

– Что-то с котлом... Но разве вы, писатель, в этом что-то понимаете?

– Совсем немного. Но достаточно, чтобы в моем доме отопление работало, – Виктор снова отвернулся.

– Думаю, этого достаточно. Не хотите мне помочь?

– Уверены, что вам не следует поискать профессионала?

– Ау-у-у! Профессионал!.. – наигранно громко прокричала девушка, а потом снова обратилась к Виктору. – Кажется, поблизости их нет. Придется всё-таки прибегнуть к вашей неквалифицированной помощи.

– Хорошо, – ответил писатель, поднимаясь с земли и отряхивая с себя листву, – но вы можете об этом пожалеть...

– Даже не сомневаюсь в этом. Пойдемте!

* * *

Виктор и Наталья вошли в пустой дом. Помещение показалось писателю безжизненным, воздух внутри почти не отличался от уличного.

– И здесь вы живете? – оглядываясь по сторонам, спросил он, как показалось Наталье, с легким пренебрежением.

– Да. Уже два дня, – ответила девушка.

– Понятно... – задумчиво протянул он.

– Считаете, что это был плохой выбор?

– Нет, почему же? Вовсе нет. Дело не в этом...

– А в чём же?

– Просто когда я вас вчера увидел, ваше лицо мне показалось очень знакомым. Словно воспоминание из детства... – писатель сделал несколько шагов вверх по лестнице и еще раз оглядел помещение с этой высоты. – Я сейчас живу в доме родителей, недалеко отсюда. Он не такой просторный, но чем-то напоминает... Вот и решил, что было бы забавным, окажись мы старыми соседями.

– Да, это было бы интересным сюжетом. Встреча старых соседей... – согласилась девушка. – Но – нет. Впрочем, ведь мы можем стать хорошими новыми соседями? – Наталья улыбнулась и вопросительно посмотрела на писателя.

– Думаю, что да, – кивнул он. – Так где ваш бойлер?

– Да вот! – девушка указала на массивный блестящий корпус, закрепленный на стене.

Виктор нажал единственную плоскую кнопку, чуть утопленную в поверхность, и на передней панели зажегся сенсорный дисплей. Какое-то время аппарат пошумел, а потом издал пронзительный и протяжный писк и замолчал. На дисплее горела загадочная надпись «E1».

– Вот так он всё время и делает, – грустно проговорила Наталья.

– Это же «Глобал автоматикс», – констатировал писатель, изучая металлическую бирку на боку корпуса, – у них 25 лет гарантии... Почему не пробовали звонить на сервис?

– Связь тут очень плохая. А Интернет тем более не тянет.

– И инструкция, конечно, не сохранилась... – пробормотал Виктор. – У меня похожая модель. «E1» – это код ошибки, говорящий о разгерметизации. Бойлер продувает все трубы и пытается понять, есть ли утечка, поэтому в инструкции было написано, чтобы при первом включении были закрыты все краны.

– У вас хорошая память. Но у меня и кранов-то пока нет...

– А гаечный ключ? Попробуем всё пересоединить...

Наталья какое-то время копалась в картонных коробках, сваленных под лестницей, и наконец достала оттуда блестящий гаечный ключ. Писатель взял инструмент и молча принялся за работу.

– Я вот всё думаю о том, что вы сказали, – вдруг проговорила девушка, наблюдая, как Виктор сосредоточенно откручивает гайки, – что видели меня в детстве. Это странно... Не находите?

– Ничего странного, – ответил он, не отвлекаясь. – Воспоминания из детства мне приятны. Вы тоже показались мне приятной и симпатичной. Теплые воспоминания и теплое ощущение от милой девушки. Вероятно, это удачно совпало. Как неожиданное ощущение дежавю.

– Вы флиртуете?

– Нет. Подержите, пожалуйста, эту шайбу-прокладку.

– Просто вы так легко говорите о том, что чувствуете, – проговорила девушка, крутя в руках черный резиновый кругляш.

– Я же писатель. Это часть моей профессии: понимать и объяснять человеческие чувства, превращая их в слова.

– Вы, писатели, вечно всё придумываете... То, чего нет.

– Да, а вы, фотографы, просто снимаете то, что есть. Давайте шайбу.

– Я называю это оцифровкой реальности, – сказала Наталья, передавая Виктору деталь, – какой бы образ я ни снимала, он навсегда остается в моем компьютере.

– Интересная мысль. В таком случае мои тексты – это оцифрованная фантазия.

– Логично.

– И то и другое, в конечном итоге, просто последовательность нулей и единиц, – задумчиво проговорил писатель, – и это мы считаем достаточно важным, чтобы тратить на это свою жизнь.

– А вы пессимист...

– Нет. Будь я пессимистом, не считал бы, что сейчас ваш бойлер должен заработать, – сказал Виктор и шлепнул по кнопке на передней панели.

Аппарат заработал, выдав на сенсорном дисплее показатели температуры и кнопки для управления. Наталья наигранно зааплодировала. В трубах зашумела вода, наполняя систему отопления. Постепенно по дому начало растекаться тепло.

– А вы, оказывается, мастер не только слова, но и дела.

– В основном, конечно, мастер слова, – ответил писатель и, как ему показалось, немного покраснел.

Девушка нажала на кнопку электрочайника, и тот со всё нарастающим шумом начал торопливо нагревать воду.

– Теперь я просто обязана предложить вам чашечку кофе, – сказала она, высыпая содержимое пакетика в открученную крышку термоса. – Правда, это не совсем чашка... И не совсем кофе... Но больше у меня ничего нет. Обещаю, что в следующий раз подготовлюсь лучше.

– Спасибо, – сказал Виктор, беря из рук Натальи импровизированную чашку и отпивая горячий напиток.

– Говённый, да? – настороженно спросила девушка.

– Самый вкусный говённый кофе, который я пил на этой неделе, и я... – писатель вдруг замолчал, задумчиво уставившись куда-то в пустоту.

– Что? – чуть взволнованно спросила девушка, – настолько плохо?

– Нет... Просто... Еще одно странное ощущение.

– Снова дежавю?

– Нет, другое... Я вдруг ощутил, как всё сегодня было странно и необычно. Наша встреча. Этот пустой дом. Вы в этом осеннем шарфе. Всё выглядит каким-то нереалистичным...

– Ой, перестаньте! – рассмеялась девушка. – Просто вы давно не выходили из своего дома. И вообще, одичали тут...

– Возможно... Вот вы сказали об оцифровке реальности... Что

если не только наши фантазии и то, что мы видим вокруг, но и мы сами можем быть оцифрованы? Что если мы уже являемся чьей-то оцифрованной фантазией? Последовательностью нулей и единиц...

— Кажется, вам нужно смотреть поменьше фантастики на ночь, — заботливо проговорила Наталья. — Пожалуй, я провожу вас.

— Считаете, что я не вполне адекватен?

— Да. Переутомились от непривычной работы, — девушка внезапно взяла Виктора под руку и вывела из дома. — Срочно на свежий воздух!

* * *

Сумерки начали сгущаться над лесом. В лучах заходящего солнца, которое уже вот-вот готово было скрыться за горизонтом, золотые кроны деревьев казались вишнево-красными. Между деревьями уже растеклась налетевшая с реки ночная прохлада. Еще немного и теплый яркий день плавно перейдет в холодную и сырую осеннюю ночь.

Виктор и Наталья неторопливо шли по лесу вдоль берега. Она держала его под руку, словно они знали друг друга уже очень давно, а не познакомились только сегодня.

— Я бы хотел вам признаться, — прервал затянувшуюся паузу писатель.

— Неужели в любви?

— Нет... Намного хуже.

— О, господи! Что может быть хуже?! Вы уверены, что готовы доверить такие серьезные тайны малознакомой девушке?

— Почему бы нет?

— Вы рискованный человек!

— Вы всё равно никому не расскажете... И вам никто не поверит...

— Ну, говорите уже! — задергала девушка писателя за рукав. — Я же обожаю чужие секреты! Не томите, интриган!

Виктор сделал паузу, тяжело вздохнул, а потом проговорил:

— Дело в том, что последний десяток моих книг на самом деле написал не я.

— То есть? Как это? — удивилась девушка и вдруг рассмеялась: — У вас имеется персональный литературный негр, которого вы держите в подвале? Угадала? Вы опять всё сочиняете! Хотели меня разыграть?

— Совсе нет, — грустно ответил писатель. — Мой приятель-программист поставил мне на компьютер самообучающуюся программу... Нейросеть. Она умеет читать тексты, которые ей даешь, а потом начинает сочинять сама. Получается очень складно и неплохо. Так я делаю весь последний год. И ни издатель, ни читатели даже не догадываются, что это написал не я. Сам же я уже давно не пишу ни строчки...

— Забавно, — неожиданно спокойноотреагировала девушка. —

Выходит, теперь вы не просто талантливый писатель, но и талантливый мошенник!

– Находите это забавным?

– Довольно-таки... А еще мне это напомнило историю, которую я читала на прошлой неделе. Точно таким же образом поступал художник-экспрессионист. Критики восхищались, как точно в своих работах он передает всю гамму человеческих чувств. А картины за него рисовал компьютер. Когда же обман раскрылся, по иронии, его картины только выросли в цене...

– Действительно забавно, – задумчиво проговорил писатель и посмотрел на девушку. – Думаете, мне стоит поступить так же?

– Кто знает? – она улыбнулась и пожала плечами. – В любом случае, я не вижу в этом ничего особо постыдного. Люди платят за цифровые копии, покупают подписку на тупые онлайн-сериалы. Почему бы им не читать книги, написанные нейросетью? И вы сами говорили, что всё это всего лишь последовательности нулей и единиц...

– Но разве в таком «творчестве» есть настоящая ценность?

– Настоящая? А разве в этом мире есть еще что-то настоящее?!

– Вы... Я... Этот вечер...

– Неужели?! – девушка резко отдернула руку и сделала шаг в сторону. – А знаете, почему я перестала фотографировать людей?! Люди постоянно лгут! Когда пишут, когда говорят... Друг другу, самим себе, всем... Даже когда смотрят в мой объектив!

– Думаете, я обманываю вас в чем-то?

– Думаю, вы просто всё выдумываете... – уже спокойнее и с какой-то безысходной грустью в голосе сказала Наталья и отвернулась.

Она стояла в своем нелепом свитере с елочками и оленями, скачущими на бежевых и коричневых полосках, в намотанном на шею легкомысленном оранжевом шарфе, и задумчиво смотрела на воду, в которой своими огненными красками горел закат. Почти тем же взглядом, каким вчера на ту же воду смотрел Виктор.

– Что ж, я не давал себе обещания не фотографировать людей... – проговорил писатель и, достав смартфон, вдруг сфотографировал Наталью в лучах заходящего солнца.

– Зачем вам это? – чуть нахмурившись, спросила девушка и, тем не менее, в последний момент повернулась к камере наиболее выгодным ракурсом и чуть улыбнулась.

– Мы же, писатели, всё выдумываем... А так у меня будет доказательство вашего существования, – усмехнулся Виктор. – Привяжу в списке контактов к номеру телефона, который вы мне сейчас дадите.

– А вы нахал... Не хотите для начала хотя бы узнать мое имя?

– Это неважно, – ответил Виктор, продолжая копаться в телефо-

не, — я уже записал вас как «Соседка». Других соседок у меня тут всё равно нет. Давайте номер...

— Ну, записывайте. Плюс восемь... Двести тридцать три... — начала диктовать Наталья, чуть наклонившись и заглядывая в экран. — А что, если у вас тут появится еще одна соседка?

— Не менее симпатичная? — отводя взгляд от экрана, без видимых эмоций спросил писатель.

— Ну, допустим.

— Я запишу ее как «Соседка 2».

— Вот это обидно.

— Не расстраивайтесь. Как минимум, для моей телефонной книжки вы навсегда останетесь номером 1.

— Какой же вы всё-таки мерзкий тип! — заметила девушка и, чуть прищурившись, посмотрела на писателя.

— Я непременно вспомню об этом и включу в счет, когда в следующий раз буду оказывать свою неквалифицированную помощь, — улыбнулся Виктор.

— И весьма расчетливый мерзкий тип, — добавила Наталья.

— Вот моя визитка. Там так и написано, — писатель вдруг вытащил из кармана немного потрепанную карточку и протянул собеседнице.

— Зачем вы их носите по лесу? — спросила она, забирая потертую визитку из рук писателя.

— Случайно завалялась.

— А я думала, на случай встречи с симпатичными соседками.

— Хороший вариант. Учту на будущее. Там и номер, и имя...

— Я всё равно запишу вас как «Тот самый писатель», — улыбнулась Наталья и снова взяла Виктора под руку. — Кстати, насчет вашей неквалифицированной помощи... В конце недели мне должны доставить мебель. Кому-то нужно будет ее собрать.

— Предполагаю, что мне?

— А вы проницательный человек... Писатели и правда видят людей насквозь. Не то, что мы, поверхностные фотографы, — чуть язвительно заметила она.

— Значит, мы с вами увидимся уже в конце недели?

— Нет. Вы что, и правда решили сегодня меня обидеть? — девушка вопросительно посмотрела на писателя. — Я вам настолько не понравилась?

— Напротив, — смутился Виктор, — понравились...

— Ну так зачем же нам ждать до конца недели? Почему бы не увидеться завтра? Встретимся прямо здесь... Можете сидеть на этой лавочке. Ну или, как вы любите, зарыться в листву. Только не очень глубоко, чтобы я могла вас найти...

– Я, в общем-то, не против... – пробормотал писатель, явно не ожидавший такого решительного поворота.

– Еще бы вы были против! Когда сами чуть ли не силком выудили у меня мой номер телефона и всучили свою визитку!

– Значит, до завтра?

– Да, до завтра.

– А может, мы поцелуемся на прощанье? – вдруг спросил Виктор.

– Вот вы нахал... Такие вещи нужно делать, а не говорить, – засмеялась девушка и внимательно посмотрела в его глаза. – И вообще... Еще слишком рано. И уже слишком поздно. Поэтому мы просто пойдем по домам.

– Вы правы, – согласился с Натальей писатель. – До завтра...

Он уже хотел было развернуться и уйти, но она вдруг проговорила:

– Знаете, что пришло мне в голову... А может, мы и правда были с вами знакомы в детстве? Ваш дом был вон там, за тем поворотом справа в конце длинной кленовой аллеи. Вы приезжали почти на всё лето и целыми днями купались с папой в реке. А меня только на месяц оставляли здесь у бабушки. Я подолгу бегала по лесу, играла в прятки, воображала себе какие-то приключения, а потом, когда уже начинало темнеть, бежала домой, и бабушка пекла вкусный пирог с вишней...

– Возможно, – писатель пожал плечами и слегка улыбнулся.

– Мы ведь можем просто взять и выдумать эту историю? И она будет существовать. Ведь выдуманные истории ничем не хуже настоящих. Правда?..

* * *

Виктор проснулся, когда за окном вовсю светило солнце. Впервые за последний месяц писатель прекрасно выспался и теперь был совершенно бодр и даже весел. Он отдернул пыльную штору, открыл настежь окно и впустил в дом прохладный воздух осеннего леса. Откуда-то сверху на подоконник с еле заметным шорохом плавно опустился осенний лист. Виктор улыбнулся и не стал его убирать.

Взгляд писателя вдруг упал на картонную коробку под столом, перетянутую скотчем. Он вспомнил, что было там. Поискав ножницы, но так и не найдя их, он отодрал скотч руками и извлек из коробки старую пишущую машинку. Друзья как-то подарили ее ему на какой-то праздник. Это был скорее символический и шуточный, нежели практический подарок. Тем не менее сейчас писатель поставил древний агрегат на стол, вставил чистый лист бумаги, поправил перекрученную ленту и, задумчиво посмотрев в окно, вдруг начал печатать.

Поначалу он часто спотыкался, чертыхался, что с непривычки

путает или недостаточно сильно пропечатывает буквы, но потом процесс всецело поглотил его. Стрекотание пишущей машинки, вылетая из открытого окна, казалось, дрожало в прозрачном и прохладном осеннем воздухе и далеко расходилось по лесу.

Наталья сидела на скамейке одна. Несколько раз она порывалась взять мобильный телефон и позвонить, но дисплей каждый раз оставлял ее надписью «нет сети». Девушка прислушалась к звукам в лесной тишине и слегка улыбнулась. Откуда-то сзади раздался веселый детский крик. Она обернулась и увидела прогуливающуюся поодаль семью. Очевидно, горожане, решившие в последние теплые деньки осени выбраться на пикник.

Оставив родителей позади и вырвавшись на свободу, в осенней листве играла девочка лет десяти. Она весело хватала ворох желтых листьев, что есть силы подбрасывала их в воздух над своей головой и весело смеялась. Наталье было даже слегка удивительно, что современные дети еще способны на подобное первозданное веселье. Не ожидая этого от себя, девушка вдруг взяла фотоаппарат и, взглянув на играющего ребенка, через видоискатель сделала несколько снимков.

Впрочем, прыгать в листве девочке быстро надоело. Она стала что-то искать в карманах курточки и достала смартфон. Всё еще глядя на нее через фотоаппарат, Наталья вдруг погрузилась, но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Девочка вдруг подняла с земли небольшую сосновую шишку, положила на пенек и сфотографировала.

* * *

Виктор зачем-то машинально еще раз проверил последний абзац текста, добавил пару пустых строк, напечатал дату и удовлетворенно закрыл крышку ноутбука. На этот раз получилось просто прекрасно: он, она, осень... Определенно, так хорошо он не писал еще никогда. Читатели будут в восторге. Эх, знали бы они... Писатель улыбнулся, а потом набросил на себя старую ветровку и вышел прогуляться по осеннему лесу.

КАМЕРНЫЙ КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ, ИЛИ 8К*

У вас есть девушка? Как бы вы ни ответили на этот вопрос, это неважно для моей истории, потому что она не о девушке, а о хобби. Кстати, у вас есть хобби? Если нет, то непременно заведите себе хобби. Поверьте, зачастую это важнее, чем завести кота. И даже важнее, чем завести девушку.

* Технология 8К имеет большее разрешение – 7680x4320 (33,1 Мпикс).

А знаете ли вы, что, в отличие от котов, которым всё равно, девушки по отношению к хобби делятся на два типа. Первым интересно, чем занимаетесь вы. Они с интересом суют свой любопытный нос, заглядывая вам через плечо, задают вопросы. Иногда восхищаются, но чаще оказываются совершенно разочарованы, на какую ерунду вы тратите свое время, и в лучшем случае молчат. Вторых больше волнуют свои занятия, и они будут посвящать им часы, дни, месяцы, а то и годы. Они могут или без умолку рассказывать вам о них, а могут молчать так, словно это нечто сокровенное, не предназначенное для постороннего глаза.

Катя представляет оба типа. Что подчеркивает относительность и ущербность любых подобных классификаций. Впрочем, сама она так не думает. И если спросить ее, какая она, скорее всего, она выдаст четкий набор определений: высокая, стройная, умная, блондинка. И это будет правдой.

– Умная блондинка – это оксюморон, – выдаю я банальнейшую шутку, на которую она уже не обижается, но над которой я сам по-прежнему смеюсь.

– Ты сам смеешься над своими шутками, – спокойно замечает Катя очевидный факт, вновь опуская глаза к своему монитору.

– Да, – соглашаюсь я лишь для того, чтобы продолжить спор, – потому что они смешные.

– Нет, – отвечает Катя, хватая наживку, – только потому, что они твои. Над моими смешными шутками ты не смеешься.

– Хочешь сказать, что у тебя бывают смешные шутки?

– Сейчас ты скажешь, что «мои смешные шутки» – это тоже оксюморон. Может, потому что ты, наконец, выучил слово «оксюморон»?

– Ой, не смеши меня!

– Вот видишь, значит, у меня бывают смешные шутки.

Мы сидим напротив друг друга; мы занимаемся совершенно разной работой, но формально относимся к одному отделу. Интересно, какому умнику пришла в голову идея всех работающих на компьютере специалистов отнести в «ИТ»? Архитекторы тоже много работают на компьютере и тоже «рисуют картинки», но почему-то их не смешивают с дизайнерами. Зато программисты, пишущие свой код и аудирующие чужой, сливаются в едином цифровом экстазе. Блеск и нищета классификации. Впрочем, я рад, что год назад Катю посадили в мой кабинет. Здесь всегда тихо и спокойно. И из живых существ постоянно бывают лишь трое: я, Катя и разросшийся кактус, которому нравится тут меньше остальных, ведь он уже больше года никак не желает цвести.

Мы работаем вместе уже год и почти одиннадцать месяцев

встречаемся; тем не менее продолжаем жить отдельно. Она много говорит о себе, но, кажется, я всё равно почти ничего не знаю о ней. Начнем с того, что за всё время я ни разу не был у нее дома.

* * *

Я прохожу в комнату. Первое, что бросается в глаза, это большой стеллаж с книгами, занимающий всю стену, что само по себе странно для середины XXI века. И небольшое количество всех прочих предметов. Аскетичность свойственна характеру Кати. Но я не ожидал, что это так явно будет выражаться в интерьере.

– Почему ты решила пригласить меня к себе домой? – спрашиваю я, разглядывая книги, пока она включает на кухне чайник. – Это какой-то новый этап отношений?

– Считаю, что так, – отвечает она как-то легко и почти небрежно.

– А у тебя много книг, – неловко перевожу я тему разговора.

– Я в курсе.

– Но я не замечал, чтобы ты много читала.

– А я их и не читаю. Просто собираю по цвету корешков, – отвечает Катя, зайдя в комнату, и ставит на журнальный столик кружку с чаем и тарелку с магазинным пирогом.

– Хватит меня разыгрывать. Я же вижу, что они разного цвета.

– М-м-м, ну это ты заметил, – улыбается Катя.

– Окей! Но с книгой я тебя всё равно ни разу не видел, на работе и в транспорте ты не читаешь.

– Элементарно, Ватсон. Потому что я не из тех, кто читает на работе и в транспорте. Считаю, что этот процесс слишком интимный.

– Интимнее, чем секс? – улыбаюсь я, устраиваясь на небольшом диванчике и отпивая чай.

– Уверена, что да, – серьезно отвечает она. – Ведь только книга может трахнуть тебя до самой глубины души.

– И что это за книга... для тебя?

Я думаю, что этот вопрос заставит Катю задуматься, но она отвечает почти сразу:

– «1984».

– Оу... Я тоже любил в детстве читать Бредберри.

– Это не он написал, – в голосе Кати чувствуется глубокое разочарование, и это меня забавляет, – Бредберри – «451 градус по Фаренгейту».

– Какой позор... Меня сбили цифры в названии. Вторая попытка? Саймак?

– Нет.

– Фейхтвангер?

– Почему он? Совсем нет.
– Черт! – я расстраиваюсь почти взаправду, – Голсуорси?
– Ты прикалываешься?!
– Да.
– Я так и подумала, – Катя устало отводит кзгляд. – Но разнообразие имен выдает в тебе...

– Книголюба?
– Любителя кроссвордов, – резко отвечает она.
– Это было больно. Теперь ты во мне разочарована?
– Немного.
– Не дашь мне?... – я намеренно делаю длинную паузу.
– Ну, почему же? – удивляется Катя.
– ...почитать что-нибудь?
– Такому мерзкому типу я просто не смогу отказать. Только не потеряй и не заляпай ничем, потому что эти книги – часть ценной коллекции.

Я протягиваю руку и достаю потрепанную замусоленную книжку.
– Чейз в мягких корках? Часть ценной коллекции? – искренне удивляюсь я.

– Ценной для меня, – серьезно отвечает Катя. – Эти книжки я собирала несколько лет.

– Я, конечно, могу что-то напутать... – задумчиво отламываю я чайной ложкой кусочек торта и отправляю в рот.

– Как и с Бредберри?

– Да, как с Бредберри. Но разве коллекция не отличается от простой свалки барахла тем, что предметы объединяет что-то общее?

– Всё так, – отвечает девушка, хитро глядя на меня.

– И что же объединяет твою коллекцию? – я оглядываю полки, продолжая размышлять вслух, – тут и классика, и детективы, и фантастика, и история, и даже справочники...

– Не угадаешь?

– Не уверен, что любитель кроссвордов справится... – я поднимаюсь с дивана, беру с полки первую попавшуюся книжку и начинаю листать ее в поисках зацепки. Я небрежно пролистываю все страницы, ни о чем не думая, а потом возвращаюсь к форзацу. Многие коллекционеры надписывают свои книги или даже проставляют экслибрисы, которые часто говорят не только о владельце. Но ничего подобного я не нахожу. ISBN, издательство, тираж, год... Я улыбаюсь забавному совпадению, но потом вдруг решаю проверить свою шуточную гипотезу. Я беру с разных полок еще пару книжек и вдруг начинаю смеяться в голос.

– Что? – не понимая, как реагировать, спрашивает Катя.

– 1984. И это твоя «коллекция»? Seriously? Ты собираешь книги по году издания?

– Да... А что такого? – она немного обиженно смотрит на меня, как на человека, который только что усомнился в чем-то для нее жизненно важном.

– Но ведь... – я пытаюсь говорить серьезно, – какой в этом смысл?!

– Он специфический... Ты не поймешь.

– Просвети меня.

Катя делает паузу, смотря на меня с неким недоверием, словно прикидывая мысленно, вызовут ли ее дальнейшие объяснения мои насмешки.

– Нет, не думаю, что тебе будет интересно. Ты же не коллекционер.

* * *

Говорят, что общее дело сближает людей. Психологи иногда рекомендуют парам найти такое занятие, которое увлекало бы их обоих. И речь, конечно же, не про секс. Но в тот момент я совершенно не планировал слишком уж глубоко погружаться в экстравагантное собирательство Кати. Просто когда наступает очередной выходной и мы вдвоем гуляем по городу, она не может отказать себе в удовольствии зайти в книжный магазин.

Правильнее назвать его «букинистический», ведь продаются в нем исключительно старые книги. Уже лет пятнадцать я не видел, чтобы хоть что-то печаталось на бумаге, разве что только рекламные брошюры и гляцевые журналы – по сути, всё та же реклама. Книги окончательно ушли в «цифру», а вместе с этим, вероятно, и пропало слово «букинистический», остался только «книжный». Но и в книжном магазине многое пропало. Например, продавец.

Катя ходит вдоль стеллажей, где аккуратными рядами расставлены рассортированные и проклеенные электронными чипами книжки. Вот она тянется за одной ей ведомым томиком, достает с полки, привычным движением раскрывает обложку и, разочарованно покачивая головой, ставит на место. Не тот год издания. Так повторяется несколько раз.

Очевидно, вся трудность поиска очередной книжки для Катиной коллекции заключается в самом принципе, по которому эта коллекция собирается. Согласитесь, где бы вы ни находились, в библиотеке или книжном магазине, книги там расставлены совсем по иным законам. Они могут быть рассортированы по жанрам, по тематике, по названию в алфавитном порядке, в конце концов, по имени автора, но вряд ли кто-то расставляет книги по году издания.

– Как ты решаешь, что смотреть? – не выдерживаю и спрашиваю я.

– По списку.

– По каком списку?

– По списку в моей голове, – отвечает Катя, рассматривая очередную книжку. – Я вытащила список, фильтрованный по году, из каталога интернет-магазина, вычеркнула то, что у меня уже есть, а остальные ищу по названиям.

– Но это же не всегда работает, – пожимаю я плечами, – ведь часто там указан год первого издания, а не конкретно того, что есть в продаже. Есть книги, которые издавались в 1984-м, но впервые были изданы раньше, и тогда ты их пропустишь. А есть такие, которые были действительно впервые изданы в 1984-м, но потом переиздавались. И тогда ты, вероятнее всего, встретишь как раз более позднее издание.

– Спасибо, умник! – Катя немного раздраженно сверкает на меня глазами.

– Просто обычно такие ошибки никого не волнуют. Читателям не так важен год издания... как тебе, – я договариваю фразу и, видя, как лицо моей девушки постепенно краснеет от негодования, непроизвольно начинаю улыбаться.

– Ну и что?

– Что «ну и что»?

– Я же знаю, что ты хотел сказать.

– Ничего, – я почти смеюсь. – Нет, правда, ничего я не хотел сказать.

– Говори уже...

– Да мне нечего сказать.

– Да говори, ну!

– Ладно... – я решаю, что уже довольно помучил ее паузой: – Ты занимаешься какой-то фигнёй.

– Это твоё мнение, – Катя отворачивается, снова погружившись в поиски.

– Ты даже не можешь объяснить, в чем смысл!

– Могу, – Катя тоже выдерживает паузу, – но не хочу. Ты всё равно не поймешь. – Чуть язвительно, но довольно улыбается Катя, всё-таки отыскав подходящую книжку. – Потому что ты не коллекционер.

Мы проходим через безлюдную шеренгу автоматических касс. Сканер на рамке считывает ID с чипа на книжке и выставляет счет. Катя подносит мобильный к терминалу. После подтверждения перед нами раскрывается турникет, выпускающий нас из магазина.

* * *

Всё утро Катя работает молча. Очевидно, она еще обижается на мою недавнюю выходку, хотя и не подает виду. Я бросаю короткий взгляд на приунывший на окне кактус, прикидывая, как лучше начать разговор.

— Знаешь, что я тут подумал насчет твоего хобби?

— Знаю. Что это «фигня какая-то».

— Ну... Да. Но я сейчас не про это. Я тоже решил заняться коллекционированием.

— С чего вдруг? — презрительно хмыкает Катя.

— Просто надоело, что ты тыкаешь, что я «не коллекционер». Подумал, возможно и правда стоит попробовать. Вдруг это меня увлечет?

Не думаю, что я хоть сколько-нибудь серьезно подхожу к вопросу. Наверное, любое коллекционирование, если как следует разобаться, — довольно глупое и несерьезное занятие. В конечном итоге, коллекционер не создает никаких вещей, кроме набора из вещей, созданных не им. И коллекционером может стать любой. Для этого не требуется особого ума или способностей. Так какого же черта наглая девчонка смеет говорить мне, что я, дескать, не могу чего-то понять?

— Зря иронизируешь, — говорю я Кате, пока она сидит за столом напротив и разбирается в своих кодах, — буду собирать свою книжную коллекцию.

— Неужели?

— Представь себе, — улыбаюсь я, словно не замечаю скепсиса в ее голосе.

— И что же это? Фантастика?

— Нет, почему же...

— Ну ты же любишь фантастику, — заметила Катя, — вот и подумала, что ты, возможно, решил собрать книжки любимой тематики.

— Я почти всё, что хотел прочитать, уже прочитал в электронном виде, — отвечаю я, делая вид, что тоже работаю.

— И какие же книги ты будешь собирать?

— Ну... — я загадочно замолкаю и делаю паузу, — пока еще рано об этом говорить. Я только начал. Но я непременно покажу тебе, когда книжек в коллекции наберется побольше.

— Снова разводишь меня? — хмурится Катя, но, кажется, о чем-то задумывается.

Я чувствую, что моя провокация удалась. Кате определенно понравилось бы, начини я и вправду разделять с ней ее сумасшествие. Что ж, тем забавнее будет разоблачение.

* * *

Как мне представляется, для начинающего коллекционера самое важное – ответить на вопрос, что и по какому принципу он будет собирать. Катя по одной ей ведомой причине собирает книги издания 1984 года. Возможно, ей просто так нравится роман Оруэлла, что сами эти цифры уже вызывают в ее тельце некое подобие ментального оргазма? Я не имею понятия. Но к созданию своей коллекции я решаю подойти с рассудительностью и прагматизмом, ведь основной моей задачей будет хорошенько потроллить не в меру заносчивую подружку.

И вот я уже один стою всё в том же безлюдном книжном магазине, где нет ни продавца, ни покупателей, в почти безлюдном мире, где среднестатистический человек чаще смотрит в экран своего мобильного электронного девайса, чем в окно. И уж, конечно, намного реже он смотрит на страницы бумажной книги. И в этот момент я делаю свой единственно правильный выбор. Я совершенно точно представляю, какой будет моя коллекция. И в ней точно будет смысл. Очевидный, видимый скрытый смысл.

Я смеюсь в тишине и беру с полки подходящую книгу. Делаю несколько шагов вдоль стеллажей и беру еще одну. Снова и снова, пока стопка в моих руках не становится большой и тяжелой.

– Для начала хватит, – говорю я сам себе, ощущая удовольствие, которое, вероятно, испытывают и коллекционеры, обретшие, наконец, своё «богатство».

Дома я освобождаю полку на стене. Цифровые диски с программами и фильмами, какие-то оставленные впопыхах мелочи, никому не нужные сувениры – всё отправляется в картонную коробку и ссылается в дальний угол шкафа с пожизненным приговором «когда-нибудь разберу». Всё. Теперь здесь будет находиться моя коллекция, подвожу я итог своей «уборке» и расставляю купленные книжки.

Я некоторое время смотрю на ряд корешков. Словно художник, делаю пару шагов назад, прищуриваясь и присматриваясь. Меняю пару книг местами, чтобы соблюсти «порядок».

– Да! Теперь идеально! – вслух произношу я и улыбаюсь.

Дверь на пути коллекционного психоза уже открылась, но, делая шаг внутрь, я не замечаю этого.

* * *

Люблю Катину лицо. Особенно в те быстротечные моменты, когда оно находится в состоянии перехода от одной эмоции к другой. В последнее время уже никого не удивишь эмоциональными андроидами и, тем более, смоделированными 3D-актерами, которые профессионально кривляются в кино вместо своих давно постаревших

или умерших прототипов. Но момент преобразования на живом лице живого человека бесценен!

И сейчас, когда Катя смотрит на мою коллекцию, я вглядываюсь в ее лицо. Этот миг стоит денег, потраченных на два десятка книжек.

– И это твоя коллекция?! – наконец выдавливают из себя Катя.

– Да! – с горделивым удовольствием в голосе отвечаю я.

– И эти книги...

– Зеленые! Они все зеленые. Смотри, как они классно вписались в интерьер.

– М-да... – задумчиво протягивает Катя, очевидно, не зная, как реагировать дальше.

– Обрати внимание, – продолжаю я, чтобы усилить эффект, – я расставил их по оттенкам: от более светлого к темному. Получился такой плавный переход...

– Ты правда считаешь, что это можно назвать коллекцией? – она наконец-то произносит тот вопрос, ради которого всё затевалось.

– Конечно.

– Но это просто книжки с одинаковым цветом обложек.

– Да, – соглашаюсь я. – Но это ничем не хуже, чем книжки с одинаковым годом издания.

В этот момент Катя меняется в лице: его выражение становится каким-то хмуро-раздраженным.

– Ах, ты... ты просто решил поиздеваться надо мной!

– Ну что ты... – я ликую, – в моей коллекции есть и другие, скрытые смыслы. Можешь не верить, но непременно продолжу ее собирать.

Она злится, словно я совершил некий акт осквернения. Позволил себе насмешку над ее высокими ценностями. В каком-то смысле, даже обесценил их. Возможно и так. Но я плохо знаю Катю, если она не попробует отплатить мне за это в своем собственном стиле и по своим правилам.

* * *

Я сижу на открытой веранде летнего кафе, куда часть сотрудников нашей небольшой фирмы регулярно ходит на обед. Сейчас это называется «релакс-брейк», лет 15 назад называлось «бизнес-ланчем», а прежде – «перерывом на обед». Меняет ли это суть, если мы всё так же едим дешевую еду, которая вкусна лишь соусами и добавками и выгодным вложением средств?

Я поливаю пряную горчицу на сосиску с остатком макарон и неторопливо доедаю обед. За мой столик из дешевого легкого пластика кто-то присаживается, прямо напротив. Не поднимая взгляда от тарелки, я уже знаю, что это Катя. Она улыбается, сжимая в руке

небольшую пластиковую коробочку – сложенную доску дорожных шахмат на магнитах.

– Сыграем?

Я молча отодвигаю тарелку с остатками еды, понимая, что возражения вряд ли будут приняты.

– Напомни мне, – я отпиваю сок из высокого стакана и смотрю на Катю, – зачем мы играем в шахматы?

– В смысле? – она устраивается поудобнее и начинает расставлять фигуры.

– Сейчас у каждого в смартфоне есть шахматный симулятор, играющий на уровне крепкого гроссмейстера. И если игра так уж нравится, можно подобрать для себя подходящий уровень и играть в любом месте и в любое время.

– В этом я как раз не вижу смысла. Ведь очевидно, что компьютер рассчитывает варианты ходов быстрее человека.

– Вот именно.

– Но игра между живыми людьми – это совсем другое дело. Это противостояние двух живых интеллектов...

– Да, точно-точно! Противостояние интеллектов... – перебиваю я, – а мы-то с тобой зачем играем?

– Ну конечно... Я и забыла, что интеллект ты признаешь только свой, – прищурилась Катя. – Забыть не могу твою физиономию, когда я впервые тебя обыграла.

– Это была случайность.

– Да, да... И во второй раз... и в третий...

– Статистически я выигрываю на порядок чаще, – замечаю я холодно, стараясь не реагировать на ее подначки.

– Это не значит, что так будет всегда. Я расту, работаю над собой, а ты используешь против меня набор своих наигранных приемов. Так ты хочешь со мной играть или нет?

– Хочу, хочу, – соглашаюсь я.

– Вот это и есть ответ на твой вопрос, почему люди играют. Они просто *хотят*, – Катя разворачивает доску и двигает пешку. – Сегодня я буду белыми. Ходи.

– Но я не хочу играть просто так, – решаю я воспользоваться ситуацией.

– М-м-м, хочешь сыграть на интерес?

– Почти, – отвечаю я. – Признаешь, что моя коллекция ничуть не хуже твоей.

Катя играет в шахматы неплохо, но очень нестабильно. Она может хорошо планировать свои атаки или вдумчиво блокировать мои. Но часто она слишком эмоционально реагирует на досадные

оплошности и после этого играет слишком импульсивно. Первая ошибка влечет за собой вторую, третью, пока дело, наконец, не доходит до мата. Однако сегодня она не ошибается. По всей видимости, Катя не желает проигрывать.

– А знаешь, в чем живые шахматисты пока еще сильнее компьютерных? – вдруг спрашивает она.

– М-м?

– В способности придумывать новые правила и варианты игры.

– Имеешь в виду шахматы Фишера или какую-нибудь древнюю Махараджу? – решаю я блеснуть своей осведомленностью. – Не думаю, что это серьезное преимущество. В конечном итоге, все эти игры – всего лишь вариации классических шахмат, не вносящие в игру ничего принципиально нового. При желании компьютер легко можно обучить каждой из них.

– Но вопрос же в творческих возможностях человека. Только человек может задавать новые правила.

– Только не говори, что кроме странных коллекций книг ты еще и придумываешь странные шахматные игры.

– Только одну, с единственным дополнительным правилом. Точнее, с дополнительным разрешением.

– Это интересно, – я бегло осматриваю ситуацию на доске, складывающуюся для меня более чем благоприятно, и делаю очередной ход: – Шах.

Катя спокойно отодвигает своего короля в угол, предопределяя ему мат в два хода.

– При необходимости можно есть свои собственные фигуры. Жертвовать ими ради победы.

– Хм... – я задумываюсь, – жертвенные шахматы... Это звучит интересно, но не очень логично. Вряд ли найдется ситуация, в которой такие суицидальные ходы выгодны.

– Привести пример? – Катя ехидно улыбается, снимая с доски своего коня и выводя вперед ладью: – Тебе мат. Всё, я победила. И твоя коллекция по-прежнему – фигия полная.

* * *

На столе начинает вибрировать Катин смартфон. Она смотрит на экран, а потом переводит на меня вопросительный взгляд. Я слегка улыбаюсь и молчу. Сейчас она не понимает, почему сообщение от меня пришло ей в зашифрованном приватном чате, но всё становится ясно, когда Катя открывает его. Через цепочку прокси луковая ссылка приводит ее на веб-интерфейс с доступом, которого никогда не должно было быть. Личный кабинет читателя центральной город-

ской библиотеки, но с полным административным доступом. И с набором книг 1984 года издания из более чем 100 наименований, которые остается только забрать, предъявив роботу на выдаче номер бронирования.

– И что ты предлагаешь? – спрашивает Катя в чате.

– Предлагаю сделать заказ, а потом съездить на машине и забрать его.

– Seriously?

– Да. Только лучше ночью, чтобы не вызывать вопросы у других посетителей.

– А камеры?

– «Большой брат» следит за тобой!.. Но мы сможем их отключить. Я проверил.

– Это же противозаконно.

– Я думал, ты любишь нарушать правила, – бросаю я взгляд на Катю и добавляю: – Но как хочешь.

Я встаю с места и подхожу к шкафу, где на полке у нас хранится чай, кофе и пожизненный запас различных печенек.

– Кстати, хотел рассказать о своей коллекции. В ней появилась одна книжка, – уже вслух говорю я, как ни в чем не бывало переводя тему, наливаю чай, выдерживая паузу, – 1984 года издания.

– Неужели? – поднимает на меня глаза Катя, и в ее интонации чувствуется плохо скрываемая заинтересованность вперемешку с легким раздражением.

– Угу, – отхлебываю я из кружки подчеркнуто громко, – но я не отдам ее тебе... Ведь она божественно приятного зеленого цвета.

– Козел, – она отворачивается от меня к монитору.

– ...Великолепный оттенок. Мне не хватало его, – продолжаю я. – Знаешь, она прекрасно будет смотреться где-то ближе к концу первой полки.

– Молчи.

– Видишь, как всё интересно получается. Благодаря тебе я увлекся коллекционированием и, казалось бы, это должно увеличить взаимопонимание, как-то сблизить нас. Но всегда возникает конфликт интересов. Конкуренция.

Катя раздраженно выходит из кабинета.

– Когда остынешь, возвращайся пить чай, – говорю я ей вслед и слышу звук хлопающей двери.

Я закидываю в рот миниатюрную подушечку рассыпчатого миндального печенья. Сладкое и изысканное. Похоже на вкус легкой победы.

* * *

Я просыпаюсь поздно. Сегодня выходной и мне не нужно на работу. Первое, что я делаю, — беру в руки смартфон. Наверное, так же, как и миллионы других современных людей. Но меня интересуют не обновления в соцсетях, не новости и не погода. Катя обычно всегда просыпается раньше меня и, независимо от своего настроения, самочувствия, состояния атмосферы и солнечной активности, отправляет мне сообщение с текстом «Доброе утро!» Обычно я отвечаю на него с опозданием в час или два. Но сегодня никаких сообщений от Кати нет. Я отправляю ей: «Доброе утро! Спишь, засоня?» и, не расставаясь с телефоном, иду делать себе кофе.

Я завтракаю, одеваюсь, бросаю короткий взгляд на ряд зеленых книжек. Интересно. Они у меня уже довольно долго, а я ни разу не открыл хотя бы одну. Откровенно говоря, у меня даже не было мысли сделать это. Да я даже не знаю, что там за книги.

Забавно, у каждого из нас в кармане уже находится по высокопроизводительному компьютеру с огромной памятью, способной уместить все книги мира, с экраном разрешением 8К, на котором уже невозможно невооруженным глазом разглядеть ни единого отдельного пикселя. Но тем не менее мы не находим времени, чтобы прочитать хотя бы одну книгу. Я не особенно верю в сильный искусственный интеллект, в компьютер, способный к осознанию самого себя, но я воочию вижу слабый естественный интеллект людей. Не удивлюсь, если когда-нибудь они совершенно разучатся принимать решения, и тогда компьютеры начнут решать всё. Без какой-либо войны, без какого-то там «восстания машин».

Я протягиваю руку и достаю с полки книгу в темно-зеленом переплете. Фолкнер. «Сойди, Моисей». Что-то историческое, про рабство негров в Америке. Никогда особенно не интересовался этой темой, поэтому мало об этом знаю. Я сажусь в кресло, открываю книгу и прочитываю буквально пару страниц, так как не могу избавиться от надоедливой мысли. Некой логической западни. Рабы освободились от рабовладельцев, потому что были угнетаемы и протестовали. Но кто может освободить человечество от рабства, если оно добровольное?

От чтения меня отвлекает телефон. Пожалуй, это основная задача этого девайса. С ней он справляется лучше всего.

— Доброе утро! — пишет Катя, — я не сплю.

— А что делаешь?

— Я занималась уборкой.

— Понятно. Встретимся?

— А знаешь... — она специально выстраивает интригу, и я чувствую, что это вовсе не касается наших обычных прогулок в выходной

день. – Я тоже нашла у себя книгу 1984 года в зеленой обложке. И я тоже тебе ее не отдам! – за сообщением следует дразнящийся языком анимированный стикер.

– М-м-м... – многозначительно отвечаю я, – тебя так сильно зацепило, что ты посвятила этому утро выходного дня. Серьезно?

– И... что?

– Ничего. Молодец, археолог, теперь можешь оставить ее себе, – я добавляю смеющихся до слез смайл, а следом спрашиваю: – Так встретимся сегодня?

Мой вопрос остается без ответа. Я улыбаюсь и возвращаюсь к страницам книги. Забавно, ведь все мы можем быть еще и рабами своих собственных увлечений, рабами своих одержимостей, убежденностей, заставляющих нас действовать и смотреть на мир особым образом. Но... Что там у негров?..

* * *

Звонок раздается примерно в два часа ночи. Конечно, это Катя. Она стоит на пороге в джинсах и темной кожаной куртке, с распущенными, слегка растрепанными волосами.

– Что случилось?

– Ничего, – она отвечает кратко, немного резко, и входит.

– Как ты добралась в такое время?

– Взяла каршеринг.

– Ах, да.. Но всё-таки что случилось? – я всё еще туго соображаю спросонья.

– Я сделала заказ и хочу забрать его.

– Заказ... – я с трудом вспоминаю наш разговор о библиотеке, ведь прошел уже не один месяц. – Сегодня? Сейчас?!

– Да, – уверенно отвечает Катя, – ты сам говорил, что ночью будет сподручнее всего, – она делает паузу. – Или уже не участвуешь?

– Нет, конечно участвую.

Я быстро одеваюсь. Вдвоем мы на лифте спускаемся в подземный гараж, а уже через 10 минут едем по пустой дороге ночного города. Я изредка поглядываю на Катю, но она молча смотрит в ночную пустоту. Впрочем, ее пальцы, еле заметно постукивающие по коленкам, выдают нервность.

– Волнуешься? – спрашиваю я, зная, что она не признается.

– Вовсе нет.

Конечно, она волнуется. Она волнуется, когда мы входим в светлые, ярко освещенные безлюдные залы библиотеки. Она волнуется, когда мы проходим по коридору в зал автоматической выдачи книг. Она волнуется, когда я ввожу коды и один за другим открываю ящики

камер хранения, куда еще с утра услужливый робот сложил наши книжки. Она волнуется, пока складывает их ровными стопками в объемный чемодан на колесиках, а потом бросает осторожный взгляд на камеру наблюдения.

Я не вижу камеры в тот момент, замечаю ее только через три часа, уже у себя дома, когда сажусь за ноутбук и, войдя в систему видеонаблюдения библиотеки, удаляю фрагменты записи.

– Из тебя вышел бы замечательный хакер, – замечает Катя, глядя мне через плечо.

– А из тебя никудышный воришка, – отвечаю я. – Дергалась. Даже вот уронила пачку книг.

– Ну, извини. Я не каждый день обворовываю библиотеку!

– Не думаю, что это кража, – говорю я, не отвлекаясь от рабочего процесса. – Судя по учеткам, большинство из книг в последний раз брали лет пять назад. Разве можно украсть то, что и так никому не нужно?

– Возможно, ты и прав... – Катя располагается прямо на полу рядом с чемоданом и задумчиво разглядывает нашу добычу, вынимая книги по одной и складывая в стопки, – а зачем ты взял эти?

– Что? – я отвлекаюсь от монитора.

– Но... это не 1984 год.

– И что? Они зеленые, – я ловлю удивленный взгляд своей подружки и отвечаю подчеркнуто эмоционально: – Представь себе! Я взял и себе несколько книжек. Да-да! Мир не сошелся на тебе, дорогая моя.

– Нет, нет. Просто... – смущается Катя, – я думала, ты закончил с коллекционированием.

– Напротив! Даже освободил третью полку, – я поворачиваюсь на стуле, показывая руками. – Вообще, я хочу освободить всё это пространство под новый стеллаж. Будут зеленые книги во всю стену.

Катя смотрит на меня и игриво улыбается. Так она делает только в одном случае – когда ожидает, прежде чем сказать мне какую-нибудь гадость. Нет, в двух случаях. Еще перед тем, как оказаться со мной в одной постели... Нет, все-таки в одном случае.

* * *

Катя лежит со мной на разложенном диване. Ее голова опирается на мое плечо. Может показаться, что она почти спит, но по частоте дыхания я понимаю, что она просто молчит. А когда Катя не говорит, это значит, что она думает. И когда этот процесс закончится, она непременно поделится результатом.

– Знаешь... А ведь теперь можно сказать, что мы пара, – говорит она.

– В каком смысле? Мы уже год как пара. Разве нет?

– Ну, конечно... Но я не про общение и не про секс. Появилось нечто еще...

– Ты про нашу сегодняшнюю авантюру? – улыбаюсь я, нежно поглаживая подругу по волосам.

– В том числе. И вообще, общее хобби...

– Это важно? – то ли спрашиваю, то ли утверждаю я, чувствуя, что медленно засыпаю.

– Для меня – да.

– Тогда, может, сделаем наши отношения более... официальными?

– В смысле? – Катя чуть приподнимает голову с моего плеча.

– Ну... – всё так же сонно и подчеркнуто спокойно говорю я, с небольшой ухмылкой поглядывая на нее, – можем организовать что-то вроде книжного клуба.

– Ну и гад же ты! – она чувствительно ударяет меня кулачком в грудь, но всё равно улыбается.

– Книжный клуб – это отличная идея.

– Не маловато ли нас для книжного клуба?

– Ну пусть это будет камерный книжный клуб. Надо же с чего-то начинать. Единомышленники появятся потом.

– Но мы же не книголюбы, а коллекционеры. Надо отразить в названии клуба это.

– Камерный клуб коллекционеров, – исправляю я.

– Камерный клуб крадущих коллекционеров.

– Мы играем в слова на одну букву?

– Да! – Катя смеется, – твоя очередь.

– Хорошо. Камерный клуб коллекционеров крадущих книги.

– Это не по правилам...

– Как и брать свои фигуры в шахматах.

– Ладно... – согласно вздыхает Катя: – Камерный клуб коллекционеров крадущих и классифицирующих книги.

– Камерный клуб коллекционеров крадущих и классифицирующих книжные корешки.

– Эй! Еще и замена слов? Ну-ну...

– Вообще, я не такой пафосный и самодовольный... Это ты коллекционируешь книги, – я зеваю еще глубже, почти проваливаясь в сон, – а я... просто книжные корешки.

– Да, по цвету. Зеленые. Камерный клуб коллекционеров крадущих и классифицирующих красивые книжные корешки. Что скажешь? Твой ход! Слышишь?...

Я ничего не отвечаю Кате, потому что крепко сплю.

* * *

Я обожаю завтракать вдвоем с Катей. Она еще заспанная и рас-трепанная. Но в этом непринужденном неряшливом образе меня всегда привлекает что-то. Возможно, это проявление высокой степени доверия, или даже близости, а возможно, это и есть тот самый домашний уют, который выражается не столько в окружающих вещах, сколько в людях.

Обмениваясь обрывочными репликами, мы говорим на разные темы, как это и бывает в разговоре обо всём и ни о чем. Но Катя вдруг возвращается к своему коллекционному пунктику.

— А ты всё еще хочешь узнать, почему именно 1984-й?

Теперь она решилась, и это важно для нее, поэтому я, конечно же, отвечаю:

— Да. Расскажи.

— Оруэлл писал антиутопию о гипотетическом будущем, вкладывая в нее проблемы, которые уже видел в современном ему настоящем.

— Угу, — киваю я в подтверждение того, что искренне пытаюсь понять ее.

— Но это будущее давно настало... У нас есть и системы глобального наблюдения, и машины пропаганды, оперирующие общественным мнением, и даже роботы, следящие за твоими действиями в Сети.

— Чуть позже 1984 года, — улыбаюсь я.

— Да. А в моей коллекции собраны книги из реального 1984 года. Хорошие и плохие, глубокие и поверхностные, запоминающиеся и проходные. То, что могли прочитать реальные люди, зайдя в книжный магазин в 1984-м. Такой... типографский отпечаток времени.

— Красиво.

— Ты правда так думаешь?

— Да. Довольно интересная мысль, — я, улыбаясь, смотрю на Катю. — А «1984» издания 1984 года у тебя есть?

— Конечно! — глаза Кати загораются особым, свойственным всем коллекционерам маниакальным блеском. Она достает книгу и показывает мне с нескрываемой гордостью: — С нее всё и началось!

— Жаль, — отвечаю я, — теоретически я мог бы тебе ее подарить, но раз она уже есть, то нет смысла искать.

— Кстати, раньше говорили, что книга — это лучший подарок. — Катя задумчиво смотрит на ряд зеленых корешков, отпивая кофе. — Ну, а что у тебя?

Я выдерживаю паузу, неторопливо доедая остатки завтрака.

— Хочешь знать?

— Да. Только не говори, что это для того, чтоб постебать мою лекцию. Я уже не поверю в это.

– Ну... Вообще-то изначально так оно и было. Но потом, уже в процессе, появился еще смысл.

– И какой же? – я ловлю заинтересованный взгляд Кати. – Почему зеленый?

– Цвет может быть любым. У меня это зеленый, потому что у меня весь интерьер зеленый, и зеленые книги отлично в него вписались. Но смысл в том, что смысла нет. Человечество владеет книгами, но не читает их. Обладает богатством знаний и культуры, но не использует его. Фактически, это уже просто книжные корешки, стоящие на полках. В таком случае, пусть они хотя бы подходят по цвету.

Катя задумчиво замолкает, глядя на расставленные по цвету корешки. Ровный ряд с плавным градиентом, переходом от темного к светлому.

– А знаешь, – наконец говорит она очень серьезно, – твоя коллекция и правда ничуть не хуже моей.

– Думаешь? Ты сейчас серьезно?

– Совершенно. И знаешь почему? Потому что это не просто самая настоящая коллекция, это еще и арт-объект. Ты начал это как глупую шутку, а на самом деле... Это про всех людей, которые в большинстве своем уже не читают книг.

– Спасибо. Но, думаю, ты меня перехваливаешь, – пожимаю я плечами и прямо в чашке кипятком из чайника заливаю себе вторую порцию кофе, – хотя... Не знаю, как людей, а меня моя коллекция точно побудила снова начать читать книги...

– Это очень хорошо, – Катя с довольным видом смотрит на меня немного испытующим взглядом, подпирая подбородок обеими руками. – И как ощущения?

– Это просто замечательно, Кэтти! – смеюсь я в ответ.

* * *

Мы вдвоем находимся в моей квартире. Сидим на зеленом диване. В углу разноцветными огнями сверкает зеленая елка. За окном крупными хлопьями падает одноцветный белый снег, словно разорванные в клочки страницы книг, которые так никто и не прочитал. Мы смотрим на полки, заставленные зелеными книгами, и разговариваем о чем-то неопределенном.

– А ты тогда и правда не пошутил? – вдруг спрашивает Катя, отпивая горячий какао из своей кружки с нарисованным оленем.

– Насчет чего? – не понимаю я, потеряв нить разговора.

– Про книгу из твоей коллекции 1984 года издания.

– Правда. Не пошутил.

– И она сейчас где-то здесь? – Катя задумчиво смотрит на полки.

– Нет, – отвечаю я, чуть улыбаясь, – ее сейчас там нет.

– Почему?

– Потому что я решил, что для нее найдется место получше, – я вынимаю из-за диванной подушки небольшой сверток в серебристой бумаге, перевязанный зеленой ленточкой, и отдаю Кате. Она удивленно смотрит на меня, потом аккуратно и неторопливо разворачивает сверток и вдруг заливается своим звонким смехом.

– Ты решил подарить ее мне?

– Думаю, тебе она важнее. В конце концов, это ты собираешь настоящую коллекцию, – отвечаю я, не до конца понимая, в чем дело.

– Это... очень мило, – Катя нежно целует меня.

– А почему ты тогда смеешься?

– Потому что ты еще не видел свой подарок, – она вручает мне небольшую подарочную коробочку. Я открываю ее и невольно улыбаюсь. Внутри точно такая же книга, в обложке божественно приятного зеленого цвета, изданная в 1984 году.

– Что ж... – я подхожу к полке, – тогда стоит вернуть ее на место. Так градиент станет более плавным.

– А не хочешь для разнообразия прочитать ее?

Я кручу книгу в руках перед тем, как поставить на полку.

– О.Генри... У меня никогда не доходили до него руки. Но теперь непременно. Что-то про любовь?

– Классика. – Катя пожимает плечами. – Но не потерявшая актуальность. Очень даже. Поймешь, если прочтешь.

* * *

«В книгах и пьесах не бывает случайных деталей. Висящее на стене ружье непременно должно выстрелить», – размышляю я, отвлекшись от работы, поднимаюсь с места и поливаю разросшийся кактус, как делаю это обычно раз в неделю.

Вокруг ничего не изменилось. Большой кабинет. И Катя, работающая напротив. Всё как всегда. Но что-то все-таки произошло. «Так... И почему же не цветет этот противный кактус? Возможно, это не конец небольшой истории, а начало какой-то другой, большой?» Я снова сажусь за стол. До конца рабочего дня еще два часа.

Воронеж

Екатерина Преображенская

* * *

Жук, пожелавший дружить со мной
Почему я не узнала тебя, когда
Столкнулась с тобою лбом в дверях,
Тебя, стучавшегося в мой лоб, как в дом
И потом – твои лапы на моем лэптопе,
Ускользающая твоя стезя

И потом еще, за столом –
Твой марш-бросок – прямо в мои глаза,
Блеск отрезного крыла
И почему я не узнала тебя?
Вся та же самая сияющая спина
Негнушаяся твоя душа с зеленым отливом
И как ты упал на спину –
Столы и полы, все гладкие вещи – твои враги –
И не мог
Перевернуться

* * *

Мухи, данные мне в назидание,
Соппротивление осы,
Зеленые и бесцветные мотыльки,
Бросающиеся на буквы.
Смертельно-нежданные шершни,
Тонкие, пронизательные комары
Головокружительно кувыркающиеся мошки,
Пауки – создатели гелиоцентрической системы –
Навязчивые визитеры, –
Все как один – не боящиеся Руки,
Не знающие, откуда приходит Рука –
Вблизи –
Бесстрашные, вооруженные до зубов – войны
Издадека – прилипчивые дети.
Застывшие повсюду гости – каждый со своим посланием –
Прочти! Прочти! Прочти мое письмо!–
Лови –
Быстрее электронной почты – светлее фотона –
Внимательней кванта.

* * *

Благословен тот, кто дал мне смотреть
На собак, убегающих вдаль к озеру,
На кисточки их хвостов, загнутые вверх, –
Воплощение абсолютной радости

О, длинные волшебный языки,
Ловкие, как у фокусника,
Зачерпнувшие так глубоко.
Их хвосты, реющие в воздухе,
Словно паруса далекого корабля...
О, радость прибытия!
Радость, радость – повсюду
Опрокидывающая всё навзничь,
Радость, уложившая всех на пол, –
Поющие ребра радости,
Спрятанные надежно под шерстью
И выпирающие – у щенка,
Который не знал (он и не видел),
как сильно он оттошал,
Взлетая навстречу

* * *

Видела я тебя на Елизаровской... В ослепительном сиянии
Невиданной ночи, в окружение случайных сестер и братьев,
В левой руке – у тебя торт, в правой – букет цветов –
Отравленные дары одной из девушек.

Видела тебя я на Невском проспекте, повернутым на северо-восток,
В шерстяной куртке древесной шершавой гадюки
В сердце у тебя сладкая пыльца – перга и мед,
Между глаз у тебя – Симеон Маг и София премудрость

Видела я тебя, лежащим в траве, у Володарского моста
Торс твой обнажен, в сжатых кулаках твоих – гнев
Ты отрицаешь левое профсоюзное движение и революцию
Голос твой – инфразвук с частотою в семь герц

Видела тебя... не видела, но ты мне сказал, что перелез
Через забор в Петергофский парк, пожалев четыреста рублей,
Видела тебя в кустах, охотящимся на шмелей, ты говоришь:
«Каждый будет прощен несмотря ни на что», –
и я не понимаю, зачем

Видела тебя там, куда ты помещен, откуда пульсирует
Твое волокно, струится пульс твоих байтов.
Горгульи и химеры у тебя на руках,
На лице – нестираемая улыбка.

Санкт-Петербург

Константин Шакарян

* * *

Нет ни времени Тебе,
ни прошедшего-грядущего...
Разгляди меня в толпе,
неуверенно бредущего.
Разгляди и подивись!
стань на миг немым попутчиком.
Ежели мешает высь –
опустись на землю лучиком,
просвети меня насквозь!
Буду рад нравоучению:
что живу, мол, на авось,
и плыву-де по течению,
со стихией жизни врозь...

...Чтоб грядущее меня
ввергло в волны настоящего,
и сегодняшнего дня
я взалкал животворящего, –
высыпь камешки и хлам,
что запрятал я за пазуху,
да суди по тем волнам
побрести мне, аки посуху.

ARS POETICA

Вылетает душа поглядеть,
что творится вокруг,
вдалеке и вблизи –
в бесконечном и временном мире.
То от счастья замрет,
то сожмется от горечи вдруг,
огибая пространство,
во времени делаая круг,
и на каждый шажок откликается,
шорох и звук,
становясь неожиданно выше,
и глубже, и шире...

А вернется обратно,
в привычное тело-жильё,
ей, бедняжке, в тебе
тесновато становится сразу.
И спирает дыханье...
И берешься опять за свое:
целый мир, словно воздух,
легко выпускать из нее
за строкою строку,
за созвучьем созвучье,
за фразою фразу...

* * *

Есть тона и оттенки у чувств –
неподвластны словесной палитре.
Их высказывать молча учусь
при страдании и на молитве.

Вновь ухватит тоска за рукав,
гневом разум затянется снова –
душу выговорить, не сказав
ни единого лишнего слова.

Всё поведать, что знаешь о ней,
взгляда шепотом, окриком жеста...
И не выразить жизни своей
одобрения или протеста,

но принять ее с миром вокруг
в каждом трепете и колыханье
благодарной молитвою рук
и прерывистой речью дыханья.

* * *

Дневников не вел и не веду.
Жизнь моя у неба на виду
на земле вершится год от года.
К исповеди в виде дневника
не тянулась юная рука;
выпускать боялся двойника,
ведая: в забвении – свобода.

Он во мне, затерянный двойник,
он живет со мною среди книг,
с музой не чужается соседства.
Вот она возникнет, вся в свету,
пару слов обронит на лету...
А двойник останется по ту
сторону сознания и сердца.

Он со мною ходит там и сям,
по делам, дорогам и друзьям.
Я же соглашаюсь – с перетруху –
всюду поспевать,
и впопыхах
душу выговаривать в стихах...
На дневник уже – увы и ах –
не хватает времени и духу.

Что мне записать? –
«Еще живу,
вглядываюсь в неба синеву,
к вечеру чернеющую мерно.
Был сегодня там-то, говорил
с теми-то, и временем сорил,
между тем о том-то позабыл,
(а о чем – уже не вспомнить, верно),

далее – больше: двигался вперед
(а куда – сам черт не разберет),
и обратно, не сбавляя темпа...»
Вот уже я дома, и рука
тянется к страницам дневника
сохранить, не выстыли пока,
эти «том-то», «там-то» или «тем-то»...

Вот уж улыбается двойник,
вот уже на воле он привык
каждый шаг свой видеть на бумаге...

Не чернил, не времени мне жаль.
Через годы он себя, сквозь даль,
вдруг увидит, всмотрится – в себя ль?! –
и не позавидуешь бедняге...

* * *

Лета нынче в разливе снова,
волны катятся взад-вперед...
Оброни, не подумав, слово –
в воды мутные упадет...

Строчку вырони ненароком –
вмиг удобрит собою дно...
Волны катятся по дорогам.
Всё едино им, всё – равно...

Волны катятся по дороге,
по которой в густой ночи
не твои ли шагают ноги?
...Уноси их, не промочи.

* * *

В.

Я жил до тебя и, возможно, дожил бы до ста,
стихами соря, ожидая у моря погоды;
я к морю тому припадал – обжигали уста
и жажду мою разжигали соленые воды.

Жила до меня, без меня бы еще прожила
огромную жизнь с востроносим пером наготове.
Сколь туго бы ни было – вновь, как и прежде, нашла
печали своей и тоске применение в слове.

Кончатся ль, нет ожидания такие добром –
у моря погоды не ждут, на пути прозревая...
И рыбке из моря не выплыть, и даже пером
добытая радость – не более чем перьевая.

Я жил до тебя, ты жила до меня – ну и пусть:
ходили, писали, дышали своим кислородом...
К нам в души кралась, заметая, мерзлотная грусть,
и холод в груди ощутимей сквозил год за годом.

Так что же нам делать? Ведь мы в одиночку – не мы,
пускай не глухи – но порою бессильны и немы.

И каждого поодиночке дыханье зимы
коснется и выстудит...
Чем не сюжет для поэмы?

И снова перо, неумное это перо –
оно покореженной жизнью насытится вволю!
Ничто для него не остужено и не мертво.
Питается вечно живой и раскормленной болью...

...И как же так вышло, что моря горячая соль,
пера кровожадность, зимы перелетные выюги,
негромкая наша и неразделенная боль –
дорогой явились, судьбой и мечтой друг о друге?..

Ереван

Борис Фабрикант

* * *

Вдали промчался катер пробкой винной.
А подо мной прилив волною длинной,
Я в Борнмуте, где с окнами над морем
Под крики чаек, шум прибоя сплю,
Из воздуха и слов стихи леплю,
А дочь моя поет в церковном хоре.
Колокола. Аббатству век десятый.
Большие камни. От дверей правей
Нарциссы желтые стоят толпой лохматой
У этой церкви голубых кровей.

Всё то же здесь. И время не течет,
Оно, как воздух осени, густеет.
И можно, дверь открыв своим ключом,
Перешагнуть в столетие левее.
Я вырос из истории другой.
С монгольским игом и советской властью,
Еврейским гетто, плачем за стеной.
И как примерить счастье к несчастью?
Да, всё пройдет. Но, проживая век,
Всегда во что-то верит человек,

Он, выбрав символ – мирную голубку,
Придумал и стихи и душегубку.
Пока в себе раба и господина,
Молясь во имя и Отца и Сына,
Всё будем человечиною кормить,
Мы ни прощать не сможем, ни любить.
Всё разбивая, рвемся на чужбину.
В разбитом мире можно заменить
Осколки и свою сложить картину.
А можно и разбить и не сложить.
И не сложить. Как на блошином рынке,
В смешении антик и новодел.
Прохладной глины расписные крынки,
Серебряные ложки не у дел,
Державный Веджвуд, патина монет.
Пластмасса, поролон, картон, макет

* * *

Приехало прошлое с темным налетом от гари
И запахом сена подстилки в троянском коне.
И с воем сирены, как будто наряд на пожаре
Секретно пехоту везет погибать на войне.
И громко звучит, как звонок на большой перемене,
Наивный балет с лебедями про черную месть.
Ах, музыка эта — к предательству и перемене.
Что было, что будет и как разобраться, что есть?
И время раскатано шлангами блеклого цвета,
Они протекают, как мальчик по малой нужде,
И серые лебеди в форме уводят Одетту,
Она не одета, поскольку врасплох и в беде.
В пруду западня, и за длинным оврагом засада.
А в желтых кустах то капкан, то силок и ружье,
Крик: «Врешь, не уйдешь!». И зачем было прошлому надо
Вот так обложить это прошлое счастье мое

* * *

По дырявой воде до немытой дороги
Под нечесаным небом горбатой грозы
От молочных болот до причалов безногих
Между криками сов там где лисы борзы
Вдоль разбитой ограды сгоревшего сада
Сквозь туман паутины цветное бельё
В старый дом где постель заросла виноградом
Хлев травой-муравой двор житьем и бытём
В день восьмой понедельник неожиданно-негада...
Со слезою блестящей как глаз на блесне
Под забытый напев племенного обряда
Всех родных и живых ты увидишь во сне
И рванешься на запах цветущего сада
С отражением солнца столкнувшись в окне

* * *

У нее счастливая душа,
Ей никто не должен ни шиша.
И она, от жизни взяв сполна,
Никому ни жеста не должна.
Неприметно ходит средь людей,
Как седой сутулый воробей.

Длинный столбик гениальных строк
Будит в ней признательный восторг.
А строка сквозь жизнь, как по камням,
Меж плитой и стиркой, и уборкой.
Месяцами не звонит ей сам
Аполлон, закрыв окошко шторкой.

А потом, как эхо тишины,
Долетит и в прошлое и после:
«Больше смерти не хочу войны,
Больше счастья, чтобы ты был возле,
Я хочу. И не терять родных.
Господи, от просьб, прости нас, жарко!»
И махнул рукою и затих
Аполлон: «Ну что возьмешь, кухарка!»
Молит о прощеньи за грехи,
Музы призовут, не отзовется.
Вырывает за душу стихи,
Как ведро веревкой из колодца

* * *

И запомнится толстый ковровый рисунок заката
И ковер на софе, слово новое, мебель стара.
Все мы к ходу событий прибиты, как буквы плаката,
Ну и флаги, их дворник на праздник развесил с утра.
Календарные даты – каморки, хранящие утварь
И касания к ней, память трещин, эмалевый скол.
В прошлых днях и без нас каждый день начинается утро
И семья, «С добрым утром!» включая, садится за стол.
Красной миской, которую мама из дома до Львова
Провезла сквозь Ташкент, Балашов от начала войны,
Как ключом, я открою те годы, в которые снова
Я вернусь, чтобы всё записать на запасные сны.
Это время листком, незаполненным прошлым, маячит,
По нему не отыщешь ни место, ни запах, ни звук.

Я, ребенок, тогда был для памяти пуст и прозрачен,
И беспамятством этим когда-то замкнется мой круг

* * *

Судьбе по рельсам путь от тупика до Бога.
 Но ржавь не отодрать, и стрелки запекло,
 Под общий наш вагон не стелется дорога,
 Что было, не видать сквозь грязное стекло.
 И график и тариф обведены нулями,
 Глухая магистраль закрыта на засов,
 Лег лагерный отряд шпал сбитых костылями,
 Где стрелки на путях отстали от часов.
 Ободранный состав, как вечный призрак, точен
 В двенадцать даст гудок, пугая всех окрест.
 Качаясь и скрипя, несет расстрельной ночью
 Прочь будущее бывшее из этих мест.
 На станции конца у старого вокзала
 Вперед или назад гляжу до той черты,
 Где рельсы, наконец, сливаются в начало,
 Поля и города, туннели и мосты.
 Там паровоз летит, не зная остановки,
 И только стук колес вращается вдали,
 Где пуля из ствола игрушечной винтовки
 Навылет разнесла полглобуса Земли.
 Там прошлое везут без права передачи.
 Гудок и черный дым с осколками угля,
 И мы поем с отцом, и проводница плачет:
 «Едем мы друзья в дальние края».
 Там общие места и ларь под нижней полкой,
 И рыскает волчок-утащит за бочок,
 Там спится вечным сном и зайчику, и волку,
 Запрет не разглашать, он и во сне молчок.
 Омытый помидор, лучок, яйцо вкрутую
 И постук по столу, оранжевый желток,
 Чекушка на двоих, и проводник пустую
 Заменит за трояк и сделает глоток.
 Ты прошлое свое расскажешь приключенье,
 И будущим своим поделится сосед,
 И каждому билет – его предназначенье,
 Всё в прошлое уйдет, где будущего нет.
 Побудка в пять. Плацкарт. Горячий подстаканник.
 Пора сдавать белье. Бьет ржавый стык. В окне
 Пустой буфет, титан, течет разбитый краник.
 И проводник билет протягивает мне

* * *

Наизнанку снимая жизнь, как перчатку с руки,
шагом легким, взлетающим, так что мысли легки,
возвращается в прошлое, не спеша уходя,
там погода хорошая, не бывает дождя,
по ступенькам спускается, узнает поворот,
не грустит и не кается, улыбаясь, идет,
нет ни ветра, ни радуги, и не вспомнить, а жаль,
виды улиц на падуге повисают, как шаль,
так бредет без усталости и не смотрит назад,
возвращаясь из старости, но не знает, куда,
хоть закрой, хоть открой глаза, закрывает глаза,
то ли музыка слышится, то ли льется вода,
ни мороза, ни времени – старый мятый рассвет,
только слов для названия у него уже нет

Борнмут, Англия

Елена Литинская

Понять нельзя простить

Маленький Bildungsroman

ГЛАВА 1. НЕМНОГО ИСТОРИИ

Всех, кто стар и кто молод, что ныне живут,
В темноту одного за другим уведут.
Жизнь дана не навек. Как до нас уходили,
Мы уйдем; и за нами – придут и уйдут.

Омар Хайям

Сейчас, когда большая часть моего земного существования уже прожита и не приходится ждать значительных приятных поворотов-сюрпризов на дороге жизни, разве что остаётся надеяться на маленькие радости, за которые я благодарна судьбе или Всевышнему (или ангелу-хранителю), моё сознание часто поворачивается вспять, и я погружаюсь в воспоминания, пытаюсь оживить застывшие картины далекого и не столь далекого прошлого... Для чего? Наверное, чтобы повторно насладиться просмотром ярких картин, которые украсили мою книгу жизни, извлечь уроки из заблуждений и ошибок и доказать себе, что всё случилось не зря, что сослагательное наклонение и связанные с ним сожаление и раскаяние в моем случае неприменимы. Что все победы и поражения, радости и горести были мне предначертаны датой рождения, наследственностью и моим характером и имели свой скрытый смысл. Словом, что иначе и быть не могло.

Родилась я после войны, пополнив своим появлением на свет поколение бэби-бумеров, в городе Москве, в знаменитом Доме правительства на Берсеневской набережной, который вошел в историю и литературу как Дом на набережной, а также был известен и под другими названиями: Первый Дом Советов или Дом ЦИК и СНК СССР.

Наша огромная четырехкомнатная шестидесятиметровая квартира на десятом этаже с балконом и видом на Кремль была в 1931 году предоставлена (вместе с роскошной мебелью, выполненной на заказ специально для квартир этого дома) в пользование моему деду Ивану Павловичу Н-ову, который хоть и был дворянского происхождения (из

мелкопоместных), но искренне вдохновился идеей революционной борьбы, участвовал в Октябрьской революции, а затем и в Гражданской войне (естественно, на стороне красных), решительно вступил в партию большевиков и дослужился до высокого поста в советском правительстве. В 1931 году молодому идеалисту и члену правительства было тридцать пять лет. В те времена у власти стояли такие же молодые, они горели на работе и вне ее и – увы! – рано сгорали.

Вселился мой дед в этот дом вместе с тридцатилетней женой Марией и четырехлетней дочерью Наташей, которая и стала в 1948 году моей матерью. В отличие от мужа, Мария была купеческого рода. В Гражданскую войну она служила медсестрой в Красной армии и тем самым, как и мой дед, вроде бы «искупила» грех своего отнюдь не пролетарско-крестьянского происхождения. Мария Петровна (бабушка Маша) дома не сидела и, выйдя замуж, продолжила медицинское образование, получив сначала профессию врача-терапевта, а впоследствии – должность в Кремлевской больнице. В общем, Кремль вошел в нашу семью изнутри и плотно окружил снаружи. Не вырваться было из его цепких объятий...

Так как дед и бабушка много работали, домашнее хозяйство и уход за маленькой Наташенькой поручили няне, расторопной и добросердечной деревенской девушке Авдотье. Так случилось, что Авдотья (Дуня) потеряла в годы революции и войны семью и кров. Мужа убили бандиты (то ли белые, то ли красные, то ли зеленые, то ли еще какие-то...), ребенок умер в младенчестве от тифа, дом сожгли, скот растащили. Что было делать? Остаться на пепелище означало нищенство или голодную смерть. Вот она и подалась из разоренной деревни в Москву за лучшей долей. Дуня хотела было устроиться работать швеей на фабрику и найти себе подходящего мужа, если повезет, ведь она была еще молода, двадцати двух лет, и собою весьма недурна. Но снять комнату было дорого, а получить место в общестии непросто и нескоро, поэтому первое время она пристраивалась на ночь на вокзале или на скамейке в сквере, где ее и подобрала моя бабушка. Хорошо, что дело было летом, при теплой погоде. Добросердечная, жалостливая бабушка прониклась сочувствием, симпатией и доверием к одинокой, растерянной молодой крестьянке и сразу позвала ее в наш дом переночевать, где Дуня и осталась до самой своей смерти в 1985 году. Замуж она так и не вышла и своей семьи не завела. Мы стали ее семьей.

Четырехкомнатную квартиру дедушка с бабушкой распределили следующим образом: спальня – для них; гостиная (она же столовая) – для семейных обедов и приемов гостей; кабинет, в котором стояли массивный письменный стол, заваленный бумагами, стеной шкаф и

диванчик, — исключительно для деда. На этом диванчике он частенько спал, когда возвращался домой не столько поздно, сколько уже рано. И детская, которую Наташа делила с няней Дуней.

В спальне на широченной кровати чаще всего спала в негордом одиночестве бабушка, так как дед вечно пропадал то на работе, то на даче, то на рыбалке или на охоте, то — неизвестно где. Злые языки говорили, что он был любителем женского пола и менял пассий: актрис, балерин и секретарш. Но бабушка не верила досужей болтовне о дедушкиных любовных похождениях, считая все эти разговоры пустыми сплетнями завистников и злопыхателей, и обожала мужа. Да и дед, несмотря на свои вечные похождения и увлечения, жену свою любил и даже постоянно ревновал, хотя и ревновать-то ее было не к кому, разве что к пациентам.

Кухонька была махонькая, чисто символическая, так как архитектор и строители дома предусмотрели в первом дворе, в здании клуба, общую для всех жильцов огромную кухню-столовую. Зачем же готовить в семье, если можно, не выходя из дома, по специальным талонам приобрести вкусный и питательный обед и принести его в судках домой! Что почти все жильцы и делали. Кроме клуба ВЦИК имени Рыкова (ныне Московский театр эстрады), дом также включал кинотеатр на полторы тысячи мест, спортивный зал, универмаг, прачечную, амбулаторию, сберкасса, отделение связи, детский сад и ясли. Во внутренних дворах были разбиты газоны с фонтанами. Мебель в доме (столы, буфеты и прочее) была казенная, с бирками. Горячая вода подавалась от теплоцентрали. В общем, Дом на набережной представлял собой независимый объект, особый город в городе, этакую элитную версию коммуналки для удобства проживания крупных советских деятелей и их отпрысков: партаппаратчиков, работников НКВД, высоких военных чинов, членов правительства, выдающихся артистов, музыкантов, писателей и прочих знаменитостей, так или иначе причастных к Олимпу молодого советского государства.

Новые жильцы получали роскошные квартиры и, ощущая свою привилегированность, радостно вселялись в уникальный дом-город. Однако их радость была недолгой. Через какое-то время (месяц, полгода, год...) ночью за многими приезжал «черный воронок», и люди исчезали — по доносу и наводке часто своих же так называемых друзей или знакомых, жаждавших получить квартиру арестованных. Не зря наш дом также негласно прозвали «Домом предварительного заключения». Репрессированные исчезали на долгие годы или навсегда: кому какая судьба выпадала (расстрел, тюрьма, ссылка в лагерь или на отдаленное поселение). Круг соседей и коллег деда сужался. Иван Павлович интуитивно чувствовал приближение роко-

вого дня, когда и за ним придут, но в 1937 году, незадолго до «большой чистки», перенапрягся на работе и вовремя умер от сердечного приступа. Смерть избавила его от допросов и мучений, а также спасла нашу семью от выселения. Мы не стали семьей репрессированного и поэтому остались жить в Доме правительства. Бабушку не тронули, так как ее в Кремлевке ценили, и в начальники она не лезла.

ГЛАВА 2. РАННЕЕ ДЕТСТВО

К концу сороковых годов мама выросла в красивую пышноволосяную девушку, поступила (пойдя по стопам бабушки) в медицинский институт и вышла замуж за бывшего одноклассника Сергея, который к тому же проживал в нашем доме, так как его отец был крупным военачальником, героем Гражданской войны. Не знаю, чего тут было больше – любви или трезвого расчета (смею ли я рассуждать на эту тему, а вот рассуждаю), но брак моих родителей длился долгие годы, пока не... Но не будем торопить события.

Вернемся к началу их семейной жизни. Молодые поселились в гостиной, переоборудовав ее под свою спальню. И гостиной для приемов у нас больше не стало. Да и сами большие приемы стали редкостью. Когда приходили гости (не так много, как прежде), родители раздвигали стол у себя в спальне. А то и выносили его в просторный коридор, в котором – хоть катайся на велосипеде. Что я и делала, когда мне в четыре года подарили трехколесный велосипед.

Сначала родилась я, Ирина, а через четыре года – моя сестра Марина. Вот так нас называли (для благозвучия, что ли, в рифму: Ирина – Марина). Через несколько месяцев после рождения Мариночки няня Дуня переместилась вместе с новорожденной в бывший дедовский кабинет, который долгое время, в связи с благоговейным отношением бабушки к памяти деда, пустовал, служа своего рода семейным музеем с фотографиями в рамках, развешанными по стенам, и альбомами в ящиках дедовского письменного стола.

Меня, четырехлетнюю, оставили в детской. То-то я радовалась! Помню себя именно с этого возраста. Никто по ночам теперь не орал, спать не мешал, замаранными пеленками и молоком не пахло. Свобода и покой! Утром, если я вставала до прихода няни, то перелезала через перильца на стул, смело выбиралась из кровати (диву даюсь, как это я ни разу не сверзилась!), садилась на коврик, доставала своих кукол, их одежду, миниатюрную мебель, детский сервизик и другую утварь и играла в дочки-матери. Я была матерью, переодевала, кормила, баюкала и укладывала спать своих «дочек». Неожиданно открывалась дверь, и раздавался нянин голос:

– Проснулась, Иринушка, любушка моя? Ранняя пташка. Опять на полу сидишь? Замерзла, поди. Давай скорее одеваться, умываться и кушать.

– Не хочу умываться и кушать! Не кричи, моих деток разбудишь. (Я долго не выговаривала звук «р»). Выходило: «Не кличи, моих деток лазбудишь!»)

– Пускай твои детки поспят, а ты пока умоешься, оденешься и покушаешь, – продолжала меня уговаривать няня. Я, замерзшая на полу, в конце концов соглашалась и милостиво предоставляла няне проводить со мной утренние процедуры.

Интересно, что ни мама, ни папа никогда утром не заглядывали в детскую, отдав меня в полное распоряжение няни. Сестричку мама всё же несколько месяцев кормила грудью, а потом бросила это тяжелое занятие (по ее словам, пора было на работу выходить, засиделась дома), перетянула грудь и перевела Мариночку на искусственное питание, которое можно было купить в специальном отделе гастронома в нашем доме.

Родителей мы с сестренкой видели только вечером, когда мама возвращалась с работы, а отец выползал из так называемого творческого укрытия, где целый день выстукивал на машинке свои романы и другие литературные труды. Не всегда и вечером мы с сестренкой виделись с родителями. Часто папа с мамой уезжали на вечеринки (молодые были, любили гульнуть) и возвращались домой, когда мы уже спали. Суббота в те годы была рабочим днем. Оставался один выходной – воскресенье. Только в этот день, когда няню Дуню отпускали в церковь и по другим ее личным делам, родители были вынуждены нами заниматься. А мы с Мариночкой с нетерпением ждали этого дня.

Мама покупала (из спецраспределителя для избранных, доступ к которому всё еще имела наша семья при живой бабушке) красивые детские вещи и любила нас наряжать. Да и мы с сестренкой обожали это занятие. Мама и сама была всегда красиво и модно одета, никогда не ходила распухстрой, даже домашний халатик у нее был какой-то особенный – под японское кимоно из шелка. От мамы приятно пахло заграничной косметикой и тонкими духами. Точно не «Красной Москвой» и не «Белой сиренью». Думаю, что французские духи ей дарили ее благодарные высокопоставленные пациенты и их жены. Она к тому времени работала пластическим хирургом в Институте красоты на улице Горького (бывшей Тверской и вернувшей себе в 90-е годы свое прежнее название). Перевоплощала лица и тела. Мама читала нам сказки братьев Гримм и «Легенды и мифы Древней Греции». Я обожала маму и фантазировала, что моя необык-

новенная мама сама была богиней красоты или музой и спустилась с Олимпа, чтобы потом когда-нибудь взять туда меня с собой.

В папины обязанности входило брать нас на воскресные прогулки. Мариночка – в коляске, я – ножками. Вдоль набережной был разбит сквер. Там среди деревьев и скамеек мы и прогуливались. Таким образом папа вносил свою посильную лепту в наше счастливое детство. С нами, малявками, он особо не разговаривал. Так и бродили мы туда-сюда по скверу около двух часов в молчании, пока Мариночка не начала реветь, а я вслед за ней – проситься домой к маме. Папа трогал наши холодные носы, и прогулка завершалась. Впрочем, когда я пошла в школу, а сестренку отдали на полдня в наш местный (специальный) детский сад, папочка наконец обратил на нас внимание. Однажды я случайно услышала его реплику в разговоре с мамой:

– Наташ, какие у нас хорошенькие девчушки получились! А? Прямо загляденье!

– А ты как думал? Так и должно было быть при наших-то с тобой благородных дворянско-купеческих генах. Ха-ха-ха!

– Тсс! Тихо ты! Ты же знаешь, в нашем «доме с призраками» у стен есть уши.

– И для этих ушей наше происхождение – отнюдь не тайна, – добавила мама.

– Для кого-то не тайна, а для кого-то тайна. Осторожность не помешает.

– Ты прав, любимый! Всё! Умолкаю.

Я тогда еще не знала слово «гены» и подумала о нашем соседе по этажу, малолетнем Генке. Этот самый Генка был единственным ребенком у своих родителей, смысленным и миловидным. Всё это так. Но какое это имело отношение к нам, сестрам? Странные люди эти взрослые! Непонятно, что говорят.

Я хотела спросить папу с мамой, но потом передумала, так как пришлось бы признаться, что подслушиваю разговоры взрослых. А подслушивать – это очень скверно. За такое и наказать могут. Последствия я интуитивно понимала с малых лет, но всё равно любила подслушивать. (Эта скверная черта моего характера открывала мне глаза на многое, что происходило в нашей семье. Вспоминаю и думаю, что лучше бы я не подслушивала! Может, моя жизнь сложилась бы по-другому.)

Генке было тоже пять лет. Он не был трусом, просто не любил мальчишеские игры в войну. Домашний, обожаемый единственный ребенок, зеница ока родителей. Ребята нашего двора его презирали и дразнили маменькиным и папенькиным сыночком, еврейчиком, жиденком. (После войны во всем своем низменном откровении стал

проявляться государственный и бытовой антисемитизм, за который прежде, в послереволюционные годы, могли и посадить.) Поэтому Генке ничего другого не оставалось, как дружить с девочками. Например, со мной. Зимой мы катались с горки на санках и играли в снежки, а весной и осенью – в классики и в мячик. (Летом наши семьи уезжали из душной Москвы на казенные дачи.) У Генки тоже была няня, которая дружила с моей. Когда мы с Генкой играли, няня Дуня качала коляску с шестимесячной Мариночкой и взахлёб болтала с Генкиной няней. Они обсуждали жизнь своих хозяев: то осуждая, то восхваляя их. Газет и журналов деревенские женщины не читали, и их болтовня была своего рода светской хроникой последних событий.

Когда была плохая погода, Генкина няня приводила мальчика к нам (само собой, с разрешения моей бабушки). Мы лепили из пластилина разные фигурки, рисовали волшебные картинки, приговаривая: «Гром, греми, огонь, сверкай! Наш рисунок, оживай!» Мы ждали, рисунок не оживал, но это нас не смущало, и мы, забросив рисование, переходили к более бурной игре – в прятки. Благо в нашей огромной квартире было где спрятаться. В это время наши няни сидели на кухне, листали популярную в то время поваренную книгу «О вкусной и здоровой пище» и обсуждали новые рецепты обеденных блюд.

Частенько, расшалившись от беготни, мы создавали много шума. Тогда решительно открывалась дверь бабушкиной комнаты, бабушка выходила в коридор и строгим голосом говорила:

– Ну, всё! На сегодня, пожалуй, хватит. Наигрались. Приходите завтра.

– Простите, Мария Петровна! Это больше не повторится, – извинялась няня Дуня, и Генкина няня забирала мальчика домой.

Потом Генка вдруг перестал появляться во дворе, и к нам его тоже больше не приводили. Я недоумевала и скучала. Где его черти носили, моего друга? Заболел, что ли? («Где тебя черти носили?» было любимым выражением моей няни и бабушки, хотя моя прогрессивная и образованная бабушка ни в чертей, ни в домовых, ни в привидения и прочую нечисть не верила.)

– Ты не знаешь, где Генка и его няня? – спросила я у няни Дуни.

– А кто ж их знает! Может, в каком другом месте теперь гуляют, а может, и вовсе съехали с квартиры, – не очень уверенно сказала няня Дуня, оглянувшись по сторонам и добавила: – Времена нынче мутные! Ох, и мутные времена настали!

– Генкина няня же твоя подруга. Ты должна знать, что с ними случилось, – настаивала я. Мы с Генкой были, что называется, не разлей вода, и я непременно хотела знать, что произошло. Без него и гулянье было мне не в радость.

– Ничего я не знаю и знать не хочу! Не спрашивай меня больше, девонька! И языком-то не болтай! Всё! Найди себе нового друга. Вон их сколько! Цельный двор!

– Не хочу нового друга! Хочу моего Генку! Генка хороший. – Я заревела и уперлась лицом в нянин мягкий живот.

– Помолчи, девонька! – Дуня прикрыла мне рот рукой и снова огляделась по сторонам, как в кино про разведчиков. Она определенно знала что-то важное и упорно это важное от меня скрывала.

А через пару дней приехал грузовик. Генка топтался зареванный на улице, а его мама стояла рядом, скрывая под вуалью покрасневшие глаза, пока какие-то люди грузили в кузов их узлы, коробки и чемоданы. Мебель не грузили, так как она была казенным приложением к квартире. Я подошла к Генке, спросила:

– Почему вы уезжаете?

– Потому! Уезжаем – и всё! – буркнул Генка и отвел взгляд.

– А где твой папа? Почему вы без папы уезжаете? Что случилось? Папа вас бросил? – К тому времени я уже знала, что некоторые плохие папы, негодяи и прохвосты – по нянину определению, – бросают своих жен и детей и уезжают в неизвестном направлении, чтобы алиментов не платить.

– Бросил – не бросил... Тебе-то какое дело? – огрызнулся Генка.

– Какой ты стал грубый! Фу! – обиделась я, манерно копируя интонации и выражения мамы и бабушки. – Больно надо мне знать! – И для пущего веса добавила где-то подхваченное выражение: – Скатертью дорога! – хотя не понимала, как это дорога может лечь скатертью. Дорога длинная, а скатерть слишком короткая. Не понимала, но любила украшать свою речь, вставляя в нее, к месту и не к месту, выражения взрослых. Вообще, любовь к русскому слову стала проявляться у меня в самом раннем детстве.

Генка мне ничего не сказал в ответ, только посмотрел на меня взглядом затравленного зверька – мол, и ты тоже такая, как все, – предательница. Знать тебя больше не хочу! Наплевать и растереть!

Так Генка на долгое время исчез из моей жизни.

А вечером я снова подслушала разговор моих родителей и узнала, что Генкин папа, врач Кремлевки, оказался заговорщиком-сионистом и врагом народа. И его посадили в тюрьму. Это же надо! Генкин папа оказался врагом целого советского народа!

Кто такие сионисты, я не знала, но решила, что это очень плохие люди, вроде воров, бандитов и шпионов. Наверное, права была няня Дуня, когда сказала, что мне нужно искать новых друзей. Такие друзья, как Генка, мне не подходят. Но в глубине души мне было жаль Генку и его маму. В общем, мое детское сердечко раздирали противоречия.

После ареста Генкиного отца и отъезда матери с сыном в неизвестном направлении на нашей площадке воцарилась зловещая тишина. Какое-то время квартира «врага народа» была опечатана. Я старалась не смотреть на дверь и печать. Потом еще долгие месяцы меня преследовал этот беспомощный взгляд моего маленького друга.

Я росла впечатлительной девочкой, и у меня появилось чувство необъяснимой вины перед Генкой, что я вот осталась с мамой и папой в нашем доме, а моего друга вырвали из детства и куда-то увезли.

* * *

В 1953 году умер Сталин. Мне было пять лет, и я отчетливо помню, как всколыхнулся и затрепетал наш огромный дом-город. Одни соседи откровенно напоказ рыдали. Мол, люди добрые, что теперь будет со всеми нами и с нашей осиротевшей огромной страной? Другие, наоборот, умолкли, спрятали свои тайные мысли и прикусили языки.

Мои родители вместе с бабушкой заперлись в спальне, как обычно, поручили заботы о нас с Маринкой няне, шептались и долго не выходили из комнаты. Может, даже и не шептались, а писали друг другу записки. Как ни старались мы с няней услышать, что происходило за дверью спальни, так ничего и не услышали. Из комнаты не доносилось ни звука. Потом дверь открылась, появились папа с мамой, опечаленные, в слезах, надели пальто и шапки и куда-то ушли. (Только позже я поняла, что они отправились попрощаться с «отцом народов».)

А бабушка никуда не пошла, осталась с нами. Она не выражала никаких эмоций. «Ушла в себя», как любила говорить сама бабушка. (Хотя я не могла взять в толк, как это можно «уйти в себя» и «выйти из себя». Идиоматические выражения русского языка я тогда воспринимала весьма буквально.) Вспоминаю теперь и догадываюсь, что бабушка, наверное, в те минуты думала о дедушке, который не дожил до этого дня.

— Бабуля, почему ты не плачешь? Папа с мамой плакали, а ты нет? Тебе не жалко дедушку Сталина? — спросила я.

— Очень жалко, деточка! Но я уже свое отплакала, все слезки вылились. Больше нет.

— Бабуля, а ты лук порежь, и слезки сами польются. Няня вчера лук резала и плакала. Она мне сказала, что иногда поплакать полезно. Слезы очищают душу. А что такое душа и почему ее надо чистить?

— Ой, трудные ты задаешь вопросы, внучка! Не знаю, как и ответить. Душа, если она есть, — это, возможно, невидимая субстанция внутри нас. Когда люди совершают плохие поступки, она загрязняет-

ся. И ее надо очистить, отмыть... слезами. А может, души-то и вовсе нет. Наукой существование души не доказано.

– А мне кажется, что душа есть, бабуля. И лучше, чтобы она была, а то как же плохие поступки чистить?

– Плохие поступки лучше совсем не совершать, тогда и чистить ничего не надо, – сказала назидательно, в воспитательных целях бабушка.

– А что такое субстанция? Это такая особенная станция внутри живота? – продолжала я атаковать бабушку вопросами.

– Да, нечто в этом роде. Какая же ты у меня умная, внученька! Поставила бабушку в тупик, – сказала бабушка и улыбнулась.

– А что такое «тупик»? – допытывалась неугомонная я.

– Думаю, на сегодня хватит. О тупике поговорим в следующий раз, хорошо? – усталая бабушка поставила точку, оборвав наш затянувшийся сеанс вопросов и ответов.

– Ладно! – согласилась я, понимая, что на сей раз задала слишком много вопросов и утомила бабушку.

* * *

Няня тоже отправилась попрощаться с любимым вождем. Однако через несколько часов все трое вернулись домой.

– Ну что? Попрощались? – осторожно спросила бабушка.

– Нет! Там огромная толпа и дикая давка. Людей затоптали... Мы еле ноги унесли, – пробормотала мама и тихо-тихо добавила: – Это будет вторая Ходинка. Страшно!

– Слава богу, что у вас ума хватило вернуться! И что вы вообще смогли вернуться, – выдохнула бабушка, и тут-то она заплакала.

– Бабуля, ты сказала, что все твои слезки кончились, а сама плачешь. Даже без лука, – удивилась я.

– Это я от радости, деточка. Вот новые слезки и появились. От горя они бывают горькие, а от радости – сладкие.

Я решила проверить и поцеловала бабушку в щеку.

– Неправда! Твои слезки соленые.

– Но не горькие ведь! – сказала бабушка.

ГЛАВА 3. ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Очень скоро бывшую Генкину квартиру отремонтировали, и туда въехала другая семья: известный беллетрист П-ов с женой и дочерью Лизой, моей ровесницей. Первое время мои родные не здоровались с новыми жильцами, при встрече демонстративно отворачивались, так сказать, игнорировали или даже бойкотировали их,

подозревая в доносе на Генкиного отца с целью получить квартиру в нашем уникальном доме. Потом время как-то сгладило ситуацию. Бабушка решила, что Лизкины родители ни в чем не виноваты.

– Их вина ведь не доказана, так зачем же сразу выносить обвинительный приговор! Не может быть, чтобы все новые жильцы в нашем доме оказались мерзавцами, – изрекла бабушка. А именно она задавала тон в нашей семье.

Так мы по отношению к П-овым сменили гнев на милость, а я и Лиза даже подружились и вместе пошли в первый класс. Но всё равно, в бывшую Генкину квартиру я никогда больше не заходила. Мы с Лизой всегда играли у нас или во дворе.

Трудно с высоты прожитых лет анализировать чувства и страхи ребенка. Наверное, я подсознательно боялась призраков бывших жильцов. Или не хотела чувствовать себя предательницей, играя с Лизой в Генкиной квартире без Генки.

Мама ради моего первого школьного дня не пошла с утра на работу. Отпросилась. А папа аж в полвосьмого утра даже поехал на рынок за букетом цветов для моей будущей учительницы, но с нами в школу не пошел. А ведь мог бы, так как работал дома, и ему не надо было, как маме, отпрашиваться у начальства. Папа был сам себе начальник. Он стал довольно известным литератором, драматургом и сценаристом. Папины критические статьи печатали в «Литературной газете», по его сценариям снимали фильмы. В московских театрах ставили спектакли по папиным пьесам. Мой папа целыми днями работал. Заходить к нему в комнату и прерывать его творческий процесс можно было только в случае крайней необходимости, например, пожара, землетрясения или телефонного звонка из Союза советских писателей.

Помню, стоял теплый осенний день первого сентября 1955 года. Наша школа № 19 имени Белинского располагалась на Софийской набережной. Школа имела богатую историю, была знаменита своими покровителями, учителями и учениками. До революции в этом здании располагалось Мариинское училище для девочек, в котором преподавал сам молодой Сергей Рахманинов. Но я тогда была слишком маленькой, чтобы понять и осознать, как мне повезло со школой.

Для меня эта школа была просто школой, общеобразовательной обязателькой, правда, с возможностью увеличить круг друзей и расширить горизонты. Школьное светлое трехэтажное здание по сравнению с нашим громадным серым домом показалось мне маленьким и незначительным.

Краткая послевоенная эпоха раздельного обучения мальчиков и девочек закончилась. Этот общеобразовательный эксперимент в советской школе – на манер царских гимназий – не удался. На школьном

дворе мы стояли все вместе: девочки в коричневых форменных платьицах и белых фартучках и мальчики в сизо-серой военизированной форме (гимнастерка с ремнем, увенчанная солидной пряжкой, и брюки). Все дети – с букетами цветов для первой учительницы. Цветов – море. Ни ваз, ни просто стеклянных банок в школе не хватало.

Куда потом эти букеты девались?! Неужели Нина Ивановна, наша молодая учительница, все цветы домой уволокла?

Бритые наголо головы мальчишек (а-ля солдаты-новобранцы) были покрыты фуражками, а девичьи головки сверкали белыми бантами в косичках. Мальчикам не разрешалось оставить даже чубчик, а волосы девочек были причесаны на строгий прямой пробор, и никаких челок и других вольностей в прическах не допускалось. (Помню, первую челку я позволила себе выстричь в четвертом классе, за что была вызвана на ковер к директору вместе с моей мамой. И мы обе получили нагоняй за недопустимо фривольный облик советской школьницы. Эту несчастную челку потом пришлось убирать набок заколкой, пока она не отросла.)

Я была довольно крупной девочкой, видела хорошо, очков не носила, поэтому Нина Ивановна посадила меня за парту ближе к концу крайнего левого ряда у окна. Моим соседом по парте оказался мальчик не из нашего дома. Он просто жил где-то поблизости. Лизу П-ову определили за парту впереди меня – тоже с каким-то пришлым мальчиком. В общем, даже при распределении, кого с кем посадить, соблюдался принцип совместного обучения полов, чтобы привыкали общаться. Но мальчишек в нашем классе оказалось больше. Так что на последних партах-«камчатках» сидели верзилы – мальчик с мальчиком. Вообще, после войны рождалось больше мальчиков, чем девочек. Видно, природа таким образом пыталась восполнить гибель мужчин, рожденных в начале двадцатых годов. Нина Ивановна показала нам, как полагается сидеть за партой (держат руки исключительно наверху, ничего не прятать). Когда учитель входит в класс, надо, не громыхая, откинуть крышку парты и встать. Когда тебя вызывают, тоже надо встать. Если хочешь что-то сказать учительнице, не кричи с места – подними руку... ну, и всякие разные другие правила поведения в школе.

Больше ничего о первом школьном дне не помню. Наверное, навалилось слишком много впечатлений сразу. Только помню, что день был с непривычки жутко длинный (хотя всего-то четыре урока – с половины девятого до часу дня – вместе с большой переменой). И еще: я огорчилась, когда из школы меня пришла забирать не мама, а няня. А я-то хотела моим новым знакомым похвастаться, какая красивая у меня мама, похожая на знаменитую и любимую всеми артистку Любовь Орлову.

В первый же день задали домашнее задание – писать крючочки и палочки с нажимом. Я старательно выводила их карандашом, и так устала от этого занятия, что у меня заболел указательный палец правой руки. Я даже гулять не пошла, хотя за мной забежала Лиза и позвала во двор прыгать через веревочку. Няня открыла Лизе дверь, строго посмотрела на нее сверху вниз и отчеканила:

– Не пойдет она никуда. Отдыхает. Намаялась бедняжка. Цельный час крючки писала и палочки, аж два карандаша сломала. Завтра будете прыгать. Лети домой, стрекоза!

Мама пришла вечером с работы и хотела расспросить меня, как прошел первый день занятий, но я уже крепко спала. А папа так меня ни о чем и не спросил, даже из кабинета не вышел к обеду. Няня принесла ему обед прямо в кабинет – аж на подносе. «Папочка находился на пике вдохновения и не мог прервать свой важный творческий процесс», – как потом с улыбкой объяснила мама.

Больше мама меня в школу не водила. Хорошенького понемножку. Правда, она исправно посещала родительские собрания. Будила и собирала меня в школу няня. Вернее, она собирала утром меня вместе с трехлетней Маринкой, и в школу мы шли вдвоем. Потому что куда ж Маринку девать с самого утра? Сначала – меня в школу к половине девятого, потом Маринку на полдня (к девяти) в садик, который помещался на последнем этаже нашего дома.

Забросив нас с сестренкой куда полагалось, няня переводила дух и принималась за свои обязанности по хозяйству. На ней висел весь дом вместе с уборкой и готовкой, так как наше семейство в середине пятидесятых годов уже не так часто отоваривалось в продуктовом распределителе. Дедушка давно умер, бабушка вышла на пенсию, а мои родители были птицами уже не столь высокого полета. Да и распределитель после войны значительно оскудел. Но всё же по сравнению с московскими магазинами это был кладёзь продуктов.

Через две недели Нина Ивановна объявила ученикам, что надо выбрать старосту класса и, поскольку никто не знал, кого и как выбирать и для чего нужен староста, сперва объяснила, что староста нужен для порядка в классе, а потом сама же старосту и назначила – Лену В. Как потом выяснилось, Леночка была внучкой кандидата в члены ЦК КПСС. Она была организованной девочкой, послушной, способной и, видимо, метила в круглые отличницы. Никто не спорил. А я даже с облегчением подумала: «Хорошо, что не меня!»

Мне совсем не хотелось быть на виду, кем-то руководить и за кого-то и за что-то отвечать, кроме, разумеется, себя самой и своих поступков. Я с детства росла индивидуалисткой. Как говорила мама, «вещью в себе».

Очень скоро нам сказали, что каждый ученик в классе должен будет «отдежурить» после уроков. Очередь дошла и до меня. Нина Ивановна, толком не объяснив, что входит в обязанности дежурного и как долго нужно будет дежурить после занятий, ушла в учительскую. Все дети отправились по домам в полвторого, а я осталась в классе со школьной нянечкой (так мы называли уборщиц) тетей Надей и сразу ударилась в отчаянный рев. Я решила, что буду на дежурстве до позднего вечера (а может, и до ночи!) в одиночестве, без оружия охранять класс от набегов воров и хулиганов. И как же я потом одна пойду домой в темноте?! Мне стало страшно.

– Не хочу дежурить! Домой хочу! Няня Дуня ждет меня! Не буду дежурить! – всхлипывала я.

– Не плачь, Ирочка, не плачь девонька! Дежурить совсем не страшно. Мы с тобой только польем цветочки, вытрем доску, соберем с пола бумажки, и ты сразу пойдешь домой, – утешала меня тетя Надя, которая оказалась женщиной доброй, любящей детей и понимающей детские страхи.

Я успокоилась, перестала рыдать и благополучно справилась с дежурством. Я больше не боялась дополнительных обязанностей трудового воспитания советской школьницы, и мне было жутко стыдно за глупые слезы и «детский сад», который я устроила. А тетя Надя умела хранить секреты, и мы стали друзьями. Каждый раз, когда мы пересекались в школе, она встречала меня успокаивающим взглядом, который заверял: «Не бойся! Я никому не расскажу о твоём первом дежурстве».

ГЛАВА 4. О ВОЖДЯХ, ОКТЯБРЯТАХ И ПИОНЕРАХ

Что еще я помню о начальной школе? Помню, как после февраля 1956 года разом исчезли со стен все портреты Сталина. Магически исчезли – и всё. Ленин и Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом остались, а Сталин испарился. Нам, первоклашкам, никто ничего не объяснил. Видимо, мы были слишком малы, чтобы понять и переварить информацию о XX съезде КПСС и развенчании Хрущевым культа личности Сталина. Моя соседка и закадычная подружка Лиза отозвала меня в сторону в коридоре и заговорщически прошептала:

– Смотри! Портреты Сталина убрали. Ни одного не оставили! Мой папа сказал, что он нехороший человек. А мой папа всё знает. Он – знаменитый писатель.

– Вижу. Не слепая! Подумаешь, мой папа – тоже знаменитый писатель! – буркнула я и решила не продолжать с Лизой этот «взрослый» разговор.

Несмотря на малолетство, я интуитивно чувствовала, что такие разговоры не для школьных стен. Сегодня портрет Сталина убрали, а завтра возьмут и опять повесят... Всё может быть. Вот приду домой и спрошу у родителей или у бабушки. Они уж точно знают, что произошло и чем Сталин провинился.

Папа с мамой, как всегда, пришли домой поздно. Няня кормила нас с Маринкой, а заодно и бабушку, обедом. При трехлетней Маринке я решила не начинать разговор о Сталине и его портретах. Она маленькая и еще совсем глупая, может всё не так понять и в детском саду проболтаться. Няня тоже не вызывала у меня доверия для такой важной политинформации. После обеда я пошла за бабушкой в ее комнату и спросила:

– Бабуля, а вождь Сталин хороший?

– А почему ты вдруг спрашиваешь? – опешила бабушка.

– У нас в школе убрали все его портреты и ничего не объяснили. Лизин папа сказал, что Сталин плохой. Все его любили, и вдруг он стал плохой? Разве такое бывает?

– Ну что же, придется, видимо, тебе объяснить. Ты ведь уже девочка большая, разумная. Недавно прошел XX съезд КПСС. Ты ведь знаешь, что это такое.

– Знаю. КПСС – это кому слава! На плакатах у нас в школе и по всему городу. Куда ни помотришь – всюду этой КПСС слава!

– Ну да! КПСС – это Коммунистическая партия Советского Союза, самая важная организация в нашей стране. Твой дедушка был коммунистом, членом партии, и твой папа – молодой коммунист. Так вот, на XX съезде партии Никита Сергеевич Хрущев объявил, что Сталин причинил много зла людям. Помнишь твоего друга Генку? Его отца несправедливо посадили в тюрьму, обвинив в том, что он – враг народа. По приказу Сталина и его помощников невинных людей сажали, некоторых даже расстреливали. В нашем доме многих посадили. Пока не знаю, сколько человек, но мы потом обязательно всё узнаем. И всех их непременно оправдают, реабилитируют. Так что Сталин – самый настоящий злодей. И правильно сделали в вашей школе, что его портреты убрали.

– Какой ужас, бабуля! Великий вождь Сталин, оказывается, злодей. Никому нельзя верить, даже великим вождям!

– Нет, людям надо верить. Не всем, конечно! Но без веры в справедливость жить нельзя. Такая жизнь теряет всякий смысл. Ты вырастешь и поймешь.

– Конечно, пойму. И я уже почти выросла. Ой, бабуля! Генкиного папу жалко и дедушку тоже! А ты плакала, когда дедушка умер?

– Плакала, Ирочка, плакала. И до сих пор плачу.

– Не плачь, бабуля, я тебя очень люблю.

– И я тебя люблю, мое солнышко.

Бабушка обняла меня и поцеловала. На этом наш разговор о сталинских репрессиях закончился. А ночью мне приснился Генка. Как будто он стоит на сцене в актовом зале нашей школы, размахивает красным флагом и кричит:

– Слышите? Мой папа ни в чем не виноват! Не виноват! Не виноват! Его оклеветали. Он честный человек и хороший доктор.

А Лизкин отец усмехается и отвечает ему:

– Ну, это еще надо доказать, товарищи!

* * *

В конце первого класса по случаю дня рождения Ленина 22 апреля нас принимали в октябрята. Чести быть ленинским октябренком удостоились все ребята, кроме двух второгодников. На торжественной линейке в актовом зале вызвали каждого из нас и приколотили к школьной форме октябратский значок – пятиконечную звездочку с портретом маленького кудрявого Ленина. Гордости моей не было границ. Весь класс поделили на «звездочки» по пять человек. Внутри моей звездочки мне досталась «должность» санитаря. А я хотела быть библиотекарем. Но библиотекарем назначили Лизу, так как она была почти отличницей, а я перебивалась с троек на четверки, хотя бабушка меня научила читать в пять лет. На родительских собраниях Нина Ивановна говорила маме:

– Ирочка способная и вроде неленивая, но какая-то несобранная. Она у вас мечтательница. Часто сидит на уроках и в окно смотрит, ворон ловит. Вызовешь ее – отвечает невпопад. О чем она мечтает? А могла бы стать отличницей. Уже свободно читает, и ее словарный запас значительно выше уровня второклассницы. Да, я знаю, это вы ее научили читать. Но нельзя же жить одними книгами! Кроме чтения и письма есть еще другие предметы, например арифметика. У вашей девочки прекрасные данные, но, к сожалению, отсутствует интерес к точным наукам. Обидно!

– Понятно. Вы абсолютно правы, Нина Ивановна. Спасибо! Я поговорю с Ирочкой, – пообещала мама.

Домашняя она рассказала о разговоре с учительницей и устроила мне воспитательный час с головомойкой. Что, мол, кроме чтения есть еще и арифметика, и будут другие, не менее увлекательные науки, например биология, физика, химия, и надо отлично учиться, иначе не поступишь в институт, не получишь хорошую профессию и так далее и тому подобное. Я слушала, кивала, опустив глаза, и клятвенно обещала исправиться. Даже поклялась своей октябратской звездочкой.

По маминым глазам я видела, что моя торжественная клятва ее вовсе не убедила.

* * *

Следующим важным этапом моей школьной жизни было вступление в пионеры. Мы с Лизкой не могли дождаться этого дня. Наглаживали пионерские галстуки, тренировались, как правильно их завязывать, часами торчали перед зеркалом у нас в прихожей.

И вот этот желанный день настал. Будущих пионеров повезли сначала в Исторический музей на торжественную линейку и церемонию, потом, уже в красных галстуках, мы отстояли длинную очередь в Мавзолей Ленина (Сталина уже оттуда убрали). В мавзолее было темно и холодно, как в могиле. Мы шли по цепочке вдоль стен. Нам строжайшим образом запретили разговаривать, велели вынуть руки из карманов. (А вдруг в кармане пистолет или граната!) Мне, честно говоря, было неприятно и даже жутко смотреть на мертвого, словно из воска, Ленина. Мороз по коже. Такой может присниться только в кошмарном сне. Казалось, что мертвый вождь вот-вот воскреснет, встанет и грозно, во весь голос, скажет: «Чего уставились? Покойников не видали? А ну, пошли отсюда, мелюзга!» У меня аж засосало от страха под ложечкой и голова закружилась.

Я держалась за Лизку, она — за меня. Лизкина рука была холодная, как лед, а глаза круглые-круглые и светились в полумраке, словно светлячки.

Когда мы вышли на воздух, Лизка прошептала мне на ухо:

— Какой ужас! Лучше бы они его, как всех, в могилку закопали на кладбище и красивый памятник поставили. Мы бы приходили на могилку, приносили ему цветочки и плакали.

— Что ты такое говоришь? Великого вождя нельзя закапывать в обычную могилу. Он должен быть постоянно на виду у народных масс. — Это была фраза, которую я от кого-то из взрослых услышала и с умным видом произнесла, а потом всё же с опаской добавила: — Хорошо, что нас с тобой никто не подслушивает.

— А что такого я сказала? Моя няня говорит, что всех мертвых христиан надо в гроб класть и в землю закапывать. Если тело в землю не закопать, душа покойника будет мучиться. Выходит, душа великого вождя Ленина мучается.

— Так то ж мертвых христиан в землю закапывают, а Ленин был большевиком, вождем советского народа. Большевики в Бога не верят, и коммунисты тоже. И вообще, пора бы тебе знать, что Бога нет!

— А няня сказала, что Бог есть. А кто в него не верит, будет гореть в аду. Или черти будут его жарить на сковородке. Вот так!

– Ой, Лизка! Ты совсем обалдела. Мы же пионеры-ленинцы. Мы в Бога не верим. Какой ад, какие черти, какие сковородки!

– Верим или не верим, а он всё равно есть, – упрямилась Лизка.

– Так! Я ничего такого не хочу слышать! Твоя нянька – тёмная деревенщина, – парировала я.

– А твоя нянька городская, что ли? Они все из деревни, и все по воскресеньям в церковь ходят на службу. Скажешь, нет? Один раз на Пасху няня взяла меня с собой в церковь молиться и куличи святить. Было так красиво! И куличи с ванилью очень вкусные.

– Отсталая ты, Лизка! А еще дочка советского писателя называется!

– Если я отсталая, то ты просто дура примитивная! У тебя нет никакого воображения!

Мы бы еще долго так пикировались, если бы не любопытный взгляд, который вечная (не сменяемая с этого поста уже три года) староста класса Лена бросила в нашу сторону.

– Всё! Замолчи, если не хочешь неприятностей. Видишь, Ленка на нас уставилась. Она всё слышит. Еще наябедничает Нине Ивановне, что мы с тобой не достойны звания советского пионера-ленинца. Вызовут родителей, будут нас перевоспитывать. Может, даже из пионерской организации исключат! Тебе это надо?

– Не надо! Я больше ни слова. И вообще, если что... я тебе ничего не говорила. Ни-че-го! Понятно?

– Конечно, понятно! Что я – маленькая, что ли?

ГЛАВА 5. МОЙ ОДНОКЛАССНИК ЖЕНЯ

Интерес к мальчикам проявился у меня где-то в пятом классе. Вернее, сначала у них возник интерес ко мне. Я росла крупной, физически развитой девочкой, в одиннадцать лет у меня уже начались месячные, а к тринадцати годам сквозь школьное платье отчетливо начали проступать мягкие женские формы. Первое время я их стеснялась, но потом перестала, осознав, что неотвратимо быстро превращаюсь в девушку, и этого превращения не только не надо стесняться, но и, напротив, можно им гордиться. Моя хорошенькая мордашка (по словам родни – копия мамы) вкупе с другими женскими прелестями привлекала мальчиков, и я часто ловила на себе их завороченные взгляды.

К началу седьмого класса я влюбилась в новенького одноклассника Женю М-ского.

Он был, что называется, пришлый: хотя из нашего дома, но не москвич. Как я потом узнала, его отец, получивший звание и долж-

ность полковника Генштаба, был переведен в столицу откуда-то из Сибири.

Просто освободилась очередная квартира в нашем доме, и Женину семью туда поселили, – благожелательно по отношению к Жениным родителям решила я.

Мальчик выгодно отличался от других ребят-одноклассников – не слащавой красотой, нет (хотя он, безусловно, был привлекателен лицом). Его выделял высокий рост, по-военному прямая спина, жгуче-черные, цыганистые глаза, мужественный облик, аккуратность и поистине строевая подтянутость. Форменные брюки всегда наглажены, гимнастерка будто свежестырирана (или только что из химчистки), ботинки до блеска начищены, пряжка на поясе надраена, словно самовар моей няни перед праздником. Учился он на четверки и пятёрки, хотя вон из кожи не лез, руки не тянул, как выскочки и подлизы, – мол, вызовите меня, я знаю материал лучше всех. Но если его вызывали, никогда не нервничал, не смущался, всегда отвечал правильно, рассудительно и спокойно. В носу не ковырял и ногти не грыз, как некоторые. И ногти у него были красивые, овальные, аккуратно подстриженные, как у музыканта.

Целый год я скрывала свои чувства прежде всего от самого Жени, а также от Лизки, с которой мы делились своими девчачьими тайнами. И я бы никогда первая не призналась мальчику в любви. А вдруг он меня отвергнет! Что мне тогда останется делать? Сгореть со стыда или утопиться в Москве-реке, прыгнуть в стылую темную воду с Берсеневской набережной?

Иногда наши взгляды пересекались, и мне казалось, что его глаза радуются встрече с моими, светятся симпатией или... чем-то большим, чем простая симпатия. Я скромно отводила взгляд и улыбалась – про себя. Эта молчаливая игра взглядов продолжалась до весны, пока однажды на большой перемене, когда мы играли в традиционные «ручейки», он не выбрал меня, и не просто выбрал, а вложил мне в руку записку и крепко сжал мою ладонь, сомкнув мои пальцы, наверное, чтобы записка не выпала на пол. Я быстро положила листочек в карман фартука, вынырнула из «ручейка» и спряталась в дальний угол коридора, чтобы никто не видел, как я читаю записку. А там аккуратным, четким почерком было написано следующее:

«Ира! Приходи после уроков на школьный двор в 3 часа. Мне нужно с тобой поговорить! Очень нужно!!! Пожалуйста, приходи! Буду ждать. Женя».

Вот оно! Женина записка обжигала мне руки. В моей влюбленной голове крутились самые разные мысли: он влюбился в мою умную и красивую подругу Лизку, не решается ей признаться и хочет

это сделать через меня, чтобы я послужила передаточным звеном. Или: он хочет меня куда-то пригласить, позвать, в кино или в театр, у него есть лишний билетик. А может, просто он совсем не знает Москвы и истории нашего дома и попросит меня обо всём ему рассказать, то есть просветить? Оставался последний вариант, на мой взгляд, самый невероятный и самый желанный: он вовсе не в Лизку влюбился, а в меня. Чем я хуже Лизки? Я, пожалуй, даже красивее, и ноги у меня стройнее и длиннее, хотя, если смотреть правде в глаза, она способнее меня и учится на «отлично».

Но няня как-то сказала мне:

– Ты, девонька, особо не умничай! Мужчины влюбляются не в женский ум, а в красоту и доброту. И вообще, мужчины не больно-то любят умных женщин. Твоя умная мама... Ой, что-то я заболталась!

– Да, моя мама очень умная и красивая! А что ты хотела сказать? С моей мамой что-то не так? – спросила я удивленно и встала руки в боки.

– Твоя мама – исключение из правил, она редкая женщина. И умная, и красивая, и добрая! – тут же поспешила исправить оплошность няни.

– Вот именно! – подвела я итог.

Я сбегала домой, сбросила потную школьную форму, распустила косы, завязала волосы в конский хвостик, надела новое красивое платье и туфельки на крошечном каблучке-шпильке, которые мы с мамой купили для меня в комиссионке. Зашла тайком в родительскую спальню, открыла на мамином туалетном столике пудреницу и слегка припудрила прыщик, который именно сегодня, как назло, вскочил на моем лоснящемся носу.

– Ты что делаешь? Я всё маме расскажу, – злорадно пообещала десятилетняя Маринка, которая пристально и с явной завистью наблюдала за моим магическим превращением из Золушки в принцессу перед балом.

– Ну, пожалуйста, не рассказывай ничего маме! Клянусь! Я всё, что захочешь, для тебя сделаю, – умоляла я сестренку. И добавила для пущей правдивости, на всякий случай, чтобы потом не было претензий: – Ну, почти всё...

– Хорошо, я подумаю, что ты можешь для меня сделать. Так... ты должна написать за меня сочинение на тему «Как наша семья встретила праздник Первое мая». Напишешь?

– Конечно, напишу! Это будет лучшее сочинение в твоём классе. Ты единственная из всех получишь пять с плюсом в тетради, в дневнике и в классном журнале, и твоё гордое имя вместе с фотографией торжественно поместят на школьной Доске почёта, – клятвенно

пообещала я, предрекая Маринке славу, ибо русский язык и литература были единственными предметами, по которым у меня всегда было «отлично». И сочинение написать для меня — раз плюнуть.

Удовлетворенная моим обещанием, Маринка от меня отстала, а я придирчиво оглядела себя в зеркале, одобрила свой внешний вид и опрометью, цокая каблучками по асфальту, бросилась назад к школе. Мне исполнилось четырнадцать лет, возраст — чуть старше Джульетты. Это было мое первое настоящее свидание с мальчиком.

Я еле-еле успевала к трем часам. Понаблюдав за моими поспешными сборами, переодеванием и прихорашиванием, няня прокричала мне вдогонку с балкона, да так громко, аж на всю набережную:

— Куда ты летишь, не поевши, как очумелая? Неужели на свиданку? Интересно, с кем?

— Да, нянечка! На свиданку. Всё потом расскажу, — отвечала я на бегу, запыхавшись.

На опустелом, необычно тихом школьном дворе Женя ждал меня, беспокойно поглядывая по сторонам. Майский воздух дразнил запахами распутившихся деревьев. Женя был по-прежнему в школьной форме. В правой руке он держал портфель (видимо, не успел сбегать домой, бросить его и переодеться). В левой руке была ветка черемухи. И рука, и черемуха заметно дрожали.

— Привет, Женька! — выдохнула я, скромно потупив взор. — Зачем ты меня позвал?

Женя, видно, долго готовился к ответу на этот вопрос, так как без малейшего промедления и колебания четко произнес:

— Знаешь, я давно хотел тебе сказать. Ты мне нравишься. Очень, очень! Ты такая красивая, самая красивая девочка в нашей школе! И задумчивая, неболтливая. Ты, наверное, станешь артисткой кино. Черемуха — это тебе.

— Ну, так уж прямо самая красивая во всей школе? — выпалила я, покраснев от наплыва счастья. — О кино я еще не думала. Спасибо за цветы! — и добавила всё-таки для порядка: — Где ты черемухи наломал?

— Прямо здесь, на школьном дворе.

— Ну ты даешь! Я надеюсь, тебя никто не видел?

— Кажется, никто. Да если кто и видел, что они мне сделают? Завуч донесет, директору школы? Родителей вызовут? Ну, поругают слегка. Подумаешь! И всего-то одну ветку отломил.

— А ты смелый! Ты мне тоже нравишься. С самого, самого первого дня, когда ты появился в нашем классе. Но я бы никогда тебе об этом первая не сказала. Ну что? Будем... дружить?

Я хотела было сказать «будем встречаться?», но это слово показалось мне чересчур взрослым. И я запнулась.

– Еще как! – обрадовался Женя и улыбнулся. Напряжение спало. Объяснение во взаимной любви (ведь «нравиться» на нашем подростковом диалекте означало «любить») состоялось.

Что с этим делать дальше, мы не знали. Целоваться – боязно и как-то рановато. По крайней мере, для меня. Да и Женя оказался скромным мальчиком.

И как это он всё же решился объясниться? Наверное, испугался, что меня «уведет» какой-нибудь другой, более решительный герой отроческого романа. А что? Всё возможно. Меня так и распирала гордость от собственной внешности. Ведь он назвал меня «самой красивой девочкой в школе»!

Подспудно возник естественный вопрос: скрывать нашу дружбу-любовь от родителей, учителей и одноклассников или открыто появляться перед народом, держась за руки? Эпоха была другая. Не то, что ныне, когда чуть ли не в детском саду уже открыто фигурируют взятые из английского языка слова «герлфренд» и «бойфренд».

По молчаливому согласию решили нашу любовь не скрывать, но не очень и афишировать, чтобы не дразнить гусей. Для всех мы будем просто школьными друзьями, соседями по дому.

– Хочешь, пойдем ко мне уроки делать? Няня Дуня нас обедом накормит, – предложила я с ходу. – Она так вкусно готовит, пальчики оближешь. Пойдем! Не пожалеешь.

– Спасибо! Если честно, я вообще-то ужасно есть хочу. Мама на репетиции. Папа на работе. А домработница приходит к нам только два раза в неделю. Обычно я обед сам разогреваю или варю макароны. И макароны мне во как осточертели! Я только сбегаю домой, переоденусь и быстро к тебе.

– Твоя мама на репетиции? Она что, артистка?

– Моя мама – певица. Она солистка музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Сопрано. Поет Татьяну в опере «Евгений Онегин», Чيو-Чю-Сан в «Мадам Баттерфляй» и другие... партии, – сказал Женя с придыханием и явной гордостью за маму.

– Ой, как интересно! С ума можно сойти! Я обожаю театр! Твоя мама – настоящая оперная певица?! А мы с тобой пойдем как-нибудь в театр? Ты меня пригласишь?

– Конечно, приглашу. Возьму у мамы контрамарку, и мы будем сидеть в первых рядах партера на самых лучших местах. Представляешь? Ты вообще любишь оперный театр?

– Люблю! – быстро соврала я, хотя ни разу не была в оперном театре, только в драматическом.

Я вообще-то не люблю врать, редко привираю. Но иногда приходится. Просто не хотела перед Женей выглядеть дурой необразованной.

Няня восприняла приход моего гостя как само собой разумеющееся явление (видать, наша Иришка завела жениха) и бровью не повела. Она оглядела Женю быстрым оценивающим взглядом, видимо, одобрила мой выбор, сразу послала нас мыть руки и позвала к столу. Мудрая бабушка тоже восприняла Женю как ступеньку моего взросления и не проявила бестактного любопытства. Зато ехидная Маринка не оставляла нас в покое ни за обедом, ни после. Она буквально задолбала бедного Женю вопросами и небезобидными комментариями, вынудив его и меня краснеть и злиться:

– Ты в нашем доме живешь?

– Да!

– Наверное, недавно приехал. Что-то я тебя раньше не видела, а я здесь родилась и всех знаю.

– Дом-то у нас огромный. Ты, Мариночка, всех знать не можешь, – мягко встряла в разговор бабушка.

– Ну, почти всех... А из какого города ты приехал? Случайно не из деревни? В Москву понаехало много деревенских. Сплошная лимита! – продолжала Маринка свой крутой натиск, употребив обидное, где-то подхваченное слово, значения которого сама толком не понимала.

– Я приехал из Новосибирска. Слышала про такой большой город? У тебя какая отметка по географии? – вроде бы невинно парировал Женя.

– Мы этого еще не проходили. А в этом твоём Новосибирске очень холодно?

– Зимой холодно, а летом тепло.

– Ты теперь к нам будешь каждый день приходить обедать? – не унималась Маринка. – А что, твоя мама тебя, наверное, не кормит?

Это уже было слишком! Я резко вмешалась в разговор:

– Замолчи, дура! А если и так. Тебе-то что? Твое мнение не требуется. Женина мама – певица в оперном театре, солистка. Ей некогда борщи варить, – прошипела я.

Ну всё! Не дожидься ты от меня теперь сочинения, мелкая дрянь! Сама будешь писать, как наша семья встретила Первое мая. Вернее, как наша семья его не встретила... И не видать тебе пятерки, это уж точно!

– А я что? Я не жадная. Мне борща не жалко, и котлет с картошкой тоже. Я просто так спрашиваю – для общего сведения, – уточнила моя сестренка, вставив в разговор «взрослое выражение».

Голодный Женя, слава богу, перестал реагировать на Маринкины нападки и молча доедал обед. Надо сказать, с большим аппетитом и явным удовольствием.

Быстро отобедав, мы с Женей культурно сказали «спасибо!»

няне и бабушке, удалились в мою комнату делать уроки и закрыли за собой дверь. Возможность закрыться окончательно разозлила Маринку, и нам вслед неслось:

– У Ирки своя комната, а я уже не маленькая и всё еще сплю в одной комнате с няней. Мне тоже нужно личное пространство! – кричала Маринка в коридоре. Откуда только она набралась таких умных выражений?

– Зачем тебе личное пространство, мелочь пузатая? Что ты будешь с этим пространством делать? В куклы играть? – кричала я через закрытую дверь.

– А хотя бы и в куклы! Тебе-то что?

– А ничего! Подрасти немного и тогда качай права.

– Ты еще тоже не взрослая, а уже жениха завела! Будете целоваться – не забудьте про уроки! А то завтра двоек нахватаете – и вся любовь! И вообще, я не могу дождаться, когда ты выйдешь замуж, уедешь из нашей квартиры, и мне твоя комната достанется.

– Ничего, подождешь еще лет пять-шесть! А теперь заткнись! Не мешай нам делать уроки!

– Так, всё. Как только вам не стыдно, вы же сестры, близкие люди! Немедленно прекратите ссориться! Что о вашем воспитании подумает Женья? – вмешалась в нашу перебранку бабушка, и мы разом умолкли. Слово бабушки было для нас законом.

Да, сумела малолетняя сестренка испортить первый день моего школьного романа. Что ею двигало? Зависть, что я уже почти взрослая, ревность ко мне, старшей сестре, или просто вредный характер? Вроде до моей дружбы-любви с Женьей мы с Маринкой жили довольно мирно, ссорились редко. «То ли еще будет!» – с тоской подумала я.

Маринку так и распирало. Она еле-еле дотерпела до вечера и, как только мама вернулась с работы и даже не успела еще снять пальто и надеть тапочки, наябедничала ей, что я, во-первых, без разрешения ходила в ее спальню и там пудрила свой прыщавый нос, и, во-вторых, привела на обед страшно голодного одноклассника, который нахально съел очень много борща и двойную порцию котлет с жареной картошкой. И самое ужасное, что мы с ним после обеда заперлись в комнате и, вместо того чтобы готовить уроки, там неизвестно чем занимались. Вот!

Усталая мама притворно насупила брови и столь же притворно грозно спросила меня:

– Ну, и чем же вы занимались с твоим одноклассником, который съел двойную порцию борща и котлет с жареной картошкой? Как зовут этого голодающего мальчика?

– Не волнуйся, мамочка! Моего нового друга зовут Женья М-ский.

Он – очень умный, почти отличник, живет в нашем доме. Воспитанный, из хорошей семьи. Его мама – настоящая певица оперного театра, солистка. Поет Татьяну и Чيو-Чю-Сан в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Вот! Не слушай Маринку, она всё врет. Во-первых, я попудрила нос совсем чуть-чуть, а во-вторых, не так уж и много Женя съел борща. Вам с папой осталось целых полкастрюли. И вообще, мы ничем запрещенным не занимались. Просто делали уроки. Это Маринка из зависти, что у меня появился друг, а у нее нет. Да кому она нужна, такая вредная малолетняя ябеда!

– Его мама – певица оперного театра? Поет Татьяну и Чيو-Чю-Сан? Ее зовут Таисия М-ская? – мамино лицо выразило некую растерянную задумчивость или задумчивую растерянность. – Это... м-м-м... интересно и так неожиданно! Таисия, Таисия...

– Это не просто интересно! Это замечательно! Женя скоро достанет для меня контрамарку, и мы с ним пойдем в театр Станиславского и Немировича-Данченко. Представляешь? Совершенно бесплатно! И будем сидеть в первых рядах партера!

– Бесплатно в первых рядах партера – это хорошо... – мама села на стул и начала снимать сапог. – Я очень устала. Давай поговорим завтра. Хорошо?

Потом мама ушла в ванную комнату мыть руки. Шум льющейся из крана воды приглушал звуки то ли ее надрывного смеха, то ли плача. Маринка, обиженная невниманием к своей особе, ревела. А папа, наконец-то, выбрался из своего укрытия, будто из берлоги, и громким голосом, как медведь из сказки, спросил, слегка разрядив обстановку:

– Что здесь у вас происходит? Кто посмел съесть мой борщ и котлеты с жареной картошкой? Покажите мне этого незваного гостя! Я с ним поговорю!

Мы с няней и бабушкой засмеялись. А Маринка продолжала всхлипывать, но уже не так надсадно, приговаривая:

– Никто здесь мне не верит, и никто меня не любит и не понимает! Вы все заодно!

– Не плачь, моя малышка! Я тебя люблю, моя деточка! – сказала жалостливая няня, обняла Маринку и стала целовать ее зареванное лицо. – Ишь, напали на бедное дитя, насмешники! Завтра наварю самую большую кастрюлю борща. Всем хватит. Нажарю еще блинчиков с мясом, творогом и яблоками. Зови, Ириша, своего Женьку! Пушай приходит. Видать, мать-то его, стрекоза, всё поет да поет, а мальчика-то не шибко кормит. Больно худенький.

Тут мама вышла из ванной, на ходу вытирая лицо полотенцем и, бросив на папу многозначительный взгляд, значения которого никто из присутствующих не понял, продекламировала:

– Ты всё пела? Это дело! Так пойдё же попляши!

– Эх! Совсем заработалась наша бедная мама! – сказал папа, пожал плечами, нежно обнял маму и повел её в спальню.

Послышался щелчок запираемой двери, что означало: займитесь своими делами и оставьте нас с мамой в покое. Из спальни ещё долго раздавались всхлипывания и приглушенные голоса.

– Ну, чего стоите под дверью? Чего ждете? Не стыдно подслушивать? Дайте мужу с женой спокойно поговорить. Сейчас всех накормлю ужином, а они пускай потом себе сами разогревают, – громко сказала няня и пошла на кухню.

Так закончился первый день моего школьного романа. Первый раз за мою четырнадцатилетнюю жизнь я долго не могла заснуть. В комнате было душно. Я зажгла ночник, открыла форточку и завороченно смотрела, как танцуют на стене тени от колышущейся оконной занавески. Прокручивала в голове подробности этого знаменательного дня и думала, что нас ждет дальше.

Конечно, мы будем любить друг друга до конца школы, уж это точно! А может, и всю жизнь, до самого гроба. И никто – ни Маринка, ни родители, ни бабушка с няней – не сможет убить нашу любовь. Мы сначала поступим в институт, а потом непременно поженимся. У нас, конечно, родятся дети, умные и красивые.

Дальше умных и красивых детей мои мечты не простирались. Исчерпав свою фантазию, я уснула, так и не погасив ночника.

ГЛАВА 6. ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЧУВСТВ

Очень трудно в пожилом возрасте попытаться вернуться в отрочество и вспомнить, какие чувства, мысли и желания владели мной, четырнадцатилетней девочкой, влюбленной в одноклассника, физиологически созревшей, но абсолютно невинной и сексуально не образованной (ни ханжеской советской школой, ни занятиями своей работой, своими переживаниями и проблемами родителями). Из какого яркого, благоуханного букета состояла эта первая любовь? Что это было? Полусознанное физическое тяготение, духовное полубожество (он самый красивый, самый умный, самый мужественный, самый лучший), неотступное любование предметом обожания, как внешним, так и внутренним его обликом, желание постоянного общения, стремление к абсолютному (пусть не физическому, но воображаемому) обладанию предметом (он только мой и больше ничей), подспудная готовность к ревности (он сегодня на перемене слишком пристально посмотрел на Лизку: что бы это значило?). Пробуждение и засыпание с одной только мыслью – о нем. Желание

взять его за руку и одновременный трепетный страх перед прикосновением к этой руке. Невозможность сосредоточиться в школе на уроках. Пребывание в какой-то закрытой от всего мира скорлупе, всеохватывающее ощущение блаженного счастья... Кажется, я всё перечислила. Ну, может, упустила что-то не столь важное, эфемерное, какую-то деталь в описании состояния своей души и тела в ту весну моей первой влюбленности. Главное, что моя жизнь теперь разделилась на «до» той поры и «после».

В школе мы с Женей сидели за разными партами. Не сговариваясь, старались как можно меньше общаться, не перекидываться влюбленными взглядами, чтобы не вызывать нездоровое любопытство, насмешки или зависть одноклассников и комментарии некоторых не слишком педагогически одарённых учителей. Словом, боялись спугнуть жар-птицу счастья, милостиво залетевшую в наше отрочество.

Мы обменивались записками, в которых назначали друг другу время свидания – как правило, после уроков, у моего подъезда или в моей квартире. Казалось бы, куда соблазнительней было бы встречаться в Жениной квартире, которая до позднего вечера, а иногда и до ночи стояла безлюдной. Отец – на работе, мать – на репетиции, на спектакле или на гастролях. Никто бы нам не мешал, не подсматривал и не язвил, как Маринка; не наблюдал безмолвно, но пристально, как бабушка; не давал руководящие указания, как няня. Но, во-первых, родители и бабушка строго-настрого запретили нам сидеть без надзора в пустой квартире; во-вторых, именно эта соблазнительная свобода привлекала и одновременно внушала нам подспудный страх остаться наедине. Мы еще не были готовы к свободе. Уроки делали, сидя рядом за письменным столом, случайно касаясь друг друга то коленями, то плечом, и тут же отскакивали, как от удара током. Обстановка вокруг нас была наэлектризована, невидимые искры так и летали.

Я руководила выполнением задания по русскому и английскому языкам и русской литературе. Женя натаскивал меня по точным наукам. В общем, наш любовно-дружеский альянс приносил не только радость, но и пользу. В итоге я повысила свои знания и соответственно оценки по точным наукам, а Женя улучшил английское произношение, знание грамматики русского языка и постепенно приобщался к мировой классике от А до Я (от Джованни Боккаччо до А. И. Куприна), которой у нас были забиты книжные стеллажи и которую я к четырнадцати годам без родительского надзора проглотила в огромном количестве. Днем нас кормили обедом, вечером – ужином. Няня со свойственной ей прямоотой откровенно одобрительно высказывалась:

– А пушай парень у нас столуется, ежели его дома не кормят.

Чай, не обеднеем, правда, Мария Петровна? Я не против. Видать, приличный такой, воспитанный паренек. И в Ирочку нашу по уши влюбленный. Первая любовь — такое дело. Ее беречь надо! И подкармливать!

Бабушка молча кивала головой. Иногда мне казалось, что она хочет что-то добавить к няниным ремаркам, но бабушка предпочитала не озвучивать свои мысли и чувства по поводу пребывания Жени в нашем доме. Видно, что-то ее смущало, что-то ей мешало... А мне хотелось от нее если не восторга, то хотя бы одобрения. Мне хотелось, чтобы все восхищались моим Женей.

После ужина в хорошую погоду мы частенько отправлялись погулять, пройтись вдоль реки. Вот тут проявлялось бабушкино настойчивое влияние. Она гнала нас на свежий воздух, ибо, выражаясь ее языком, «молодому организму для роста и развития нужна не только духовная и физическая пища, но и кислород, и даже в первую очередь кислород!» Будучи врачом на пенсии, бабушка продолжала лечить нашу семью.

В конце седьмого класса Женя, я и Лиза вступили в комсомол. Женя признался мне по секрету, что сделал это исключительно по наставлению отца. Мол, его отец так прямо и сказал, что если Женя хочет сделать блестящую карьеру, чего-то добиться в профессии и в жизни, надо сначала вступить в комсомол, а потом непременно в партию. Подобное заявление звучало весьма прямолинейно и даже цинично, но я тогда об этом не думала, ибо восторженно одобряла всё, что говорил и делал Женя.

Почему-то в связи с Жениным признанием я вспомнила своего друга детства Генку. Ему ведь тоже, как и нам, тогда было четырнадцать лет. Каким он стал? Где сейчас обретается? Его отца и других так называемых участников сионистского заговора наверняка реабилитировали. Интересно, вступил Генка в комсомол или нет? Ведь для него вступление в комсомол означало бы простить советскую власть за арест отца и исковерканную жизнь. Нет, такое невозможно ни понять, ни простить. Я бы точно не простила.

Лиза заявила, что вступает в комсомол по велению ума и сердца, не объяснив детали... Она любила руководить. В свое время ее не назначили старостой. Теперь она наверняка метила в комсорги.

Меня же никто и ничто не гнало в комсомол; ни родные, ни ум, ни сердце не заставляли вступать в эту политизированную молодежную организацию. Бабушка мне даже, наоборот, посоветовала подумать и отложить решение хотя бы на год, когда я, повзрослев, осознаю, для чего это делаю. Но я была настроена романтично-патриотически. Да и как иначе? Женя и Лиза будут комсомольцами, а я останусь в юных

пионерах, как третъяклашки в галстуках? Это даже стыдно и смешно! Такого не должно быть! Нет, ждать целый год я не могла.

Нацепив на грудь комсомольский значок, я какое-то время носила его с гордостью, а потом как-то охладела и к значку, и к своей причастности к ВЛКСМ. Активисткой не стала. Да и какая из меня, индивидуалистки, активистка! Я просто исправно платила взносы и иногда почитывала «Комсомольскую правду», если там печатали что-то интересное. Женя тоже особой активности не проявлял. Видно, для его отца членства сына в комсомоле было вполне достаточно. А Лизу всё-таки избрали комсоргом нашего класса. Она каждый месяц созывала нас на комсомольские собрания, на которых кто-то делал политинформацию, скрупулезно собирала членские взносы и ездила за город на комсомольские конференции. Пожалуй, на этом ее деятельность комсорга заканчивалась.

С Женей мы о комсомоле поговорили и перестали. Нас обуревали совсем другие мысли и чувства, отнюдь не идейные. Мы быстро выросли, и с нами выросла наша любовь.

* * *

Летом, как мы с Женей ни сопротивлялись, нам всё же пришлось расстаться на целых три месяца. Меня, Маринку, бабушку и няню отправили на нашу дачу в Подмоскowie. Женю «сослали» к родственникам куда-то аж за Урал, в Сибирь. Расставание было грустным, но мы поклялись друг другу в вечной верности, чтобы никаких летних летучих увлечений и романов. Обещали писать частые письма и честно, с подробностями, описывать то, что с нами происходило на отдыхе.

Я вообще обожала писать с самого детства (дневниковые записи, стишки, миниатюры, даже одноактные пьески сочиняла для нашего школьного драмкружка), а эпистолярный жанр был моим любимым способом общения и изложения мыслей.

Так что для меня длинные (на двух-трех страницах) письма к Жене были вдвойне приятным занятием. Я представляла себя то утонченной тургеневской барышней (героиней повестей «Вешние воды» и «Первая любовь»), то пушкинской Татьяной, и детально описывала не только события, но и свои чувства и переживания. Женя отделялся короткими отчётами-репортажами на полстранички типа: «Сегодня была отличная погода, и мы ходили с ребятами на рыбалку...» или: «Вчера шел дождь, после дождя выросло много грибов, поэтому мы сегодня ходили с ребятами в лес за грибами...», или: «Я каждый день занимаюсь спортом, играю в футбол, наращиваю мышцы...», – при этом непременно добавляя: «По-прежнему тебя люблю. Твой Женя».

Я понимала, что эпистолярный жанр – не сильная его сторона.

Женя представлял собой тип технаря, так сказать, антигуманитария. Но он очень старался, и влюбленная, как говорила няня, по уши, я радовалась его сообщениям, особенно завершающим фразам. Танцевала и целовала каждое его письмецо, каждую открытку.

К восьмому классу Женя еще больше вырос, стал выше меня на целую голову и как-то раздался в плечах. Наверное, сыграли роль ежедневные занятия спортом. И вообще, зауральский, сибирский климат определенно пошел ему на пользу. Он загорел и со своими черными глазами и иссиня-черными волосами стал окончательно похож на восточного человека или на цыгана. Я всё не решалась спросить его о национальности, боялась, а вдруг он не захочет говорить на эту тему или, чего доброго, обидится. Сам он никогда о своих корнях не рассказывал.

Впрочем, для меня, окончательно потерявшей голову от любви при виде его возмужавшего облика, все эти этнические копания и детали не имели никакого значения.

Я тоже еще немного подросла (дотянулась до одного метра семи-десяти сантиметров), исчезла угловатость, увеличилась грудь, резко обозначились талия и бедра, появилась какая-то кошачья мягкость в движениях и жестах. В общем, за три месяца из четырнадцатилетней девочки-подростка я превратилась в совсем юную пятнадцатилетнюю девушку.

– Наша-то Иринка – красавица, вся в мать! Ну прямо девица на выданье! Теперь за ней нужен глаз да глаз, чтоб с пути не сбилась! Женька ее увидит, и башку-то ему враз и снесет, – поговаривала няня, откровенно мной любуясь. Причем регулярно повторяла одно и то же, да так громко, чтобы бабушка и родители слышали и мотали на ус.

– Молчи, Дуняша! Попридержи язык! Накликаешь беды, потом не расхлебает, – сердилась бабушка. А мама с папой, погруженные в труды праведные (медицинские и литературные) и личные переживания, вроде никакой метаморфозы во мне не замечали (или не хотели это обозначать) и угрозы в моей возрастающей женственности не предвидели.

Маринка, которая пока тянулась только в длину, превращаясь из пухлого ребенка в угловатого худенького подростка, которому мешают длинные руки и ноги, пряча за бравадой зависть, пыхла:

– Подумаешь, красавица! Ничего особенного. Настоящая Царевна-лягушка! Глаза зеленые, а волосы рыжие и конопушки на носу. Только Женьке одному и нужна. Другие-то не очень на нее зарятся. И вообще, Лизка гораздо красивее Ирки.

В общем, сестринское соперничество, притихшее на даче, возобновилось по полной программе, как только мы вернулись в Москву.

Няня оказалась права насчет «враз снесенной башки». Так и случилось, только «башку снесло» не одному Жене, но и мне вместе с ним. Гормоны и феромоны делали свое дело, и мы уже вовсе осознали необходимость сексуальной свободы. Украдкой после школы перед тем, как пойти столоваться и делать уроки в нашей квартире, мы забежали в Женины пустующие апартаменты, чтобы побыть наедине, без наводстренных ушей и всевидящих глаз моей родни и няни Дуни.

Я, честно говоря, не любила заходить в другие квартиры нашего дома. После бабушкиных рассказов о доносах, арестах и расстрелах, истории которых намертво засели в моей детской памяти и богатом воображении, мне всюду мерещились призраки бывших жильцов, если даже этих бывших и не существовало, если квартира испокон веков (то есть со времен постройки дома) принадлежала одной и той же семье, как наша. Теперь ведь до правды не докопаешься. И нужна ли мне была эта правда, я и сама толком не знала, однако по инерции пыталась докопаться до истины.

– Кто жил в твоей квартире до вашей семьи? – осторожно спросила я Женю перед тем, как впервые переступила дверной порог.

– Не знаю. Какие-то люди. Они выехали. Мы въехали. Я ведь родился в Новосибирске. Мама там пела в театре оперы и балета, а папа служил в штабе Сибирского военного округа. Переехали в Москву и, как ты понимаешь, меня не спросили. Новосибирск – прекрасный город, и у меня там в школе остались друзья. Один даже очень близкий друг. Мы до сих пор переписываемся. Если честно, мне совсем не хотелось ехать в Москву и искать новых друзей, хотя здесь открываются, как говорит мама, беспредельные горизонты! Так уж получилось. Нет, конечно, если бы мы сюда не переехали, я бы не встретил тебя и... Значит, не зря переехали. А зачем тебе знать, кто раньше жил в этой квартире? Не понимаю. Какое это для нас с тобой имеет значение? Мои родители сделали полный ремонт и переиначили всё на свой лад. Мама вообще любит стиль модерн и западную культуру. Правда, папа мой несколько старорежимный. Он же военный и немолодой! Так что в нашей квартире прошлыми жильцами не пахнет. Всё выветрилось! Не переживай! Так зачем тебе знать, кто тут жил? Призраков боишься, привидений?

– Не боюсь я никого и ничего! Просто так спросила. Знаешь, наш дом... у него особая история... – увиливаю я от продолжения разговора на эту более чем щекотливую тему, а сама дрожу.

– Какая там еще особая история! Обычный элитарный дом. Дом правительства и так далее.

– Не только! Еще его называют «Домом предварительного заключения»...

– Чего? Что ты болтаешь? – ошалев от такого, мягко выражаясь, неожиданного названия, спрашивает Женья.

Я понимаю, что этот момент – не лучший для разговоров об истории нашего дома, и решительно себя обрываю:

– Ты прав. Просто меня не туда понесло. Неважно! Пусть будет просто Дом правительства. Ладно! Пошли!

– Пошли!

Женья не знает (или притворяется, что не знает) печально известных событий в истории нашего дома, он крепко берет меня за руку и ведет к себе. Я преодолеваю страх перед призраками и душами замученных и убиенных и повинуюсь Жениному напору.

И мы бежим, чтобы хоть полчаса безнадзорно, сначала осторожно, едва касаться губ друг друга, а потом, осмелев, пылко нацеловаться и наобниматься всласть. Одежды не снимаем, только самую верхнюю, и запретную грань между поцелуями и интимом пока не переходим. Но я балдею, и земля буквально уходит у меня из-под ног, когда Женья целует меня в шею. И я его целую, в глаза, в лоб, в шею... Ниже шеи пока не спускаюсь, хотя мне хочется снять с него рубашку и целовать в грудь, как в весьма откровенном французском фильме (дети до шестнадцати...), на просмотр которого я случайно попала в кинотеатре «Ударник», хотя мне еще не было шестнадцати лет. Выглядела-то я на все восемнадцать. Паспорт не спросили, и я проскочила.

Я, честно говоря, не очень представляла себе, как происходит в деталях физиология любви, и дальше поцелуев в грудь, как во французском фильме, мои желания не простирались. Но тяга к запретному, тайному, совсем взрослому, нарастала с каждым свиданием и, если бы Женья вовлек меня в любовную игру без границ, я бы не устояла и поддалась. Уже была готова. Женья пока благородно и разумно сдерживал свои порывы, но я чувствовала, как нелегко дается ему борьба с самим собой, и предполагала, что мой любимый стоик долго не выдержит.

Такая невинная любовь продолжалась целый год, весь восьмой класс. Мы испытывали на прочность нашу нервную систему. А в девятом классе произошло то, что должно было произойти. Мы перешли установленную нами самими запретную грань... Как-то всё само собой получилось.

Мы, как обычно, целовались и обнимались в Жениной квартире.

– Всё, Ирочка! Больше не могу! Ты меня с ума сведешь! Идем скорее к тебе делать уроки, а то я за себя не ручаюсь... – умолял Женья.

– Ну, пожалуйста, поцелуй меня еще! Ты меня сегодня недоцеловал, – просила я.

И мы снова целовались и обнимались, пока однажды Женья окончательно и бесповоротно не потерял контроль над эмоциями, но не

над действиями. Он решительно и целенаправленно подошел к комоду, достал из него чистую простыню, расстелил ее на своей кровати, раздел меня (я не сопротивлялась, застыла...), разделся сам, и мы сначала неумело, дрожа, а потом с судорожной поспешностью нырнули в пучину физической близости и потеряли невинность.

Опомнились мы, когда всё уже свершилось, и неопровержимым свидетельством нашего грехопадения сверкала кровавым пятном белая простыня. Испуганные содеянным, растерянные, мы лежали, прижавшись друг к другу, переплетая ногами и руками, чтобы не потерять ощущения свершившегося, чтобы как-то подтвердить, закрепить этим сплетением нашу любовь.

Оконные шторы были раздвинуты. Сквозь тюлевую занавеску зимние сумерки быстро перетекли в вечер. В темноте, заполнившей спальню, нечеткими белыми очертаниями вырисовывались наши лица. Не знаю, какие эмоции владели Женей, о чем он думал, но у меня было двойное чувство. С одной стороны, желание, так долго тлевшее и разгоравшееся во мне за прошедший год, захлестнуло меня. Наконец-то произошло то, что, по логике любви, должно было произойти. В неполные шестнадцать лет я стала женщиной. Меня переполняли смешанные чувства гордости и страха от содеянного.

С другой стороны, кроме краткой боли и, честно говоря, разочарования, я ничего не испытала. *(Боже мой! Эта нелепая, даже стыдная поза и движения, как у собак и кошек, и есть та самая земная любовь, о которой слагают стихи и поют песни?)* Мне больше этого примитивно-животного занятия не хотелось, а хотелось, чтобы Женя прижимал меня к себе, целовал, ласкал и успокаивал.

И, как любая другая девушка, я, трепеща, естественно, задала Жене старый, как мир, вопрос:

— Ты меня еще любишь? После всего этого?! Ну, этого...

— Ну, это нормально. На этом, как говорится, мир стоит. А что? Тебе было плохо?

— Мне было немного больно и потом, если честно, никак.

— Понимаю. Говорят, что потом будет хорошо и даже очень! Не сразу. Надо немного подождать.

— Я надеюсь... Так ты меня еще любишь?

— Люблю!

— Нет, правда любишь?

— Правда люблю! Еще сильнее!

— Почему сильнее? Ведь я... я стала, как говорят, доступной женщиной, — произнесла я фразу из какого-то классического произведения, кажется, из чеховской «Дамы с собачкой».

— О Господи! Какая чушь лезет тебе в голову! Ты слишком напич-

кана классикой! Прямо тургеневская барышня! Сейчас не XIX век. Если хочешь знать, после «этого» ты мне стала еще ближе, ты теперь моя «доступная женщина», коли уж на то пошло. Иначе и быть не могло.

– Значит, теперь я по-настоящему твоя девушка?

– Да!

– И мы после окончания школы поженимся и никогда, никогда не расстанемся?

– Никогда!

– Till death do us part! – торжественно поклялась я венчальной фразой из какого-то английского или американского романа или фильма.

– Да, пока смерть не разлучит нас! – для пушей убедительности Женя перевел мою клятву на русский язык.

– Теперь только попробуй взглянуть на какую-нибудь другую девчонку! Убью!

– Не придется тебе меня убивать! Никто, кроме тебя, мне не нужен! Стало быть, я останусь жить. Ура! – Женя развеселился.

– И мне, кроме тебя, никто, никто не нужен. Вот влюбилась на свою голову...

Мы еще долго так лежали, обнявшись в темноте, и опомнились только, когда часы в столовой, куда дверь была открыта, громко пробили шесть часов вечера. Не сговариваясь, мы оба потянулись к выключателю, зажгли свет, улыбнулись синхронности наших действий, оделись и стали приводить в порядок внешний вид, стараясь справиться с внутренним, душевным сумбуром.

Мои мозги постепенно вставали на место.

– Всё хорошо! Всё хорошо! Теперь надо замести следы «преступления», – повторяла я про себя и начала действовать отточенно, последовательно и логично: сняла с кровати окровавленную простыню, оторвала от нее чистый кусок, машинально засунула себе в трусы (боялась кровотечения). Потом скатала остатки простыни, завернула в газету, перевязала бечевкой и положила в портфель, пока не зная, как поступить с уликой нашего грехопадения.

Если выбросить в мусоропровод дома – дворник или еще кто-нибудь найдет и бог весть что может подумать. Например, что кого-то изнасиловали, ранили или даже убили... Вызовут милицию. Начнут расследование. Страх рисовал мне последствия, одно опасней другого. Только этого не хватало в нашем доме!

В общем, я, в конце концов, решила сначала втихаря выстирать рваную простыню в Жениной пустой квартире, потом прогладить утюгом, чтобы подсохла, а потом уже выбросить в мусор... где-нибудь подальше от нашего дома.

...Был поздний вечер, когда мы наконец пришли ко мне домой, как обычно, пообедать и заняться приготовлением уроков. Как ни в чем не бывало. На вопросы няни и бабушки, где мы пропадали и почему не звонили (у моей бедной няни были слезы на глазах, а у бабушки аж давление подскочило), я нашла, что сказать. Любовь на выдумки хитра! Мол, нас срочно заставили собирать макулатуру, и мы не могли позвонить домой, так как ни один телефон-автомат не работал. Вот Женя может подтвердить!

– Не сомневаюсь, что Женя подтвердит всё, что ты скажешь. А Лиза почему-то макулатуру не собирала, просто сидела дома и делала уроки. Я ей позвонила, и она сказала, что не имеет представления, где вы и чем занимаетесь. Что, у вас с Женей было такое г-м-м... дополнительное комсомольское спецзадание, не известное вашему комсorghу? – иронизировала бабушка и одарила покрасневшего Женю испепеляющим взглядом.

– Как комсorgh, Лиза должна подавать нам пример, и она уже свою норму по сбору макулатуры выполнила на прошлой неделе, а мы с Женей недобрали по количеству, пришлось сегодня дособирать, так сказать, – тут же соврала я и даже, кажется, не покраснела.

– Я не сомневаюсь, что вы сегодня выполнили и с избытком перевыполнили план по сбору макулатуры! – нарочито спокойным голосом сказала бабушка и строго посмотрела на меня. – Никогда, никогда больше не смей мне врать, Ирина! Слышишь! Говори правду, какой бы она ни была! На вранье далеко не уедешь. Если попала в болото вранья, не выберешься, только еще глубже засосет. Будешь продолжать выкручиваться, я всё расскажу твоим родителям. Пусть они с тобой разбираются. Тоже мне либералы ультрапередовых взглядов! Народили девочек, а воспитывать кто будет? Конечно, бабушка. Увольте! Стара я для воспитания молодежи. Пустили несовершеннолетнюю дочь плыть по воле волн! Какая безответственность, какой риск! – бабушкина гневная речь представляла собой некую смесь ворчания с лекцией о правильном воспитании молодого поколения.

– Хорошо, бабуля! Я буду отныне говорить правду и одну только правду! Честное комсомольское! Но только не сегодня, ладно? – покорно ответила я, тем самым признав свою вину.

– Ой, хитрющая девка! Смотри, сама себя не перехитри! На улице темень с четырех часов! А сейчас почти семь. В темноте собирать макулатуру – самое оно! Чай мно-о-го насобирали... – подлила масла в огонь няня, утирая слёзы и одновременно улыбаясь.

Тут все расслабились и тоже позволили себе улыбнуться. Умела моя няня разрядить обстановку.

* * *

С этого дня наша любовь, да и вся жизнь, потекла по другому руслу.

Конечно, не каждый день, но всё же несколько раз в неделю мы после школы сразу бежали к Жене домой. Под любым предлогом. То надо посидеть в районной библиотеке – подготовить доклад по литературе или истории, то – давно пора заняться спортом – записались в волейбольную секцию, то решили научиться бальным и современным танцам – совсем не умеем танцевать, а скоро школьный вечер... Словом, много было уловок и хитростей для вроде правдоподобного объяснения, почему мы стали так поздно приходить к обеду. Няня и бабушка уже почти смирились с моим новым расписанием. Няня радовалась нашим сияющим лицам и даже игриво подмигивала мне – мол, знаю, знаю, какими танцами вы там занимаетесь, молодежь! Я тоже когда-то под гармошку танцевала и дотанцевалась... с гармонистом.

А бабушка становилась всё мрачнее. Как-то вечером, после ухода Жени, она позвала меня к себе в комнату для, по ее словам, конфиденциального разговора. Я поняла, что объяснения не избежать, и сдалась на бабушкину милость. Бабушка всё еще была формальной главой нашей семьи, и послушаться ее означало нарушить семейные устои. Кроме всего прочего, я обожала бабушку и не хотела ее огорчать и нервировать.

– Я понимаю, что ты считаешь себя взрослой девушкой, через пару месяцев – как-никак шестнадцать лет. Понимаю, что вас с Женей связывают сильные чувства и всё, что из этого вытекает... Не забыла, что сама вышла замуж в семнадцать. Но тогда были другие времена. Двадцатипятилетние незамужние барышни считались старыми девами. К тому же шла Гражданская война, я окончила гимназию и была уже вполне самостоятельным человеком. Доказала родителям свою независимость и пошла, против их воли, в Красную армию сестрой милосердия. А вы с Женей – еще в сущности дети, школьники, вам еще учиться и учиться. Я не хочу, чтобы ваши чувства захлестнули разум, и боюсь, как бы вы не наделали ошибок, которых потом не исправить и за которые вы, возможно, будете всю жизнь расплачиваться. Куда смотришь? Смотри мне в глаза! Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Не понимаю! Каких ошибок, бабуля? Говори прямо, – хитрила я, изображая святую невинность.

– Я надеюсь, что вас еще не связывает... физическая близость?

– Какая физическая близость! Ты что, бабуля! Не волнуйся! Мы ничего такого э-э-э... недозволенного не делаем. Только целуемся, – уточнила я. – Целоваться-то можно? Или поцелуи тоже под запретом?

– Можно. Но! Целоваться – и только! Смотри у меня! – вздохну-

ла бабушка, погрозила пальцем, а потом обняла меня и поцеловала в лоб. — Я знаю, ты рассудительная девочка, и надеюсь на твой разум и дальновидность.

— И правильно делаешь! Бабуля, ты у меня самая мудрая и самая добрая бабушка на свете. Я тебя так люблю!

— И я тебя так люблю, моя девочка. Люблю и хочу, чтобы твоя жизнь сложилась г-м... наилучшим образом.

* * *

Несмотря на строжайший запрет и напутствия бабушки, мы с Женей продолжали наши тайные свидания. Я постепенно входила во вкус любовного действия, и физиология уже не казалась мне цепью нелепых животных движений. Мы учились искусству любви, достигли некоторых успехов в этом искусстве и уже не мыслили без него нашей жизни.

Я ужасно боялась забеременеть, но Женя проявил (не по возрасту) сознательность и запасся презервативами, украдкой утаскивая их по несколько штук в неделю из письменного стола отца. (Презервативы привозила Женина мать из Польши и Чехословакии, куда ездила с театром на гастроли.) Вначале нас обоих подобная необходимость корбила, потом мы привыкли.

Помнится, няня как-то читала при мне Библию. Запомнилось: «И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть».

И стали мы с Женей одной плотью. Казалось, что это навсегда.

ГЛАВА 7. ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Лизка знала о нашей любви. Я ей рассказывала всё в общих чертах: о свиданиях, невинных поцелуях, ласках поверх школьной формы и так далее. Да и как я могла утаить от нее наши свидания с Женей, если она была моей самой близкой подругой, а я почти всё свободное время проводила не с ней, как прежде, а с ним? Но о потерянной девственности я рассказывать не стала... (Кстати, я успешно отстирала следы греха в Жениной стиральной машине, высушила и разрезала простыню на тряпки и каждую тряпицу под покровом темноты предусмотрительно отдельно выбросила с моста в Москву-реку.) Это была моя жгучая тайна, как писал обожаемый мною Стефан Цвейг, моя комната за семью замками, мой скелет в шкафу, моя сексуальная победа и мое поражение...

И Лизке я этот скелет в шкафу показать не могла. Она, с ее «правильным» взглядом на жизнь, взглядом отличницы и комсорга, не

только не поняла бы нас с Женей, но осудила бы, «пригвоздив к позорному столбу» нарушителей возрастного ценза любовной близости. Я бы ей, конечно, могла возразить, что Суламифи, когда ее встретил и полюбил царь Соломон, было тринадцать лет, и Джульетте тоже, когда они с Ромео полюбили друг друга. По крайней мере, так писали Куприн и Шекспир. А мне как-никак пятнадцать, почти шестнадцать! Но Лизка всё равно нашла бы, что мне возразить. Сама-то она, дожив до пятнадцати лет, еще не успела влюбиться. У нее рассудок всегда одерживал победу над чувствами. Ох уж эти отличники и комсомольские деятели! Их не переспоришь. Мне было искренне жаль Лизу, сухаря в юбке. «Бедная Лиза!» – подумала я, ни к селу ни к городу снова зацепившись за классику.

Наступил май с весенними ветрами, неустойчивой погодой – от неожиданного снегопада (почему-то чаще всего именно Первого мая, когда многие обитатели нашего дома привычно шли на демонстрацию, благо до Красной площади от нас рукой подать) до цветения черемухи. Мое любимое время года. Время ожидания волшебных перемен и исполнения желаний и надежд.

У Жени назревал день рождения – шестнадцать лет. Не круглая, но все же знаковая дата: получение паспорта, документально закрепляющее официальный переход от отрочества к юности. Женины родители решили отметить по-крупному это важное событие и пригласить родных и друзей.

– Ирочка! Мама вернулась с гастролей по Союзу, папа взял пару дней внеочередного отпуска. В общем, они хотят отметить мой день рождения на полную катушку. Заказали в нашем распределителе кучу деликатесов и разных других вкусных продуктов. Ты, конечно, придешь? Предки уже давно в курсе, что у меня есть любимая девушка (без подробностей, конечно). Они очень хотят с тобой познакомиться, прямо жаждут. Мама, так каждый день о тебе расспрашивает: как тебя зовут, как твоя фамилия, какая ты из себя, какого цвета твои глаза, волосы, в какой квартире живешь, кто твои родители? Прямо завалила меня вопросами. Я отбиваюсь как могу.

– Ну и что ты ей отвечаешь? Как отбиваешься?

– Правду. Чистую правду. Кроме, сама знаешь, чего... Что ты у меня самая красивая в школе зеленоглазая принцесса, что волосы твои цвета темной меди, что ты самая начитанная в классе, самая добрая, из хорошей высокоинтеллигентной семьи... и вообще самая лучшая.

– Ну, ты даешь! Так уж и самая лучшая! А вообще, мне жутко приятно всё это слышать от тебя. А что твоя мама, как она реагирует на то, что я такая распрекрасная?

– Хорошо реагирует. Маме просто не терпится тебя увидеть.

– Ну что ж, придется как следует подготовиться к встрече с твоей мамой. А что говорит твой папа?

– Папа ничего не говорит. Для него – что мама скажет, то и хорошо!

– Уже легче... А кто еще будет на твоём дне рождения?

– Приедут разные родственники... Я приглашу нескольких ребят из нашего класса и, чтобы тебе не было одиноко, за компанию – твою подружку Лизу. И еще кое-кого... Одного старого друга.

– Старого друга? По Новосибирску? Кто он? – насторожилась я.

– Так, слишком много вопросов! Пока не скажу. Это сюрприз. Уверен, что сюрприз будет для тебя приятным.

– Ой, Женька! Я не люблю сюрпризов. И даже их побаиваюсь. Давай, быстро говори, что за сюрприз, – пыталась я расколоть Женю. Но безуспешно. Он уперся и стоял неприступным утесом, о который разбивались волны моих вопросов. Таким упертым я его еще никогда не видела и поэтому в конце концов сдалась. Не хочет говорить, не надо. Не ссориться же нам из-за этого «приятного» сюрприза.

Хоть бы он действительно оказался приятным! А то иногда приятные сюрпризы оборачиваются неожиданными кошмарами.

Я тщательно готовилась к Жениному дню рождения. Еще бы, его родители наконец-то пожелали меня улицезреть! Целых два года я вообще для них не существовала! И тут вдруг – на тебе – смотрины устроили! Надо было не подвести Женю: произвести впечатление любящей, нежной, красивой, умной, вежливой, интеллигентной, в меру скромной, хорошо, но не вычурно одетой, верной подружки их единственного сына. Придется постараться.

И возникла еще одна, не менее важная проблема – какой подарок купить. Слишком простой, недорогой и тривиальный – плохо, а на дорогой и зашкаливающий воображение у меня не было средств. Своих денег у меня, естественно, не водилось. Только то, что мне давали родители на школьный второй завтрак и мелкие расходы. Просить лишнее я не хотела. Как-то заработать самой в те далекие времена школьники не имели возможности.

Я просто разбила свою копилку. Столько лет копила, не зная на что. Когда-то же надо было ее разбить! Слава богу, там оказалась сумма, достаточная для пристойного подарка.

Собственно говоря, Женя далеко не бедствовал. При маме – при мадонне, солистке музыкального театра, и папе – полковнике Генштаба, у Жени, единственного ребенка, было всё, что нужно шестнадцатилетнему парню, и даже более того. Я же частенько бывала в их квартире, которая прямо-таки дышала зажиточностью. Ну, полное изобилие! Чем я могла его удивить и обрадовать? Я решила прило-

жить руку к его литературному образованию и подписала Женю на полное собрание сочинений Чехова. Не Толстого и Достоевского, а именно Чехова. Этот выбор мне казался беспроигрышным. Чеховские рассказы и повести были намного короче, чем романы Толстого и Достоевского. Женю надо было приучать к классике постепенно и не насильственно.

Не помню, чтобы я когда-либо раньше так долго готовилась к выходу на люди, как в этот раз. Вынула из шкафа почти все свои весенне-летние платья, кофточки, юбки и туфли, разбросала по стульям, на кровати, по полу. Надевала, снимала и снова надевала и снимала, так и не решив, что же мне такое надеть, чтобы понравиться сразу трём сторонам: себе, Жене и его родителям. Аж вспотела и разревелась от отчаяния и нерешительности.

– Ну что ты маешься дурью? Ишь, раскидала наряды! Устанешь – и не будет сил веселиться, – мудро высказалась няня. – Надень то новое зеленое платье с кружевами, которое тебе мама из-за границы привезла, и золотистые туфельки на маленьком каблукке. Зеленые глаза, рыжие волосы – и зеленое платье! Получится самое оно! И красиво, и не вульгарно. Женька твой прямо обалдеет. И его маме тоже понравится. Она же – артистка, а они любят всё блестящее. Ой, что-то меня не туды понесло! Язык мой – истинный враг мой.

Я обняла и поцеловала няню. Она, как почти всегда, оказалась права. У этой простой, деревенской женщины трезвый разум сочетался с абсолютным вкусом не только в еде, но и в одежде. Я иногда фантазировала, что наша Дуня – побочная дочь какого-нибудь русского дворянина. Скорее всего, так оно и было. Просто этот дворянин, красавец и подлый соблазнитель, совратил Дунину мать-крестьянку, обрюхатил ее (как пишут классики) и бросил. Она, конечно, ничего ему не сказала и вышла быстренько замуж за деревенского мужика, чтобы скрыть и загладить грех. Вот и вся история. Предполагаемый отец дворянского происхождения так ничего и не узнал о появлении на свет своей приبلудной дочери и не приложил никаких усилий и средств к ее воспитанию и образованию. Так моя нянечка и выросла цветком на помойке.

В общем, я послушалась няниного совета и надела свое новое зеленое платье с золотистыми туфельками, завila и распустила длинные волосы, слегка подкрасила веки и ресницы, подщипала брови, припудрила нос (мама отныне официально разрешила мне пользоваться ее пудрой – для особых случаев, разумеется) и отправилась на день рождения, он же – смотрины.

Дверь мне открыла сама хозяйка дома – Женина мама, еще совсем молодая (лет тридцати пяти) яркая брюнетка с чуть раскосы-

ми глазами. Красотка! Так вот откуда Женина цыганистость! При ближайшем рассмотрении я поняла, что никакая это не цыганистость, а смесь славянской крови с кровью одной из азиатских народностей: алтайской, киргизской, узбекской или какой-нибудь еще. Женина мама, Таисия Михайловна, видимо, была метиской. Она сначала пристально оглядела меня, аж пронзила взглядом, потом, спохватившись, улыбнулась, радушно обняла и даже изволила чмокнуть в щечку, подставив свою для ответного поцелуя. Я, само собой, тоже невесомо приложила губами к ее напудренной щеке.

— Так вот ты какая, Ирочка! Даже краше, чем я себе представляла. Женья о тебе много рассказывал. Он от тебя просто без ума! Мой бедный сын совсем потерял голову. Рада с тобой наконец познакомиться.

Женья обо мне много рассказывал? Интересно бы узнать не от Жени, а от самой Таисии Михайловны, что он обо мне говорил. Какие качества, какие эпитеты употреблял в описании моей внешности и характера? Но почему она так пристально на меня смотрит, изучает? Словно изъян или подвох какой-то ищет, словно с кем-то сравнить хочет, словно... Что-то тут явно не то! Подозрительно...

Я от смущения потупилась и начала нервно переминаться с ноги на ногу, но всё же сумела произнести:

— Я тоже рада, Таисия Михайловна. Женья мне о вас тоже много рассказывал, вернее, о вашей работе в театре. Он вами так гордится, так вас любит, прямо боготворит! Да... контрамарку мне, то есть нам, обещал достать на один из спектаклей, но пока почему-то не получилось, — добавила я, уже немного осмелев.

— Ах, он такой-сякой, обманщик! — Таисия Михайловна игриво погрозила сыну пальцем. — Я эту ошибку обязательно исправлю. Считай, что вы с Женей уже почти в театре, в первых рядах партера. Ты какую оперу больше любишь: «Евгений Онегин» или «Чио-Чио-Сан»?

— И ту и другую. Лишь бы с вашим замечательным участием, — добавила я с откровенной лестью. Таисия Михайловна мне сразу понравилась. Молодая, красивая, улыбающаяся, доброжелательная!

Кроме того, интуиция и здравый смысл подсказывали, что с будущей свекровью, особенно настолько обожаемой сыном, надо сразу налаживать хорошие отношения.

— А ты, оказывается, дипломатка. Это большое достоинство в характере молодой девушки... и, возможно, моей будущей невестки, — похвалила меня Женина мама, подмигнула накрашенным миндалевидным черным глазом и улыбнулась сияющей улыбкой оперной дивы.

Ничего себе! Она меня назвала будущей невесткой! Значит, я ей тоже понравилась, и она одобряет нашу любовь. Значит, я не зря старалась, готовилась... Боже, какое счастье! А может, она лука-

вит, хитрит? Может, это, как говорится, просто ход конем? Нет, не похоже! Да и зачем ей хитрить? Какой в этом смысл? И действительно, чем я могу ей не понравиться?

Я уже в который раз осмотрела себя в зеркале прихожей и пришла к выводу, что, без ложной скромности, очень даже хороша. Таковую невестку еще поискать надо!

Тут раздался звонок в дверь, и еще один... словом, гость пошел косяком, и это отвлекло Таисию Михайловну от моей нервной особы. Я вздохнула свободно и расслабилась.

Народу приехало много: какие-то московские родственники и родня из Новосибирска, друзья семьи, соседи по дому, несколько одноклассников, Лиза и еще один симпатичный парнишка нашего возраста, лицо которого мне почему-то показалось знакомым. Оно вынырнуло откуда-то из прошлого как стертое, нечеткое воспоминание. Откуда, откуда я знаю этого парня? Ведь я точно его знаю! Серьезный взгляд карих глаз, густая кудрявая шевелюра и застенчивая улыбка.

– Ну что, Ирочка, узнаешь друга детства? – спросил Женя, подводя ко мне знакомого незнакомца. – Вы же старые друзья! Вместе с нянями гуляли, в песочнице играли, в мячик и в классики, с горки катались на санках. Ну? Давай, вспоминай!

С нянями... В песочнице, в мячик, с горки на санках...

И тут расплывчатое воспоминание обрело четкую форму, застыло, словно фотография в фокусе, и меня осенило: да это же Генка из нашего дома, мальчик из моего детства! Повзрослевший, шестнадцатилетний, но всё же узнаваемый, такой милый, почти родной. Вот это настоящий приятный сюрприз! Ай да Женька! Знал, как меня обрадовать.

– Генка, неужели это ты? Т-ты вернулся? Вы... вас... – пробормотала я, запинаясь, не веря своим глазам, оглядываясь по сторонам и не зная, как облечь сумбур моих мыслей в допустимую для чужих ушей словесную форму.

– Он самый, собственной персоной. Открыто и радостно сообщая. Нас, так сказать, милостиво вернули. Отца полностью реабилитировали. Правда, в этом элитарном доме мы больше не живем, да мне, правду говоря, и не хочется снова здесь жить. Слишком много печальных воспоминаний... Но всё равно – я так люблю Москву и... очень рад тебя видеть!

– А я-то как рада! Вот это да! Откуда вы знакомы с Женей?

– Мы учились в Новосибирске в одном классе, когда нам с мамой разрешили перебраться из поселения в большой город. Сидели за одной партой, дружили. Сначала Женина семья уехала в Москву, потом и мы за ними потянулись. То есть нам позволили это

сделать широким жестом государственного правосудия. Отца даже восстановили на работе в Кремлевской клинике. Мы с Женькой связи не теряли. Переписывались. И вот я здесь – на Женькином дне рождения. Как говорится, «с корабля на бал».

– Генка, Геночка! Какое счастье, что... ваши черные дни миновали. И мне очень, очень приятно тебя снова увидеть. Как твои родители и няня?

– Папа постарел, похудел, но держится молодцом. Мама болеет, но не сдается. Много ей пришлось пережить. Няня... еще тогда вернулась в свою деревню. Куда деваться-то? Не в Сибирь же ей было за нами ехать.

– Да! Я понимаю. А моя няня жива и всё еще с нами. Помнишь ее?

– Конечно, помню! Добрая такая и мудрая простая женщина.

– Я еще многое хочу тебе рассказать, о многом расспросить, но это уже в другой раз. Да? Мы же не прощаемся? Мы же теперь будем видеться?

– Конечно! Само собой. Ирка, Ирочка! Да хоть завтра... после школы.

Мы обнялись и поцеловали друг друга в щеку.

– Ну вот, я же говорил, что сюрприз будет приятным. А ты сомневалась. Уже и целуетесь! И это при мне, на глазах у всех! Смотрите у меня! Без шалостей! Я не Отелло, но могу и взревновать, – шутливо прокомментировал наш поцелуй Женя и улыбнулся, радуясь нашей с Генкой радости. – Теперь будем Геннадия, что называется, вводить в высший свет. Ха-ха! Для начала познакомим его с Лизой. Лиза, королева Елизавета Первая и неповторимая! Иди сюда! Гена, познакомься, это Лиза – комсорг, краса, гордость, ум, честь и совесть нашего девятого «А» класса. Лиза, это мой близкий друг Гена, он прибыл «из глубины сибирских руд, где хранил гордое терпенье...»

Какой Женька всё-таки умный! Как он умеет сглаживать сложные ситуации и острые углы, да еще с юмором. И Пушкина вспомнил к месту. Не зря я его, так сказать, к литературе прислоняю. И недаром люблю!

Стол буквально ломился от яств из нашего спецраспределителя. Гости рассаживались на места, указанные хозяевами. Меня посадили рядом с Женей. Это, видимо, означало официальное признание моего статуса Жениной девушки.

Лизу посадили рядом с Геной. Или они сами так уселись? Похоже, они оба были довольны этим знакомством и соседством. Казалось бы, такие разные люди и судьбы... Кто бы мог подумать! Она – наш комсорг! Он – сын бывшего врага народа! Как сказала бы моя няня: «Воистину, пути Господни неисповедимы!» Моя атеистка-бабушка бы

ей возразила: «Вечно ты, Дуня, Господа поминаешь. А я вот думаю, что Бога-то и нет! Слишком много горя на нашей земле. Был бы Бог, он бы этого не допустил». А упрямая няня бы ей на то сказала: «Библию надо читать, Мария Петровна! Там про всё написано: и про горе, и про радость...»

День рождения удался на славу. Вкусной еды и напитков было ешь-пей не хочу. Женины родители постарались. Шестнадцать лет – всё же еще не восемнадцать, не совершеннолетие, но юному поколению, исключительно по случаю торжества (так и было сказано), налили по одной рюмке вина. Женин отец, Александр Матвеевич, не великий оратор, но идеологически подкованный офицер Советской армии, произнес тост, несколько тяжеловесный, неоригинальный и слишком высокопарный, но по существу. Не придерешься:

– Сегодня для нашей семьи знаменательный день. Моему единственному сыну Евгению исполняется шестнадцать лет. Он получит паспорт, не какой-нибудь, а советский. Паспорт самой лучшей, самой справедливой страны в мире. Я поздравляю Женю с этим важным событием и желаю ему здоровья, удачи и счастья! Пусть он с достоинством носит паспорт нашей великой Родины. Ура, товарищи!

Все закричали «ура», одобрительно захлопали в ладоши и выпили. А я посмотрела на Генку. Гена в ладоши не хлопал, «ура» не кричал, просто молча допил свой бокал вина.

Что он думал о «самой справедливой стране в мире», суд которой приговорил его отца к десяти годам лагерей, я могла только догадываться. Выражение его лица было непроницаемым. Видно, жизнь научила его скрывать свои чувства и мысли. Неудивительно! Бедный парень! Сколько ему пришлось пережить! Мое сердце переполняли нежность и сострадание к Генке.

– Ты произнес замечательный тост, папочка! Спасибо тебе! – сказала Таисия Михайловна своему мужу. – Но мы же не в Генштабе, не на плацу и не на партийном собрании. Давайте просто веселиться. Я включаю музыку, пусть молодежь потанцует.

Все после торжественной речи Александра Матвеевича облегченно вздохнули и встали из-за стола. Гена пригласил Лизу, Женя – меня. Остальные гости тоже разделились на парочки. Таисия Михайловна водрузила бобину на привезенный из Европы магнитофон фирмы «Грюндиг», и молодежь пустилась танцевать твист. Александр Матвеевич хотел было выразить свое недовольство при звуках тлетворной западной музыки и предложить вальс или хотя бы танго или фокстрот, но Таисия Михайловна одарила его многозначительным взглядом, означавшим: ты уже всё сказал, папочка! Отдыхай и дай отдохнуть другим! И он смолчал.

Очевидно, главой этого дома был не бравый полковник Генштаба, а оперная певица. Что могло связывать этих двух таких разных людей? Он – внушительный, как монумент, старше ее лет на десять-пятнадцать, высокопоставленный чиновник, солдафон и партиец. Она – красавица, примадонна, легкая, игривая, свободных, прозападных взглядов. Физиология, привычка, комфорт, деньги, уважение, верность устоям брака, любовь к сыну, что-то еще?.. Тут явно была какая-то тайна, до которой так просто не докопаться.

И снова всплыло нянино любимое: «Неисповедимы пути Господни!»

ГЛАВА 8. РАССКАЗ ГЕНЫ

На Женином дне рождения мы с Геной толком не поговорили, а мне хотелось как следует с ним пообщаться по старой памяти, о многом его расспросить. Мы встретились после школы в моем любимом Александровском саду, сидели на скамейке, лицом к Кремлю, и говорили, вспоминали... У меня было такое странное ощущение, словно участников разговора было трое: Генка, я и молчаливая, всё знающая кремлевская стена.

– Ну, Ген, рассказывай, с самого начала. Как это всё произошло?

– Глубокой ночью раздался звонок в дверь. За отцом пришли люди в шинелях. Мы все проснулись: папа, мама, няня и я. Нам велели одеться. Потом вызвали еще понятых – дворника с женой. Взрослые всё сразу поняли. Я же абсолютно ничего не понимал, только видел и осознавал, что происходит что-то ужасное, несправедливое, перед чем мы были бессильны, и ревел, обнявши мамины колени. Потом они начали обыск, открывали шкафы, ящики письменного стола, смотрели книги, бумаги, фотографии, письма и всё швыряли на пол. В их жестах было столько презрения к нам, а в глазах – заранее вынесенный приговор. Перерыли постели, даже копались в грязном белье и в мусорном ведре. Не побрезговали. Но ничего запрещенного, компрометирующего так и не нашли. Однако всё равно велели отцу надеть пальто, шапку (мол, пригодится) и следовать за ними. Мама буквально сунула меня в руки няне и бросилась отцу на шею. Ее оттащили. Отца увезли. Я продолжал реветь.

Няня пошла к себе в комнату, я побежал за ней. Она встала на колени перед иконой Божьей Матери и начала истово молиться и бить земные поклоны. Я маленьким никогда не был в церкви, и меня потрясли нянины земные поклоны.

– Няня, нянечка, что ты делаешь? Ты голову разобьешь! – кричал я сквозь слёзы.

– Не мешай няне, сыночек! Няня просит Бога вернуть нашего папу домой, – объяснила мне моя неверующая мама. Но Бог няню не услышал, и папу домой не вернули. И дали ему десять лет лагерей за участие в так называемом сионистском заговоре. А нам велели в течение нескольких дней собрать вещи и покинуть квартиру. На эту квартиру уже, видимо, кто-то позарился, кто-то на отца настроил донос. Кому-то срочно понадобились наши три комнаты в проклятом элитном доме с видом на набережную. Знал бы я, кто этот гад, эта сволочь, сейчас убил бы! И я узнаю, со временем... Вот увидишь!.. Помнишь, как мы стояли во дворе у грузовика с вещами, такие несчастные, растерянные, на виду у всего двора? Ты еще спросила: «А где твой папа, он вас бросил?» А я тебе в ответ нагрубил. Мне и так было плохо, а тут еще ты со своими вопросами.

– Помню. Прости меня, пожалуйста, за мой дурацкий вопрос, если можешь. Я ведь тоже тогда совсем маленькая была и ничего не понимала. Но в глубине души мне тебя было очень жалко. Ты был моим единственным другом, и вдруг тебя от меня забирают... Во мне боролись детская вера в добро и справедливость и жалость к тебе и твоей маме.

– Да, конечно, я тебя давно простил – такую маленькую наивную девочку, у которой отнимают любимую игрушку. Что дальше... В общем, потом нам с мамой велели ехать на поселение под Красноярском. Хорошо еще, что маму тоже в лагерь не отправили, а меня, соответственно, – в детдом. Нам просто чудом повезло. Видимо, там наверху какие-то всё же приличные люди еще были. Или просто бумажки перепутали. Не знаю.

– А как вы жили на поселении?

– Так и жили. Снимали комнату в доме у одних староверов, которые сами отсидели срок, а потом перешли на поселение и построили свой дом. Они были честные, глубоко верующие люди. После отсидки не озлобились. Трудились от зари до зари. Думали – значит, так Господь распорядился. Хорошо к нам относились. У них был огород, корова, куры. Хозяйка нас, городских бедолаг, не приспособленных к суровой сельской жизни на севере, жалела, подкармливала. Но одними яйцами да молоком сыт не будешь. К тому же нужно было за комнату платить, какую-то одежду мне покупать. Я ведь рос. Словом, надо было на что-то жить. Моя мама, учительница музыки, которая так берегла свои руки, что дома в Москве не то что квартиру не убирала, даже обед не готовила, всё делала няня, пошла работать уборщицей в местную больничку, пять километров пешком в один конец. Приходила домой затемно, с руками в волдырях то ли от мороза, то ли от мытья полов. Пока мама работала, за мной присматривала наша

хозяйка дома. Я всё папу не мог забыть. Каждый день маму спрашивал: «Когда придет наш папа, когда, когда?» Мама отвечала: «Подожди еще немного. Он обязательно придет». Потом я пошел в местную начальную школу. Добирался пешком через лес где-то час в один конец. Иногда хозяин нашего дома меня подвозил на телеге или на санях. В школе одни одноклассники мне сочувствовали, другие травили. Как только ни обзывали: и жидом, и сыном предателя родины! Учительница молчала, не хотела вмешиваться. Я теперь понимаю. Она тряслась за свою шкуру, боялась, что и ее привлекут за заступничество. Я всё терпел. Мама просила: «Терпи, сынок! Надо сжать зубы и перетерпеть!»

— Бедный мой Генка! Сколько же вам досталось горя и от власти, и от подлых людишек!

— Да, мы хлебнули горя по полной. Но всё проходит... И, как справедливо писал Ницше, «всё, что нас не убивает, делает нас сильнее». Книжку Ницше в переводе на русский мне втайне дал почитать один из сосланных немцев Поволжья. Прошло четыре года. Мы с мамой освоились, привыкли к нашей жизни и стали сильнее. Потом неожиданно случился, именно случился — я не оговорился — XX съезд партии, потом и отца реабилитировали. Мы переехали в Новосибирск. Это было такое счастье! Папу взяли на работу в местную клинику, маму — в музыкальную школу. Я поступил в школу и там познакомился с Женькой. Остальное ты всё знаешь.

— Да, представляю, сколько вам пришлось пережить... Ген, а можно тебя спросить? Ты прости советскую власть?

— Ирк! А можно тебе не ответить? Я, как типичный представитель еврейского народа, отвечаю вопросом на вопрос.

— Можно. Тогда — так сказать, из другой оперы, — тебе нравится моя подруга Лиза, да? Можешь и на этот вопрос ответить вопросом.

— Нет, на этот вопрос я отвечу. Да, мне нравится Лиза! Она красивая, умная и серьезная. А самое главное, мне кажется, Лиза надежная. Не подведет. На неё можно положиться. Ведь так?

— Да, конечно! Всё правильно. Лизка — кремь! Я за вас очень рада, — сказала я, а в голове вертелось: «Ты ведь еще ничего не знаешь... Что будет, когда узнаешь, кто живет в твоей бывшей квартире... Если узнаешь — отступишься?»

ГЛАВА 9. ЕЩЕ ОДНА ЖГУЧАЯ ТАЙНА

Как-то я пришла из школы раньше обычного — приболела. Отпросилась с последнего урока физкультуры. Не до физкультуры мне было — насморк, кашель, ломота в костях... Хотелось поскорей

добраться домой, согреться и лечь в постель. Учитель физкультуры выслушал меня, посочувствовал, отпустил.

Я еле доплелась до дома, поднялась на лифте на свой этаж, тихонько открыла ключом дверь, чтобы не создавать дополнительного шума и не привлекать внимания к моему раннему приходу и плохому самочувствию (знаю, начнут охать и ахать и пичкать таблетками; лучше бы просто дали чаю с медом, капли в нос и оставили в покое). Я даже пальто не повесила на вешалку, только тихонько сняла сапожки. Так и прошла к себе в комнату на цыпочках: в чулках и в пальто.

Меня так рано не ждали. Из кухни раздавались еле слышные голоса бабушки и няни. Но слух у меня был отличный. Подслушивать я не собиралась, мне было не до того, – но так уж получилось, что услышала весь разговор. Видно, подслушивание как способ познания действительности мне суждено судьбой.

– Дети любят друг дружку. Пушай встречаются. Запретить любовь – это большой грех, – назидательно сказала няня.

– Дуняша, я с тобой частично согласна! Да и вообще! Любовь нельзя запретить, когда она есть. Это варварство, пытка, как резать по живому. Но ты ведь понимаешь, что в данной ситуации лучше оборвать, пока дети еще не поженились и мы не породнились с Таисией. Сергей клянется, что их роман в прошлом, что всё давно кончено и что он просто воспользовался старыми связями и помог Таисии с семьей переехать в Москву и устроиться в театр. Он клянется, но я ему не верю! Ни на грош не верю! Не любит он мою Наташеньку и никогда не любил. Ну, ты понимаешь, Дуняша, – страстно, пылко?

– Чай не маленькая, понимаю. У меня тоже когда-то любимый был, Ванечка. Страсть как любил, да, видать, разлюбил... И вышла я замуж за другого. Не любила, но уважала. Серьезный был такой, положительный. Да и того убили... Я вам уже эту историю рассказывала. Чего повторяться!

– Ох, и тяжелая у тебя жизнь была, Дуняша! Да и сейчас ты целый день трудишься, нас всех обслуживаешь... Не ропщешь. А мы привыкли, как баре. Этакое советское барство.

– Люблю я вас всех. Вы ж мне как родные. Даже Сережку люблю, поганца этакого. Он всё стучит на своей машинке, про любовь пишет и подогревает этими романами свою страсть. А Наташка наша – ему верная жена. Страдает, но терпит его, изменника. Это ж надо! Одно слово – писатель! Тьфу! Прости, Господи!

– Помнишь, они еще в школе симпатизировали друг другу, потом сблизились. Дело молодое. Жили в одном доме. Удобно! Он, вроде, из хорошей семьи. Была у них любовь, какая-никакая. Решили пожениться. Я не возражала. Вот и вся история. Нет! У него с Таисией

другое! Многолетняя безумная страсть! Как он тогда десять лет назад поехал в Новосибирск, так и влюбился вусмерть. Можно напиться вусмерть, но можно и влюбиться. Как женщина и ценительница красоты, я его понимаю, но как теща, как Наташенькина мать, я его убить готова и простить не могу. И всё тут! Бедная моя девочка всё это знает и молчит, печаль в себе держит. И по сей день Таисия вечно на гастролях, а Сергея будто бы посылают в творческие командировки. Куда посылают, только он один и знает. Совсем заврался наш Сереженька. Я уверена, там-то, в командировках, они и встречаются. Дети всё равно рано или поздно узнают правду. И каково им будет эту правду переварить и принять! А? Нет, лучше оборвать прямо сейчас, пока у детей это еще далеко не зашло! Хотя мне Женя очень даже нравится. Парень серьезный и Ирочку нашу обожает. А уж она над ним просто трясется. Вот ситуация... Как поступить, даже не представляю.

— А я думаю, сказать правду и любить не запрещать! Ну, узнают они эту правду, попереживают, и пусть потом сами решают, что с этой правдой делать. Может, разбегутся в разные стороны, а может, из нашего проклятого дома, где столько душегубства сделано, съедут, и любовь еще крепче будет. Нет, любовь нельзя запрещать. У нас в деревне, помню, поп запретил своей дочке выйти замуж за иноверца-татарина, а она с горя взяла да и удавилась. Больно сильно его любила. Такая вышла страшная история... Вся деревня плакала и попа ругала. Не божий человек был тот поп, ох, не божий! Нельзя таким попам слово Божье в народ нести. Поганой хворостиной таких попов гнать из приходов! Вот что! Прости, Господи!

— Типун тебе на язык, Дуняша! Молчи! Вечно ты... со своими страшными историями да предсказаниями. Сергей не поп, а Ирочка — не поповна. Она разумная, современная девочка. Узнает и примет правильное решение.

— Не знаю, не знаю... Как бы не было беды, если запретить! — подытожила няня и многозначительно громыхнула кастрюлями, аж крышки на пол посыпались. Мол, я свое слово сказала. Вы — родная бабушка, вам и решать.

Тема была временно исчерпана, продолжать ее дальше ни бабушка, ни няня не захотели. Разволновались! Испугались? Бабушка ушла в свою комнату и даже в сердцах хлопнула дверью, так что штукатурка посыпалась. Такое с нашей бабушкой редко случалось. Она в самые трудные минуты умела себя держать спокойно и с достоинством, как истинный врач. В квартире наступила абсолютная тишина.

И я заперлась в своей комнате, не зная, как поступить с этой внезапно открывшейся мне страшной тайной. И вообще, что мне делать и как жить дальше. Рассказать Жене или нет? А может, он уже и сам

всё знает... и молчит, боится меня расстраивать. Так вот почему Женина мама меня так пристально разглядывала! Искала во мне отцовские черты? Или мамины? Таисия (мне вдруг захотелось назвать ее просто по имени, без отчества, как-то принизить), конечно, красива, к тому же артистка, певица, солистка одного из лучших в стране театров. Красота и престиж! Это так! Вот папочка и клюнул. Но моя мама тоже хороша и лицом, и фигурой. К тому же она умная и прекрасный специалист, пластический хирург. Ее знают и уважают в Европе и Америке, приглашают на конференции и симпозиумы. Мамочка – самый настоящий специалист по красоте! Не понимаю! Как папа мог! Бабник, предатель!

О Господи! Что же мне делать? Да, и вот что еще подозрительно... Как папе удалось засунуть их в наш дом и запихнуть Таисию в знаменитый московский театр? Ну, допустим, Таисия прекрасно поет и, чтобы поступить в театр, она выиграла конкурс. Но в наш дом не так-то легко попасть. Неужели мой папа на кого-то настрочил донос, чтобы тех несчастных, как Генкину семью, выселили? Не может быть! Папа не такой! Бабник, да! Но не доносчик! И времена доносов кончились. А может, не кончились, и никогда не кончатся... Проклятый наш дом!

Я беззвучно рыдала. Проливала слезы и беспорядочно обдумывала ситуацию. Жутко разболелась голова. Стучало в висках. Текло не только из глаз, но и из носа. Поднялась температура. Мне не хотелось в таком виде показываться перед няней, бабушкой и Маринкой, которая вот-вот должна была прийти из школы. Наилучший выход – лечь в постель. Я глянула на себя в зеркало. Лицо представляло собой одну сплошную мокрую воспаленную маску, которую можно было совершенно обоснованно, повернувшись к стене, упрятать в подушку. Заболела, и всё! Чтоб никаких вопросов.

Пришла из школы Маринка. И как раз зазвонил телефон. Маринка подлетела, быстро сняла трубку, затахтела:

– Алё! Привет, Женька! Тебе, конечно, Ирку позвать, да? Ира! Твой дорогой и ненаглядный Женечка звонит. Ты можешь подойти к телефону?

– Я не могу говорить. Скажи ему, что я заболела и осипла, – прохрипела я.

– Женя, Ира не может подойти к телефону. Она засела в уборной. Расстройство желудка, понос, понимаешь? Позвони позже, – уточнила, смакуя щекотливую ситуацию, вредно-изобретательная Маринка.

Ну, я ей потом покажу уборную и понос! Я ей самой такой понос устрою! Она у меня будет плакать и просить прощения. Маленькая гадина! Вот наградил Бог сестрой! – злилась я.

Женя перезвонил через полчаса. Я прошептала в телефон, что окончательно потеряла голос и мне трудно говорить. Отложили разговор на другой день.

Целый вечер няня, бабушка и мама кудахтали надо мной и пичкали аспирином и народными средствами. Я благодарила Бога, что мое опухшее лицо и слезящиеся глаза можно объяснить простудой. Но ведь простуда не вечна, и рано или поздно мне придется выложить Жене всю правду. А может, вообще ему ничего не говорить и оставить всё как есть, просто плыть по течению? Но как долго я смогу так плыть, и куда меня выбросит это течение? На мягкий песок или на острые камни?

* * *

Несколько дней я болела, лежала в постели. Меня не покидал вопрос: говорить или не говорить? Быть или не быть? Подумав, я решила пока молчать, руководствуясь пословицей: слово – серебро, а молчание – золото. Ну не могла я просто так швырнуть тайну наших родителей в Женю, рискуя сразу же потерять его.

Я вела себя как ни в чем не бывало. А тут еще подфартило. Таисия Михайловна подкинула Жене аж целых четыре бесплатных билета на оперу «Евгений Онегин». Два билета для нас с Женей и два – для Лизы с Геней. С ума сойти! Примадонна расщедрилась! Женя уже тоже был в курсе, что его друг Генка и моя подруга Лиза теперь вместе. Как-то так получилось, что между ними на дне рождения сразу возникла любовь с первого взгляда – или я не знаю, как назвать то чувство, которое ими завладело.

Лиза замучила меня признаниями и деталями. Требовала, чтобы я ей рассказала всё, что я знаю о Гене и его семье. Ну, что я могла рассказать? Что знала его мальчишкой до шестилетнего возраста, что мы гуляли во дворе вместе с нашими нянями, что его отца посадили как врача-вредителя, врага народа, члена сионистского заговора, и потом реабилитировали...

– Сионистского заговора? Ты ничего не путаешь? – уточнила Лиза.

– Да, именно сионистского заговора, которого не было.

На что естественно последовал Лизин вопрос:

– Значит, Геночка из еврейской семьи?

– Естественно! А ты что, не догадываешься? Да он и внешне похож на еврея, симпатичного еврейского мальчика. Тебя это как-то смущает?

– Меня – нет! Нисколько! Я не антисемитка! Но мои предки, к сожалению, не очень-то любят евреев. Папа говорит, что евреи запо-

лонили всё русское искусство и литературу. Русскому писателю и музыканту уже хода нет.

– Твой отец говорит такое? Выходит, он – настоящий юдофоб? Не ожидала.

– Да, он такое говорит, когда выпьет.

– Эх, Лиза, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

– Да, конечно, мой папа не прав. Но что я могу сделать? Если они узнают, что я встречаюсь с еврейским парнем, да еще не с комсомольцем, непременно будет скандал. Знаешь, Гена ведь не вступил в комсомол и даже не собирается. Теперь понятно, почему... Я предвижу кучу проблем с родителями. Генке пока лучше к нам домой совсем не приходить. Будем встречаться у него или на нейтральной территории. Впрочем, Гена и сам сказал мне, что не хочет появляться в нашем печально прославленном доме. У него на наш дом, как это по-научному... идиосинкразия. Всюду мерещатся призраки арестованных и расстрелянных.

– Мне эти призраки тоже мерещатся, хотя в нашей семье никого не арестовали. Ведь мой дед просто чудом избежал ареста. Он взял и вовремя умер... совсем молодым. Помнишь, стихи на смерть Писарева, обращенные к его жене? Кажется, это Некрасов писал: «Не рыдай так безумно над ним, / Хорошо умереть молодым!»

Вот парадокс. Повезло вовремя умереть. Бабушка моя деда, видно, очень любила. Так больше и не вышла замуж. А ведь была умна и красива. Белолицая, образованная купеческая дочь. Да еще и врач от Бога. Женихов – хоть отбавляй. Врачи, пациенты. А она всем подряд отказывала. После смерти деда поставила на своей личной жизни крест и вся ушла в работу и в воспитание дочери. Ну и потом нас с Маринкой мягко так строгала. Такая у меня бабушка!

В общем, проблемы с родителями оказались не только у нас с Женей. Это меня как-то эгоистично успокаивало. Значит, я не одинока.

* * *

Опера «Евгений Онегин» была поставлена с блеском, может, даже лучше, чем в Большом театре. Мы сидели в третьем ряду партера, в самой середине. И видно, и слышно было прекрасно. Голос и игра Таисии превзошли все мои ожидания. Она была бесподобно хороша! Что и говорить! Жгучая брюнетка с белой, атласной кожей. (Или это был толстый слой грима на лице? Неважно! Всё равно хороша!) Женечка мог по праву гордиться своей мамой, что он и делал. Хлопал до боли в ладонях и преподнес своей обожаемой мамуле дорожную корзину красно-белых роз. Купил в нашем спецраспределителе.

(Вообще-то, мы все вчетвером скинулись на эту корзину, но вручил цветы он самолично. Никому не доверил этот торжественный акт!)

Да, неудивительно, что мой папа пал жертвой обаяния и голоса Таисии. Я понимала, что для папы она явилась воплощением, символом женственности, красоты и праздника, своего рода бальной туфелькой, а моя мама была всего лишь привычной домашней тапочкой, красивой, мягкой, удобной, из дорогого материала, но потертой временем. А для полноценной жизни нужны обе: и бальная туфелька, и тапочка. Натрешь ногу в туфельках, танцуя на балу, вернешься домой – можно их скинуть и переодеться в домашние тапочки. Бедный, нерешительный мой папа, трудно было ему совершить честный поступок: бросить маму или отказаться от Таисии. Так и маялся годами.

Бедный папа, бедная мама, бедная Таисия и бедный ее муж! Впрочем, отец Жени, скорее всего, находился в полном неведении, так как при его крутом нраве и «партийно-военной» закваске он бы всей этой раздвоенности не потерпел. Задал бы своей женушке перцу, оттащил бы ее по старинке за волосы (как няня говорит в таких случаях) или развелся бы с ней. Да и Таисия, может, вовсе не бедная. Думаю, что ее вполне устраивал двойной расклад, и она ничего не хотела менять. Впрочем, это всё мои догадки и мучительные размышления, которые еще сильнее терзали меня после спектакля. Женя, Лиза и Гена живо делились восторженными впечатлениями, а я молчала, уставившись себе под ноги. Женя вопросительно посмотрел на меня:

– Ир, а что ты молчишь? Как тебе моя мама в роли Татьяны и вообще спектакль? Я уже который раз слушаю здесь эту оперу, но сегодня, мне кажется, мама превзошла саму себя. Как будто специально для нас пела и играла. Такой Татьяны даже в Большом нет. И еще неизвестно, какая Татьяна лучше – моя мама или Галина Вишневская.

Ну, ты даешь, Женечка, – подумала я. – Уже и Галина Вишневская для тебя не эталон. Твоя любовь к матери переходит все разумные границы.

Но, конечно, я сказала совсем другое:

– Всё было прекрасно: и постановка, и твоя мама, и вообще... Нет слов! – Я больше не могла говорить. В моих глазах стояли слезы.

– Ирочка, что с тобой? Ты плачешь? Но почему? – в Женином голосе послышалась озабоченность.

– Это я от восторга! – с пафосом изрекла я, достала носовой платок, приложила к глазам для видимости, отвернулась и высморкала нос. – Извините, ребята. Видимо, моя простуда еще не совсем прошла, поэтому такая вот слезливая реакция. И вообще, конец такой беспощадно грустный. «Позор... Тоска... О жалкий жребий мой!» Как тут не плакать! – выкрутилась.

– Да, действительно, конец печальный. Но я как-то об этом не думал. Наверное, слишком много раз читал и слушал эту вещь... У меня идея. Давайте пойдем к маме за кулисы. Посмотрим на театр изнутри. Я там был пару лет назад. Гримерка, декорации, костюмы... Театральные тайны. Особая, волшебная атмосфера. Детали перевоплощения. Раскрытие секретов чуда, как мама говорит, «лицедейства». Девочкам точно понравится. Да и мама обрадуется. Она у меня молода душой и любит общаться с молодежью.

– Потрясающая идея! Я никогда не была в театре за кулисами. Я – полностью за! – Лиза аж взвизгнула от восторга.

– А я против. Мне кажется, твоя мама устала, и ей просто надо разгримироваться и отдохнуть. А тут еще мы ввалимся незваную толпой... Поедьте лучше домой. Я паршиво себя чувствую и хочу спать, – сказала я, не очень натурально позевывая и шмыгая носом.

– Ты не хочешь идти к моей маме за кулисы?! Да ты что? Упустить такой шанс! Вот никогда бы не подумал... Я, собственно, это для тебя предложил, – удивился Женя. – Ну, не хочешь, как хочешь. Не насильно же тебя туда тащить. Значит, едем домой.

– Ой, ребята, какие же вы нудные! Ну подумаешь, насморк! Сегодня такой день! Я сто лет не был в театре. Это событие надо как-то отметить! Пошли лучше в кафе, тут недалеко, за углом. Посидим, согреемся, выпьем чаю или кофе с пирожными, – предложил Гена.

– Прекрасная идея! Я за кафе! Еще совсем не поздно, только пол-одиннадцатого. – Лиза тут же согласилась с Геней. – Итак, вы – домой, а мы – в кафе. Разбежались. Пока, ребята!

Она, как свою личную собственность, быстренько схватила Генку под руку, пока он не передумал. И они ушли. Наша идейная комсомолка Лиза влюбилась в некомсомольца и стережет предмет своей любви от посягательств... только непонятно чьих! Как всё запутанно в жизни!

Пошел снег, сначала мелкий, жесткий. Потом повалил хлопьями, будто снова пришла зима. Мы с Женей еще немного постояли, заперошенные снегом, потоптались у входа в театр и пошли было в сторону метро, как неожиданно подъехало такси, из которого вылез мой разодетый франтом отец, с огромным букетом цветов (тоже, наверное, достал в нашем распределителе), и направился к служебному входу. Представляю, сколько стоил такой букет! Такси осталось ждать. Я отвернулась, чтобы он меня не узнал, и замерла. Вот оно! Сейчас всё и выяснится само собой... Ну и пусть! Когда-то же это должно было случиться! – со страхом и одновременно с облегчением подумала я.

– Ира! Кажется, это твой отец... с букетом. Или я ошибаюсь? Что он здесь делает, ведь спектакль окончен? – осторожно спросил Женя.

– Да, это мой папа. Я не знаю, что он здесь делает. Он мне о

своих делах не докладывает. Наверное, опоздал на спектакль и просто хочет вручить цветы одному из артистов, – пробормотала я, цепляясь за соломинку маленькой лжи.

– А почему ты к нему не подошла и даже нарочно отвернулась? Что происходит? Ты поссорилась с отцом и не хочешь с ним разговаривать? – докапывался до правды Женя.

– Да, ты угадал. Мы сегодня поссорились. Папа не хотел, чтобы я, простуженная, пошла в театр. А я вот не послушала его. Теперь мне будет нагоняй. Идем уже домой! Мне холодно. Ты же не хочешь, чтобы я снова разболелась?

– Понятно! – только и успел сказать Женя, как из дверей театра вышли в обнимку двое: Таисия и мой отец. Он нежно обнимал ее за плечи. Она одной рукой обняла его за талию, в другой руке держала букет цветов. Они оба сияли отрешенными от всех и вся, погруженными лишь в свой внутренний мир и эмоции, улыбками. Нас с Женей они не заметили и быстро нырнули в такси.

Интересно, куда они направлялись? Им было не до нас и вообще ни до кого! Всё было ясно, как на ладони...

– Кажется, у твоего отца роман с моей мамой... – неуверенно сказал Женя и посмотрел мне в глаза.

– Да! – коротко ответила я.

– Ты что-то об этом знаешь?

– Да! Я совсем недавно узнала. Случайно услышала разговор няни с бабушкой.

– Узнала и мне ничего не сказала? Как ты могла? Почему?

– Я не хотела тебя огорчать и... боялась, что ты меня бросишь.

– Но это всё равно когда-нибудь выяснилось бы, ты это понимаешь? И чем позже, тем хуже для нас с тобой.

– Понимаю. Я несколько раз хотела тебе сказать, но у меня как-то язык не поворачивался. Я боялась тебя потерять, Женечка! Я так люблю тебя!

– И я тебя люблю. Бедная моя девочка! Хранить такую тайну. Представляю, как тебе было нелегко. И давно у них этот роман?

– Давно! Много лет.

– Много лет? Ничего себе! Какой кошмар! Теперь понятно, почему мы неожиданно переехали в Москву. Понятно, почему именно в Дом правительства, понятно, почему мама устроилась работать в театре Станиславского. Это всё дело рук твоего отца, его больших связей. Ему надоело ездить на свидания в Новосибирск, и он перетащил свою любовь поближе к дому. Конечно, так удобнее. Он ведь популярный писатель... писака, так сказать... Настроил пару писем кому следует, сделал несколько нужных звонков – и дело в шляпе. Клубок разматы-

вается... – Женья распалился. Он уже не смотрел на меня и говорил не со мной. Он просто рассуждал вслух. – Ну да! Твой отец – столичный ловелас, молодой, обаятельный обольститель провинциальных примадонн! А мой отец – пожилой мужчина, не красавец, невысокого полета, обычный солдафон. Правда, он хоть и полковник, но не Скалзуб, – честный, порядочный человек. К тому же обожает мать... – он взглянул на меня. – Ты же ничего не знаешь. Моя мама – сирота, росла в детдоме, пела в художественной самодеятельности. Мой папа увидел ее молоденькой девушкой, услышал, оценил ее голос и... внешние данные, помог ей поступить в консерваторию и вообще – в жизни помог. Влюбился в нее, как Пигмалион в Галатею. Они поженились. Мой папа для мамы – не только муж, он ей заменил родного отца, старшего брата. Она его тоже полюбила. Папа всё был готов для нее сделать. Тут вдруг появился твой папашка, столичный хлыщ, – и моя мамочка не устояла, сдала позиции... Крепость, так сказать, пала!

– Женья, успокойся, остановись! Ты слишком далеко зашел. Не нам их судить! Нам бы не ссориться, а подумать, что делать, как сохранить нашу любовь.

Но Женья завелся и, казалось, не слышал меня:

– Глупая, наивная моя мама не понимает, что еще пару лет – и она состарится и надоест твоему отцу. Он выбросит ее на свалку, как потрепанную куклу, и найдет себе игрушку поновее. Какая банальная, пошлая история! Твой отец – просто мерзавец! У меня нет слов!

– Женья, замолчи! Да как ты можешь? Не смей оскорблять моего отца! Да, мой отец влюбился в твою мать, но он же не насильно затащил ее в постель. Она сама... Такие вещи случаются. Это жизнь.

– Не насильно, само собой. Но он – всё равно мерзавец, разрушил мою семью. Как сказал Ленский об Онегине: «Вы – бесчестный соблазнитель!» Ира, прости меня, пожалуйста! Я понимаю, этот человек – твой отец, ты его любишь, но он не заслуживает, мягко выражаясь, моего уважения. И неужели тебе не жаль твою маму? Мне кажется, она очень любит твоего отца и, как я теперь понимаю, страдает.

– Да, мне очень жаль мою маму, жаль их всех, а нас с тобой – в первую очередь. Понимаешь, нас – в первую очередь! У них была жизнь, любовь, а мы с тобой только начинаем жить и любить. В чем мы виноваты? Почему мы должны расплачиваться за их грехи?

– Мы с тобой, Ирка, не виноваты. Но надо как-то распутать этот грязный клубок.

– Как распутать? Что ты предлагаешь? Что я могу сделать! Я не могу приказывать моему отцу бросить твою мать. Он просто не станет меня слушать. И я прежде всего хочу сохранить нашу любовь.

Понимаешь? Да и ты не можешь приказать своей матери не изменять своему отцу.

– Не могу приказать, но могу поговорить, попросить. Она любит меня, поймет. Она ради меня всё сделает.

– Ой ли! Ни черта она не поймет! Когда речь идет о любви, даже такие обожаемые дети, как ты, отходят на задний план.

– Может, ты и права. Но я всё равно попробую с ней поговорить. Я не могу это так оставить.

– Попробуй! Сомневаюсь, что у тебя что-то получится. Удачи! Я уезжаю.

– Подожди! Не уходи вот так. Я совсем запутался... Надо найти какой-то выход. Но твой отец – всё равно подлец!

Я поняла, что Женю не остановишь. Я больше не могла слушать его гневные упрёки и оскорбления в адрес моего отца. Просто махнула на всё рукой, сказала:

– Пока, поговорим в другой раз, когда ты успокоишься и сможешь здраво рассуждать! – и побежала в метро. Он не стал меня догонять.

ГЛАВА 11. ПРИЗРАКИ ПОБЕЖДАЮТ

После сцены у театра Женя перестал со мной разговаривать, в классе даже в мою сторону не смотрел. Вернее, когда наши взгляды случайно встречались, он отводил глаза. Я вся извелась, больше не могла терпеть этого многозначительного молчания и написала ему записку: «Женечка! Я люблю тебя! Мне ужасно горько и плохо! Я совсем перестала спать. Няня поит меня валерьянкой, а бабушка тащит к невропатологу. Следующим этапом будет психиатр. Так дальше не может продолжаться. Если ты меня еще не разлюбил, давай встретимся у тебя дома и поговорим».

Он ответил: «Ира! Я поговорил с мамой. Она надо мной посмеялась, поцеловала меня в лоб и сказала, что я маленький дурачок, ничего не понимаю в жизни. И чтобы я не смел ничего говорить папе и нервировать его по пустякам. Оказывается, ее роман с твоим отцом – это пустяк. Я не знаю, что делать, и еще не готов к разговору с тобой. Подожди! Дай мне время очухаться от всего этого кошмара. Я напишу или позвоню тебе».

Он даже не написал, что меня любит. Мне было обидно до слез. Выходит, мать для сына – важнее возлюбленной. Не для всякого сына! Для такого преданного сыночка, как Женя. Он боготворит свою мамочку. Она назвала его «маленьким дурачком», а ему хоть бы что. Он всё равно ее боготворит. А как же я и наша любовь? А как же библейское «муж и жена – одна плоть»? Да, но я ведь ему еще не жена,

хотя Таисия и назвала меня своей будущей невесткой. Но это она так, из хитрости, чтобы заманить меня в свои сети, настроить против моей мамы. Коварная актрисуля погорелого театра захомотала моего папу, отбила у жены, у семьи. И Женька, в угоду своей мамочке, стряхнул меня, словно снял с руки перчатку. За что? В чем я провинилась? Я не чувствовала за собой никакой вины. В голове у меня всё перепуталось. Я была на грани нервного срыва. Нет, не на грани... Я ждала моего Женю и сходила с ума, думала:

Если он ко мне не вернётся, я покончу с собой. Брошусь с балкона на набережную.

Няня и бабушка, обеспокоенные моим плохим настроением и бессонницей, спрашивали:

– Что произошло? Почему Женя к нам больше не приходит? Вы что, поссорились?

Я отвечала:

– Да, мы поссорились, но это не навсегда!

– Эх, милые бранятся – только тешатся! Перебесятся, – сказала няня. А бабушка пыталась меня вызвать на откровенный разговор, но у нее ничего не вышло. Я упорно отмалчивалась.

Лиза, конечно, тоже заметила наше охлаждение. Еще бы! То мы с Женей были неразлучны, а то вроде как чужие. Она буквально забомбила меня вопросами:

– Что между вами произошло? Вы поссорились? Он тебе изменил? Нашел другую? Давай, выкладывай всё как есть! Ну!

– Ни первое, ни второе, ни третье! Просто... появилось, как бы это сказать, некое препятствие. Мы пока его не можем преодолеть.

– Какое еще такое препятствие? Говори немедленно, или я, честное слово, обижусь, – Лиза впиалась в меня взглядом. Будто хотела проникнуть в мой мозг. Будто ответ на этот вопрос был для нее решением какой-то ее собственной проблемы.

– Я не могу тебе этого рассказать. Это не только моя тайна.

– Ты должна, просто обязана мне всё выложить. Иначе, клянусь, горшки об пол. Я тебе тоже кое-что расскажу, и ты поймешь, как это важно.

– Достала ты меня, Лизка! Ну ладно, скажу. Только ты поклянись никому ничего не рассказывать. И так всё плохо. Нам не нужны лишние сплетни.

– Клянусь! Ты же меня знаешь. Я не из болтливых. Что плохо?

– В общем, у моего отца, оказывается, многолетний роман с Жениной матерью. Когда Женька об этом узнал, у него просто крыша поехала. Он возненавидел моего папу, называет его бабником, мерзавцем, подлецом и соблазнителем провинциальных примадонн и поэтому перестал со мной разговаривать.

– Вот ужас-то! Час от часу не легче. А что вы с Женькой можете сделать? Они – родители и имеют право на свою личную жизнь, пусть и неправильную. И вы тоже имеете право на любовь. Вы – наши Ромео и Джульетта. Вашу любовь признал весь класс и даже учителя. Нет, это точно прямо Шекспир какой-то!

– Ну, я надеюсь, что до шекспировских страстей не дойдет, хотя иногда я чувствую, что на грани...

– На грани чего? Не сходи с ума! Всё образуется.

– Ты права. Просто надо выждать. И если Женька умный и меня по-настоящему любит, он ко мне вернется. А если нет... значит, не очень-то и любит, любил... – я уже в который раз заплакала. От бес- силия что-либо изменить, от безысходности.

– Перестань реветь, Ирка! А то я сейчас тоже заплачу. Не везет нам с тобой, подруга! Знаешь, и у нас с Геночкой появилось, как ты говоришь, препятствие. Скоро мой день рождения. Я хотела бы при- гласить нескольких ребят, ну и тебя с Женькой, конечно. Заодно, нако- нец, познакомить Гену с моими родителями. Понимаю, что будут про- блемы, но надо же это когда-то сделать! Но Гена не желает приходить в наш, как он говорит, «дом с призраками». А когда я назвала ему номер моей квартиры, он вообще словно впал в ступор. Схватился за голову, убежал, не простившись, ничего не объяснив. Перестал мне звонить и на мои звонки не отвечает. Ума не приложу, что произошло и что мне делать. Почему ему не понравился номер нашей квартиры?

– Ой, Лиза, я не хотела тебе ничего говорить, но чувствовала, предполагала, что вы в конце концов разбежитесь. Всё и так ясно! Вы ведь поселились в квартире, которую занимала Генкина семья перед тем, как его отца арестовали и мать с малолетним сыном выслали в Сибирь. Генка, наверное, думает, что твой отец написал донос на его отца, чтобы заполучить квартиру в нашем доме. Если честно, то когда вы въехали в эту злополучную квартиру, мои родители и бабушка тоже так думали. (Мне бабушка рассказывала, что для нашего «дома с призраками» такая смена жильцов – далеко не редкое явление.) Но потом, когда мы вас поближе узнали, эти подозрения рассеялись, стерлись из памяти. Мы с тобой подружились. И родители наши, хоть и не стали близкими друзьями, но здороваются, как добрые соседи. К тому же наши отцы – коллеги, члены Союза писателей.

Лиза побледнела, но молча, стоически выслушала мой монолог. Потом ее прорвало.

– Ты – моя лучшая подруга, Ира, но говоришь страшные вещи! Да как у тебя только язык поворачивается? Мой отец – доносчик?! Я не верю! Не желаю верить! Он – честный, порядочный человек и про- грессивный писатель. Просто бывшая Генкина квартира оказалась

свободной, а мы стояли на очереди в этот дом. Отцу как крупному писателю, лауреату Государственной премии, полагалась отдельная комната. Вот нам и дали трехкомнатную квартиру.

– Не веришь? А ты возьми да и спроси у своего отца, как вы получили эту «квартиру с призраками». Интересно, что он тебе скажет? Конечно, он всё будет отрицать! Уверена, что ты до правды не докопаешься. Ты же не пойдешь в КГБ и не станешь просить открыть архивы доносов и арестов в нашем доме. А если и пойдешь, тебя, малолетку, просто пошлют ко всем чертям, еще и отца в КГБ вызовут и будут ему промывать мозги за то, что неправильно воспитал дочь.

– Что же мне делать, Ирка? Неужели нет никакого выхода? Ну, допустим, мой отец написал этот гнусный донос. Хотя, повторяю, я в это не верю! И всё тут! Мой отец – антисемит! Признаю, хоть в этом и стыдно признаться. Но он не доносчик, не стукач, не осведомитель! И вообще... почему мы должны расплачиваться за грехи наших отцов? Это несправедливо и жестоко!

– Какая там справедливость! В этой жизни нет никакой справедливости. Женя никогда не простит моего отца, а Гена – твоего. Видно, придется нам в конце концов выбирать между любимыми и родителями. Если бы нам сейчас было восемнадцать лет, мы могли поступать самостоятельно, устроиться на работу, уехать от родителей, снять комнату где-нибудь под Москвой, пожениться. А в шестнадцать лет куда денешься! Мы – школьники. Полная зависимость от родителей. Так что, Лизавета, дела наши – швах. «Любовные лодки разбились о быт.»

– А если нам на какое-то время затаиться, притвориться, что любовь прошла, завяли хризантемы. А потом, после окончания школы, поступления в вуз и получения относительной свободы снять комнату или хотя бы переселиться в общежитие и всё начать по новой? Что скажешь? – Лиза не унималась, она была на выдумки хитра и не хотела сдаваться без боя.

– Можно попробовать, но, думаю, что ничего из этой затеи не выйдет. Мы-то с тобой выдержим срок, а вот Гена с Женей – не уверена. Они слишком упрямы и категоричны. Не умеют притворяться и ждать. Воспримут разрыв со всей серьезностью. Просто разлюбят. Не вижу никакого выхода.

Мы еще с Лизой какое-то время поплакали друг другу в жилетки и разошлись по домам.

* * *

Прошло два года. За это время многое изменилось. Мои родители после долгих размышлений, тяжких разговоров и сцен, бабушки-

ных увещеваний, маминых слез, папиного очередного покаяния и его новых обещаний в конце концов всё-таки развелись. Тут решающую роль сыграла бабушка. Она считала, что мама еще слишком молода и может найти другого мужчину, который составит счастье ее жизни.

Мы разменяли нашу четырехкомнатную квартиру на трехкомнатную и однокомнатную, правда, в не столь престижных районах и домах, но всё же недалеко от центра. Прощай, «дом с призраками!» В однокомнатную переехал отец. Сидит там и пишет свои повести, романы и сценарии. Мы с Мариной его иногда навещаем. Он искренне радуется нашему приходу и даже ради нас прерывает поток своего «нетленного» творчества.

Один раз мы провели эксперимент. Нагрянули неожиданно, без предварительного звонка, и (о казус!) застали в его квартире полуодетую молодую хорошенькую женщину, скорее всего, очередную любовницу. Она была напугана нашим внезапным появлением и, пробормотав сразу «здрасьте» и «до свидания», быстро оделась и испарилась. Мы с Мариной понимающе переглянулись и вопросов отцу не задавали. Сам он был слегка смущен, но ничего не стал объяснять... Чего уж тут! Ведь мы уже взрослые девицы и должны понимать, что такое жизнь с ее лицевой стороной и изнанкой... Выходит, Женька был прав, когда сказал, что мой папочка скоро найдет себе новую игрушку вместо Таисии. Такой вот ловелас мой папуля. Впрочем, это даже свойственно людям литературы и искусства. Зачем далеко ходить... Но я всё равно моего любвеобильного папулю люблю, принимаю его таким, как есть, со всеми слабостями к женскому полу, и прощаю, хоть и не понимаю, почему он поменял маму на Таисию, а Таисию — на эту юную хорошенькую мордашку. Не понимаю, и всё тут! Видимо, это хроническая мужская полигамия.

В трехкомнатную вселились все остальные члены нашей семьи: мама, бабушка, няня, я и Марина. Мама — в отдельной комнате, так как после работы ей нужны покой и отдых. Бабушка — вместе с няней, я — с Маринкой. Марина повзрослела и с годами утратила значительную часть своей стержности. Мы с ней теперь ладим. Похоже, скоро даже подружмся.

Лизин отец внезапно заболел и скоропостижно умер. У него случился обширный инфаркт. И даже искусные кремлевские кардиологи не смогли его спасти. Что послужило причиной инфаркта, могу только догадываться. Ведь ему не было и пятидесяти лет. Еще совсем не старый, к тому же успешный, популярный писатель и сценарист, лауреат Государственной премии. Многие писатели завидовали его успеху. Может, Лиза достала его своими вопросами, хотела докопаться до истины? Может, он все-таки написал этот подлый донос, и его замучила

совесть? Хотя вряд ли. Доносчиков обычно совесть не мучает. Они подпитываются доносами, как недостающими витаминами и минералами.

Я сразу же позвонила Генке и сообщила ему о смерти Лизиного отца. Надеюсь, что хоть эта смерть их с Лизой примирит. Генка молча выслушал меня, потом попросил передать Лизе свои искренние соболезнования, но сам ей не позвонил и ни на похороны, ни на поминки не приехал. И вообще без всяких объяснений исчез из Лизиной жизни. Они больше так и не встретились. Для Лизы, конечно, смерть отца и разрыв с Генкой явились двойным ударом. Но моя подруга сделана из крепкого металла. Не расплавишь и не согнешь. Она погоревала какое-то время, затем успокоилась и продолжала строить свою личную жизнь и карьеру, перешагивая через новые препятствия.

Мы с Женей окончили одиннадцатый класс. Наш школьный роман после роковых «исторических семейных раскопок» так и не возобновился. Я не пыталась покончить счеты с жизнью. Сначала духу не хватило прервать мое драгоценное земное существование. Потом я не то что бы охладела к любимому и успокоилась, но как-то застыла в ожидании Жениного первого шага к пониманию, прощению и примирению. Я много думала над сложившейся ситуацией и, в конце концов, сумела проявить зрелость разума и чувств и если не понять, то простить своего отца и даже Таисию. И не теряла надежды, что Женя тоже повзрослеет, и мы, может быть, встретимся на каком-то новом жизненном витке, и прежние чувства вспыхнут с новой силой. Ведь первую любовь забыть нельзя. Я вспоминала наш поход в театр и прощальный дуэт Онегина и Татьяны: «А счастье было так возможно, так близко...» Да, этот поход в театр оказался роковым и символичным. Но если бы не Женино упрямство и не юношеская уверенность в праве выносить приговор тем, чьи поступки выходили за рамки принятых приличий, наша любовь бы не прервалась...

Истинная любовь – явление редкое. Она – как благословение Божье, и этим благословением нельзя жертвовать. Такие жертвы преступны перед собственной жизнью, которую надо прожить так, чтобы не было... Не буду продолжать эту известную и навязшую всем в зубах еще со школы цитату. Тем более, что жертвы наши оказались совершенно напрасными. Ничто и никого мы не спасли. Мои родители всё равно развелись. И папуля бросил не только маму, но и Таисию. А родители Жени? Я не знаю, как сложились их дальнейшие отношения. Мне почему-то хотелось верить, что стареющая оперная дива по-прежнему держится за своего braveго мужа-полковника. Ведь таланту и красоте нужна надежная опора (да и прочная опора в виде символического костыля). С другой стороны, ее чувственная, артистическая натура не сможет довольствоваться лишь достойной

оправой и крепкой опорой. Ей нужны не только театральные, но и реальные страсти. Таисия, может, даже ищет (или уже нашла) замену моему отцу. Хотела бы я узнать, как сложилась ее личная жизнь. Не для удовлетворения своего самолюбия, а лишь для того, чтобы бросить факты мамочкиных любовных приключений в лицо ее сыну.

На, смотри, на кого и во имя чего ты меня променял!

Наверное, мне нужно было спустя какое-то время, преодолев гордость и сомнения, набравшись душевных сил, пойти к Жене домой, нагрянуть без звонка, встряхнуть его хорошенько за плечи и заглянуть в ему в глаза, чтобы достучаться до его разума. И крикнуть:

– Что ты делаешь? Опомнись! Ведь ты не мог так скоро разлюбить меня. Вернись ко мне! У родителей своя жизнь, у нас – своя! Сейчас XX век, и наши семьи не Монтекки и не Капулетти.

Но я не сдвинулась с места, хотела, чтобы он осознал свою ошибку и сделал первый шаг. Струсил. Испугалась, что получу отказ.

Вечно я боялась сделать первый шаг! Время шло. Женя не звонил, не приходил, не писал.

Время шло и ушло. Нельзя упускать время. Оно имеет свойство не возвращаться. И никакими попытками, уловками, просьбами и мольбами его нельзя повернуть вспять. Та самая жар-птица, которая залетела в наше отрочество, решительно упорхнула, помажав нам на прощание своим роскошным огненным хвостом. Жар-птицы не любят пренебрежительного обращения с ними.

ЭПИЛОГ

Прошло полвека. За эти годы столько воды утекло в Москва-реке! А «дом с призраками», как символ сталинской эпохи, по-прежнему высится внушительным мрачным монолитом на Берсеневской набережной и хранит свои тайны. Иногда я проезжаю или прохожу мимо, бросаю печальный взгляд на родные пенаты, но не останавливаюсь и внутрь дома не захожу. Да и к кому мне заходить! Все, кого я знала и любила, либо уехали оттуда, либо ушли в мир иной. Нет больше ни бабушки, ни няни, ни моих, ни Жениных, ни Лизиных родителей. К дому подъезжают дорожные иномарки, из машин выходят незнакомые, модно и броско одетые, чужие мне молодые люди новой эпохи. Кто проживает в наших старых квартирах, не знаю, да и какое мне дело до этих людей! На первом этаже открыли нечто вроде небольшого музея «Дома на набережной». А мне этот музей ни к чему. Я сама – живой экспонат. Хоть выставляй меня в витрине этого музея.

Лиза, решительно покончив с комсомольским прошлым, неожиданно выскочила замуж за американского бизнесмена русского раз-

лива и упорхнула в Нью-Йорк на ПМЖ. У нее теперь грин-карта и полная свобода передвижения в Америку и обратно. Пишет, что счастлива, родила ребенка, помогает мужу в бизнесе и по Москве нисколько не скучает. Думаю, она лукавит, так как зачастила в Москву – вроде по делам, а на самом деле – приглушить ностальгию. Она прилетает и еще из аэропорта сразу звонит мне. Мы с ней искренне рады друг другу и обычно встречаемся в том самом кафе, в которое они с Геной ходили после оперы «Евгений Онегин» и в которое мы с Женей так и не пошли. Почему мы выбираем именно это место встречи? Наверное, хотим снова всколыхнуть воспоминания и чувства полувековой давности...

И я вот думаю, а что если бы мы все-таки пошли с ними в это кафе и не увидели моего отца с Таисией? Может, это что-то бы изменило? И сама себе отвечаю: Ирина, ты была мечтательницей еще со времен начальной школы. Помнишь, это свойство твоей натуры заметила учительница Нина Ивановна? Ты ловила в окне ворон, а жар-птицу упустила.

Моя сестра Марина перенаправила стержневость своего характера в более полезное для жизни русло. Она прекрасно устроила свою личную и профессиональную жизнь: вышла замуж за «нового русского» и, чтобы не сидеть дома без дела, открыла на Арбате магазин сувениров, став успешной бизнесвумен. Мы больше не ссоримся. Эра детского соперничества давно в прошлом. Нам нечего делить. У нас разные судьбы. Я Маринке не завидую. У меня иное, более камерное, представление о семейном счастье. Она мне более не завидует. Жалеет. Говорит, что я – старорежимная романтическая дурочка. Мы посылаем друг другу смешные поздравлялки с праздниками и круглыми датами. Живем в одном городе, но видимся редко, разве что на свадьбах, похоронах и на могилах наших родных.

Гена с родителями в начале семидесятых эмигрировал в Израиль. Он служил в израильской армии, участвовал в войне Судного дня, женился на коренной израильтянке, выучил в совершенстве иврит, получил медицинское образование, стал блестящим нейрохирургом, народил троих детей и полностью адаптировался на Земле обетованной. Гена несколько раз приезжал на симпозиумы и конференции в Москву. Мы встречались в ресторане гостиницы «Москва» и у меня дома и вспоминали наше детство. О Лизе он не спрашивал. Как отрезал. Как будто их романа вовсе не было. Жизнь закалила Гену. У него сформировался железный характер.

Женя, как мне рассказала Лиза, а она всё знает о наших одноклассниках, вступил в компартию в середине семидесятых, а в начале девяностых, как многие, решительно порвал свой партбилет и даже

сжег оставшиеся клочки. А женился он на балерине Большого театра, видимо, по маминой наводке. В начале двухтысячных он стал крутым владельцем сети крупных торговых фирм и поселился на Рублевке в доме-дворце за глухим забором с колючей проволокой. Разъезжает на BMW с тонированными стеклами. Сам за руль не садится. Зачем? У него личный шофер и охранник. Женин отец давно умер, а мать дожила до глубокой старости и молодилась до последнего дня.

Я окончила русское отделение филфака МГУ и до сих пор работаю редактором в одном из толстых московских журналов. Зарплата небольшая, зато занимаюсь любимым делом. Не сегодня-завтра меня отправят на пенсию. А может, и журнал закроют, если не найдут спонсора. Теперь толстые журналы непопулярны. Молодежь зарылась в Интернет и айфоны, а старая интеллигенция постепенно вымирает.

Выйду на пенсию – и тогда-то начну писать. У меня уже зреет в голове сюжет романа о юности и первой любви – в старом забытом жанре Bildungsroman...

Я давно переборола свою любовь к Жене; я вышла замуж за однокурсника по филфаку. Между прочим, снова влюбилась. Да-да, как это ни удивительно, – вышла замуж по любви. Первая любовь не исключает вторую. И моя вторая любовь оказалась не такой хрупкой и обреченной, как первая. Она пронесла меня через иллюзии, веру в перестройку, через бедность в лихие девяностые, через экономический кризис начальных 2000-х годов. Не сломалась. Мой муж, как и отец, – писатель. Видно, это наша семейная традиция – или неизлечимое заболевание. Отец целый день стучал на пишущей машинке, муж приспособился к новой эпохе: тюкает на компьютере сценарии для телевизионных сериалов (мелодрам и детективов). Между прочим, неплохо зарабатывает. И я скоро тоже примкну к писательскому цеху. У нас с мужем двое детей и четверо внуков.

Мы с Женой как-то пересеклись на встрече выпускников нашей школы (он даже рискнул приехать без охраны, чтобы не смущать одноклассников своей «крутостью»), и сердце мое, как ни странно, не дрогнуло. Хотя я ужасно боялась этой встречи. Боялась, что снова попаду под влияние его харизматичного, мужественного имиджа и обволакивающего взгляда бархатно-черных глаз. (Что мы скажем друг другу? Вспомним прошлое? Погрустим о том, что могло бы свершиться, но не свершилось? Спросим: «Ты счастлив/счастлива?»...) Но со мной произошло неожиданное сердечное затмение. Сердце не затрепетало, а покрылось некой защитной броней, что ли. Актный зал, бурливший выпускниками разных возрастов, был ярко освещен. Даже чересчур, безжалостно ярко. Никаких приглушенных тонов, смягчающих следы времени на лицах и телах моих ровесни-

ков. И вот передо мной предстал не мой любимый и трогательно влюбленный нежный мальчик Женя, а абсолютно чужой мужчина средних лет, слишком высокий, располневший (о таких говорят «человек-шкаф»), полысевший, с остатками седых волос на висках и на затылке. В его походке и жестах отражалась самоуверенность крупного бизнесмена. По-прежнему бархатно-черные глаза смотрели на мир иронично и устало, утратив живой блеск, свойственный юности.

О моей внешности, дамы в возрасте, рассуждать и писать не берусь. Одни утверждают, что я чудесно сохранилась, другие, наоборот, замечают больше морщин и складок на моем лице, чем отражает зеркало. Наверное, и первые, и вторые по-своему правы... Всё зависит от того, кто отпускает оценивающие ремарки.

Мы с Женей, оторопев, уставились друг на друга, обменявшись печально-удивленными (боже, как ты изменился/изменилась!) взглядами, парой коротких, ничего не значащих вежливых слов и заодно – номерами мобильных телефонов.

– Здесь так шумно, – заметил Женя, – не поговорить, а уединяться как-то не по-товарищески по отношению к нашим.

– Да! И музыка гремит по голове. Весь мозг вышибает, – добавила я. – Но мы же можем встретиться как-нибудь в кафе или в парке, в нормальной тихой обстановке, если захотим.

– Конечно! Я хочу встретиться и тебе непременно позвоню, – поддержал мою мысль Женя.

– Или я тебе, – предложила я.

Он еще что-то хотел сказать, но слова так и остались невысказанными.

Музыка заглушала даже те короткие фразы, которые мы сумели из себя выдавить. Да, не так я представляла себе нашу встречу...

Мы так и не позвонили друг другу. Не сложилось... И, наверное, правильно сделали, что не позвонили. Одной встречи для разочарования было более чем достаточно. Трогательно юное, прекрасное прошлое давно отыграло свою драму. Тяжелый занавес опустился на сцену после финального акта. Настоящее же для нас существовало в разных социальных слоях общества, бесконечно далеких друг от друга. А общего будущего просто не могло быть.

Как своевольно и сурово распоряжается нашими чувствами судьба! От первой любви не осталось и следа. Только память и неизбежная грусть. Скоро мы, как и те, кто уже ушел, станем призраками Дома на набережной.

Нью-Йорк, Март 2019 года

Андрей Бауман

ЛЕНИНГРАДСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

баю-бай замерзла вьюга-егоза
баю-баю поскорей закрой глаза
фонари лежат на высохшей спине
подрумяненное солнце на стене

твои карточки закончились во втор-
никогда тебе не выглянуть во двор
ты отрезанный ломоть подметена
подчистую иждивенка тишина

на другой не поворачивайся бок
за него тебя куснёт голодный бог
сытный зайчик на стене на полови! —
не своей ты нашей жизнью не живи

ты наш выбеленный вычерненный свет
в снежном мякише теряющийся след
на поджаристое солнце посмотри
и пожалуйста пожалуйста умри

пусть тебе ни сном ни духом за окном
будет прахом будет пухом метроном
даже если наше время пожуюшь
всё равно ты до утра не доживешь

мы разделим твой и кров и стол и срам
твой довесок по утрам и вечерам
сотворим тебе акафист круговой
свет напишем над твоею головой

мы тебе поставим памятник потом
будут хлеб и лебеда и суп с котом
ты отправишься в душистый вкусный рай
баю-баю поскорее умирай

В ТОТ ГОД

В тот год
сошлась повсеместная годовщина
дети псов целовали скошенный смертью лоб
и время приводило себя в исполнение

В тот год
птичья сушь стояла на отмелях
и агнчий хрип под сводом загонов
Осень-солдатка
в кровь стирала ржавое листовое белье
в расплывшихся пятнами ручьях

В тот год
церкви и поля
стояли с раскрытыми нефами
залитыми солнечной кровью
И торфяной огонь
баюкал скрюченные тела

В тот год
слово искало выхода
и не находило себя
и каждое слово было нигде
ничего не весящее
никем не весомое
данное никому
во всеуслышание

* * *

умершие приходят в места лишенные мест
вспомнить себя
какими никогда не были
какими всегда не станут
процветшие временем и пространством
одетые в прозрачность
слушая каждой клеткой
тишину замурованную в глухое бельканто судорог
в симметричные боскеты необратимости:

симметрия покрывает всех
в слепом бесперебойном запечатлении.
тело — консенсус трав и запятнанной боли:
несветимое перекрёстное сияние
пáрная кожа мира

* * *

земля просыпается
из вещмешков
земля шевелится там где закопаны жизни недостойные жить
заживо брошенные семена в священную почву
траншейные внутренности слепых силуэтов
складываются в мгновенный узор
фигуры уходящие в эту цинковую пустоту
фаршированную пеплом и музыкой
локонами праха жонглирует
фуга белизны ведóмая сухой гравировальной иглой
по фаянсовой коже распада
немного хлеба
немного вина
немного невинность в игристом воздухе лета
освященном плотью и кровью
что заполняют каждую полость
воздуха и земли

* * *

тело войны́
внутри камня, песка и зерна
воздух полон
разостланных побережий света
сквозь осколочные разрывы
чужого, сопротивляемого зрения
вспыхнувшая глубина
поверхность
покров
боль
сияние
кожа непрочитанной крови

* * *

однажды наши чужие губы
покроются зрением и
свяжут в трубчатый крик
роговую грамматику боли
и загорится блаженная скань ветра
на изнанке шелушащейся меди
провидящая те глаза
в течение которых
вспыхнула фосфорическим пеплом и смальтой артерий
сверхновая
и сделалось явным повсюду
как смерть лузгает тела
на холмах опустошения
на сверкающем бессветном просторе
человеческого

ПРЕДДВЕРИЕ

сквозь парусину стен
сквозь тишину сирен
карточный домик вен
памятник сердца сложит
примятый наружу вой
обглоданный луговой
покрытый чужой травой
и внутренним камнем кожи

сквозь камень шелушащийся внутри
ракушечные здания вотри
сквозь мышцы букв которыми смотри
мистраль окостенеющий в картину
сквозь вытканый из красных клеток страх
мгновенно воскресаем в зеркалах
где будем восстановлены в телах
в преддверии себя необратимо

* * *

времена вслаиваются в плоть друг друга
вплоть до молнии обнажающей суставы и кости
доходящей до сочленения сердца и имени
в безымянном лоне взаимных природ
в неподвижном средоточии вѣтра
архангел
говорящий безмерное огненными листьями
неотвратимо присутствуя при
трубном окоченении мира
при его оканчивающем начале
неподвластном тождеству и тавтологии

* * *

самое последнее дело
выжечь красноречие
оставить себя
ни с чем
с этим веществом
мира

Санкт-Петербург

Игорь Метельский

БЕТОНОМЕШАЛКА

горожан ли толченная масса
деревенских скупая щепотка
представитель рабочего класса
академик с надменной бородкой

или ты – совершенно неважно
с точки зренья осеннего ветра
заостряется лес карандашный
под холодной рукой геомётра

может быть меж природных развалин
обостреньем ослаблен сезонным
но как будто я всмятку раздавлен
горьким фактом железобетонным

что конечно весьма тривиален:
всюду боль и всякого жалко
как заметил один марсианин
вот такая бетономешалка.

ОБНУЛЕНИЕ

падением гулким предмета
я выбит из той колеи
в которую ловко продета
веревочка мертвой петли

как будто в пространстве Калуцы
застыл в состоянье нуля
и разум не хочет вернуться
и снизу не давит земля

мгновение это возможно
сверкнуло в полуденной мгле
напомнить пока осторожно
о чем-то в немой глубине.

* * *

знать бы как оно на самом деле
легкостью пройти бы иноходца
нолик тяжелеет твой нательный
дерево молчит не признается

только всё поводит строгой веткой
птицами жонглирует вплетая
в облако выстреливая метко
дробью засекреченного грая

медленно снижаются на шифер
шепота осеннего записки
красочным изрезанные шифром
пляшет увядающий травинский

истина торчит из подземелья
слишком ярко слишком неприметно
может это грустное везенье
номер лотерейного билета.

* * *

плывет кувыркась по шпалам
вбирая сырой креозот
дырявый пакет из «Ашана»
снижением зацикленный взлет

до полупрозрачности тонкий
скиталец он сдюжил почти
с полдюжины банок тушенки
крупу с овощным ассорти

теперь одиноко скользящий
простой чередой лемнискат
дыханьем смиренным шуршащий
красиво уходит в закат

одна лишь надежда осталась
что выписав все антраша
полиэтиленовый парус
вернется в родимый «Ашан».

ОТТЕПЕЛЬ 04.02.2019

потеплело
раскудахтались вороны
праздничные сплетни поутру
капелек арпеджио проворно
солнечной сонатой по нутру

виноград в спадающем хитоне
сельская сырая дребедень
будто Фил в далеком Панксатони
не заметил собственную тень

пухленький провидец из провидцев
он не знает как мне дорога
жалкая извилистая Битца
размывающая мертвые снега

даже в этом постном микрокосме
несмотря на голые кресты
хочется надеяться на «после»
шепчет метафизика весны.

* * *

люблю весну: прохладный воздух сух
кипит земля приличия утратив
цветет в саду новорожденный слух
обласканный мелизмами Скарлатти

всё дышит новостью терпение дразня
на ветке дрозд читает монологи
сквозь ветер диффундирует в меня
растительная сумма теологий

диктуя: если способом красот
сезонных воплощается соната
то слышится как этот эпизод
в ней партию играет Аквината.

ТОЧКА РОСЫ

вечер
растопыренный лилейник
прочно зафиксированный пленник
зрительного снимка
молча ждет
когда же я прочту
мысленно: упругая росинка
нехотя сползает по листу

насыщай невидимую влагой
кадров затяжную анфиладу
чтобы вновь в урочные часы
слово сконденсированной каплей
высветилось будто бы внезапно
схваченное точкою росы.

* * *

и если так разматывать цепочку
под линзой то додумаешься до
пучка идей сходящегося в точку
сквозь баховский портал до-ми-соль-до

из точки этой жизни панорама
вся видится могучей кутерьмой
а счастье безусловно — это мама
зовущая детеныша домой.

Московская область

Дария Брылевская

* * *

животное
не знает слов
из мрака вьет
смоляную плоть
словоБог
вьет в язык
свет

* * *

ликует дрожью тела
хребет смирения ломает
и выскребает сердце
как нежеланный плод
Гордыня —
оружие и битва и победа

* * *

Каждому камню свое место,
каждому греху свое время.
Вдох важнее верного слова,
ночь ближе мертвого Бога.
Ближний свет — Голгофа?
Из тех ли ты мест, Петр?
Кто назвал мое имя?
Кто покаялся — тот повесился,
а ты, пес, переживешь Воскресение.
Камень недвижим.

* * *

боль переросла крик
порождено молчание
в муках
выплакать
тень слезы
бесплодием

* * *

блудная дочь
мне некуда возвращаться
исходная точка не дом —
время
Отец ждет меня там
ни-где
еще ничего нет
еще не случилось
объятие

Санкт-Петербург

Григорий Марк

* * *

Прошлой ночью, примерно в четыре, постель,
где я спал, приподнялась. С чудовищным треском
шов времени вдруг разошелся. И щель
рассекла тишину, переполнилась блеском –
нет, даже не блеском, но отблеском – счастья.
Вошел, тяготение преодолев.
На белой земле проступил горельеф
из застывших давно обстоятельств, стоящих
вдоль линии прожитых снов, как столбы.
Столько раз натыкался уже, и не вспомнить.
А тут, раздвигая мерцанья, забыв
обо всем, я над ними летел. И в лицо мне
хлестали холодные, снежные искры.
Сливались столбы обстоятельств вдали.
Чем-то длинным и черным казались, росли,
превращались в отрубленный хвост василиска.*

23-26 декабря, 2009

*Василиск – мифологическое животное с головой петуха и хвостом дракона. На спине вдоль хвоста торчат черные шипы-позвонки. Человек, увидевший василиска, умирает от ужаса. Единственный способ убить василиска – поставить перед ним зеркало. Тогда, от отвращения к себе, он теряет силу, и в этот момент нужно отрубить ему хвост.

* * *

Разговор словно мост над бурлящим потоком.
Двое смотрят на воду, на россыпь камней,
вспоминают ушедших, и мост кособокий,
с каждым словом качаясь, скрипит всё сильнее.

Лунный свет пробивается между горами,
Наполняет ущелье от края до края
Восседа в открытых гробах, проплывают
люди детства. Зияют пустыми зрачками.

Машут тем на мосту равнодушно, устало.
Возвращаясь во тьму, исчезают. И сразу
освещение сменилось, раздвинулись скалы.
Всё ущелье нельзя охватить уже глазом.

Это прошлое снова меняет окраску.
Черно-белая графика в свете наклонном
стала серой, чуть розовой. Детская сказка
там, где были параграфы четких законов.

То ли рыб, то ли птиц неподвижные стаи
в небесах разноцветным застывшим салютом.
Мост веревочный, будто качели, взлетает
и дрожит. Может рухнуть в любую минуту.

Двое я – тот, которому семьдесят восемь,
и притихший ребенок – уходим. А где-то
за спиной слышны шорохи. Ветер разносит
по ущелью клочки страхов, сказок и света.

ГЛОРИЯ

Человечек стоял на вершине горы.
Заходившее солнце впивалось в затылок.
Нестерпимо искрились кристаллики снега.

Позабыв о себе, он стоял неподвижно,
опираясь на палку. Улыбка его
отношения к жизни вообще не имела.

В облаках перед ним проступала фигура,
обведенная тонкими кольцами света.
Свет был красным снаружи и синим внутри.

Это радуга, соединившись концами,
просветленную тень отделяла от неба.
Многослойные кольца как будто дышали
то сжимая ее, то опять раздувая.

Человечек очнулся и двинулся вниз.
Ребятишки бежали за ним по пятам,
обзывали придурком, швырялись камнями.

Но всё время, пока он спускался с горы,
в круглой радуге тень рукавами махала,
отводила летевшие в голову камни.

Он добрался домой и, похоже, уснул.
По кровати сквозь жалюзи плыли лучи,
на полу застывая распластанной арфой.

Свесил ногу во сне и коснулся носком
самой крайней струны, проверяя звучанье.
Просветленная тень в облаках задрожала,
каждой жилкою тела его отзываясь.

Июль – август, 2019

* * *

Весь ветер в сосновых иголках
деревьев зеленый оркестр
и сумрачно светлое небо

В ковре отороченном мохом
с потрепанною бахромою
прорехи камней ноздреватых

Зеленый оркестр деревьев
и женщина в сером халате
блуждает вслепую по дому

Святящийся ветер иголок
сшивает над кронами тучи
дурманная музыка сосен

Настраивают инструменты
и не дожидаясь ответа
звучания пробуют в вышних

Сквозь траурный марш светотеней
оркестр растущих деревьев
сосновое многоголосье

Круженье верхушек под небом
слепым возвращением темы
теряющих медленно память

А женщина в маленьком доме
всё ищет пропавшие вещи
душа ее слабо мерцает

И страх что плетется за нею
хватает внезапно за горло
деревьев растущий оркестр

Лепечущий свод бормотанья
созвучия ветра и сосен
вливающихся в забытье

11-17 июня, 2019

* * *

Шел в колонне, но сам по себе, много лет.
Видел только дорогу и контуры тел.
Иногда озарялись затылки, гудел
проносившийся мимо безжизненный свет.

Но сейчас будто в землю вдруг канули все.
Примесь музыки в шорохе ветра. Простор
пустоты. Свет в лицо мне направлен, в упор.
Спотыкаясь, по встречной иду полосе.

1 марта, 2019

* * *

Вытаскивал ловко как фокусник из пустоты
пластины железные с дырками, гайки, болты.

Сюжетом их свинчивал прочно в теплушки для эзков.
Запихивал в поезд нелепых своих имяреков.

Снаружи на ключ запирали их. Нашептывал что-то.
Состав, громыхая и лязгая на поворотах,

во тьму уходил вдоль мельканья мостов и туннелей
сквозь сотни страниц. Имяреки молились и пели.

А тот, кто всё создал, смотрел неподвижно и строго,
лицом нависая над детской железной дорогой.

В последний момент, за секунду уже до крушенья,
он вдруг перевел незаметным, но точным движеньем

какую-то стрелку на рельсах. И поезд, сначала
чуть вздрогнув, отъехал на путь запасной за вокзалом.

26 ноября, 2019

* * *

Раздвигает созвездья
над городом ветер.
Тьма стекает в расщелины
между домами.
В глубине раздаются
глухие удары.

Это звон колокольный
блуждающим эхом
вдоль по каменным улицам
сонных предместий
слепо тычется в стены,
колотится в двери.

Геометрия длинных
безжизненных линий,
где в растворе сгустившейся
тьмы незаметно
оседают кристаллики
желтого света,

освещаются окна,
в них детские лица...

*28 июня 2019
Бостон*

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

К 110-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

Марк Уральский

Яснополянские летописи раввина

Визит раввина Дж. Краускопфа к Л. Н. Толстому

6 июля 1894 г. яснополянский учитель сыновей графа Л. Н. Толстого Владимир Федорович Лазурский (1869–1947) записал в своем дневнике: «Вечером приехали два еврея – Джозеф Краускопф и Л.Брамсон, один русский, другой американский, основатель новой еврейской секты, являющейся компромиссом с христианством. Они приехали просить Льва Николаевича, чтобы он написал что-нибудь для облегчения участи евреев. Тот отвечал в таком духе, что по заказу никогда ничего не пишет. Евреи скоро уехали. Разговаривали по-английски, но Лев Николаевич с трудом объясняется на этом языке, хотя, когда читает, очень хорошо понимает оттенки языка»¹. 18/19 июля 1894 г. Толстой написал своему ученику И. Б. Файнерману (Тенеромо)²: «Американец-еврей, проповедник д-р Иосиф Краускопф приехал ходатайствовать перед правительством о том, чтобы русским евреям отвели землю для колонизации в России. Они же в Америке соберут капиталы для обустройства этих колоний и пришлют руководителей. План хорош, но сомнительно, чтобы правительство согласилось. Все-таки я им выразил свое полное сочувствие и дал записку к вам, думая, что вы можете ему дать хороший совет. Ехать вам к нему не стоит. Духа человек этот – далеко не христианского. Он оставил мне книжечку своих проповедей, в одной из которых доказывается, что не следует подставлять другую щеку и отдавать кафтан, а следует показать кулак и кнут, чтобы вас не ударили еще и не взяли кафтан. Человек совсем чуждый по духу»³.

В поездке по России североамериканского раввина из Филадельфии Джозефа Краускопфа сопровождал присяжный поверенный Леонтий Брамсон, заведовавший тогда в Санкт-Петербурге еврейскими училищами «Общества для распространения просвещения между евреями в России». В конце 1890-х он организовывал в черте еврейской оседлости учебные заведения и кооперативно-кредитные учреждения. Десятилетие спустя он станет видным российским политическим и общественным деятелем: депутатом 1-й Государ-

ственной думы от народно-трудовой партии, секретарем «Союза для достижения полноправия еврейского народа в России» и ведущим сотрудником ОРТа, одной из крупнейших еврейских общественных организаций, действующих и по сей день в мире под названием Всемирный ОРТ (World ORT)⁴. Основная задача ОРТа, в том виде как ее сформулировали его отцы-основатели, была направлена «на вспомоществование и дальнейшее развитие существующих уже для евреев ремесленных училищ, на содействие к открытию новых таких училищ, на облегчение переезда ремесленников из одного места в другое, на вспомоществование еврейским земледельческим колониям, основание новых таких колоний, образование ферм и земледельческих школ». Возглавив в 1904 году ОРТ, Брамсон, в частности, заявил, что приоритетной целью этой организации является «восстановление в экономическом строе еврейского населения некоторого равновесия: усиления – наряду с классами торговцев и посредников – класса ремесленников, рабочих и земледельцев»⁵. Таким образом, общественные интересы Краускопфа и Брамсона в области еврейской профессионально-трудовой эмансипации во многом совпадали, а намерение американских евреев профинансировать сеть земледельческих еврейских колоний в России казалось перспективным начинанием.

Раввин Джозеф Краускопф был выдающимся деятелем американской еврейской общины, лидером движения реформистского иудаизма в США, плодовитым публицистом и активным общественником. Он родился в Восточной Пруссии 21 января 1858 г. и в возрасте четырнадцати лет эмигрировал в США. Он поселился в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, где уже жили его двоюродные братья. Там он нашел работу клерка в магазине чая. Оставаясь приверженцем иудаизма, он, т. к. в городе не было еврейской общины, посещал местную унитарную церковь, где получил поддержку и покровительство со стороны одной из влиятельных прихожанок – Мэри Слейд (1826–1882), известной как автор библейских песнопений и литературы для детей. Она руководила самообразованием Краускопфа, поскольку он не мог позволить себе бросить работу, чтобы посещать школу, а в 1875 г. порекомендовала его раввину Исааку Майеру Вайзу⁶, который организовывал первый раввинский класс в недавно основанном им Еврейском Объединенном колледже-институте религии (The Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, HUC) в Цинциннати, штат Огайо. В течение восьми лет пребывания в Огайо Краускопф получил высшее образование, степень бакалавра в Университете Цинциннати, а в 1883 г. и раввинское рукоположение в HUC. За эти годы он широко публиковался в печати и издал ряд своих книг, в том числе «Библейская этика: Руководство по истории и прин-

ципам иудаизма в соответствии с еврейскими Писаниями» (1884). В 1885 г. Краускопф защитил диссертацию и получил степень доктора богословия в НУС и был приглашен на должность раввина синагоги Канзас-Сити. Здесь он стал чрезвычайно популярен как в еврейской общине, так и среди городского сообщества. Он читал широко посещаемые публичные лекции, некоторые из которых впоследствии были изданы в книжном формате. Кроме того, он был вовлечен в широкий спектр гражданских мероприятий. Губернатор Миссури сделал его пожизненным членом совета Национальной конференции милосердия в исправительных учреждениях. В 1885 г. он сыграл важную роль в организации реформистской конференции раввинов в Питтсбурге. На этой конференции была принята «Питтсбургская платформа», которая стала определяющим программным документом реформистского иудаизма в то время.

В июле 1887 г. Краускопф принял предложение от реформистской конгрегации «Кнесет Израэль» (Дом Израиля) в Филадельфии, которая благодаря его усилиям со временем превратилась в крупнейшую реформистскую иудейскую организацию США. Помимо традиционного субботнего богослужения, раввин Краускопф читал воскресные проповеди-лекции, в которых затрагивал широкий круг богословских, этических, обществоведческих и естественнонаучных тем. Талантливый оратор, он собирал тысячные аудитории слушателей из числа не только евреев, но и христиан. Краускопф публиковал эти проповеди-лекции в виде брошюр, которые хорошо продавались. Как еврейский общественник, он был одним из создателей еврейского издательского общества США в 1888 году.

Пойдя по стопам своего духовного учителя рава Исаака Майера Вайса, Краускопф посвятил себя изучению иудейско-христианских отношений и даже попытался поднять авторитет апостола Павла как представителя пророческого иудаизма⁷. Он тесно сотрудничал с католическими и протестантскими лидерами в Филадельфии и был видной фигурой в интеллектуальных кругах, проповедующих идеи этнического и религиозного плюрализма.

В 1894 году Краускопф посетил Россию, чтобы исследовать положение евреев в стране. Первоначально российское правительство отказалось дать ему въездную визу по той только причине, что он является евреем. Это привело к принятию в Конгрессе резолюции, предложенной представителем Мэриленда Исидором Рейнером⁸, в которой содержится призыв к Соединенным Штатам аннулировать существующий договор с Россией на том основании, что если американский гражданин не может свободно путешествовать по России, то Соединенные Штаты не должны поддерживать с ней договор о друж-

бе. В результате этого политического скандала Краускопфу был разрешен въезд в страну; он встречался с американскими дипломатами, российскими политическими лидерами, еврейскими и русскими интеллектуалами, включая Льва Толстого. По предложению Толстого Краускопф посетил еврейские сельскохозяйственные колонии в Российской империи и Еврейскую сельскохозяйственную школу в Одессе. По возвращении он занялся созданием аналогичного учреждения в США, полагая, что оно привлечет евреев из России и поможет им получить образование, чтобы начать новую жизнь в Соединенных Штатах. Поддержку ему оказали частные меценаты, государственные фонды и Федерация еврейских благотворительных организаций Филадельфии. В 1896 г. усилиями Краускопфа была открыта Национальная фермерская школа в Дойлстауне (Doylestown), штат Пенсильвания. Школа не являлась религиозной, большинство первых ее учеников были евреями. Краускопф стал первым президентом школы, которая со временем превратилась в университет – Delaware Valley University. Во время Испано-американской войны 1898 г. Краускопф стал лидером Национальной комиссии по оказанию помощи и был одним из трех полевых комиссаров, посетивших военные лагеря Соединенных Штатов и Кубы. Почти сразу после прибытия на Кубу Краускопф связался с еврейским филантропом Натаном Штраусом, убедив его пожертвовать фабрику по производству льда для нужд американских войск на Кубе.

На Кубе Краускопф подружился с полковником Теодором Рузвельтом⁹ – будущим президентом США. В 1903 г. Краускопф был избран генеральным директором Мемориального фонда Исаака Мейера Вайса и президентом Центральной конференции американских раввинов-реформаторов.

Краускопф был плодовитым писателем. После своего рукоположения в раввины он опубликовал 14 книг, сотни проповедей в виде брошюр, многочисленные журнальные и газетные статьи. В своей книге «Эволюция и иудаизм» (1887) он признавал легитимность эволюции и теорию Дарвина, развивая тезис о том, что наука должна быть связана с религией, потому что Бог представляет собой Высший разум, в соответствии с Планом которого и происходит эволюция. Поэтому не может быть никакого конфликта между религией и наукой. Та сумма Высшей Воли, Высшей Силы, Высшего Разума, которую эволюционисты называют Царством Естественного Закона, богословы – в интерпретации Краускопфа – называют Богом. В книге «Иисус – человек или Бог?» (1915) Краускопф, сравнивая благовествование Иисуса из Назарета с учением Гиллеля Великого¹⁰, утверждает, что Иисус из Назарета был типичным еврейским

законоучителем. По его утверждению, вековечное преследование евреев является результатом отвержения или забвения христианством ветхозаветного происхождения, в результате чего оно, по сути, вырождается в язычество. Краускопф считал, что раннее христианство, и особенно Новый Завет, были искажены «чужеродным материалом» – фальсифицированной историей, заимствованиями из языческой мифологии, персидской демонологии и египетского мистицизма. Он был убежден, что современное христианство, очистив себя от всех этих загрязняющих и искажающих дух его учения примесей, вернется к своим еврейским корням, к учению великих еврейских пророков и рава Иисуса из Назарета. В этом отношении взгляды раввина Краускопфа практически совпадают с тем видением личности Христа и христианского учения в целом, что заявлял в своем учении Лев Толстой. Однако по многим пунктам их позиции не совпадают, причем являются даже антагонистическими. На этот факт Краускопф не раз обращает внимание в своей апологетической по отношению к личности графа Толстого работе о его встрече с писателем.

Главное, на наш взгляд, расхождение между ними, позволившее Толстому аттестовать Краускопфа как «человека совсем чуждого по духу», – это неприятие равном острого принципа толстовского верования – непротивления злу насилием. Не исключено, что под впечатлением от общения с американским либеральным раввином Толстой 6 июля 1894 г. оставил следующую запись в своем Дневнике: «Думал: 1) Мы часто досаждем на людей за их непринятие хрис[тианского] мировоззрения, несмотря на то, что они понимают его. Это напрасно. Оно им не нужно. Они живут, как животные, – не в смысле обиды, а в смысле невозможности обнять вопрос жизни во всем том значении, при кот[ором] христианство дает свой ответ. Живет, веселится, печалится, радуется, страдает, растет, стареет и умирает, не задавая себе вопроса: зачем; и ему не нужно хр[истианского] учения, оно неуместно для него»¹¹.

Краускопф христианское мировоззрение явно понимал, но *не принимал*, потому что, в отличие от Толстого, не слышал в нем *Нового Слова*, или это слово казалось ему не очень важным в сравнении с тем, что уже было сказано иудейскими пророками. Он ревностно чтит Закон Моисеев, а Иисус из Назарета был для него, прежде всего, еврейский патриот (sic!), тогда как Толстой эти личностные, конкретно-исторические ипостаси своего великого Учителя старался по возможности игнорировать, а в некоторых случаях даже отрицать. Как явствует из прилагаемого ниже текста Краускопфа, он считал, что отсутствие его дальнейшего общения с Толстым, который не

откликался на его письма, являлось следствием цензурной блокады писателя, осуществлявшейся царским правительством. Трудно судить, насколько это его утверждение соответствовало действительному положению дел, т. к. возникает законный вопрос: почему он не мог передавать свою корреспонденцию на имя Толстого через третьих лиц, например, сотрудников американского посольства? Примечательно, что и с Брамсоном у Краускопфа отношения тоже не стали дружескими; ни тот ни другой больше не пытались вести какую-либо совместную деятельность.

О том, что Леонтий Брамсон написал статью о своем посещении с Краускопфом Ясной Поляны, Фейнеман сообщил Толстому в письме от 10 августа 1894 г.¹² Что касается Краускопфа, то хотя его проект, как и предполагал Толстой, остался лишь на бумаге, подробности своей встречи и беседы с русским христианским мыслителем-реформатором были представлены им в пяти докладах на съезде Еврейской реформистской конгрегации «Кнессет Израэль» в 1910 г., а затем в 1911 г. изданы отдельной брошюрой¹³.

Толстой, которому ребе с его крепкой иудейской закваской пришелся не ко двору, не мог знать, какой огромный духовный импульс сообщил он еврейскому мыслителю из США. Краускопф был настолько в восторге от встречи с Толстым, что публично сравнивал его личность с Моисеем, Исайей, Иеремией и Сократом. «Час разговора с Толстым по своей познавательной ценности в области политических и социальных наук» казался ему «равным целому университетскому курсу». Основанной в долине реки Делаваэр сельскохозяйственной школе Краускопф присвоил имя Льва Толстого и, что совсем непостижимо, этот утонченный иудейский экзегет во всеуслышание заявил своим коллегам-раввинам, что мировая религия будущего во многом будет толстовством.

Сегодня, в 110-ю годовщину со дня смерти «Великого Льва» книга Джозефа Краускопфа «Мой визит к Толстому», составленная на основе воспоминаний о встрече и беседах автора со Львом Толстым в июне 1894 г. и цитат из толстовских публицистических произведений: «В чем моя вера?», «Церковь и государство», «Рабство нашего времени», «О значении русской революции», «Так что же нам делать?» и др. — это не только уникальный исторический документ. В контексте идейных дискуссий, в том числе и в отношении духовного наследия Льва Толстого, что имеют место в интеллектуальной среде современной России, текст книги является вполне злободневным и, несомненно, полемичным. Мы приводим его русский перевод в сокращенном виде с необходимыми, на наш взгляд, комментариями.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Электронный ресурс «Лев Николаевич Толстой». URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/vospominaniya/v-vospominaniyah-sovremennikov/lazurskij-dnevnik.htm>
2. Фейнерман Исаак Борисович (лит. псевд. Тенеромо, 1863–1925), русский публицист, писатель и кинодраматург, последователь Л. Н. Толстого.
3. *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. в 90 тт. – М.: Худлит, 1935–1964. Т. 67. Сс. 177–178.
4. ОРТ – Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России, основанное в 1880 г. по инициативе известных финансистов и промышленников России (Самуила Полякова, Горация Гинцбурга и др.). Оказавшись в 1920 г. в эмиграции, Леонтий Брамсон вплоть до кончины в 1941 г. (Марсель) являлся руководителем World ORT.
5. *Брамсон Л.* Еврейское профессиональное образование в прошлом и настоящем // Доклад на совещании Временного комитета ОРТ. 1904 г.: URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003719319#?page=5>
6. Уроженец Богемии рав И. М. Вайс (Wise; 1819–1900) столь прославился в США как выдающийся раввин, что после своей кончины был назван современниками «американским Моисеем» (He was know as «The Moses of America» // The New York Times. March 27, 1900).
7. *Langton Daniel.* The Apostle Paul in the Jewish Imagination. – NY: Cambridge University Press. Pp. 79–81.
8. Рейнер (Rayner) Исидор (1850–1912), член Конгресса США, сенатор от Демократической партии в 1887–1889 и 1891–1895 гг. Генеральный прокурор штата Мэриленд в 1899–1903 гг.
9. Рузвельт (Roosevelt) Теодор (1858–1919), американский политик, 25-й вице-президент США, 26-й президент США от Республиканской партии (1901–1909), лауреат Нобелевской премии мира за 1906 год.
10. Гиллель (Гиллель I «Великий», Хиллел Вавилонянин или Хиллель ха-Закен; 110 до н.э., Вавилон. – ок. 10 н. э., Иерусалим), наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма; основатель фарисейской школы, называвшейся по его имени «Бет-Гиллель» («Дом Гиллеля»). Личность Гиллеля, сочетавшая мудрость с благочестием, смиренностью и простотой, стала образцом для подражания последующих поколений.
11. *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. Т. 52. С. 125.
12. *Элиасберг Г. А.* Под небом Ясной Поляны: Эпизод 1885 года и его отражение в драматургии И. Тенеромо / В сб.: Лев Толстой в Иерусалиме: Материалы международной научной конференции «Лев Толстой: после юбилея» / Сост. Е. Д. Толстая. – М.: Новое литературное обозрение. 2013. С. 137.
13. URL: <https://www.gutenberg.org/files/49203/49203-h/49203-h.htm>. Имеется также современное переиздание: *Krauskopf Josef.* My Visit to Tolstoy: Five Discourses. – Leipzig. 2015.

Джозеф Краускопф

Яснополянские летописи

Визит раввина Краускопфа к графу Толстому

Мой визит в Россию и его цель

Летом 1894 года я посетил Россию с целью предложить царю план, который мог бы положить конец или уменьшить ужасное положение, в котором существовали евреи в Российской империи. План предусматривал перемещение угнетаемых евреев на свободные земли во внутренних районах страны, где они должны были бы жить в специальных фермерских хозяйствах, на полном обеспечении со стороны филантропических зарубежных организаций вплоть до того времени, пока они не будут в состоянии сами себя прокормить.

Однако вначале на мой запрос о возможности посещения Российской империи я, как еврей, получил от российского правительства отказ. Узнав, что я не буду впущен в Россию, я посоветовался с президентом Кливлендом¹ и государственным секретарем Гришамом², которые, от всей души поддержав мой план, приняли решение вмешаться. Когда российский посол в Вашингтоне заявил о своем бессилии гарантировать, что меня не завернут назад на границе при попытке въехать в его страну, наш государственный секретарь телеграфировал американскому послу в Санкт-Петербурге, чтобы разрешить проблему. Однако в ответ нам было сообщено, что «российское правительство глубоко сожалеет о невозможности для еврейского священнослужителя приехать в их страну».

Возмутительная несправедливость подобного отказа побудила меня с еще большей настойчивостью добиваться разрешения на въезд в Россию. Теперь для меня это было дело принципа: я должен был отстаивать свои гражданские права. Договор между Соединенными Штатами и Россией гарантировал каждому американскому гражданину, а значит и мне, право беспрепятственно вступать на российскую землю. Моя религия – это мое личное дело, и она никак не должна была волновать российские власти. Решимость утвердить верховенство международного права над национальными пред-
рассудками побудила значительную часть американской прессы выступить в мою поддержку. В Конгресс был внесен законопроект о том, что договор между двумя странами должен быть объявлен

расторгнутым, если американский гражданин не будет впущен в Россию по причине его религии. В самый разгар этой кампании я отправился в Россию, прямо в Санкт-Петербург, и был впущен в страну без всяких проволочек. В российском правительстве, очевидно, посчитали за лучшеепустить меня и затем держать под неусыпным контролем, чем допустить дальнейшее развитие политического скандала с США.

Находясь на территории России, я имел честь вступить в контакт со многими видными представителями русской элиты, одним из которых был Сергей Витте, в то время министр финансов и практически управляющий всей империей, т. к. царь Александр III, находившийся в это время в Крыму, заболел и вскоре после этого там же и умер³.

Однако из всех именитых персон, с которыми я встречался, никто не произвел на меня такого большого впечатления, как граф Лев Толстой. Мой визит к нему стал возможным благодаря г-ну Эндрю Д. Уайту⁴, выдающемуся ученому и государственному деятелю, который в то время представлял нашу страну в Санкт-Петербурге. Он написал графу Толстому и попросил его встретиться со мной, чтобы узнать о миссии, которая привела меня в Россию. Дочь графа Татьяна ответила, что ее отец будет рад, чтобы я навестил его, добавив, однако, к этому, что он в настоящее время занят сенокосом и поэтому имеет совсем немного свободного времени. По этой причине я договорился прибыть во двор его усадьбы в Ясной Поляне ближе к вечеру.

Первыми, кого я и мой спутник, молодой российский юрист (Леон Брамсон. – *M. V.*), встретили, когда оказались в Ясной Поляне, были крестьяне. Они стояли у колодца и протирали водой лица. Брамсон спросил их, где мы можем найти графа. Один из крестьян вышел из группы и снял свою фуражку и сказал, что он и есть Толстой, а узнав мое имя, очень вежливо поприветствовал нас.

С того самого момента, как я впервые увидел Толстого, он с помощью какой-то необыкновенной психической силы пленил меня своим обаянием⁵, и под этим впечатлением от его личности я пребываю и по сей день. В последующие шестнадцать лет моим самым заветным желанием было снова когда-нибудь побывать в России, причем только для того, чтобы еще раз увидеть этого поразительного человека, снова услышать его речь – этот изумительный поток мудрости.

О личности графа Толстого

После того, как я пообщался с Толстым – видел его воочию, слышал его голос, – я часто задавался вопросом: не так ли выглядели

и говорили, осуждали и предсказывали великие пророки и мыслители – Моисей, Исайя, Иеремия, Сократ?! Час разговора с Толстым по своей познавательной ценности в области политических и социальных наук казался мне равным целому университетскому курсу. Одна прогулка с ним по его имению дала мне больше знаний о моральной философии, чем можно было бы получить за год обучения в какой-нибудь религиозной школе.

Как ни велика была для меня ранее сила его пера, неизмеримо большей оказалась сила его живого слова. Во время наших бесед мне казалось, что каким-то таинственным образом поток его речи оказывает гипнотическое влияние, соединяя в единое целое как говорящего, так и его слушателя. Говорящий Толстой иногда, казалось, превращался в сверхчеловеческое существо, казался боговдохновенным. Возникало ощущение, что он не говорит свои слова, а *вещает*. Возможно, именно так для оцепеневших людей звучала речь какого-нибудь древнего пророка Израиля, когда он изрекал: «Так говорит Господь!» Так же и я, слушая Толстого, казался едва способным рассуждать, чувствуя, что мое существо почти теряет свою индивидуальность и дар речи и сливается со всем тем, о чем вещает говорящий.

Временами его голос звучал так, как глас пророка Илии, когда он говорил царю Ахаву: «Ты тот, кто беспокоит Израиль», а временами – так же сладко, как пение русских соловьев. Иногда его сильное, грубое, бородатое лицо напоминало лик «Юпитера во гневе», но затем его выражение резко менялось, и оно уже соперничало по своей безмятежности с одним из ликов святых кисти Рафаэля. Подчас он, как мне казалось, нес на своих плечах все беды мира, напоминая одно из средневековых изображений мученика Иисуса из Назарета, а затем снова становился столь же беззаботным и счастливым, как младенец.

Он явно никогда не учился искусству скрывать свои мысли и эмоции. Его лицо и голос были как зеркало, в котором с микроскопической точностью отражалась его внутренняя сущность. Когда он чувствовал побуждение что-то высказать, он это говорил; а если полагал, что необходимо что-то сделать, он это делал. При том он меньше всего задумывался, будет ли это доставлять удовольствие или недовольство кому-то, принесет ли оно ему похвалу или порицание.

Внешне – в своих изношенных лаптях, грубой домашней блузе и шерстяной рубашке, расстегнутой на шее, в холщевых штанах, опоясанный по талии веревкой, он выглядел, как глыба обветренного гранита где-нибудь в Новой Англии. И действительно, во многом он являл в своих речениях совокупность взглядов, черт и мыслей, которые характерны для пуритан в ранней истории штатов Новой Англии.

Он жил своей жизнью в соответствии со своим собственным внутренним светом. За исключением Бога, он не поклонился ни одному хозяину. Его совесть была его единственным правилом и мерилем права. Его закон был его собственным. Его кредо было его собственным. Его стиль одежды, его образ жизни были его собственным выбором. Он был выше всех, а не чьим-то отголоском. Он был самым свободным человеком в самой порабощенной стране. Он был самым ярким умом в мрачной России, самым демократичным духом в самых авторитарных сферах. Его крестьянская одежда не могла скрыть облик благородного человека, личности, возвысившейся, благодаря своей духовности и личным заслугам, а не по воле властителя. Его крестьянский труд не мог скрыть человека, рожденного повелевать – не с помощью кнута, меча или тюрьмы, но по закону любви, права и правды. <...>

Происшествие во время застолья

В этот вечер Толстой был особенно счастлив. В доставленной к столу почте оказался целый ворох газет. Открыв одну из них – лондонскую «Standard», он заметил, что его статья подверглась жесткой цензуре со стороны российских властей. Значительные части текста были замазаны черными чернилами. Его, однако, позабавило, что содержание пропущенных цензурой частей текста было значительно острее, чем в замазанных. Это свидетельствовало о глупости цензора. Обращаясь ко мне, сидевшем справа от него, Толстой сказал, что если бы статья была панегириком царю, она всё равно подверглась бы такой же «обработке», т. е. текст частично был бы замазан, поскольку независимо от того, что он пишет, предполагается, что все его писания обязательно должны быть революционными. Продолжая, он сказал мне, что эта конкретная статья была из серии статей на тему «Христианство и патриотизм». Не будучи допущенной к открытой публикации в России, она появилась в переводе в Англии. В статье он попытался показать, что христианство и патриотизм несовместимы, что последнее является искусственным образованием, специально в корыстных целях воспитываемым в гражданах их правителями. Из-за того-то и ведутся войны, порождается зло. Патриотически настроенные христиане приносят страдания, т. к. ненавидят и борются друг с другом, хотя их религия призывает любить друг друга, прощать и делать добро. Гуманизм – вот что, по его словам, должно быть поставлено на место патриотизма. Последний же и глуп, и аморален; глуп – потому что это чувство заставляет каждую нацию считать себя выше остальных, а аморален – поскольку соблазняет одни народы бороться за преимущества за счет других, нарушая тем самым

фундаментальный закон морали: не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы другие делали тебе. Гуманизм делает весь мир родной страной для каждого человека, а всех людей – братьями.

Дом Толстого, переполненный посетителями

Когда я впервые познакомился с толстовской семьей, я ощутил, что их гостеприимство было не столь горячим, как со стороны графа. Причину этого легко можно было понять. Почти повседневное присутствие в доме гостей являлось довольно обременительным для домашнего хозяйства. Граф не отказывал во встрече никому, для кого действительно это было очень важно. Но у него не хватало терпения для общения со всякого рода любопытствующими обывателями, и особенно с газетчиками, которые отнимали у него драгоценное время для того лишь, чтобы заполнить одну или две газетные колонки сенсационным, в их понимании, материалом. Одна из таких писак, женщина-журналистка, как-то пришла к нему с просьбой дать ей меню его вегетарианской диеты, рассказать, сшито ли его нижнее белье из такой же грубой ткани, как и его верхняя одежда, и не может ли он такой же живописный крестьянский наряд рекомендовать для дам.

Случайное происшествие повышает мой статус и делает меня «желанным гостем» в глазах семьи

Однако мое первое впечатление, будто бы меня причислили к сонму назойливых посетителей из числа желающих пообщаться со столь популярной персоной, как граф Толстой, вскоре исчезло. Поводом для этого послужило письмо к семье от известного профессора, которое я принес с собой. Незадолго до этого сей джентльмен был уволен из Санкт-Петербургского университета за публикацию эссе «Этика Талмуда», в котором он утверждал высокий моральный статус еврейского вероучения. Я познакомился с ним, находясь в Санкт-Петербурге, и перед моим отъездом из города он позвонил и спросил меня, не смогу ли я передать от него письмо, совершенно бескомпромиссного (с точки зрения его филосемитских убеждений) характера, Толстому, поскольку в это время многие письма, отправляемые графу по почте, по легко объяснимым причинам не доходили до него. Я с готовностью согласился, и эта небольшая услуга профессору, который пользовался уважением графа, сделала меня желанным гостем в толстовской семье⁶.

Одобрение моей позиции (в вопросе о въезде в Россию)

Когда ужин закончился, граф пригласил моего спутника и меня совершить с ним прогулку, чтобы по дороге мы могли обсудить, в чем

он может мне содействовать. Я рассказал ему о той миссии, которая привела меня в Россию, и о трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы попасть в его страну. Он одобрил позицию, которую я занял, но просил меня винить во всем происшедшем правительства наших стран, а не собственно русских, которые являются добрыми людьми.

Если бы США заняли более смелую позицию, Россия уступила бы

Он подробно изложил свое мнение, состоявшее в том, что если Соединенные Штаты жестко откажутся мириться с дискриминацией своих граждан по религиозным убеждениям, то Россия будет вынуждена уступить. Я рассказал ему об аудиенции, которую мистер Уайт и я имели у министра Витте, и что последний утверждал, что, поскольку царь болен, а ничего не может быть сделано без его согласия, то я должен изложить свой запрос в форме петиции, написанной на английском и русском языках, и тогда он представит ее царю, по возвращении последнего, на одобрение, и что я выполнил данный совет. Граф не верил, что моя петиция когда-либо попадет на глаза царя – и так оно и случилось, потому что царь вскоре скончался. Да и в целом он мало верил всем официальным обещаниям. Людей, стоящих в то время у кормила власти, он считал либо фанатиками, либо трусами. Первые стремились обеспечить себе райскую жизнь на небесах, вторые – на земле. Все они боялись честно высказывать свои мысли и бороться за право и справедливость. Они боялись потерять сословные привилегии и общественное положение или быть наказанными каторгой, как это случалось ранее с лучшими людьми, которые ценой мученической смерти или ссылки в Сибирь платили за свое стремление добиться права на свободу мысли и слова.

Одобрение, хотя и без большой надежды, на успех моей миссии

Толстой горячо одобрил мою миссию, но не видел никакой возможности для ее успешной реализации. Даже если бы царь доброжелательно отнесся к моему плану, Победоносцев, оберпрокурор Святейшего Синода, все равно возражал бы против того, чтобы евреи могли укорениться на русской земле.

По его словам, политика оберпрокурора заключалась в том, чтобы вовсе искоренить евреев: загнать их либо в Грекокатолическую Церковь, либо заставить эмигрировать или умерить голодом. Победоносцев тупо приписывал все несчастья России ее терпимости по отношению к представителям неправославных вероисповеданий и видел благо только в их изгнании из пределов империи. И этот негодяй считал себя официальным главой Русской Церкви и управляющим ее вероучением во имя Иисуса – того, кто заповедовал человеку любить даже своего

врага, делать добро даже тем, кто совершает зло, прощать даже тех, кто его оскорбляет, благословлять даже тех, кто его проклинает. <...>

Его мнение о том, почему он избежал Сибири

Пораженный свободой, с которой он высказывал суждение о наиболее влиятельных лицах империи, и убедившись, что не только со мной, но и с другими Толстой тоже часто говорит подобным образом, я подумал, что правительство не может не знать об этом, и спросил его: как это так может быть, что он до сих пор избегает участи попасть под арест, стать изгнанником или оказаться в тюремном заключении? На это он ответил: «Я до сих пор не вполне уверен, что не закончу свои дни в Сибири. То, что я избежал на время такой кары, объясняется чувствительностью правительства к мировому мнению. Оно знает о том, что мои публикации нашли понимание и сочувствие среди цивилизованных людей, и оно боится волны протестов и гнева, которая поднимется в случае изгнания или заключения в тюрьму такого старого человека, как я». Ему было тогда шестьдесят шесть лет. Я впоследствии где-то читал, что когда однажды к царю подошел один из Великих князей с просьбой об изгнании Толстого на том основании, что тот подстрекал к восстанию против правительства и Церкви, царь якобы ответил ему словами Людовика XIV: «Je ne veux pas ajouter a sa gloire une couronne d'un martyr» – «Я не хочу добавлять к его славе корону мученика»⁷.

Под кроной «Дерева бедных»⁸

После этого заявления он шел молча, погруженный в глубокие раздумья. Возможно, он представлял себе, как умирают его единомышленники в далекой Сибири, или же думал о муках, пытках и преждевременной смерти, которые претерпели тысячи благородных сыновей и дочерей России по произволу их жестокого, обманывающего людей правительства.

Он молча повел нас к дереву, стоявшему возле дома на небольшом возвышении. Это было «Дерево бедных», под развесистой кроной которого впоследствии он обрел свое последнее пристанище⁹. Дерево получило свое название от обычая бедных крестьян излагать под его кроной свои беды перед графом. Усевшись на скамейку под деревом, он позвал нас к себе и предложил сесть рядом с ним. Некоторое время он продолжал молчать, пока заходящее солнце заливало его львиное лицо и волосы малиновым и золотым светом и придавало ему вид, похожий на одного из старых норвежских богов или викингов, чьи образы знакомы нам по картинам художников. Наконец он возобновил свою речь.

*Его воспоминания о продовольственной помощи, оказанной благотворителями из Филадельфии голодающим в России*¹⁰

После продолжительного молчания первый вопрос, который задал мне Толстой, касался того, какую часть Соединенных Штатов я представляю. Когда я сказал ему, что Филадельфия – мой родной очаг, он явно обрадовался. Он вспомнил о двух партиях продовольствия, которые мы отправили из нашего порта двумя годами ранее в помощь пострадавшим от голода в России, и о распределении этих продуктов среди населения, в котором он принимал личное участие, и с симпатией и признательностью отозвался о г-не Фрэнсисе Б. Ривзе¹¹, нашем земляке, который сопровождал груз продовольственной помощи.

Его воспоминание о том, что первая помощь голодающим прибыла из синагоги г. Сакраменто

С еще большим воодушевлением он вспомнил, что первая помощь, полученная из Соединенных Штатов, была от еврейской общины города Сакраменто, штат Калифорния. Для него это являлось особенно примечательным, поскольку эта область вследствие правительственных ограничений была закрыта для проживания евреев¹². Его радостное оживление сменилось выражением печали, когда он заметил, что Россия мало заслужила такое щедрое отношение к себе со стороны евреев. Он дожил и до того времени, когда еврейская помощь [русскому народу] была «вознаграждена» событиями в Кишиневе и других местах¹³.

Его интерес и симпатия к квакерам

Возвращаясь в разговоре к нашему городу, он сказал, что название Филадельфия всегда имело для него приятное звучание, отчасти из-за его значения «Братская любовь», а отчасти потому, что город был основан Уильямом Пенном¹⁴. Он выразил глубокое восхищение квакерами и спросил, насколько они многочисленны и по-прежнему ли они так же выступают против войны и насилия, как основатели их конгрегации. После моего ответа на этот вопрос он спросил: «Почему у войны, которая является величайшим проклятием человечества, так много сторонников, а у мира – величайшего из всех благословений, так мало?» После обсуждения этой темы мы оба согласились с тем, что причиной этого является странная извращенность человеческой природы, которая способна выбирать и одобрять то, что правильно, и всё же часто преднамеренно выбирает неправильное.

Его обвинение школы во многих ошибках нашей современности

Он обвинял школы во многих ошибках, допускаемых в

общественной практике, и утверждал, что в системе образования чересчур много неправильного, а того, что нужно, — слишком мало. Обсуждая с ним это его заявление, я случайно упомянул, что обучение в младших классах было для нас обязательным. На это он решительно возразил в том смысле, что любое принуждение недопустимо. Человек должен поступать правильно по закону любви, а не по правилу силы. Когда я сказал ему, что если бы не закон об обязательном образовании, то некоторые родители никогда не отправили бы своих детей в школу, он ответил: «Что из этого? Дети, вероятно, будут не менее нравственными и не менее счастливыми, чем дети с высшим образованием. Я сравнивал ученых и невежд и нашел куда больше чести и честности, больше страха перед Господом и больше истинного счастья среди неграмотных, чем в среде якобы образованных. Чем больше образования мы втискиваем в головы людей, тем больше страх Божий вытесняется из них. Мир живет любовью Божьей, а не учебником для начинающих или таблицей умножения». — «Ну а что, если бы у вас не было образования?» — рискнул спросить я. Он ответил быстро и страстно: «Мир был бы не хуже, а я был бы счастливее». — «Что, если бы у Иисуса и других пророков не было должного образования?» — опять-таки спросил я. На что он ответил: «Не то, что они получили из своих школ, сделало их духовными и моральными авторитетами, а то, что они получили из своих сердец. Бог вкладывает больше знаний в человеческое сердце, чем человек когда-либо мог вложить кому-либо в голову. Некоторые из самых мудрых и лучших людей находятся здесь поблизости — это крестьяне, которые никогда не ходили в школу и которые не отличат одного письма от другого». — «А как насчет Павла, — спросил я, — уж он-то определенно пользовался преимуществами греческих школ своего времени?» На это он ответил: «Школы сделали из Павла богослова, но христианство было бы лучше без богословия Павла». <...>

Его хорошая информированность о политических и социальных условиях в Соединенных Штатах

Разговор перешел к обсуждению социальных условий в Соединенных Штатах, и по этим вопросам он продемонстрировал поразительные знания. Чем больше я его слушал, тем больше удивлялся, пока, наконец, не сумев сдержаться себя, не спросил его: как он, человек, который так много писал и работал, смог найти время, чтобы быть в курсе дел такой страны, как Соединенные Штаты. На что он ответил: «Ваша страна интересовала меня даже больше, чем моя собственная. Когда я потерял надежду на свою родину, вся моя надежда была сосредоточена на вашей. Но и ваша страна меня тоже

разочаровала. Вы называете себя республикой, но на деле вы хуже самодержавия. Я говорю хуже, потому что вами правит золото, а золото более бесовестно и, значит, обладает большей тиранической силой, чем любой человек-тиран. Ваши намерения хороши, однако их исполнение у вас – грустно. Если бы у вас было свободное и представительное правительство, как вы притворно утверждаете, то вы бы не позволили ему управлять страной под контролем денег и денежных тузов, боссов и машин, как это сейчас у вас имеет место быть. Я прочитал ‘Прогресс и бедность’ Генри Джорджа, и я знаю, что мистер Брайс¹⁵ говорит о вас в своем ‘Американском содружестве’, но я слышал и читал о куда более худших вещах, касающихся вашего неправильного управления, чем то, что они говорят».

Его сожаления о повсеместном господстве золота и росте городов

Человечество было в порядке, продолжил он, пока все мы были земледельцами. Наш образ жизни был очень простым, а наши идеалы – высокими. Политика тогда была для нас религией, а не товаром и продажей. Но вот мы стали процветающими, а процветание приносит роскошь, роскошь же всегда – коррупцию. Жажда золота в нас и наше стремление утолить ее, как и наша жажда роскоши, растаптывают любые наши сиюминутные возвышенные порывы и устремления и топят их в болоте. Мы строим город за городом и гордимся тем, что делаем один из них больше другого, а тем временем мы уничтожаем деревню за деревней – всё то, откуда получили мы наше здоровье и моральные силы. Цена на недвижимость в городах взлетает до небес, а земельные угодья пустеют и разрушаются. Мы соблазнили крестьянских сынов и дочерей уходить с полей на фабрику, и вот, когда мы исчерпали запасы их здоровья и моральных сил, мы считаем себя великими благотворителями, если удастся продлить их жалкое существование в больницах или исправительных учреждениях. Мы забываем, что залог нашего величия – это развитие земледелия, и стремимся в качестве якоря спасения развивать лишь торговлю да промышленность.

Его предсказание о будущей войне классов

При всем нашем российском колоссальном богатстве, продолжил он, наши трущобы такие же плохие, если не хуже, чем в европейских городах, и мы создаем класс пролетариата, который когда-нибудь докажет нашу гибель. Наши богатые дегенерируют, а бедные – отчаиваются, и в предстоящей борьбе отчаявшиеся восстанут и уничтожат выродившийся класс богачей. Мы молчим, бросая милосердно крохи тем, кто больше всего нуждается в справедливости,

а не в хлебе. Когда-нибудь они устанут от этих крох и спросят полную долю того, что едят богатые, и если те откажут, они расправятся с ними. Наша история и наша судьба должны были бы предостеречь нас от повторения фатальных ошибок прошлого. Если бы не наши колоссальные ресурсы, мы бы давно были разбиты о скалы. Мы можем еще спасти себя, вернувшись на землю, заново воссоздавая жизнь и труд наших отцов. <...>

Описание его отношений с женой и семьей

Жена графа шла по направлению к нам с письмом или рукописью в руках. Толстой встал и направился к ней навстречу. По всей вероятности, это была его рукопись, которую она переводила или редактировала. Мне сказали, что она всегда делает что-то в этом роде. Она была его консультантом, редактором, переводчиком, а его дочь Татьяна была его секретарем-референтом на разных языках. Говорят, что его жена двадцать один раз переписала четыре больших тома его романа «Война и мир» и что с момента их брака в 1862 году не было ни романа, ни какого-либо другого его произведения, которые не прошли бы через ее руки. Он нашел в ней в полном смысле этого слова своего помощника, ибо она была женщиной не только большой культуры, но и обладала большим практическим умом. Она заботилась о его литературных интересах не меньше, чем о семье, и ей очень часто выпадала нелегкая доля быть, так сказать, «терпеливой женой нетерпимого гения». Она родила ему тринадцать детей, шестеро из которых скончались в раннем возрасте. Она справедливо боготворила его и умудрялась, незаметно для него самого, приносить в его жизнь те маленькие удобства, которые необходимы были для его благополучия, но от которых он сам считал нужным отказаться¹⁶. Ни она, ни их дети не разделяли его взглядов относительно необходимости раздела между крестьянами их общего имущества, при сохранении для самих себя равной доли со всеми крестьянами. Семья верила, что имеет право пользоваться благами цивилизации, а для этого им нужен был и доход от хозяйства, и гонорары за его книги. В какое-то время между семьей и ее главой произошла настоящая ссора, но, в конце концов, все пошло на мировую: граф согласился, чтобы они жили так, как им нравится, при условии, что они позволят ему жить по его правилам. И поэтому в его московском доме, как говорят, а также в Ясной Поляне, все семейные комнаты были обставлены удобной мебелью, в то время как его собственные комнаты весьма плохо обустроены; и хотя у них есть слуги, дворецкие и лакеи, граф заботится сам о своих нуждах: приносит себе воду, мастерит себе обувь, а в летнее время трудится в поле, с утра до ночи, бок о бок с крестьянами.

Описание его рабочей комнаты

Внезапно он прервал свой разговор с женой и вернулся к нам, попросив извинить его за то, что нас оставил. Я спросил его, знает ли он, куда положили мою сумку, поскольку я хотел добраться до своей записной книжки, чтобы затем позвонить в американское посольство. Мистер Уайт боялся, что, если меня не контролировать в России, у меня могут возникнуть проблемы после того, как я покину защитный кров нашего посольства в Санкт-Петербурге, и он велел, чтобы я в разъездах поддерживал с ним и американскими консулами постоянную связь.

Граф сказал мне, что моя сумка была перенесена в его рабочую комнату на первом этаже дома, куда я и направился. Таким образом мне посчастливилось, хотя и мельком, увидеть место, где появились на свет некоторые из величайших литературных произведений нашего времени. Это была небольшая комната с обычным, несколько изношенным голым полом, со сводчатым потолком и очень толстыми стенами, что придавало ей вид средневековой обители. Впоследствии я где-то прочитал, что когда-то в ней была кладовая и что крюки в потолке ранее использовались для хранения окороков. Кроме грубого письменного стола и нескольких стульев в комнате, похоже, не было другой мебели, и единственными украшениями, насколько я помню, были некоторые сельскохозяйственные орудия, инструменты и мешки с семенами. Письменный стол был завален книгами и бумагами, т. е. являл беспорядок, который вполне можно было ожидать в случае с таким гением, как Толстой.

Его одобрение правительственных мер по уменьшению числа адвокатов

Вернувшись к дереву, я нашел графа в разговоре с моим компаньоном, который позже сказал мне, что Толстой спрашивает его, чем он занимается, и когда тот ответил, что он окончил юридический факультет Московского университета и что из-за ограничительных законов против евреев ему не разрешалось практиковать, граф отметил, что правительство сделало хотя бы одну хорошую вещь — оно уменьшило число адвокатов¹⁷.

Его глубокое удивление наличием большого числа бедных в Нью-Йорке

Когда я снова сел рядом с ним, он спросил меня, правда ли, что Нью-Йорк ежедневно тратит до ста тысяч долларов на благотворительность. Я сказал ему, что это, вероятно, является правдой. Затем он вернулся к обсуждению ужасающего контраста между очень богатыми и очень бедными в крупных городах Европы и

Америки. Он сказал, что богатые никогда бы не были бы такими богатыми, какими они являются сейчас, а бедные – столь бедными, если бы те, кто нынче составляет пролетарскую бедноту в городах, работали бы на земле. По его словам, именно большая концентрация бывших крестьян в городах позволяет создавать многочисленные отрасли промышленности и коммерческие предприятия, которые порабощают бедных и создают огромные состояния богатым.

Приуменьшение им значимости своих романов

«Вы читали мою книгу ‘Так что же нам делать?’»¹⁸ – вдруг спросил он меня. Я был вынужден ответить: «Нет». Позднее я прочел ее, с большой пользой для себя и несколько раз, но тогда, хотя я прочитал немало его книг, мне было неловко задавать вопросы о незнакомом мне произведении. Чтобы не показаться совершенно неосведомленным о его книгах, я начал было рассказывать ему, что читал его «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие вещи и как сильно я восхищался ими, но граф нетерпеливым взглядом и жестом прервал меня, сказав: «Все эти работы – хлам, хлам, игрушки, занимательные пустяки для золотой молодежи и праздных женщин. Это отнюдь не те мои серьезные сочинения, которые я хотел бы видеть читаемыми во всем мире. Люди вовсе не понимают их значения. Они ищут в них развлечений, а не наставлений, и хотя я пишу только для возвышения человека, для очищения общества, они, как ястребы, ищут только падаль. Они не узнают себя под вымышленными именами, которые я использую, не видят доли своего личного участия в описываемых мною обидах, пороках и несправедливостях и совсем не понимают, что именно к ним обращается романист, именно их призывает к сотрудничеству, когда молится о Царствии Небесном на земле».

Толстой о своей книге «Так что же нам делать?»

Возвращаясь к своей книге «Так что же нам делать?», он сказал: «Даже если вы не читали ее, вы читали Пророков, а прочитав их, вы всё знаете и о моем учении. Книга эта – призыв к жалости к падшим, к справедливости для несправедливо обиженных, к освобождению угнетенных и преследуемых, а также о единственном средстве всего этого достичь – о возвращении к простой жизни и труду на земле. Поскольку наше существование поддерживается землей, справедливость, право и счастье могут исходить только от такого вида повседневного труда. Помощь никогда не может прийти от богатства, потому что именно богатство порождает бедность, неравенство и несправедливость. Она не может исходить и от правительства, ибо оно существует, в основном, для сохранения неравенства и

несправедливости. Она не может исходить и от Церкви, потому что она боится кесаря больше, чем Бога. Она также не может прийти из школ, которые обучают класс людей, считающих себя слишком хорошими для ручного труда».

О решении еврейской проблемы через возвращение евреев к сельскохозяйственному труду

Ваш план вернуть свой народ обратно к земледельческому труду, продолжал он, – обратно к тому, чем столь успешно занимались ваши предки на землях Палестины, является для меня весьма обнадеживающим. Это показывает, что рассвет зарождается. В этом начинании – единственное решение еврейской проблемы. Ведь именно преследования, отказ в праве владеть или обрабатывать землю, изгнание из ремесленных гильдий – вот что сделало евреев торгашами. Но мир ненавидит торгашей. Делайте хлеборобов из вашего народа, и мир будет почитать их, как тех, кто дает ему хлеб насущный.

Его просьба о поездке в еврейские сельскохозяйственные колонии

«В настоящее время мало шансов, – продолжил он, – для реализации плана еврейской земельной колонизации в России. Правительство не хочет, чтобы евреи укоренились на русской земле, и распространяет слухи о том, что они непригодны для сельскохозяйственного труда, хотя мне достоверно сообщили, что в немногих еврейских сельскохозяйственных колониях, которые были созданы в [юго-западных] степях со времен Александра I, они такие же успешные хозяева, как и лучшие из крестьян.» И он попросил меня об одолжении – чтобы я специально поехал в эти колонии и доложил ему, желательно лично, о результатах моих наблюдений. Однако я был слишком обеспокоен неустойчивостью моего положения как иностранного гостя, чтобы сразу ответить согласием на его просьбу. Была у него еще одна просьба, которую я с радостью согласился исполнить, о чем речь пойдет ниже.

О его предложении организовать школу для обучения молодых американских евреев сельскому хозяйству

Будучи убежден, что российское правительство не будет благосклонно к моему предложению создать сельскохозяйственные колонии из русских евреев на незанятых землях внутри страны, Толстой выдвинул иной проект. «Если уж ваш план нельзя реализовать в России, то почему он не может быть успешно осуществлен в Соединенных Штатах? – спросил он меня. – Что вы, американцы, делаете, чтобы разрешить еврейскую проблему в вашей

собственной стране? Как долго то зло, что угнетает ваших людей в Старом свете, будет довлеть над ними и в Новом? Ваши люди теснятся в больших городах с многотысячным населением. Вы построили там гетто хуже, чем в Европе. Для этого есть оправдание в России, но нет оправдания этому в Соединенных Штатах. Ваше законное право там – владеть землей, причем самыми лучшими землями, и возделывать их так, как вам угодно. Да, конечно, годы принудительного воздержания от сельскохозяйственного труда не привили пожилым людям любви к деревенской жизни и сельскохозяйственному труду. Но ведь можно же привить эту любовь молодым? Приводите своих молодых людей в деревню и на фермы. Создайте для них сельскохозяйственные школы. Научите их, как заменить посох скитальца на мотыгу, а короб разносчика – на мешок с семенами, и вы решите проблему, которая пока еще не решена. Вы увидите, что земля, возделанная ими, как и в прежние времена будет ‘землей, в которой течет молоко и мед’¹⁹. Вы увидите, как они отдают все свои силы, чтобы стать народом земли, и взамен получают хорошую прибыль и уважение. И снова среди еврейских земледельцев появятся пророки, законодатели, вдохновенные гимнопевцы и учителя, которым цивилизованный мир будет воздавать должное.»

Он долго еще говорил на эту тему, и чем больше он говорил, тем больше росла во мне решимость сделать то, что он предлагал, крепла уверенность, что это должно быть сделано.

Мое обещание Толстому основать еврейскую фермерскую школу

И вот там – под «Деревом бедных», я дал Толстому торжественное обещание, что по возвращении домой самым первым заданием, которое мне предстоит выполнить, будет создание сельскохозяйственной школы для еврейской молодежи. И существование сегодня Национальной фермерской школы, расположенной недалеко от Дойлстауна в нашем штате, является свидетельством того, что я сдержал свое обещание. Я поехал в Россию, чтобы увидеть царя, и вместо этого я увидел действительно великого человека. У меня был план колонизации русских евреев в России, но я вернулся с планом обучения сельскому хозяйству еврейской молодежи, главным образом эмигрантов из России, в Соединенных Штатах. Воистину, воистину, «человек предполагает, а Бог располагает». И сотни молодых людей, прошедших сельскохозяйственное обучение в Национальной фермерской школе, и сотни других молодых и старых евреев, которые прямо и косвенно были подвигнуты этой школой изменить свой социальный статус – покинуть перегруженные города и стать фермерами, – обязаны своим спасением от страданий в гетто,

своим здоровьем и счастьем тому обещанию, что я дал самому благородному из всех фермеров – графу Толстому.

Выполнение моего обещания сталкивалось с трудностями

Создание школы было непростой задачей, и ее содержание не является легким делом даже сейчас, несмотря на превосходные результаты, которые она продемонстрировала. Основная масса наших людей не понимает всю серьезность нашей национальной проблемы и то, что ее единственно возможным решением является предложение Толстого, сделанное им шестнадцать лет назад. Поэтому поддержка этой школы всё еще очень незначительна. Сегодня ее посещает менее ста учеников, тогда как легко можно было бы обучать тысячу и более, если бы у школы были на то средства. И следовательно, наши городские гетто более многочисленны, чем когда-либо, и больше, чем когда-либо, истощают фонды наших благотворительных организаций. Тем не менее, несмотря на равнодушие и даже враждебность, с которыми мы столкнулись при создании школы, мы и ныне преисполнены решимости выполнить священное обещание, торжественно данное одному из самых лучших в мире людей.

Расставание с Толстым

Была поздняя ночь, когда я простился с графом и некоторыми членами его семьи. Перед отъездом было решено, что я всё же совершу свое путешествие в еврейские сельскохозяйственные колонии во внутренних районах, чтобы увидеть работу в разгар уборки урожая. С этой целью были даже наняты сопроводитель-крестьянин и повозка²⁰. Граф пожелал мне успеха с Божьей помощью и просил меня лично представить ему свой отчет. Со своей стороны, я пообещал, что вновь воспользуюсь предложенным им гостеприимством, если мой путь приведет меня обратно в Москву или Санкт-Петербург.

Я никогда больше не встретился с ним снова

К сожалению, после того, как я осмотрел еврейские сельскохозяйственные колонии, которые полностью подтвердили положительные отчеты, полученные ранее об их деятельности, мои познавательные интересы привели меня в южные и Польскую провинции. Вследствие этого я потратил слишком много моего достаточно ограниченного по срокам пребывания в России времени, что сделало невозможным мое возвращение на север страны. И поэтому я не смог повидаться с Толстым снова. Никогда более я не получил от него никакого известия. Ни на мой доклад, который я отправил ему в письменном виде, ни на письма, что я посылал ему из России и Америки,

он не отвечал. Он него не пришло ни единой строчки в ответ на мою информацию о том, что Национальная фермерская школа, создать которую он предложил, была мною основана. Никогда не получил я от него и подтверждений о его знакомстве с первыми ежегодными отчетами о работе школы, которые регулярно посылались ему, чтобы проиллюстрировать успех в реализации задуманного им проекта.

Вероятная причина молчания Толстого

Сердечный прием, оказанный мне Толстым, его очень ласковое прощание со мной, глубокий интерес к моей миссии и его искреннее приглашение вновь посетить Ясную Поляну исключают мысль, что он забыл о моей персоне или потерял интерес ко мне после моего отъезда. У меня есть только одно объяснение. Оно основывается на личном опыте общения с Толстым людей такого же типа, как я. Как и у меня, их корреспонденция никогда не доходила до Толстого. Я не был в розыске в России, но являлся персоной нон грата для правительства; мое имя было в черном списке, и моя почта подпадала по этой причине под цензурный запрет.

Но «в духе» я всегда остаюсь с ним под «Деревом бедных»

И хотя моя почта никогда не доходила до Толстого, мои мысли были с ним. Много раз в духовном плане я снова и снова сидел с ним под «Деревом бедных». И сейчас, когда это место стало Святой Землей, и в будущем, я буду там сидеть с ним.

Место его жизни стало его могилой

Я с легкостью прощаю Русской Церкви все те оскорбления и ошибки, которые она совершила или допустила [в отношении Толстого], за одно лишь хорошее ее деяние – отказав при погребении Толстого в совершении обряда, который она величает «освящением земли». Таким образом, она позволила ему обрести в качестве последнего пристанища место, которое было для него самым дорогим на свете. Это место, тесно связанное с философской основой всей его жизни, находится в пределах границ его постоянного обитания – там, где он правил могущественнее и возвышеннее, чем любой царь, который когда-либо владел скипетром в огромной России; где он написал те свои эпохальные книги, которым когда-нибудь суждено стать основополагающими элементами религии будущего.

Царские похороны были менее торжественными, чем похороны Толстого

И хотя никто из священнослужителей не совершал церковные

обряды над останками Толстого²¹, в последний путь его, кроме семьи, провожали все те, кто был куда более священен в его глазах, чем священники или митрополиты, более благороден, чем даже оберпрокурор Святейшего Синода – его любимые крестьяне. Именно они следовали за ним до его последнего пристанища. Именно они пели гимн «Вечная память», стоя перед открытой могилой. Именно они, «осиротевшее крестьянство», как они себя называли после его смерти, придали толстовскому похоронному шествию такое глубокое величие, какого никогда не имело ни одно царское похоронное шествие, несмотря на церковную пышность и военный церемониал. Это были люди, чей труд он стремился облегчить, а взгляды стремился просветить. Ими была сказана самая краткая и красноречивая похоронная речь, которую, возможно, когда-либо произносили: «Его сердце разорвалось из-за его безграничной любви к человечеству. Свет мира угас».

Отторгнув от себя святейшего человека России, Русская Православная Церковь совершила самую большую ошибку в длинной череде сделанных ею по отношению к нему глупостей. И тем не менее, этим поступком она, вопреки своему желанию, добилась того, чего ей хотелось меньше всего. Подобно Мефистофелю из «Фауста» Гёте, который в ответ на вопрос, кто он такой, говорит: «Ich bin ein Theil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft»²², – Русская Православная Церковь, выказав свою силу во зле, тем не менее сделала доброе дело. Явлением своей нетерпимости она дала России нового Святого и, возможно, единственного, кого она сейчас имеет. Тем самым она устроила в своей стране – в Ясной Поляне – святилище, которое может стать новой Меккой и в будущем может посещаться благочестивыми людьми куда чаще, чем посещается любой из ее храмов или святых мест. Этим действием Церковь создала ореол бессмертной славы вокруг чела того, кого она стремилась покрыть позором. <...>

И все же Толстой надеялся на возможность восторжествования всеобщей доброй воли

Когда я высказался в таком духе, что нам, мол, повезло, что все Церкви в наше время были лишены абсолютного всевластия и что хорошо известно, что любая Церковь, обладавшая такой властью, всегда ею злоупотребляла, он ответил: «Это верно для всей власти, как временной, так и церковной, и было бы еще более удачно, если бы правительства были столь же ограничены в своей власти, как и Церковь, если бы всякая власть, любой вид всевластия прекратились, если бы добро, которое присуще каждому человеку, могло получить шанс прорасти и процвести, и каждый человек учился бы жить в полной гармонии с наивысшим из всех законов – законом мира и доброй

воли, который Бог написал в человеческом сердце. Тогда не было бы необходимости в армиях и вооружениях, в судах и полиции, в тюрьмах и каторгах, отпала бы необходимость в доведении массы людей до нищеты посредством тяжелого налогообложения, что служит источником добывания средств на содержание ничего не производящих миллионов солдат и офицеров, которые в иной ситуации могли бы добывать себе хлеб насущный своим трудом». <...>

О высокой ценности его литературной деятельности в целом

Я уже говорил о том, что в ходе нашей беседы Толстой неодобрительно отзывался о своих романах, считая важными лишь свои этические, религиозные, социологические, экономические и политические сочинения. Я не удержался от желания сказать ему, что если бы не его романы, то навряд ли столь большое число людей обратило бы внимание на его публицистические сочинения, что именно его беллетристика привлекла всемирную аудиторию и что она включает в себя многое из его учения, изложенного в публицистических книгах, а также то, что публика проглатывает «моральную пилюлю» легче всего, когда та преподносится ей в художественной форме романа. На что он ответил: «Большинство читателей проглатывают сахарное покрытие и оставляют саму пилюлю нетронутой, или, если они и ее проглатывают, она остается ими неувоенной».

Критика его романов

И он был прав. Я слышал много критических отзывов о прозе Толстого. Некоторые критики считают его слишком реалистичным, слишком простым, даже грубым. Один журнал, который начал публиковать его «Воскресение», был даже вынужден остановить публикацию из-за жалоб многих его читателей²³. Этот грустный прецедент свидетельствует отнюдь не о каком-то нарушении моральных норм со стороны писателя, а об отсутствии морали или о ложной щепетильности подписчиков журнала, так как видные литературные критики называли этот роман «величайшим и самым моральным романом из когда-либо написанных». Конечно, имеется и другой тип читателей – те, что ценят толстовский реализм как острую «приправу», которую они могут в нем найти, мало задумываясь о той высокой цели, во имя которой Толстым была написана та или иная история.

Мало кто на Западе осведомлен о значении романа в России

На Западе мало кто понимает значение романа в такой стране, как Россия, где нет свободной прессы, свободной трибуны для высказывания и свободы слова в целом и где вследствие всего этого рома-

нист пытается представить обществу свои идеи под видом беллетристики, ибо литература – единственная художественная форма, которая имеет шанс обойти цензуру. Целые системы политических, социальных и моральных реформистских идей скрываются под обложками русских романов, поскольку если бы они были напечатаны в публицистической форме, то обрекли бы их авторов на пожизненное заключение в сибирских шахтах. Писатель в России не смотрит на себя как на художника, зарабатывающего творческим трудом себе на хлеб насущный. Он выступает как пророк, вождь, учитель, народный трибун, эмансипатор; освобождение русских крепостных, например, было полностью подготовлено художественной литературой²⁴. Русский писатель ставит перед собой очень серьезные задачи, и потому он относится к своим творениям очень серьезно. Его взгляд направлен не на риторику и не на эстетику, а на зло, которое необходимо искоренять, на коррупцию, которую нужно разоблачать, на реформы, которые следует провести, на философию жизни, которую он должен раскрыть. Чтобы заявить всё это, нужно создать роман вроде «Анна Каренина» или написать пьесу вроде «Власть тьмы». Русский писатель говорит не с английскими или американскими пуританами, а с русскими людьми, куда более, чем мы, восприимчивыми к усиленной живыми образами простой по форме речи.

Толстой говорил как пророк и реформатор

Таким романистом был Лев Толстой. Его воображение настолько же поразительно, как и искусство прерафаэлитов. Главное в нем – это искренность. Ничто не ускользает от его взгляда художника. То, что доступно рентгену в физическом мире, его проницательный глаз высвечивает в области морали. Он видит грех через тысячи слоев притворства и лицемерия и описывает его именно так, как видит. Много в этих описаниях шокирует, неприятны и некоторые из тем, что он поднимает. Подчас в них не встретишь и строчки, которую слишком щепетильный человек мог бы прочитать без стыдливого румянца. Как хирург, который вскрывает рану, чтобы выпустить гной, он раскрывает ошибки и гниль церковников и правительства с целью сделать возможным излечение общества. Как пророк – он говорит на языке пророков. Как реформатор – он говорит грубую правду и, как это свойственно всем реформаторам, – без хитростей и без прикрас. Он щадит других так же мало, как и себя, что видно по его книге «Исповедь». Он хочет, во имя грядущего Царства Божьего на земле, чтобы другие поступали так же, как он: чтобы люди подчиняли свои вожеления, неумеренные аппетиты и жадность правилу Совести.

Против своего правительства

Радикальный в своих реформаторских предложениях, Толстой с самого начала привлек к себе внимание общественности. Мир был поражен смелостью его мыслей и простотой его речи и приветствовал его как нового пророка. Правительство, однако, смотрело на него как на революционера и давало ему ясно понять, что заставит его замолчать, если он не изменит свои взгляды и форму их публичного высказывания. Вместо того, чтобы подчиниться правительственным требованиям, он стал еще более смелым в своих мыслях и доступным в их изложении. Его высказывания мог без труда понять как самый простой крестьянин, так и самый проникательный дипломат. Но вскоре правительство стало ограничивать его деятельность. Публикация и продажа некоторых его книг в России были запрещены. В результате их еще больше стали читать – как за рубежом, где их издавали, так и в тысячах нелегальных копий по всей России. И чем больше их читали, тем больше росла его мировая слава, пока его личность не стала слишком значительной в общечеловеческом масштабе, что ей уже не страшны были ни возможность изгнания, ни тюрьма, ни заточение, ни сибирские рудники²⁵. <...>

Его политические требования

Он требовал упразднения самодержавия, отмены смертной казни, роспуска армии и прекращения судебного разбирательства военно-полевыми судами. Он требовал свободы слова и свободы совести. Он требовал передачи земли народу и всех прав, которые были у того отняты, и яростно осуждал тех, кто впустую растрачивал то, что мучительно, кровью сердца, добывалось трудом миллионов. Он осуждал правительство за его жестокость по отношению к евреям и обвинял его в том, что оно провоцировало их массовые убийства. Он считал правительство ответственным за все беды, что переживала страна, – войну, голод, эпидемии, повальную нищету, безнадежные страдания и ужасное невежество народа. В словах, полных ярости и гнева, он обвинил сильных мира сего и их жадность в гибели десятков тысяч мужей, отцов и сыновей в Японской войне. Он объявлял Думу посмешищем для всего мира, так как в ней заседали люди настолько глупые, что даже не осознавали, какими глупцами они себя выставляют. В своем «Воскресении» он осуждал мировые суды России, ее несправедливую пенитенциарную систему, блокирование правосудия, шокирующее безразличие судей – и несправедливости в делах, связанных с пожизненными приговорами к каторжным работам. Он говорил о жизнях, которые «проливаются, как вода на землю» во время транспортировки заключенных в Сибирь, и о преступле-

ниях и восстаниях, которые систематически подавляются с вопиющей жестокостью.

Неудивительно, что правительство не любило Толстого и что оно препятствовало распространению его публицистики и содержало специальный корпус цензоров и шпионов, чтобы следить за ним. Неудивительно, что оно запретило массовую демонстрацию скорби при вести о его кончине и использовало Церковь в своих корыстных целях, чтобы провозгласить его Антихристом, заклятым врагом царя, православия и народа.

Его спрос с людей

Простой и бесстрашный в своих требованиях к правительству, он был еще более требователен в отношениях с людьми. Не было несправедливости – ни в обществе, ни в государственной, ни в частной жизни, – которой бы он не приметил и не осудил с той страстностью, с какой только он мог осуждать. С годами всё громче и громче звучал его голос, проповедующий Закон Божий в противостоянии с законом общественного вырождения. Искусство и наука, торговля и промышленность были для него ничем по сравнению с моральным законом, без которого он не видел будущего для человечества.

Он уважал брак как форму совместного общежития женщин и мужчин

Святость брачных уз, трезвость и трудолюбие для мужа и семейственность для жены – эти качества неизменно подчеркивались им как наиглавнейшие в его высказываниях о браке. Он ненавидел женскую эмансипацию, в его глазах свободная в выборе своих предпочтений женщина была не лучше, чем проститутка. Его идеалом были женственность, домашность и материнство.

Уважительное отношение к труду и капиталу

Грустная участь бедняков и бессмысленное расточительство богатей были постоянно повторяющимися предметами нашей с ним беседы. «Мы говорим об отмене рабства, – говорил он, – но мы отменили только само слово, бедные по-прежнему всё так же порабощены. Нам нужно новое освобождение, освобождение богатых от тирании их денег, от рабства ложного взгляда на себя и на общество. По какому праву богатые говорят об отмене рабства? Ведь всякий раз, когда богатч смотритс в зеркало, он видит рабовладельца, который живет в безделье и пьет кровь угнетенных; видит того, кто балует свой желудок отборными лакомствами, закутывает свое тело в шелк, бархат и дорогие меха... А в это же время люди, чей рабский

труд обеспечивает ему эту роскошь и комфорт, не имеют достаточно пищи, чтобы не протянуть ноги, им не хватает ни одежды, чтобы не мерзнуть, ни надежного крова!»

В статье [«Неужели это так надо?»], опубликованной несколько лет назад в «Североамериканском обозрении», Толстой описывал, как «мимо завода, мимо каменобойцев, мимо пахущих мужиков, встречая и обгоняя оборванных мужчин и женщин с котомками, бредущих из места в место и кормящихся Христовым именем, катится, позвякивая бубенцами, коляска, запряженная одномастной гнедой четверней пятивершковых коней, из которых худший стоит всего двора каждого из любующихся на эту четверню мужиков. В коляске сидят две барышни, блестя яркими цветами зонтиков, лент и перьев шляп, стоящих каждая дороже той лошади, на которой пашет мужик свое поле; <...> а за стек-хлыст – модный, английский, – заплачено столько, сколько получит в неделю подземной работы тот малый, который идет, довольный тем, что нанялся в шахты, и сторонится, любуясь на гладкие фигуры лошадей и всадников и на жирную, иноземную, огромную собаку в дорогом ошейнике, бегущую с высунутым языком за ними. <...> Везде два или три человека на тысячу живут так, что, ничего не делая для себя, в один день съедают и выпивают то, что прокормило бы сотни людей в год; носят на себе одежды, стоящие тысячи, живут в палатах, где поместились бы тысячи рабочих людей; тратят на свои прихоти произведенное за тысячи, десятки тысяч рабочих дней; другие же, недосыпая, недоедая, работают через силу, губя свое телесное и душевное здоровье, на этих избранных». – «Естественно, что богатые не должны протестовать против такого существования, – сказал он, – удивительно то, что бедные принимают это так покорно.» – «Почему все эти люди, физически сильные и привычные к труду – огромное большинство человечества, – почему они подчинялись и подчиняются горстке слабых людей, обычно не способных на что-либо?» Толстой находит ответ очень простым. Это потому, что у меньшинства есть деньги, а рабочим нужны деньги, чтобы прокормить свои семьи. Миллионы рабочих покорны, «потому что один человек узурпировал фабрику, другой – землю, а третий – налоги, собранные с рабочих». Если бы миллионы бедняков, закабаленных нынче богатыми, стали бы кормиться с земли, богатые, чтобы выжить, были бы вынуждены сами добывать хлеб насущный, и в результате и те, и другие стали бы свободными людьми. А ведь нынче число работников, производящих предметы первой необходимости, постоянно уменьшается, и всё потому, что число тех, кто пользуется предметами роскоши, всё время растет. В таких условиях здоровье общества, утверждал он, является столько же малым, как в случае здоровья того человека, чье

тело постоянно становится всё тяжелее, а его ноги — всё тоньше и слабее. Когда они не смогут уже держать тело, человек упадет.

Его средство спасения

Будучи яростным противником насильственных мер, он видел только один путь исправления социальной несправедливости, заключающийся в том, чтобы зажиточные люди снизошли до нужд бедняков и, начав заново жизнь с ними с одного уровня, шаг за шагом шли вместе к росту экономического преуспевания. А чтобы предотвратить рецидив возвращения к старому, несправедливому государственному правлению, он выступает за обнуление капитала, который он считал ответственным за существование неравенства, тирании и страданий в обществе. Пусть богатые, сказал он, превратят свои деньги в землю и распределят ее среди бедных, и претендуют на долю прибыли с нее для себя не более, чем на равных с другими. Просто желать бедным добра и, тем не менее, продолжать прежнее положение дел, всё равно, что сидеть на шее человека и давить его, но при этом всё время уверять его и других в том, что мы его жалеем и желаем облегчить его состояние, — хотя, чтобы сделать это, надо просто слезть с его спины. Или это всё равно, что войти во фруктовый сад, закрыть за собой калитку и, собирая в нем для себя плоды, желать, чтобы то же делали и другие, но при этом оставлять калитку закрытой.

Если мы действительно хотим видеть улучшение положения бедных, сказал он, мы не должны искать чудо, чтобы оно совершилось, и не надеяться на то, что оно само произойдет в будущем. Мы должны сделать это сами, и мы должны сделать это сейчас. И мы должны сделать это за счет самопожертвования. Если люди действительно хотят улучшить состояние своих братьев, а не только свое собственное, они должны быть готовы изменить образ жизни, к которому они привыкли, и к интенсивной борьбе с самими собой и своими семьями. Общество никогда не будет жить в мире, сказал он, пока человек не научится жертвенности. И человек никогда не будет счастливым, пока не научится находить свое счастье в том, чтобы делать других счастливыми.

Роковой уход Толстого

Несколько недель назад мир был поражен новостью о том, что Толстой бежал из дома и от своей семьи с решимостью уйти в какую-то пустыню, чтобы там провести остаток жизни. Было много предположений относительно причины этого поступка, и общее мнение сходилось на том, что это явление сугубо возрастное.

Объяснение этого поступка в свете последней статьи Толстого

Я не мог согласиться с этим выводом, т. к. не видел ничего странного в его внезапном уходе. Я знал о ряде подобных кризисов в его жизни и о причинах их возникновения, и поэтому этот его поступок меня никак не удивил. Для того, чтобы отместить последние сомнения в его вменяемости, мне понадобилось совсем немного времени: я просто прочитал его последнюю работу под названием «Три дня в деревне»²⁶, в которой я не усмотрел никаких признаков ослабления его силы разума и сердца и души. Очевидно, что российское правительство тоже не увидело в этой работе какого-либо угасания его интеллекта, а потому быстро запретило ее распространение. <...>

Он сокрушался о том, что все его труды были напрасны

Неудивительно, что правительство запретило публикацию²⁷ этой последней из работ Толстого. Неудивительно также, что три дня, проведенные среди несчастных жителей деревни, опечалили его сердце до предела. И тем более неудивительно, что прямая ответственность правительства за эти страдания людей, безразличие к ним всего мира и даже его собственной семьи довели его до отчаяния. В результате всего этого в нем созрела решимость уйти от мира в какое-нибудь пустынное место, где его душа больше не будет мучиться, воочию наблюдая весь ужас человеческих поношений и страданий.

Столкнувшись вновь со столь горестным положением дел в крестьянской среде, он, видимо, осознал, что более полувека непрерывных трудов в интересах бедных и угнетенных и все его отречения и жертвы были напрасны. Крестьянская доля осталась столь же беспросветно тяжелой, а правительство было таким же жестоким, как и прежде, что все его труды и все его просьбы о более справедливом разделении Божьих даров не смогли произвести ни малейшего впечатления на людей, даже на самых ему близких. Его семья жила в довольстве и расточительности. Он ежедневно видел на обеденном столе своих домашних не менее четырех блюд деликатесов, два сорта вина, дорогие орхидеи... И в это же время неподалеку от его дома мужчины, женщины и даже дети, работая бесконечно усерднее, чем кто-либо из его собственной семьи, и, таким образом заслуживая бесконечно больше, чем кто-либо из их хозяев, голодали из-за нехватки продуктов питания, умирали в муках от отсутствия медицинской помощи и обычных удобств. Сборщики налогов лишали их последнего достоинства, чтобы правительство могло содержать огромную армию солдат и чиновников для защиты разорительной и репрессивной самодержавной власти.

В его высказываниях и ранее сквозили мотивы отчаяния

Даже в 1894 году, когда он был на шестнадцать лет моложе, чем во время своего ухода, даже тогда я в своих беседах с ним отмечал его глубочайшую скорбь. В его рассказах о страданиях людей прорывались случайные вспышки нетерпения по поводу медлительности прогресса, а иногда слышался и крик отчаяния из-за осознания безнадёжности того, что когда-либо ему посчастливится видеть состояние общества, отличное от нынешнего.

Лица, ответственные за страдания народа, обвиняли его в нерелигиозности

Больше всего его раздражало то, что именно те люди, которые несут ответственность за все эти несчастья, считали себя истинно верующими и порочили его имя лишь за то, что он возвышал свой голос в защиту правды и справедливости. «Поскольку они бормочут так много молитв в день, – сказал он мне, имея в виду Победоносцева, – по многу раз в день крестятся и постятся так много дней в году, они считают себя христианами, несмотря на все их недостойные дела.» Трудно поверить, что они когда-либо слышали о Нагорной проповеди, о Золотом правиле или заповеди Моисея²⁸: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Попросив меня дать объяснение реформистскому иудаизму и узнав, что в нем ставится акцент на Дух религии, а не на форму, он заметил, что в России, вследствие религиозной нетерпимости, простые слова «реформа» и «Дух» вполне достаточны, чтобы вызвать осуждение. Правительство знает, что те, кто ищет Духа, также ищут Истину, и оно боится, что Истина свергнет самодержавие и иерархию, слепое повиновение и глупую обрядность и освободит людей. <...>

Своим учением он был обязан крестьянам

Созданием своего сильного и простого вероучения, которому в недалеком будущем суждено стать новой эпохой в религиозном мире, подобной той, предтечей которой четырьмя веками ранее в Германии явился Лютер, он был обязан крестьянам. Во время распутной жизни своих ранних лет он потерял ту маленькую веру, которой его научили в детстве. Он возвратился в свое имение будучи вполне атеистом, и в этом качестве продолжал оставаться в течение некоторого времени, пока однажды не заинтересовался, что же заставляло бедных, невежественных, страждущих, но всегда трудолюбивых крестьян оставаться довольными своей участью, быть покорными их судьбе, исполненной трудностей и страданий, жить не спеша и с радостью ожидать приближение конца. Он нашел ответ на это в их вере. «Конечно, – сказал

он тогда себе, — образ мыслей, который так помогает жить бедным, необходимо всесторонне исследовать.» И он посвятил себя усердному изучению религии, к которой принадлежал по рождению. Он обнаружил, что она обременена инородными наростами, загрязнена гнилостной массой, которая накопилась за века тьмы и суеверий, и во много фальсифицирована различными сознательными и случайными привнесениями. Отбросив всё чуждое, гнилое и ложное, он выделил таким образом рациональное ядро, соответствующее его представлениям о действенной вере, — вероучение рава из Назарета, — и с этого момента посвятил свою жизнь его благовестию.

Он отдал крестьянам взамен свою жизнь и свои труды

Но куда больше того, что крестьяне дали ему, он дал им взамен. Он отдал им всё и, в конце концов, пожертвовал даже своей жизнью ради них. Он нашел их униженными крепостными — и пытался сделать из них свободных людей. Он нашел их запуганными и колено-преклоненными — и научил ходить и стоять прямо. Он нашел их брошенными на произвол судьбы — и стал для них братом. Он нашел их бедными — и отказался от удовольствий и сбережений, роскоши и легкости, чтобы уменьшить расстояние между ними и им самим. Он одевался, как они одевались, и трудился, как они трудились, и, насколько это было возможно, ел ту пищу, которой они питались. Он нашел их блуждающими в темноте — и осветил им путь. Он нашел их невежественными, зависящими от милости попов и чиновников, — и стал их защитником, осмелившись выступить в защиту их прав против всемогущего самодержавия. Он основал школы для них. Он бросил писать для тысяч избранных читателей, чтобы нести слово миллионам полуграмотных крестьян и рабочих. Он писал для них рассказы, легенды, символические притчи, нравственные пьесы и религиозные трактаты, и всё это в такой форме, чтобы они могли быть ими поняты и усвоены и послужили развитию в их сердцах Закона любви и правды. Он издавал всё это в виде буклетов и продал с убытком для себя, за гроши.

Он умер, полагая, что потерпел неудачу

Жертвовать, отречься и проявлять отчаянную смелость — всё, что он делал, как никто другой, и, в конце концов, столкнуться с прежними неизменными крестьянскими унижениями и страданиями — это было больше, чем могло выдержать его великое сердце. И оно разбилось. Ему было восемьдесят два года. Он больше не мог продолжать бой. Он больше не мог смотреть ни на страдания несчастных, ни на ошибки мира, ни даже на излишества в его собственной семье. Он посчитал всю свою жизненную работу печальным прова-

лом. Он не знал никакого другого лекарства для своего кровоточащего сердца, кроме бегства от мира в какое-то укромное место, где, как отшельник, он мог бы жить, ожидая конца, который, как он знал, был уж недалеко. По-настоящему трагическими были прощальные строки в его письме к жене: «[Положение мое в доме становится, стало невыносимым.] Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста не ищи меня и не приезжай ко мне, если узнаешь, где я. Я прошу прощения за горе, которое я могу причинить вам»²⁹.

Характеристика великих реформаторов

Толстой не был первым в мире великим реформатором и борцом за счастье людей, который порой впадал уныние и испытывал периоды отчаяния. Моисей, Илия, Иисус и другие пророки раздирали свои души мучительными сомнениями и молились о конце, приход которого завершил бы их безнадежный труд. И очень многие из тех, кто, как и Толстой, опускали руки, полагая, что они окончательно потерпели неудачу, были причислены последующими поколениями к сонму величайших благотворителей мира сего.

Он преуспел много больше, чем ему представлялось

Толстой прожил жизнь не зря и в своем благовествовании достиг много большего, чем ему лично представлялось. Реакция общественности на его драматический исход и последовавшей за этим кончины выявила огромное количество последователей его учения, которых, как оказалось, он имел в своей стране и во всех частях света. И если бы он ранее выказывал к этому интерес, то мог бы быть осведомлен о своей огромной славе уже очень давно. Он мог увидеть это хотя бы по тому факту, что его книг было продано больше, чем всех других русских авторов вместе взятых. Он мог видеть это в огромных толпах, которые собирались вдоль железнодорожных линий, чтобы мельком увидеть его в купе поезда, когда несколько лет назад он ездил в Крым на лечение. Он мог видеть это в посетивших его после его отлучения депутатских делегациях сторонников и сочувствующих, в потоках писем и телеграмм, которые с выражением любви и поддержки лавиной обрушились на него. Он мог бы видеть это в толстовских студенческих обществах, возникших практически во всех российских вузах. Он мог бы увидеть это и в среде значительного числа помещиков, которые старались изо всех сил следить за его жизнью и по возможности перенимать его формы обращения с крестьянами и

работниками. Если бы пало иго самодержавия, в России возникла бы целая армия толстовцев, столь же великая и могучая, как полчище великое, которое [по воле Господа] предстало пред Иезекииелем в его видении в Долине сухих костей³⁰.

Толстовство будет влиятельной религией будущего

Толстовство в будущем станет влиятельной религией в России; да и в значительной части остального мира будут верить в то, чем жил и чему учил Лев Толстой. Время вычистит и отсеет всё, что было ошибочным или несостоятельным в его этических, социальных и экономических воззрениях, ибо его учение возникло по большей части из сердечного горения, а не как результат аналитической работы холодного ума. У него не было ни времени, ни желания разрабатывать стройную философскую систему. Он писал, подчиняясь порыву Духа, и всякий раз, когда Дух обуевал его, ключевым моментом всех его писаний становилось – как он когда-то сказал мне – стремление «приблизить приход того Великого дня, когда люди будут жить вместе в узах любви, без греха и страданий».

В толстовском вероучении присутствуют многие элементы, являющиеся общими для всех вероисповеданий. Однако для ее укоренения необходимо время. <...> Такая рациональная и радикальная система, как у Толстого, требует времени для прорастания. Но когда его учение укоренится, оно останется навсегда; как только оно расцветет, оно будет цвести вечно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кливленд (Cleveland) Стивен Гровер (1837–1908), 22-й президент США в (1885–1889) и 24-й (1893–1897) президент США от Демократической партии.
2. Гришам (Gresham) Уолтер Квинтин (1832–1895), американский политик, 33-й государственный секретарь США (1892–1895).
3. Это произошло 20 октября (1 ноября) 1894 г. в Ливадийском дворце, Крым.
4. Уайт (White) Эндрю Диксон (1832–1918), американский дипломат и историк; один из основателей, президент и профессор Корнелльского университета. Посол США в России (1892–1894). Автор двухтомного труда «Автобиография» (1905), в котором, в частности, содержится перечень «грехов» династии Романовых и предсказывается, что «эта династия, если не сам Николай II, понесет за них наказание. Этот молодой монарх, чья слабость явилась причиной столь ужасных последствий, накличет расплату на себя и тех, кто за ним последует». – См. *Иванян Э. А.* Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII–XX вв. – М.: Международные отношения, 2001.
5. Из воспоминаний В. Ф. Булгакова «Как прожита жизнь». Гл. 8 – «Прощание с Москвой»: «Толстой поглощает людей. Всех, кто к нему приближается,

он поглощает без остатка, и как бы ни был талантлив тот или иной человек, он, увлекшись Толстым, всё отдает ему, и от него уже ничего не остается...» [ЭП-ЛНТ]: URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/vospominaniya/bulgakov-kak-prozhita-zhizn/5-glava-8-proschanie-s-moskvoj.htm>

6. Возможно, поскольку другого подходящего под описание Краускопфа профессора из числа знакомых Толстого на российском общественном горизонте того времени не просматривается, рав в Санкт-Петербурге встречался и беседовал с В. С. Соловьевым. Однако рассказанная им история – это явно ошибка памяти. Причина, по которой Соловьев вынужден был оставить преподавательскую деятельность в университете (он был доцентом, а не профессором), не имела никакого отношения к его писаниям об иудейской религии, к тому же у Соловьева нет работы под названием «Этика Талмуда». «Очень ласковое» письмо от Соловьева – см. запись в Дневнике [Толстой. ПСС]. Т. 52. С. 153. – Толстой получил 4 ноября 1894 г., а не в июле, когда у него гостил Краускопф. Единственный человек, помимо В. С. Соловьева, который мог бы тогда написать в России подобного рода труд, – это Переферкович Неземия (Наум Абрамович; 1871, Ставрополь, – 1940, Рига), русский гебраист, переводчик, лексикограф. В 1890–94 гг. он учился на факультете восточных языков Петербургского университета (золотая медаль за магистерскую диссертацию «Свод талмудических сведений о гностических сектах»). С 1893 г. сотрудничал в русско-еврейской прессе (главным образом в журнале «Восход»), опубликовал под своим именем и под псевдонимами (Аль-Гаввас, Восточник и др.) свыше 200 научных и критических статей. Переферкович писал также статьи по иудаистике для русских научных изданий. Однако он не состоял в переписке с Толстым, и они не были знакомы.

7. Эту историю, со слов Татьяны Львовны Толстой, привел Д. П. Маковицкий, бывший в Ясной Поляне в августе 1894 г.: «Александр III пришел с книгой ‘Царство Божие внутри вас’ в кабинет одного из своих сыновей, которому в это время профессор В. О. Ключевский преподавал историю. ‘Это ужасно, что Толстой пишет, – сказал царь, – следовало бы его наказать. Вы, господа, – обратился он к профессору, – не дадите мне его выслать’. Еще раньше, когда царю советовали употребить репрессии против Толстого, он ответил: ‘Je ne veux ajouter à sa gloire la couronne de martyr’ (Я не желаю увеличивать его славу короной мученика). ‘Мы, – прибавляла Т. Л. Толстая, – ожидаем, что нас все-таки куда-нибудь вышлют. Но правительство знает, что если бы оно выслало отца за границу, это лишь увеличило бы его влияние’». URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/opulskaya-materialy-1892-1899/statya-nedelanie.htm>

8. «Дерево бедных» (вяз голый, *Ulmus glabra* Huds) – одно из самых знаменитых деревьев яснополянской усадьбы. У дома Толстого в Ясной Поляне на протяжении жизни писателя рос вяз. На скамейках под вязом Толстой беседовал с Горьким, Репиным и другими замечательными людьми своего времени. Здесь же по утрам его ждали различные просители. Прикрепленный к

вязу колокол собирал членов семьи, гостей к обеду или к чаю. Со временем дерево выросло, стало могучим и развесистым, но кривым и дуплистым. Дерево пережило Льва Николаевича на 60 лет, весной 1970 г. была констатирована его естественная смерть в возрасте ок. 135 лет. 20 ноября 2017 г. в 107 год со дня смерти Л. Н. Толстого на месте утраченного мемориального «Дерева бедных» у дома Толстого был посажен новый, молодой вяз.

9. Это утверждение Краускопфа ошибочно. Согласно воле Толстого, он был похоронен в яснополянском лесу Старом Заказе, на краю оврага.

10. Для оказания гуманитарной помощи голодающим в России, начиная с декабря 1891 г., в штатах Миннесота, Небраска, Айова, Пенсильвания по инициативе губернаторов этих штатов и в Нью-Йорке по инициативе Торговой палаты были организованы комитеты помощи голодающим. В январе 1892 г. начал работу Национальный комитет помощи российским голодающим (Russian Famine Relief Committee of the United States), ставший единым координационным центром данного филантропического движения. Был сформирован так называемый «Флот голода» («Famine Fleet») – 5 пароходов с пшеничной и кукурузной мукой и зерном, овощами, фруктами, медикаментами и одеждой. Корабли прибыли в Россию в марте – июле 1892 года. Помимо отправленного в Россию продовольствия гражданами США (также по частной инициативе) для помощи голодающим было собрано приблизительно 150 тыс. долларов (цифра неточная, т. к. по имеющимся данным можно определить лишь сумму денег, отправленных непосредственно в американскую Миссию в Санкт-Петербурге, на имя Л. Н. Толстого и его Комитета, через российскую Миссию в Вашингтоне и Генеральное консульство в Нью-Йорке).

11. Его перу принадлежат воспоминания об этом периоде: *Reeves Francis B. Russia Then and Now, 1892–1917; My Mission to Russia During the Famine of 1891–1892, with Data Bearing upon Russia of Today (1917)* (Россия вчера и сегодня, 1892–1917. Моя миссия в Россию в период голода 1891–1892...). – New York; London: The Knickerbocker Press. 1917.

12. Непонятно, о каких запретах на проживание для евреев идет речь. В 1850-х гг. во время «Золотой лихорадки» на Западном побережье стали селиться немецкие еврей-эмигранты и вскоре в Сакраменто и Сан-Франциско возникли крупные еврейские общины. Ни о каких правительственных или административных ограничениях для поселения евреев в Калифорнии сведений не имеется.

13. Имеются в виду еврейские погромы в Кишиневе (1903) и др. городах Российской империи в 1900-х гг.

14. Уильям Пенн (Penn; 1644, Лондон – 1718, Беркшир), ключевая фигура в ранней истории английских колоний в Америке, почитается в США как один из отцов-основателей государства и его первой столицы – Филадельфии. Будучи квакером-пацифистом и проповедником веротерпимости, он основал в качестве «убежища для свободомыслящих европейцев» колонию, которую

назвали Пенсильвания (лат., Лесная страна Пенна). Был одним из первых защитников демократии и свободы вероисповедания.

15. Джеймс Брайс (Брусе; 1838–1922), британский государственный деятель, правовед, историк, филантроп. Один из инициаторов создания Лиги Наций. Является автором многотомного труда «Американское содружество» («The American Commonwealth», 1888).

16. 16 декабря 1887 года С. А. Толстая записала в своем дневнике: «Этот хаос бесчисленных забот, перебивающих одна другую, меня часто приводит в ошалелое состояние, и я теряю равновесие. Ведь легко сказать, но во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы самарского имения, издание новое и 13 часть с запрещенной 'Крейцеровой сонатой', прошение о разделе с овсянниковским попом, корректуры 13 тома, ночные рубашки Мише, простыни и сапоги Андрюше; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по имению, паспорта людей, вести счета, переписывать и проч. и проч. – и всё это непременно непосредственно должно коснуться меня». См.: Толстая С. А. Дневники 1862–1910. – М.: «Захаров», 2017. С. 22.

17. Для Краускопфа и его слушателей это заявление Толстого явно прозвучало как нонсенс, поскольку адвокатура в США выступает одним из главных гарантов правовой защиты граждан и является, таким образом, важнейшей составляющей частью американской демократии.

18. «Так что же нам делать?» (1882–1884) – мировоззренческий трактат Льва Толстого.

19. Левит 20:24.

20. Судя по всему, в эту поездку Краускопф также отправился в сопровождении Брамсона, который в 1894 г. оставил подробный отчет о своем посещении еврейских сельскохозяйственных колоний на юго-западе России. – См. Брамсон Леонтий Моисеевич. Поездка в южно-русские еврейские колонии: путевые наброски с приложением собранных на месте материалов. – СПб.: Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1894. Однако в этой книге отсутствуют какие-либо упоминания о Д. Краускопфе.

21. Софья Андреевна Толстая, желая провести церемонию отпевания мужа, нашла (несмотря на запрет Синода) некоего священника, который 12 декабря 1912 года на могиле графа совершил заказанную церемонию. Сведения об этом проникли в печать, в связи с чем в мартовском за 1913 год номере журнала Московской Духовной академии «Богословский вестник» профессор Николай Кузнецов напечатал «Ответ священнику, совершившему отпевание на могиле графа Толстого», в котором определил, что эта церемония не может считаться отпеванием и должна рассматриваться как частная молитва. – См. Петров Г. И. Отлучение Льва Толстого от Церкви. 2-е изд. – М.: Знание, 1978.

22. «Я часть той силы, которая всегда хочет зла и всегда творит добро» (нем.).

23. По-видимому, речь идет о каком-то американском журнале. В США долгие годы существовали очень жесткие пуританские ограничения на открытую публикацию интимных подробностей человеческих отношений. В России роман «Воскресение» впервые печатался в иллюстрированном журнале для семейного чтения «Нива», принадлежащем «Товариществу издательского и печатного дела А. Ф. Маркса», с включением большого количества цензурных искажений. Цензурой исключалось не только всё то, что прямо задевало престиж русской правительственной системы и Церкви, но даже то, что косвенно и порой отдаленно этот престиж колебало или подрывало авторитет представителей государства и Церкви. Параллельно в Лондоне В. Г. Чертковым в его издательстве «Свободное слово» публиковался другой – бесцензурный – вариант романа. Неискаженный текст «Воскресения» – по авторским корректурам и рукописям – напечатан в ПСС. Т. 32.

24. Это утверждение, фактически неверное, основано, видимо, на каких-то сведениях Краускопфа об антикрепостнической направленности знаменитого романа И. Гончарова «Обломов».

25. Хороший знакомый Толстого, издатель правой газеты «Новое время» Алексей Суворин писал в своем Дневнике: «Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджигает хвост»: *Суворин А. С. Дневник*. – М. – П.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1923.

26. «Три дня в деревне» состоит из четырех статей: 1) «Первый день. Бродячие люди», 2) «Второй день. Живущие и умирающие», 3) «Третий день. Подати» и 4) «Заключение. Сон». Полностью текст был напечатан в сентябрьской книжке «Вестника Европы» за 1910 г. В этом же месяце два московских издательства сделали перепечатки текста из «Вестника Европы» отдельными брошюрами, однако Московским комитетом по делам печати было признано, что в содержании рассказов «заключаются суждения, возбуждающие классовую вражду и вызывающие враждебное отношение к правительству посредством распространения заведомо ложных о деятельности его сведений», и на этом основании решением Московской судебной палаты от 8 мая было предписано брошюры изъять из продажи и уничтожить. Поскольку судебное разбирательство длилось более полутора лет, часть брошюр сохранилась.

27. Это утверждение ошибочно, см. выше.

28. «Золотое правило нравственности» – общее этическое правило, которое можно сформулировать так: не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили. В иудаизме эта заповедь впервые сформулирована в Пятикнижии Моисеевом

(Лев 19:18), содержится в Евангелии – от Матфея, Марка и Луки и в посланиях Апостолов. Являясь выражением некоторого общефилософского и морального закона, Золотое правило в различных культурах может иметь различные виды. – См. *Клоппер М., Кольбе А. Основы этики.* – М.: Новое знание, 2005.

29. Краускопф цитирует письмо Льва Толстого жене от 28 октября 1910 г. Последняя строка добавлена им от себя. В подлиннике читаем: «Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, также как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной»: [ЭР-ЛНТ.] URL: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma/k-tolstoj-1887-1910/letter-469.htm>

30. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: ‘кости сухие! слушайте слово Господне!’ Так говорит Господь Бог костям сим: Вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. <...> И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37:1-10).

*Перевод, публикация, комментарий – М. Уральский
Брюль*

Елена Дубровина

Неопубликованные письма Юрия Мандельштама

Последние пять писем литературного критика и поэта русской межвоенной диаспоры Юрия Владимировича Мандельштама, датированные январем 1941 года, были присланы мне из Швейцарии его внучкой, Мари Стравинской. Эти письма дошли до нас почти через 80 лет после трагической гибели писателя в нацистском лагере Освенцим.

Что же заставило Юрия Владимировича взяться за перо в оккупированном немцами Париже? Одиночество, изоляция или желание, даже в этих чудовищных условиях, творить? Читаю первое его письмо, с трудом разбирая почерк, и слышу в первых же строчках те же ноты безнадежности и отчаянья, которые звучат в стихотворении «Элегия», напечатанном в журнале «Современные Записки» в 1931 году:

Но я боюсь судьбы иной,
И даже думать не решаюсь
О том, что темнотой ночной
Я постепенно облакаюсь,

Что через десять лет в плену
У косности не постижимой
Бессильным прахом в тишину,
Презрев восторг, летящий мимо,

Я тело отпущу навек,
И расплывшийся в эфире
Не ангел и не человек
Я буду жить в незримом Мире.

Такое же предчувствие скорого конца есть и в его последних письмах. В первом из них он обращается к нам, будущим читателям, будто зная, что жизнь скоро оборвется и поэтому торопится разде-

лить с нами свои чувства, мысли, переживания, — сетуя, что не начал писать раньше: «Жаль, что раньше не додумался писать к тебе, — было бы что рассказать тебе о моей приглушенной жизни в томительные военные месяцы, о катастрофе, об эвакуации, о возвращении в занятый немцами Париж, даже об однообразной полужизни последних месяцев».

Невольно возникает вопрос: почему он обращается именно к будущему читателю? Значит, мысли о смерти не покинули его и через 10 лет после опубликования «Элегии», только стали они более ясными — ведь смерть была уже совсем рядом. Возможно, в эти невыносимые часы безысходности, одиночества, раздумий, он приобретал некий духовный опыт, мучительный и, всё же, может быть, утешительный, ибо только творчество могло отвлечь его от мрачных мыслей о прошлом, о рано ушедшей жене, о маленькой дочери, находящейся далеко от него, в Швейцарии. Не было надежды увидеть девочку в последний раз; поездку приходилось откладывать сначала из-за денежных трудностей, а потом из-за политических. В письме к Игорю Стравинскому, датированном 24 августа 1939 года, Юрий Мандельштам пишет: «К сожалению, сейчас придется обождать из-за политической тревоги. Сегодня призвали запасных и говорят о возможности военной регистрации русских. В этих условиях лучше пока не возобновлять паспорта и не просить визы, а то это может быть сочтено за желание ‘улизнуть’». (Письмо хранится в архиве Игоря Федоровича Стравинского в Базеле.)

Уже в 1940 году мы практически не находим публикаций Ю. Мандельштама. В июне 1940 года закрылась газета «Возрождение», где он возглавлял отдел критики, заменив В. Ходасевича, умершего ровно за год до этого. В то же время по приказу немецкого командования стали закрываться все печатные эмигрантские издания, было закрыто около 800 русских культурных, образовательных и благотворительных центров. Замирает литературная и общественная жизнь города, умолкают голоса поэтов, не собираются больше литераторы в доме Зинаиды Гиппиус на собрания «Зеленой лампы», нет встреч в парижских кафе, где обсуждались последние литературные новости. Война убивает не только русскую интеллигенцию, но и их творчество. В книге «Встречи» Юрий Терапиано так охарактеризовал тогдашнюю жизнь: «В голодном Париже, оккупированном немцами, во время необыкновенно холодной зимы, когда в России бои шли под самой Москвой, русские литературные круги были разобщены и подавлены заботами материальной жизни. Русских газет в Париже тогда не было. О событиях в эмигрантской жизни узнавали случайно от знакомых, изредка — из французских газет, часто с большим опозданием».

Это было трудное для всех время. Люди тяжело переживали неизвестность, лишения, голод, и тогда – кто-то становился героем, кто-то – предателем. Обрисовывая обстановку, сложившуюся в предвоенной и военной литературной среде Франции, во втором письме Ю. Мандельштам справедливо подвергает критике статьи из журнала «La Gerbe» («Пучок») и его главного редактора Альфонса Шатобриана, известного и любимого в свое время французского писателя, получившего в 1911 году Гонкуровскую премию, но в критический для страны момент перешедшего на сторону нацистов. Когда-то Ю. Мандельштам называл его писателем «серьезным», но ругал за «патетику», «лже-поэзию», «искажение действительности», а главное, за «отношение к жизни как материалу для литературы». Были слова эти написаны Мандельштамом в 1938 году, как раз тогда, когда Шатобриан встал на сторону Гитлера, встреча с которым в 1938 году укрепила окончательно его профашистские взгляды. После окончания войны, в 1945 году, Шатобриан заочно был приговорен к смертной казни.

Серьезной критике подверг Юрий Владимирович и статью другого писателя, Камиля Моклера, поддержавшего во время войны режим Виши. «Когда же национальные традиции зачеркиваются в угоду победителям, ревностному обновителю остается только одно: поскорее спрятаться в подполье, чтобы его имя навсегда не оказалось покрыто позором измены и мелкого тщеславия», – так заканчивает свое первое письмо Ю. Мандельштам, для которого предательство своего народа было несовместимо ни с литературным творчеством, ни с человеческими качествами. Может быть поэтому, добровольно надев желтую звезду, 10 марта 1942 года он сам явился в гестапо.

Каждое письмо Юрий Мандельштам посвятил какой-то одной теме или автору. Причем выбор был сделан очень целенаправленно, а именно, он рассматривает работы тех авторов, о которых прежде не написал ни одной статьи (кроме письма о Мериме и «Кармен»). Хотя за свою короткую жизнь Юрий Владимирович и опубликовал более 500 критических статей, такие авторы, как Монтескьё, Анри Бергсон, Проспер Мериме, Андре Жид, остались без его «пристального внимания». В приводимых ниже письмах Ю. Мандельштам восполняет пробел прошлого и дает глубокую оценку творчества каждого из них.

Сразу бросается в глаза то главное, что волнует Мандельштама в произведениях писателей: духовное пробуждение, метафизический путь героев, ведущий их через принятые страдания к познанию Истины, к вере и Богу. «Он не только бережет устои христианства и целомудренно замолкает, приближаясь к сфере ‘непознаваемого’; он интонациями и обмолвками показывает нам, что знает какую-то частицу откровенной истины», – эти слова о творчестве французско-

го писателя и философа Шарля де Монтескьё дают нам полное представление о том, что поиск такой «откровенной истины» — это тот путь, который должен выбирать вдумчивый и честный писатель. В письме, посвященном творчеству Монтескьё, Мандельштам подчеркивает, что в работах этого автора для него были важны «отдельные замечания Монтескьё о культуре, о нравах, о сердце человеческом».

Недаром Юрий Мандельштам делает акцент на человеческом сердце. Ведь сердце, согласно индийской философии, является центром чувств, мысли, разума, воли и, наконец, проявления любви. В то же время, сердце — это орган общения с Богом, ибо только в сердце хранятся тайны, раскрытые одному Богу. Надо отметить, что Юрий Владимирович был хорошо знаком с философскими учениями как своих предшественников, так и современников. Одним из критериев выбора творчества Монтескьё для анализа являлась актуальность его взглядов, применимая к текущим событиям, в частности, его отношение к еврейскому вопросу. Мандельштам подчеркивает, что при этом Монтескьё всё-таки говорил «не как либерал, а как христианин».

Любимым французским философом Ю. Мандельштама был Анри Бергсон — лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года. Бергсон умер в оккупированном немцами Париже 4 января 1941 года от пневмонии, так как, будучи больным и слабым, простоял в многочасовой очереди, чтобы зарегистрироваться как еврей. Философские учения Бергсона оказали огромное влияние как на французскую, так и на литературу русской диаспоры. Однако во французской прессе смерть великого философа почти обошли молчанием, за исключением нескольких незначительных статей. «Бергсонское понятие о времени, о памяти, о снах способствовало развитию символистической поэзии, романов Пруста, отчасти сюрреализма», — отмечает Юрий Владимирович в третьем письме вклад Бергсона в литературу и философию. И далее — о том, что больше всего волновало Мандельштама в творческом и жизненном процессе, а именно, что Бергсон отверг во имя метафизики, во имя религиозного начала в личности мораль условно-социальную, мораль «закрытого общества». «Чтение Бергсона не только ‘воспламеняет’, но и обогащает каждую минуту реальными сокровищами; не только тревожит, но и утоляет жажду. В этом он больше всего подобен самому Паскалю, к которому в наш век торжества ‘теорий’ и рутины неизбежно тянутся сердца всех тех, кому дороже всего жизнь, творчество, дух», — такими словами о любимом философе заканчивает Ю. Мандельштам свое третье письмо, которое дает нам представление и о жизненных ценностях, и о взглядах самого автора этого небольшого трактата.

В приведенных ниже пяти письмах Ю. Мандельштама есть и глубина его знаний литературы, философии, истории, и умение дать точный анализ, понять и правильно интерпретировать замысел автора, интуитивно найти те таинственные точки соприкосновения с творчеством писателя, которые спрятаны между строк от глаз простого читателя, – ведь литература для него «и есть подлинная жизнь», а смысл жизни – это путь восхождения к Богу, поиск скрытой от нас духовной тайны. В статье «Писатель и его герои», опубликованной в 1937 году, Юрий Мандельштам так выразил свою точку зрения на то, что есть творчество: «Творчество – не слепое повиновение силам, в нас заложенным, а сотрудничество с ними. Бог как бы оставил мир недосозданным, дав нам миссию продолжать творение. В этом смысле писатели и художники – ‘христиане по природе’, даже если сами того не признают». Какое точное и глубокое определение творчества!

Не менее интересны замечания Мандельштама о поэзии Проспера Мериме, где он отмечает тот факт, что без духовной устремленности поэзия существовать не может. А «влекомость» Мериме-скептика к сверхъестественному, к другой стороне жизни (ибо жизнь может существовать и здесь, и там), – основная предпосылка творчества Мериме, – заслужила особое внимание Мандельштама, серьезное увлечение которого метафизикой и тайной Вселенной просматривается почти в каждом его эссе. О новеллах Мериме он говорит, что они «редкие шедевры» и «подлинные драгоценности», «вершина мировой поэзии», – редкая похвала для такого строгого критика, как Юрий Мандельштам.

Еще в 1934 году Мандельштам впервые поднял вопрос о том, что французский роман как форма творчества себя изживает: «Пусть Мориак, или Жид, или Дюамель лично для себя и в каждом данном случае этот вопрос как-то разрешают – сама форма романа сейчас не вполне убедительна и, можно сказать, дышит на ладан. Не только старые, флорберовские традиции, но и сравнительно новые, прустовские, никого не удовлетворяют», – сетовал он в статье «Утраченное безразличие», ссылаясь на то, что суть нового писателя «не вмещается в старые рамки» и потому их надо сломать, найти новый путь разговора с читателем. Тема «романа» как литературной формы продолжает волновать писателя на протяжении многих лет.

К этому же вопросу он возвращается снова в 1935 году в статье «Рассказы Боста», в которой критикует тех писателей, которые изображают в романах жизнь такой, как она есть, т. е. фотографически. Однако отрицание всякого вымысла ведет и к отрицанию свободного творчества, уводит от понятия слова «роман» или хорошего английского слова «fiction». В этой статье он справедливо замечает:

«Вместо воссоздания жизни изнутри такие писатели фотографируют ее извне, и вместо художественного одухотворенного произведения преподносят нам чисто механическую запись». Отсутствие «живого человеческого духа», иными словами – «той таинственной основы человеческой жизни», превращает роман в простое чередование фактов.

О кризисе романа взволнованно говорит он в статье «Судьба романа», напечатанной в газете «Возрождение» в 1936 году: «Кризис настолько серьезный и значительный, а главное – столь длительный, что не раз уже говорилось и писалось о ‘смерти романа’». Однако «кризис жанра» – это не кризис таланта, и талантливые романы всегда заслуживали его похвалу, ибо в любые времена есть романисты, обладающие большим художественным дарованием, «подлинным внутренним содержанием» и владеющие безукоризненным беллетристическим мастерством. Все-таки Мандельштам считает, что развитие этого жанра идет поэтапно, толчками, а современное его место в литературе могло быть обусловлено общим духовным кризисом, обостренностью «критического сознания». Стремление освободиться от этой духовной несостоятельности ведет к изменению взгляда на литературное произведение, т. е. для дальнейшего позитивного развития культуры должен произойти поворот к религии. Изменились и требования читателя, предъявляемые роману. «Современному роману, – пишет Ю. Мандельштам в «Судьбе романа», – нужно сознательно и по-новому, с ‘новым трепетом’ поставить его. Тогда найдутся и соответствующие переживанию формы, и восстановится нарушенная творческая цельность.» Как правильно заметил французский писатель и литературный критик Рамон Фернандес: «Роман – сон о реальности, вера в реальность».

Вопрос соотношения между жизнью и искусством всегда был для Ю. Мандельштама одним из главных. В то же время, жанр «дневниковости» литературы волновал его куда больше, чем сам роман, так как дневники писателя или его письма представляли для Мандельштама ценностную литературную, биографическую и историческую, иными словами – «новый трепет». Одновременно, он отмечает еще один кризис в литературе того периода, а именно «иссякновение вымысла», что, возможно, и стало еще одной предпосылкой «дневниковости». Однако литература не может быть точной протокольной записью. По его мнению, идет процесс исчезновения понятия художественного вымысла, «часто приравниваемого ныне к простой лжи», хотя испокон веков писатели стремились если не к Истине, то, во всяком случае, к правде.

Дневники, по его мнению, – это особый вид «правдивого» твор-

чества, человеческий документ. Недаром он написал в первом обращении, что письма его выполняют «функцию дневника», хотя при этом и добавляет, что в дневниках ему часто слышалась фальшь. Однако именно письма и дневники знакомят нас с внутренним миром писателя. Этой теме Мандельштам посвятил ряд статей: «Дневник Грина», «Дневник и письма Островского», «Дневник Мориака», «Военный дневник», «Дневник революционных лет», «Письма Карамзина», «Письма Дидро» и другие. Почему он уделял литературным письмам и дневникам столько внимания? При этом он задавал себе вопрос: «Не превращается ли постепенно всякое художественное произведение в автобиографию писателя?» И в то же время он размышлял, не будет ли это предпосылкой к исчезновению вымысла, а значит и романа? На эти вопросы Мандельштам отвечает в одной из своих статей, признавая, что дневник – это важная часть литературы: «Дневники вообще бывают двух типов: действительные записки, носящие характер чисто документальный, и художественные произведения, принимающие вид дневника». И хотя дневники часто искажают правду, любой автор, по мнению Мандельштама, стремиться к ней должен.

Так и «Дневники» Андре Жида, одного из талантливейших и противоречивых французских писателей, о которых пишет Юрий Владимирович в последнем, пятом письме, открыли ему многое как о самом авторе дневников, так и о событиях, и о времени, к которому Жид был причастен. Анализируя «Дневники» писателя, Ю. Мандельштам пытается проникнуть глубже в его духовный мир, понять его поступки, мысли, движения его души – жизнь человека, «много пережившего», ибо дневник – это, прежде всего, история духовной жизни самого пишущего. Касаясь интимной жизни А. Жида, Юрий Мандельштам высказывает свою точку зрения, человека, глубоко верующего в любовь только между мужчиной и женщиной; именно в однополой любви Жида видит он его «подлинную духовную трагедию» и потому считает его мистический путь трудным и мучительным. Постоянная, ожесточенная борьба Жида с христианством, однако, по словам Мандельштама, «не заглушают его мистической музыки», что для самого Юрия Владимировича очень важно в творчестве не только Жида, но и каждого писателя или поэта.

Представляя краткий обзор современной французской литературы, Юрий Мандельштам чувствует себя частью этого творческого процесса, а потому стоит за сохранение ее национальных традиций. Сам – человек, постоянно ищущий правды, удивительно тонкий и глубоко духовный, Юрий Владимирович часто угадывал фальшь в писаниях других, так как был он до предела прям и честен. Для него

важна была не только правдивость с читателем, но и честность с самим собою:

А был я честен, горд и прям,
За что мне Божье наказание.
Какой любви, каким богам
Угодно это поруганье.

Даже в этих четырех строчках Юрий Владимирович Мандельштам интуитивно предсказал свой трагический конец – «поруганье» над его личностью, над его честью, над его творчеством – в газовой камере фашистского лагеря Освенцим. «Он предчувствовал свой близкий черед и был пристальным и честным. Истинный поэт не может быть иным! Бесчестность лишает поэта всякой ценности... Мандельштама убили за его пристальность и честность, и поэтому нам дорог этот талантливейший Поэт Божьей милостью. Он был против зла, был за Добро, и мы кладем на его безвестную могилу лавровый венок Поэта, умершего за свою Поэзию!» – так писал о Ю. Мандельштаме после его безвременной гибели Юрий Миролюбов, русский писатель-эмигрант, живший в Европе.

Каждое приведенное ниже письмо Юрия Мандельштама заставляет нас задуматься, так как охватывает оно не только узкую тему творчества отдельного писателя, а поднимает серьезные философские вопросы и представляет новые темы для глубоких размышлений о литературном творчестве вообще, одновременно давая понять, насколько «глубоко трагической личностью» был сам автор этих посланий. Дошедшие до нас последние пять писем Юрия Владимировича Мандельштама, адресованные его будущим читателям, могут стать примером не только его яркого поэтического дара, но и блестящего таланта литературного критика.

Филадельфия

Юрий Мандельштам

Обращение к читателю

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

3 января 1941 года

Дорогой читатель — это именно письма к тебе, не статья в эпистолярной форме. Пишу к тебе на расстоянии — и в пространстве, и во времени. Кто знает, может быть, эти письма и никогда не дойдут до тебя: мне сейчас негде печататься — то есть негде читать меня. Но мало ли писем теряется в переживаемое нами время! К тому же, беседовать с тобой мне хочется, не зная даже, ни где ты, ни кто ты: как герой повести, кто бросил свое письмо в бутылке в далекий южный океан. Бывает же иногда, что бутылку прибьет к берегу. Вдруг когда-нибудь, когда пронесется и утихнет европейский шквал, я сам или кто-нибудь другой за меня и сможет [тиснуть? — нрзб.] эти письма. Думаю, что тебе они тогда не будут безразличны! Сама судьба их вызовет твое любопытство. И, в конце концов, тебе все-таки будет интересно узнать, о чем думал, что читал, что видел русский поэт во Франции в тяжелую и для нее, и для нас годину.

Но если мои письма и никогда не найдут тебя, их мне всё же стоит писать. У меня есть потребность делиться с кем-нибудь письменно своими мыслями и впечатлениями, выразить на бумаге то, что занимает меня в данную минуту. Эти записи не совпадают с моей «литературной работой», или совпадают только отчасти. Они, скорее, исполняют функцию дневника. Но дневник сам по себе я писать никогда не умел, и в дневниках «для печатанья» мне почти всегда слышалась нарочитость, порою фальшь. Лучше прямо обращаться к тому, о ком думаешь, чем притворяться, что случайно открываешь ему частичку своей души.

Жаль, что раньше не додумался писать к тебе, — было бы что рассказать тебе о моей приглушенной жизни в томительные военные месяцы, о катастрофе, об эвакуации, о возвращении в занятый немцами Париж, даже об однообразной полужизни последних месяцев. Рассказывать задним числом об этом — мне скучно, разве что отрывками, при случае. Теперь жизнь до того пуста внешне, что приходится

таким образом беседовать с тобой о книжках, прочитанных или перечитанных мною, а также таких, о которых я не собираюсь писать более «серьезно» в критических статьях, очерках, предназначенных для книги. Но, может быть, и тебе будет интересно обменяться со мной – хотя и односторонне – мнениями о том или ином писателе прошлого (я, главным образом, перечитал больше французов – в значительной степени благодаря условиям: бесплатной французской библиотеке и т. д.). Но не обязуюсь говорить только о литературе, при каждом удобном случае буду касаться и жизни, и других искусств; впрочем, и говоря о литературе, буду невольно говорить о жизни, да и где грань между ними, если литература – подлинна, если жизнь – не совсем поверхностна и ничтожна.

Сегодня хочу поделиться с тобой мыслями о писателе подлинном и отнюдь не ничтожном, хотя сейчас многое в нем устарело (но ведь он жил 200 лет тому назад) и кажется нам иногда наивным, но, может быть, эта наивность – потерянная нами цельность и чистота душевная; этот писатель Монтескьё, которого я перечитывал, лежа в постели больным, а ты, а ты, наверное, не раскрывал его с ученической скамьи.

Сознайся, дорогой читатель, полностью перечитать Монтескьё было бы скучно. Многие у него рассчитано на человека XVIII столетия. Интриги «Персидских писем» сейчас не увлекательны и не нужны; интересны отдельные замечания Монтескьё о культуре, о нравах, о сердце человеческом. Система «Духов закона», исторический метод Монтескьё после Ключевских, Момзенов, Фюстель де Куланжев – не состоятельны совсем. Исторические авторитеты, на которых ссылается Монтескьё, даже древние историки, нам порою ничего не говорят. Монтескьё благоволил перед Тацитом и Плутархом. Первый, конечно, и сейчас не утратил своего скрытого трагизма, своей сухой убедительности. Но Плутарх со своими морализирующими параллелями не возбуждает ни исторического, ни художественного энтузиазма.

Больше всего ранят теперь отдельные мысли и заметки Монтескьё, его письма, его предисловия. И еще – почти повсюду – общий тон – тон добродушного скептического философа, отмечающего все человеческие недостатки, все общественные, правовые, и всё же верующего в доброе начало, в человеческое сердце, потому всем всё прощающего.

Не сомневаюсь, что верил он и в большевика «прогрессиста», но на не знающего ничего о метафизиках Монтескьё отнюдь не похож. У него была и действительная вера: его ссылки на Бога, на религию совсем не в духе моральных условностей других энциклопедистов,

не говоря уже о «деизме»¹ Вольтера. Более того, не будучи ни в коей мере конфессиональным католиком, Монтескьё – подлинный христианин, вероятно, даже сознательный. Он не только бережет устои христианства и целомудренно замалчивает, приближаясь к сфере «непознаваемого», он интонациями и обмолвками показывает нам, что знает какую-то частицу откровенной истины.

Человек, не испытывавший мистического чувства личного общения с Богом, не написал бы трогательной молитвы: «Господи, дай мне то, что для меня хорошо, даже если я не прошу об этом, и не давай мне того, что для меня плохо, даже если бы я просил Тебя».

Истинно христианская «любовь к ближнему», а не эгалитарные гуманистические теории вдохновили и «дух законов». Ведь Монтескьё, по собственной записи, никогда не испытывал ненависти. «Думаю, что это чувство мучительное», – писал этот счастливый человек.

Именно общечеловеческие заключения Монтескьё, иногда применимые к общественной жизни, и уцелели для нас. Прочти, пожалуйста, читатель, его письмо о евреях: вот бы теперь его напечатать. Любопытно, что Монтескьё говорил не как либерал, а как христианин, – и потому, в его освещении, гонения на евреев кажутся особенно возмутительными. Вот хотя бы обмолвка о «расовом вопросе»: «Евреев упрекаю в принадлежности к самому рабу Аврааму, происхождением от которого мы все гордимся». Прочти также заметку о вооружении Европы с предсказанием всеобщей мобилизации: «Желая создать солдат, государство постепенно превращает в солдат всех граждан и вернет нас к татарщине».

Вспомним при этом, что Монтескьё – отнюдь не против государства и не подчеркивает, кстати, наличия взглядов его: он убежденный монархист, хотя и конституционист.

Поражает в наш век безответственности еще одна черта Монтескьё. Дело писателя для него – дело совести. Поэтому оно и неотделимо от общественного, поскольку последнее неотделимо от человеческого. Правда, Монтескьё уверен – от чистоты сердечной – что писатель, пишущий вне законов совести, влияния на публику не имеет. «Если я пишу, как нужно, читатель прочтет меня и без этого предисловия (к «Персидским письмам»), если я пишу иначе – он меня просто не будет читать, и я хочу этого.» Во всяком случае, вот писатель без гипертрофии профессионального честолюбия. К сведению многих современных литераторов, наших и европейских, малых и очень крупных, боящихся как бы их не «проглядели» и стремящихся привлечь к себе внимание «скандальными успехами».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

5 января 1941 года

В последнем номере парижского еженедельника «La Gerbe» («Пучок») от 2 января напечатана не совсем обыкновенная – даже для нашего времени – литературная статейка. Она невольно наводит на размышления, до какого извращения может дойти человеческая мысль – и даже просто человеческие чувства, например, любовь к прекрасному или человеческая гордость. Впрочем, подобные размышления вызывает чуть ли не каждый номер «La Gerbe», стоит ли возмущаться нынешней прессой, исполняющей такой «социальный заказ», о котором даже в советской России не всегда думают? Но «La Gerbe» не совсем рядовая французская газета. Она претендует на «интеллектуальность», на «литературность», на такую изысканность и утонченность мысли, да и редактор ее Альфонс де Шатобриан, не Дорио, логически доведший свою линию до служения немцам, и не ничтожный журналист, продающийся направо и налево. Шатобриан очень своеобразный и довольно известный писатель, в книгах его много благоухания ушедшего времени, полного аристократизма. Он и впрямь представитель старого знатного рода. То, что такой человек мог встать во главе германофильского органа во время немецкой оккупации, – явление далеко не обычное.

Но это не весь Шатобриан – определенно искушенный в изотерических учениях, он прошел некий тайный духовный опыт. Его шедевр «Ответ Господину» очень любопытно освещает историю Ордена тамплиеров (как известно, связанного с началом масонства), его таинственного сокровища и традицию, продолжающуюся до нашего времени. Книга странная, кое в чем отталкивающая именно своей «герметичностью»: «посвященный» говорит с профанами. И вот автор этой книги становится во главе кампании против масонов, да еще кампании дешевой, скользящей, не затрагивающей сущности масонства, пользующейся грубыми газетными доводами и бульварной терминологией. Чему же после этого удивляться?

Всё же нынешняя статейка удивляет. Подписана она именем известным, правда, не широкой публике, а литературным и художественным кругам. Камиль Моклер – утонченный художественный критик и автор блестящей книги о Малларме. В молодости он писал стихи и был постоянным посетителем «вторников» Малларме. Потом стал у поэта своим человеком в доме. Если не ошибаюсь – женился на его дочери. Во всяком случае, литературная культура Моклера основана на символизме конца прошлого и начала этого века.

Статья его посвящена обзору французской литературы последних двадцати-тридцати лет. Сейчас этот период принято – и не без основания – подвергать критике во многих отношениях. Моклер применил этот принцип к литературе. По его словам, снижение французской литературы (действительно несомненное) предшествовало кризису морально-общественному и даже вызвало его (что уже очень спорно). Как пример, он приводит романы Виктора Маргерита, о котором, как о серьезном писателе, вообще никто не говорит. Но Моклер утверждает, что ослабление морали вызвано «психологизмом» Пруста и романами Жида, и странным катаклизмом Мориака и Маритена, и «*Les Enfants terribles*» Кокто (который, кстати, в том же номере «*La Gerbe*» пробует лишний раз «омолодиться», обращаясь к молодежи), в частности, обрушивается Моклер на поэзию, вышедшую из дома Малларме (не называя, правда, этого имени): герметичность и темнота Валери и Аполлинера (которого он всё же щадит), и Монтерлана представляются Моклеру главной опасностью для морали. По-видимому, идеалом этого символиста стала теперь добродетельная посредственность, всюду старающаяся взять реванш (кампания против фильмов Карне «*Le Quai des Brumes*»² «*A Provoque Notre Defaite*»³ и т. д.). Но Моклеру надлежало бы после «вселенской слезы» указать свои тенденции, какую-нибудь положительную программу. Таковой у него явно не нашлось.

Несколько лет назад талантливейший и безумный Селин посвятил «*Bagatelles pour un massacre*»⁴ несколько страниц этой же теме. Куда умнее Моклера, он обрушился на «второй этаж» современной французской литературы – «надпрустов», Селинов–Жироду, паре Клоделей. В его критике было много верного – ведь что-то неладное в этой литературе творится. Но и он «положительно-честно» написать не смог: его героями оказались Фаррер, Барбюс и даже – о, абсурд – Сименон. Что же делать, такова судьба «сбрасывателей с парохода современности». В литературных традициях можно найти много червоточины. Можно видеть тупик «прустизма», возмущаться многими поворотами Жида, халтурой почти всего «второго этажа», но уничтожить все традиции значит уничтожить и будущее, почему и невозможно Селинам и Мориакам начертать план «возрождения литературы». Когда же национальные традиции зачеркиваются в угоду победителям, ревностному обновителю остается только одно: поскорее спрятаться в подполье, чтобы его имя навсегда не оказалось покрыто позором измены и мелкого тщеславия.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

7 января 1941 года

Вчера в газете появилось известие, которое должно было тяжело потрясти всех, кому дорого свободное искание человеческой мысли, живое творческое движение души – всех, кому дорог дух. Скончался Анри Бергсон – без сомнения, величайший философ современности и один из самых больших и живых умов, по всей вероятности, и один из самых творчески глубоких людей нашего времени.

Франция, в которой он родился и прожил всю свою восьмидесятилетнюю жизнь, славе которой он способствовал больше, чем все ее государственные деятели вместе взятые, чем даже все ее писатели (говоря, конечно, об определенном «этаже»). Франция должна была бы отметить этот день национальным трауром. Вместо этого почти всюду краткие заметки, упоминающие лишь о том, что покойный был членом Французской Академии. Ни слова о его творчестве, о его понятии эволюции, о мосте, перекинутом им от философии к современной жизни, о его двух «источниках религии и морали», даже когда делали перечень его трудов. Один лишь «Крик народа» Дарио дал собственную оценку философии Бергсона, если это можно назвать оценкой. Вот эти бессмертно-позорные строчки: «Будучи евреем, он выразил в своей философии идеи своей расы. Своим единоверующим и обьевревшимся интеллигентам (*intellectuals enjuivés*)⁵ он и обязан модой на него».

Боже мой, сколько абсурда в нескольких строках! Разве можно создать моду на философию – если это не поверхностный популяризатор типа Кайзерлинга. И разве действительно всемирное влияние Бергсона можно счесть «кознями обьевревшейся интеллигенции». Какая честь для еврейства «будучи евреем»... Часто ли вспоминал Бергсон о своем происхождении? Что же касается религии, то всем известно, что он уже давно пришел к католицизму, хотя и не принял его открыто. Перед последней войной Маритен усиленно уговаривал больного старика официально войти в лоно Римской Церкви. Правда, теперь и Маритен «считается странным католиком».

Я не знаю, что такое идеи еврейской расы. Но если считать «еврейским делом» то отвлеченное талмудистское мышление, которое давно называли «иудейским» и которое отразилось в марксизме (у евреев и не у евреев, безразлично), то Бергсон, конечно, явление диаметрально противоположное «иудейству».

Более конкретного, более живого движения мысли, большей связи между умом и сердцем, между умом и глазом, и представить

себе трудно. Может быть поэтому официальная философская мысль, питавшаяся, главным образом, трудами немецкой диалектической кантовско-гегелевской школы, долго Бергсоном не признавалась, боролась с ним. Вот почему к Бергсону инстинктивно потянулись, с одной стороны, – представители точной науки, с другой, – «свободные искатели», художники и писатели. Бергсонское понятие о времени, о памяти, о снах способствовало развитию символистической поэзии, романов Пруста, отчасти сюрреализма. Интересно было бы проследить контакт между учением Бергсона и современной музыкой. Главное же, скольким людям помог Бергсон в жизни и в личном душевно-духовном искании хотя бы тем, что он заменил идеалистический, полуавтоматический прогресс творческим усилием или тем, что напомнил о двойственности, божественно-человеческой природе морали. Мораль условно-социальную, мораль «закрытого общества» он отверг во имя метафизики, во имя религиозного начала в личности, первом зерне общества «открытого», т. е. соборности.

Бергсон, конечно, и сам не только мыслил, но и переживал свою философию, вот почему она и задела не одни лишь интеллектуальные, но и душевно-духовные струны людей. Он принадлежал к той линии философов, которая от Паскаля через Киркегора⁶ и отчасти Ницше тянулась к нашим дням, хотя бы к Шестову, которая отталкивалась от «спекулятивности» во имя «экзистенциальности», от философского детерминизма во имя свободного личного воплощения в жизнь, преображения жизни. Философия Бергсона всегда на службе чего-то высшего и живого, всегда сознает свои пределы в чисто мыслительном плане. «*Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher*»,⁷ – мог бы он повторить слова Паскаля. Но если многие философы этого склада (например, Шестов) тратили много усилий на борьбу с рационализмом и спекулятивностью и с трудом добивались до утверждений, что придавало слишком большой перевес критической, негативной части творчества над «позитивной» и создавало парадоксальное положение философа, борющегося с философией ее же методами, то Бергсон одновременно боролся и создавал, не оставаясь никогда на чистом страдании.

Чтение Бергсона не только «воспламеняет», но и обогащает каждую минуту реальными сокровищами, не только тревожит, но и утоляет жажду. В этом он больше всего подобен самому Паскалю, к которому в наш век торжества «теорий» и рутины неизбежно тянутся сердца всех тех, кому дороже всего жизнь, творчество, дух.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

8 января 1941 года

Из всей беллетристики (с каким недоверием пишешь сейчас это слово, само по себе очень «почтенное», но испорченное эстетическим подходом, — сколько хороших вещей испортил эстетизм! — теперь хотелось бы найти другой термин для того же понятия, что-нибудь вроде выразительного английского «fiction») — одним словом, из всех романов и повестей, которые я читал и перечитывал последние месяцы, самое сильное, т. е. одновременно яркое и глубокое впечатление, произвели на меня повести Мериме. Говорю не о «Кармен», хвалить которую, восхищаться которой было бы трагизмом (да я ее сейчас и не перечитывал), — а о тех, совсем коротких, новеллах, которые вошли в столь своеобразную книжечку «Мозаика». Это, прежде всего, совершенно замечательная «Этрусская ваза», затем — драматическая «Партия в трик-трак», наконец, совсем коротенькие, в несколько страничек «Маттео Фальконе», «Видение Карла XI», «Таманго», «Взятие Редута», «Роза Толедо». Впечатление столь ошеломляющее, сколь захватывающее, что сразу даже невозможно отдать себе отчета в том, что именно поражает. Чувствуешь лишь, что перед тобой несомненные и редкие шедевры, подлинные драгоценности. Из всей литературы этого рода только пушкинские повести можно сравнить с ними по силе поэтического (а не психологического или чисто композиционного) совершенства (хотя, конечно, невозможно лучше строить новеллы, чем Мериме). Если прав Теодор де Банвиль, что «поэзия — то, что сделано и, следовательно, не подлежит переделке» (опять-таки, не только в технической плоскости), то повести Мериме — одни из вершин мировой поэзии. По случайному совпадению, хотя такие совпадения случаются очень часто, — после Мериме прочитал два отзыва о нем в писательских дневниках. Но отзывы, конечно, больше говорят о натуре пишущего, чем о самом Мериме. Сырой, рассыпающийся, но столь искренний Амиэль⁸, которому не хватало именно поэтической формы — а значит, и соответствующей крепости душевного содержания, — с болью признается, что одна повесть Мериме стоит больше тысячи страниц его, Амиэля, прозы, потому что она «до конца пережита и сделана» (цитирую по памяти). Любопытно, что то же пишет Амиэль и о статьях Сент-Бёва; наоборот, молодой Жид в одном из своих дневников записывает о «впечатлении выполненного урока и ненужных совершенств» Мериме (делая исключение для «Арсена Гийо» — повести как раз для Мериме не характерной, растянутой, бледноватой и неожиданно с

морально-сентиментальной тенденцией). По-видимому, Жид, сам одаренный несомненной поэтической силой, но ее растративший для иных целей, и в других писаниях ценит какую угодно глубину, психологическую или моральную, но только не поэтическую. Как объяснить человеку, лишенному вкуса к поэтическому совершенству, что без этого «ненужного совершенства» нет поэзии вообще (повторяю еще раз, что речь идет не о формальной виртуозности, вот ведь Амиэль почувствовал, что здесь играет роль, прежде всего, переживание). Странно, что тот же Жид, вслед за Мериме, перевел на французский язык повести Пушкина.

Именно в известном переживании, стремительном и сильном, несущем повествование в особом, скажем, ритме, – секрет безукоризненного построения новелл Мериме, то, что делает их особым жанром, а не коротким романом (хотя по хронологическому течению событий почти в каждой из них материала достаточно на настоящий роман). Значит ли, однако, эта стремительность, что лиризм или сюжетный элемент убивают у Мериме психологическую меткость или морально-духовную устремленность? Хотя, конечно, психологический портрет Сент-Клера в «Этрусской вазе» набросан исключительно. Что же касается духовной устремленности Мериме, то без таковой поэзия вообще существовать не может, и Мериме, конечно же, не только рассказывает нам, но и ведет нас куда-то. Но теоретической морали он и впрямь чужд. Духовные конфликты его героев рождаются из жизни и из личных особенностей, может быть, из столкновения личности и жизненного потока. Вот почему так неубедительны показались Жиду угрызения совести героя в «Партии в трик-трак». С точки зрения морального канона – они действительно могут показаться неубедительными: не всё ли равно, выигрывает ли герой мошенническим способом небольшую сумму или целое состояние, но ведь мы и имеем дело с живым человеком, для которого деньги не безразличны и у которого именно деталь может вызвать страшный душевный кризис.

Стати, это живое разнообразие натур в новеллах Мериме не мешает присутствию такого человеческого фона. Ведь его герои – в какой-то мере он сам (как Флобер утверждает, что госпожа Бовари – он сам). Особенно же Сент-Клер, в которого Мериме вложил свою мечту, тот образ, которым бы он хотел обладать не в идеале, а в жизни. Автобиографическое единство, скрепляя разнообразие наблюдений и вымысла, приводит к единству более общему. Каждый герой Мериме – человек, борющийся с жизнью. Каждая повесть Мериме – история глубокой страсти, разбивающаяся о метафизическую трещину в мире. Иногда срыв происходит на серьезном препят-

ствии, иногда, как в «Этрусской вазе», на недоразумении, но тем он трагичнее, очевиднее, что он должен произойти по таинственным законам строения мира.

Таинственность окружает трезвого и умного Мериме. Он видит мир объективным, даже скептическим взглядом – и, таким образом, несомненное для нас те «кончики» непознаваемого, которые вдруг выглянут из-под непререкаемой реальности. Мало кто был так влеком к сверхъестественному, как этот скептик. Если во «Взятии редута» речь может еще идти о сложном случае, то как быть с запротоколированным «Видением Карла XI»? Массовая галлюцинация? Но ведь на королевской одежде остается полоса крови.

Однако не в одном сверхъестественном скрыта у Мериме метафизическая тема. Достаточно одного недоразумения, губящего Сент-Клера, достаточно любого эпизода из обыденной жизни, чем описанного, чтобы дать нам почувствовать присутствие в мире невидимых пружин, им управляющих. Это сочетание тайны и объективности, ума и чувства, не разложенных анализом скептицизма и романтизма и создает, вероятно, главное очарование Мериме, как и других «трезвых романтиков»: Лермонтова, Стендаля. Может быть, именно эта струя романтизма, внешне его убившая, спасла его, по существу, от необузданных восторгов, разочарований, «шиллеристов» и «байронистов»: убила как литературное течение, спасла как органическое ощущение мира, жизни, человека.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

18 января 1941 года

Чтение дневников Андре Жида, выпущенных перед самой войной издательством «Плеяда», вернее, многочисленных дневников французского писателя за пятьдесят лет (от двадцати по семидесятилетний возраст) – работа очень трудная; требует времени, внимания, умения преодолевать очень противоречивые впечатления: от подлинного восхищения до столь же неподдельного отвращения. Трудностей много и самого различного порядка, но, как принято говорить, результат работы вполне вознаграждает за потраченные усилия. Жаль, конечно, – один из крупнейших писателей двадцатого века, хотя многое в его творчестве можно не любить, в особенности в позднем его творчестве, часто зачеркивающем блестящие произведения эпохи юности или расцвета («Земные яства», «Тесные врата», «Фальшивомонетчики»). Однако человеческая личность столь яркого и талантливого писателя часто казалась неясной – до того неожиданной и неоправданной были

повороты, зигзаги, бесконечные тупики его мысли, его чувства, его устремлений. В этом-то человеческом плане «Дневники» Жиды открывают нам многое. То, что казалось простым душевным метанием и даже раздробленностью, по отдельным страницам из «Дневника», ранее Жидом изданных, приобретает ныне оттенок и значение сложной и важной человеческой трагедии. О, конечно, метания и противоречия остаются. Но это метания и противоречия личности очень хрупкой и духовно живой, хотя порою вольно или невольно заблуждающейся; большого, хотя часто растрачиваемого и даже иногда блекнувшего, таланта; живого, острого, развитого, хотя сплошь и рядом неприятного ума.

Первая трудность – порядка почти технического. Перед нами почти полторы тысячи страниц очень разнородных и несистематизированных записей, целая жизнь человека, много видевшего, о многом думавшего и многое пережившего. Но несистематичность – не литературный прием, как могло казаться по отдельным выпускам. «Дневники» Жиды – на самом деле «Дневники», и вполне искренние, если считать искренностью честное стремление отдать себе самому отчет в своих поступках, мыслях и ощущениях. То, что Жид часто помнит о возможных читателях, ничего не меняет, ибо Жид всё же обращается к самому себе и маски перед посторонними не надевает. Скорее, он играет перед собою в сбрасывание всех и всяческих масок. Сложно то, что Жид явно не всегда правдив с собою самим, ибо мысль и устремленность его часто двойственна, одновременно преследуя цели противоположные. Но и эта двойственность – искренняя, ибо она органически присуща натуре Жиды, иначе он не может выразиться, и требовать иного от него нельзя.

В разные эпохи и даже в разных записях одного и того же периода дневники исполняют различные задания. То это – просто ежедневная хроника событий внешней и внутренней жизни. То это – подготовительные занятия к литературной работе, то наоборот – записи, неприменимые ни к какому произведению. То это – справочная тетрадь, то – место для «самодисциплинирования» (когда Жид бывает склонен по многим неделям не прикасаться к перу). То, наконец, – история его душевной жизни. Эта последняя сторона дневника всегда остается его фоном, и поэтому-то читатель сталкивается с новыми и очень существенными трудностями.

Чтение книг, являющихся свидетельством о напряженности духовной работы или ее результатом, всегда сопряжено с борьбой творческого читателя и автора. Писатель невольно стремится «убедить» нас, «направить на свой путь» – даже тогда, когда он, как Жид, чужд желания навязать нам свое решение. Когда он советует закрыть

книгу и жить своей жизнью, тогда он сам не доверяет какому бы то ни было собственному решению. Если автор и читатель связаны нитями духовного родства – борьба смягчается и даже становится наслаждением. Если автор обладает гигантской силой (как, например, Толстой), он побеждает читателя на время чтения (хотя потом сопротивление может возобновиться с удесятеренной силой) и этим поможет самому процессу чтения. Жид – далеко не такой гигант, а некая угловатость его натуры мешает, больше индивидуальных житейских его качеств, установлению внутреннего родства. Читая его дневник, борешься непрерывно «с переменным успехом» – что может быть самой мучительной формой борьбы.

Житейские особенности Жида, которые он никогда не хочет скрывать или скрашивать, тоже способствуют затрудненности чтения. В первую очередь, конечно, – его чистосердечные признания в «половой извращенности». Если бы Жид лишь объективно признавался, то эти записи можно было бы с отвращением отбросить. Но он – то торжествует, то покаянно (хотя редко настаивает на своем дефекте) ведет полемику с Прустом, якобы искажающим облик однополой любви; доказывает, защищает, связывает свои половые особенности с духовной сущностью. И, таким образом, дух и пол действительно неразрывно сочетаются, то есть в этой полемике Жида с самим собою (что он, конечно, прежде всего доказывает что-то самому себе) – некая болезненная патетика.

Самая коренная трудность – в той двойственности, неустойчивости Жида, о которой я уже упоминал, в его постоянных колебаниях от мистицизма к рационализму, от духовности к материализму, от христианства – к языческому нигилизму, к атеизму, к социалистическому гуманизму; от индивидуализма к коммунизму, от художественности к документу. Конечно, здесь мы имеем дело со свойством самой природы Жида (ведь говорит же он сам о своей неспособности к выбору и необходимости чисто практически себя дисциплинировать). Но есть здесь и иное – недоверие к своим выводам, к готовым решениям и формулам, исходящим хотя бы от самого себя, и, может даже, особенно – от самого себя. Таким образом, и здесь Жид по-своему честен, даже предельно честен, хотя есть в этой честности страшный изъян: недоверие к готовым решениям переходит в отказ от какого бы то ни было решения вообще. Если Жид на этом этапе жизни к чему-то приблизился – то только помимо самого себя, хотя, может быть, и не бессознательно.

Всё же в дневниках скрыта и подлинная духовная трагедия. Достаточно прочесть тетрадь, озаглавленную «Numquid et tu?»⁹, чтобы почувствовать природный мистический дар Жида, от рождения знаю-

щего что-то непреложное о Боге и о христианстве. Его мистический путь – трудный и мучительный (хотя Жид всё время предостерегает себя от упоения «мучением», всё время напоминает себе о «радости», как Паскаль) – ведь, в конечном счете, путь порою вот-вот приведет Жида к решению неподдельному, живому и трагически-радостному. Но странная борьба протестантской морали (иногда прикидывающейся аморальностью) и мистической струи, сопряженная с недоверием к церковности и к своему собственному стремлению, понемногу превращается в ожесточенную борьбу с христианством и даже с божественной частью личности Христа, которую Жид чувствует, однако, непрерывно. Борьба страшная, о которой говорить крайне опасно и в которой Жид всё же не заглушает своей «мистической музыки».

Не связана ли с этой музыкой любовь Жида к музыке в точном смысле слова? О ней невозможно не упомянуть. Мало кто из писателей писал о музыке так проникновенно, с таким пониманием самой «музыкальной материи» и настолько не «по-литераторски». Его страницы о Шопене – хотя бы объяснение «классического романтизма» и отличие его от романтизма обычного (Шопен ввел романтизм в область классицизма) – просто незабываемы. После «Дневника» Жида Шопена нельзя слушать равнодушно, что-то в его музыке Жид раскрывает читателю по-новому и навсегда.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Под «деизмом» Вольтера имеется в виду его отношение к Богу, доказательства бытия Божьего и возможности оптимистического взгляда на мир.
2. «Порт теней». (фр.)
3. Причины нашего поражения. (фр.)
4. «Безделицы для погрома». (фр.)
5. Веселые интеллектуалы. (фр.)
6. Другое написание имени – Кьеркегор.
7. Насмехаться над философией значит действительно философствовать. (фр.)
8. Другое написание фамилии Амизель – Амьель.
9. «Не ты?», название дневника 1926 года. (лат.)

СПИСОК УПОМЯНУТЫХ ИМЕН

Амизель, Анри-Фредерик (Амьель, Henri-Frederic Amiel, 1821–1881) – швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист, писал на французском языке. Печата л стихи, исторические романы, эссе о литературе, но стал известен после публикации «Дневника», который вел с 1839 года.

Аполлинер, Гийом (Guillaume Apollinaire, наст. имя – польск. Wilhelm Albert Vladimír Apollinaris, 1880–1918) – французский поэт, писатель, умер от фронтového ранения.

Банвиль, Теодор (Banville, Теодор-Фолен, *de*, 1823–1891) – французский поэт, журналист и театральный критик.

Бергсон, Анри (Henri Bergson, 1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Профессор Коллеж де Франс (1900–1914), член Французской академии (1914). Лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года.

Барбюс, Анри (Henri Barbusse; 1873, Аньер-сюр-Сен, Франция – 1935, Москва, СССР) – французский писатель, журналист, член фр. компартии.

Валери, Поль (Paul Valery, 1871–1945) – французский поэт, эссеист, философ.

Жид, Андре Поль Гийом (Andre Paul Guillaume Gide, 1869–1951) – французский писатель, прозаик, драматург и эссеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1947 года.

Жироду, Ипполит-Жан (Hippolyte Jean Giraudoux, 1882–1944) – французский новеллист, эссеист, драматург, дипломат.

Кайзерлинг, Герман Александр, фон (Hermann Alexander Graf Keyserling; 1880, Кёни, ныне Эстония – 1946, Инсбрук) – немецкий философ и писатель.

Карне, Марсель (Marcel Albert Carne, 1906–1996) – французский режиссер, главная фигура в создании движения поэтического реализма. Был директором фильма «Le Quai des brumes» (режиссером фильма был эмигрант из Украины Григорий Рабинович).

Клодель, Поль (Paul Claudel, 1868–1955) – французский поэт, драматург, эссеист, религиозный писатель XX века.

Ключевский, Василий Осипович (1841–1911) – российский историк.

Кокто, Жан Морис Эжен Клеман (Jean Maurice Eugene Clement Cocteau; 1889–1963) – французский писатель, поэт, драматург, художник, кинорежиссер.

Куланж, Нюма Дени Фюстель, де (Numa Denis Fustel de Coulanges; 1830–1889) – французский историк, автор классического труда «Древний город».

Кьеркегор, Сёрен Обю (1813–1855) – датский философ, иррационалист, один из основателей экзистенциальной философии.

Малларме, Стефан (Stephane Mallarme; 1842–1898) – французский поэт, призывавший сначала к парнасцам (печатался в сб. «Современный Парнас»), а позднее ставший одним из вождей символистов. Отнесен Полем Верленом к числу «проклятых поэтов».

Маргерит, Виктор (Victor Margueritte, 1866–1942) – французский романист, драматург, поэт, публицист и историк, получивший мировую известность скандальным романом «Холостячка». Младший брат писателя Поля Маргерита.

Маритен, Жак (Jacques Maritain, 1882–1973) – французский философ, теолог, представитель неотомизма. Профессор Принстонского университета (1948–1960). Был женат на русской поэтессе Раисе Уманцовой (1883–1960).

Мериме, Проспер (Prosper Merimée, 1803–1870) – французский писатель и переводчик, мастер новеллы.

Моклер, Камиль (Camille Mauclair, наст. имя Северен Фост, фр. Severin Faust; 1872–1945) – французский поэт, прозаик и художественный критик. В конце своей жизни осотрудничал с режимом Виши.

Моммзен, Теодор (Theodor Mommsen, 1817–1903) – немецкий историк, филолог, юрист и политик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за труд «Римская история».

Монтерлан, Анри, де (Henry Marie Joseph Frederic, 1896–1972) – французский писатель, эссеист, драматург. Ослепнув в результате несчастного случая, покончил с собой, приняв цианистый калий.

Монтескьё, Шарль Луи де Секонда (Charles Louis de Seconda, Baron de La Brede et de Montesquieu; 1689–1755) – французский писатель, правовед, философ и политолог, сторонник натуралистического подхода в изучении общества.

Мориак, Франсуа (François Mauriac, 1885–1970) – французский писатель; член Французской академии, лауреат Нобелевской премии (1952), награжден большим Крестом ордена Почетного легиона (1958). Один из самых крупных католических писателей XX века.

Паскаль, Блез (Blaise Pascal, 1623–1662) – французский математик, физик, изобретатель, религиозный философ, писатель.

Плутарх (ок. 46–ок.127) – древнегреческий философ и писатель. Публицистические, литературные и философские сочинения Плутарха на различные темы принято объединять в серию «Нравственные сочинения» («Моралии»), в которую среди прочего включены популярные «Застольные беседы» (в 9 томах).

Селин, Луи-Фердинанд (Louis-Ferdinand Celine, наст. фамилия Детуш, Destouches, 1894–1961) – французский писатель, врач по профессии. Опубликованные на рубеже 30-40-х годов памфлеты «Безделицы для погрома» (*Bagatelles pour un massacre*, 1937), «Школа трупов» (*L'Ecole des cadavres*, 1938) и «Попали в переделку» (*Les Beaux draps*, 1941) закрепили за Селином репутацию антисемита и расиста. В конце Второй мировой войны, обвиненный в сотрудничестве с оккупационными властями, писатель должен был скрываться. В 1951 году, покинутый друзьями и полузабытый на родине, Селин по амнистии возвратился во Францию, поселился в парижском пригороде Медоне и до конца жизни практиковал там в качестве врача для бедных.

Сент-Бёв, Шарль Огюстен де (Charles Augustin de Sainte-Beuve, 1804–1869) – французский литературовед и литературный критик, заметная фигура литературного романтизма, создатель собственного метода, который в дальнейшем был назван «биографическим». Публиковал также поэзию и прозу.

Сименон, Жорж Жозеф Кристиан (Georges Joseph Christian Simenon, 1903–1989) – бельгийский писатель, широко известен произведениями в детективном жанре.

Тацит, Публий (или Гай) Тацит Корнелий (сер. 50-х– ок. 120 года) – древнеримский историк, один из самых известных писателей античности.

Фаррер, Клод (Claude Farrere, псевдоним; наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876–1957) – французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 1905 года.

Флобер, Гюстав (Gustave Flaubert; 12 декабря 1821, Руан – 8 мая 1880, Круассе) – французский прозаик-реалист.

Шатобриан, Альфонс, де (Alphonse Van Bredenbeck de Châteaubriant, 1877–1951) – французский писатель. Получил Гонкуровскую премию в 1911 и 1923 гг. После посещения в 1935 году Германии стал ярым нацистом.

Шестов, Лев Исаакович (Иегуда Лейб Шварцман, 1866–1938) – русский философ-экзистенциалист, религиозный писатель, критик. В 1920 году уехал из России в Швейцарию, в 1921 году поселился во Франции. Член Русской Академической группы в Париже (с 1921), профессор Института славяноведения (с 1922). С 1921 выступал с докладами и лекциями. Преподавал философию на историко-филологическом отделении Сорбонны (с 1922 по 1937). Автор многочисленных трудов по философии и литературе.

Публикация – Елена Дубровина, Мари Стравинская

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Елена Кулен

Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей. 1945–1950¹

Когда русский народ, в лице своих исповедников и страстотерпцев, проходил через огненное крещение, орошаемое исповедническими подвигами и мученической кровью, он покаянно возвращался и возвращается на путь, проложенный в крещении Руси Св. князем Владимиром.

Архиерей Иоанн Лёгкий

АРХИЕРЕЙСКИЙ СИНОД РПЦЗ В ПОСЛЕВОЕННОМ МЮНХЕНЕ

Мюнхенский послевоенный период Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) насчитывает немногим больше пяти лет, с конца апреля 1945 по конец ноября 1950 года, до момента выезда правящего духовенства РПЦЗ в США. Это был один из самых тяжелых периодов за всё время существования РПЦЗ. Война нарушила установившийся порядок общения между Архиерейским Синодом РПЦЗ как высшим органом управления и подведомственными епархиями, географически размещенными в разных странах. Многие европейские страны, где нашли прибежище русские беженцы и эмигранты после революции 1917 года и после Гражданской войны и в которых были созданы приходы РПЦЗ, находились с 1 сентября 1939 по конец апреля 1945 года или под немецкой оккупацией, или же в зоне активных военных действий, в связи с этим почтовая и телефонная связь с ними была полностью нарушена, а перемещение священнослужителей было существенно осложнено. В связи с этим за сложный период войны не состоялось ни одного общего для всех епархий заседания Архиерейского Синода РПЦЗ. Именно в этот пятилетний послевоенный период пребывания Архиерейского Синода РПЦЗ Мюнхен, столица Баварии, превращается в центр русской церковной и общественной жизни. Воссоздание после-

военной структуры Архиерейского Синода сопровождалось чрезвычайными трудностями.

Архиерейский Синод РПЦЗ во главе с его вторым Первоиерархом Анастасием (Александр Алексеевич Грибановский, 6.08.1873, Тамбовская губерния, – 9.5.1965, Нью-Йорк) разделил со своей белградской паствой все ужасы немецких бомбардировок апреля 1941 года и все трудности немецкой оккупации, последовавшей за авианалетами, оставаясь в Белграде и Сремских Карловцах вплоть до сентября 1944 года, до приближения советских войск к Белграду.

Спасаясь от преследований Красной Армии, большая часть русских эмигрантов из югославской диаспоры устремилась в Вену. Туда же эвакуировался весь Архиерейский Синод, его канцелярия и митрополит Анастасий с другими архиереями. Дальнейший беженский путь руководствующего духовенства РПЦЗ лежал через Карлсбад в американскую зону оккупации Германии, в Мюнхен. «Германия агонизировала, а потом была расчленена на зоны, между которыми до октября 1945 не было даже почтовой связи, помимо военной. От непополняемого в последние годы Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, эвакуированного из Сербии, тоже почти ничего не осталось: в нем были только два митрополита – Анастасий (Грибановский) и Серафим (Ляде), а также письмоводитель, протопресвитер Георгий, граф Граббе. Казалось, что Русская Зарубежная Церковь уже перестала существовать и теперь вся церковная власть перейдет окончательно в руки Московской Патриархии, которая в лице своих представителей начала – на фоне насильственных выдач и рыскающих повсюду советских комиссий по возвращению советских граждан – звать соотечественников на Родину, к ‘Богом данному вождю’, всё всем ‘простившему’, а от священнослужителей и иерархов Зарубежной Церкви настойчиво требовала подчинения себе. В Западной Европе и в США огромное число русских эмигрантов, особенно из первой эмиграции, было, ввиду победы над немцами, охвачено советским патриотизмом. Находящиеся под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского) в Париже, последовавшие за ним после его откола в 1926 г. от Русской Зарубежной Церкви и подчинившиеся в 1931 г. Константинополю, 75 приходов присоединились (впрочем, как оказалось, ненадолго) к Московской Патриархии, причем, даже не получив грамоты от Константинополя, – сам митрополит Евлогий принял из рук посла СССР в Париже первый советский паспорт, а у собора на рю Дарю тогда реяли красные флаги...»²

Владыка Анастасий

Владыка Анастасий как глава РПЦЗ прибыл в Мюнхен в конце

апреля 1945 и находился там до октября 1945 года. Это подтверждает акт хиротонии епископа Киссингенского, викария епархии, настоятеля Мюнхенского прихода архимандрита Александра (Ловчего), состоявшийся 29 июля 1945 года³. Позднее Владыкой Анастасием были хиротонисаны Серафим (Иванов) в епископа Сантьягского, во время его пребывания в Швейцарии; Нафанаил (Львов) в епископа Брюссельского и Западно-Европейского (10.03.1946).

Эти первые пять месяцев после окончания войны в Мюнхене дали митрополиту Анастасию понять, насколько осложнена связь со всеми епархиями в Германии, разделенной на оккупационные зоны, в связи со всеми истекающими из этого положения трудностями: невозможность быстрой переписки между подведомственными епархиями при трудности работы почты в ситуации абсолютного крушения коммунально-социальной системы и царящего общего хаоса, трудность в передвижении из зоны в зону при отсутствии специальных документов, разрушенных транспортных сообщениях. Не было и отдельного помещения для Архиерейского Синода РПЦЗ.

Осложнена была связь Архиерейского Синода не только с приходами РПЦЗ в Германии, но и с подведомственными епархиями в других странах. В последние месяцы войны 1945 года и после капитуляции нацистской Германии положение РПЦЗ особенно осложнилось. Успешное продвижение частей Красной Армии в Восточной Европе и Германии, установление просоветских или коммунистических правительств в этих странах повлекло за собой либо изменение юрисдикции для православных мирян и священников, которые ранее принадлежали к РПЦЗ, – они были вынуждены переходить в состав Московского Патриархата; либо приходы РПЦЗ на подконтрольных советской армии территориях попросту закрывались и священнослужители РПЦЗ уезжали, опасаясь репрессий.

Ситуация для РПЦЗ стала особенно критичной после обращения патриарха Алексия I⁴ к клиру РПЦЗ в православную Пасху 1945 года, незадолго до подписания капитуляции Германии. Был воистину знаменательным тот факт, что православная Пасха 1945 года пришлась именно на 6 мая 1945 года, День великомученика Георгия Победоносца, а подписание полной капитуляции Германии произошло в ночь на Светлый Понедельник, 7 мая 1945 года в Реймсе⁵. Для большинства православных христиан это совпадение имело символическое значение, как для сторонников РПЦЗ, так и для представителей Московского Патриархата. Именно на этой позитивной символической волне был произнесен общий призыв Алексия I ко всем священнослужителям РПЦЗ к покаянию после 25-летнего разделения Русской Православной Церкви. В приходах Германской епархии

РПЦЗ в западных секторах Германии стали появляться представители Московского Патриархата, стало распространяться «Обращение» патриарха Алексия от 10 августа 1945 года «К архипастырям и клиру так называемой Карловацкой группы», в которых предлагалось принести покаяние во избежание приговора суда Патриархата от 1934 года⁶.

Примечательно устное высказывание митрополита Анастасия (РПЦЗ) на этот призыв: «Пасха – это не только праздник Освобождения, но и праздник Исхода. Мы сделали свой выбор еще в 1920 году и вновь – в 1945 году»⁷. Свою позицию по поводу Исхода Владыка Анастасий высказал годом позже, также символически приурочив свою речь на Архиерейском Соборе РПЦЗ к православной Пасхе 1946 года. О позиции митрополита Анастасия в отношении «Обращения» Патриарха Всея Руси Алексия I «О грехе разделения Русской Православной Церкви» говорит и факт его официального ответа в октябре 1945 года: «Как епископы, так и клирики, и миряне, подчиняющиеся юрисдикции Заграничного Архиерейского Собора и Синода, никогда не считали и не считаем себя ‘находящимися вне ограды Православной Русской Церкви’, ибо никогда не разрывали канонического, молитвенного и духовного единства со своей Матерью-Церковью. Представители Зарубежной Церкви вынуждены были прервать общение только с высшей церковной властью в России, поскольку она сама стала отступать от пути Христовой Истины и Правды и через это отрывается духовно от православного епископства Церкви Российской, о которой мы не перестаем возносить свои моления за каждым богослужением, и вместе, и от верующего народа русского, издревле оставшегося ‘хранителем благочестия’ на Руси»⁸. «Благодаря решительным действиям первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, митрополита Анастасия (Грибановского), сталинской лжи было противопоставлено церковное начало. В своем ответе патриарху Алексию I митрополит Анастасий писал: ‘Разделение между митрополитом Сергием и Заграничным органом церковного управления началось лишь с тех пор, как он, сознательно и убежденно, пошел на соглашение с безбожной властью, выразив свои новые отношения к ней в известной декларации от 29 июля 1927 г. Всем памятно, какое смущение вызвал этот акт в душе верующих русских людей как в России, так и за границей. Зарубежные епископы не могли принять высказанных в ней взглядов, потому что они явно противоречат духу евангельского, апостольского и отеческого учения и глубоко расходятся с заветами нашей родной Церкви. <...> Если многие зарубежные епископы и с ними большое число духовенства и верных мирян остаются вне канонической связи с нынешней церковной властью в России, то их побуждает к этому не ‘гордость’ – мать всех ересей и расколов, а голос их

церковного сознания и православной совести, которая повелевает повиноваться более Богу, чем людям (Деян. 4, 19). Каждый из нас знает, что идти по широким путям так называемой 'линии наименьшего сопротивления' легче, чем идти сквозь теснину»⁹.

На призыв Алексея I и на радостную волну побед Красной Армии откликнулись многие миряне и священнослужители РПЦЗ. Так, в апреле 1945 года епископом Сергием (Лариным)¹⁰ к Московскому Патриархату (МП) были присоединены русские приходы РПЦЗ в Югославии. Следствием призыва патриарха Алексея I стали покаяние и переход в юрисдикцию Московского Патриархата главы церковного управления в Париже митрополита Евлогия (Василий Семенович Георгиевский, 10/22.04.1868, Тульская губерния, – 9.8.1946, Париж)¹¹. Вместе с ним перешли в юрисдикцию МП 75 приходов в Западной Европе и Северной Африке.

После кончины митрополита Евлогия на его место был назначен митрополит Серафим¹² (Александр Иванович Лукьянов, 23.8.4.9.1879, Саратовская губерния, – 18.2.1959, Гербовецкий монастырь, Молдавия, СССР). Митрополит Серафим (Лукьянов) был назначен на место Патриаршего экзарха Западной Европы Московского Патриархата после открытого покаяния в грехах 31 августа 1945 года. Однако его назначение вызвало протест со стороны большинства «евлогианских» приходов, по этой причине в подчинение митрополита Серафима в состав МП перешли лишь 30 приходов. Из состава клира РПЦЗ вышли также православные общины Болгарии, Восточной Германии и Чехословакии, Харбина и Манчжурии. Это был критический процесс потери Русской Православной Зарубежной Церковью высокообразованного духовенства и паствы в этих странах.

Таким образом, довоенный состав Архиерейского Синода РПЦЗ распался к концу Второй мировой войны. Из первого состава Архиерейского Синода остались в ранний послевоенный период РПЦЗ в Баварии лишь митрополит Анастасий и митрополит Серафим (Ляде)¹³. Потери были большие: при эвакуации из Белграда погибли три епископа РПЦЗ, среди них – епископ Тихон (Лещенко). Во время немецкой оккупации Югославии покинул РПЦЗ епископ Гермоген (Максимов), создав неканоническую Хорватскую Православную Церковь. Четыре епископа РПЦЗ в Манчжурии и Китае перешли в юрисдикцию Московского Патриархата, направив Сталину телеграмму с поздравлением с победой над Японией. Свою верность РПЦЗ сохранил лишь епископ Иоанн Шанхайский (Максимович).

От РПЦЗ отпали приходы в «старой» Германии и в Вартегау. В остальной части Германии все приходы остались в ведении митрополита Серафима (Ляде), РПЦЗ. Не имея еще подробного доклада из

английской зоны оккупации Германии на момент Архиерейского Собора в апреле 1946 года, митрополит Серафим (Ляде) сообщал в своем докладе на Архиерейском Соборе в апреле-мае 1946 года, «что в американской и французской зонах у него 68 приходов, в Австрии – 22 прихода. Духовенство сборное, не везде. Есть вакантные приходы, на которые священники не хотят идти. Большие осложнения возникают с украинцами-автокефалистами. Борьба с ними очень затруднительна, ибо мы ведем ее в чисто церковной плоскости, а они – в плоскости политической. Пока к ним перешло, однако, только три священника. Что касается распределения Преосвященных, то в одной Германии разместить их трудно. Предложено всем выбрать тот район, какой они хотят; пока избрали себе районы архиепископ Венедикт, архиепископ Филофей и епископ Григорий. Епископ Афанасий еще не окончательно решился. После Троицы намечен Епархиальный съезд, на котором будет закончена организация работы»¹⁴.

Вследствие роста влияния Московского Патриархата в новых социалистически ориентированных странах Восточной Европы была организована внешняя изоляция РПЦЗ в православном мире, изменилось также отношение поместных Церквей к РПЦЗ: Сербский и Иерусалимский Патриархаты прекратили после Второй мировой войны нормальное каноническое общение с РПЦЗ, лишь в случаях большого исключения допускалось совместное богослужение с клириками РПЦЗ.

Победа СССР в выигранной войне укрепила его внешнеполитические позиции в мире. Сталиным была разработана новая государственная послевоенная «Программа по реэмиграции» русских эмигрантов, бывших российских подданных, в странах Европы и Азии (Китай, Японии). В этих странах были созданы, по примеру 1920-х годов, «Союзы возвращения на родину» при посольствах и Генеральных консульствах СССР не только в подконтрольных Красной армии странах, но и в США. Были открыты также «Общества советских патриотов» во Франции, Германии, Манчжурии, Китае, куда вступали русские эмигранты, воодушевленные победой СССР в войне. Особая роль в этой советской стратегической программе по возвращению русских эмигрантов (при свободном выборе и при насильственном) отводилась священнослужителям. Влияние священнослужителей на православную паству РПЦЗ могло служить инструментом психологического воздействия. С этой целью со стороны советского правительства было начато стратегически масштабное «наступление» на РПЦЗ как на непримиримого антисоветского оппонента.

Эта сталинская «программа» преследовала следующие цели: сокращение численности русской антисоветски настроенной эмигра-

ции и влиятельного, высокообразованного духовенства РПЦЗ в странах рассеяния; предусматривала репрессивные меры перевоспитания таковых в лагерях ГУЛага и получение, таким образом, бесплатной рабочей силы в разрушенной войной стране. Пути и методы реабилитационной программы для т. н. «возвращенцев» были самыми разными: для священнослужителей – покаяние и включение в состав Московской Патриархии, для русских мирян-эмигрантов, живущих часто в больших материальных трудностях в изгнании, – обещание светлой, беззаботной и, главное, хорошо обеспеченной жизни в Стране Советов, – как наиболее «мягкие» методы; более жёсткими методами были насильственный метод репатриации, «охота» и в некоторых случаях кража наиболее активных антисоветски настроенных священнослужителей и верующих мирян.

Анализируя факты перехода отдельных приходов РПЦЗ в состав МП, следует учитывать и «новое веяние» в советских политических кругах во время войны. Относительное послабление террора против Церкви в СССР наступило в 1943 году и вселило надежду на улучшение жизни во многих советских граждан, в интернированных военнопленных и остовцев в Германии, а также и в некоторых «старых» русских эмигрантов в изгнании. Так, например, русская эмиграция «первой волны» почти во всех странах изгнания разделилась на два лагеря: просоветскую, с радостью принимавшую советские паспорта и подданство, и антисоветскую, продолжавшую и дальше рассматривать обещания Сталина как уловку для расправы со старыми русскими эмигрантами – бывшими идеологическими врагами и новыми советскими, осмелившимися на Исход и, тем самым, найдя выход спасения своих жизней вне зоны влияния СССР.

Было ли действительно послабление для Православной Церкви в СССР, которое вселило надежду во многих? Начиная с 1943 года, Сталин сменил государственную политику тотального уничтожения и ограбления Русской Православной Церкви, репрессии против духовенства и мирян в СССР, на некоторое послабление, – но ненадолго. Здесь видится прежде всего циничный прагматизм советского правительства, а не поворот к либерализации и «новому курсу».

Сталинский режим стремился выжить и удержаться. До победы Красной Армии в Сталинградской битве ситуация в стране была более чем критической для советского правительства – при потере полного контроля и влияния в стране после крупных военно-стратегических ошибок и массовой сдачи русских городов и массовой сдачи в плен советских военнослужащих, а также после открытия православных храмов немцами на оккупированных территориях. С началом работы «Псковской Православной Духовной Миссии» и ее повсемест-

ным успехом Сталин испугался возрождения церковной и религиозной русской жизни на оккупированных немцами территориях, – идущего, прежде всего, снизу, из русского народа. В связи с этим в 1942 году начинаются переговоры с Московским Патриархатом для возвращения контроля над ситуацией, сворачивается государственная санкционированная «программа» поддержки обновленчества. Дополнительным смягчающим, но не решающим, фактором улучшения отношений с Церковью было влияние западных союзников и открытие Второго фронта. Прежде всего англичане настойчиво затрагивали тему либерализации церковно-государственной политики в СССР.

Прагматичность политики советского правительства по спасению и стабилизации своей власти в период военных потерь Красной Армии обусловила общее смягчение в государственно-церковных отношениях в СССР; это выразилось прежде всего в патриотическом настрое Московского Патриархата с молениями о «победах оружием Красной Армии» и начале смягчения мер правительства к верующим и священнослужителям в СССР. Это должно было послужить объединению всех народных сил в войне против нацистской Германии. Первым выражением послабления было разрешение с 1943 года Поместного Собора, восстановление Патриаршества, избрание Патриарха, восстановление церковной иерархии, открытие храмов и приходов, открытие отдельных монастырей. Например, в 1946 году было начато восстановление крупнейшего мужского монастыря и духовной семинарии в Троице-Сергиевой Лавре под Москвой, было дано благоприятствование церквям для аренды земли, для свечного производства. Всё это вселяло надежду в русских православных людей как в СССР, так и в изгнании, что кровавые годы антицерковного террора закончились.

После войны Сталин не только хотел укрепить международную позицию Московского Патриархата, но имел также амбициозный план создать в Москве Вселенский Собор и превратить Москву в своего рода «Православный Ватикан». Вселенский Собор должен был объединить все Православные Церкви под эгидой Патриарха Всея Руси в Москве. Сталин считал, что кремлевское руководство таким образом, используя церковные каналы, получит в мире уникальные рычаги для «трансляции» советского влияния и сможет использовать церковные структуры во внешней политике¹⁵. К счастью, этим гигантским планам не дано было осуществиться в том масштабе, в каком они были задуманы. Ряд восточных Церквей отказался прислать в Москву своих представителей.

Для Московского Патриархата поддержка «программы» Сталина по реэмиграции также означала укрепление собственных позиций и формирование лидирующей роли во Вселенском Православии и ней-

трализацию антисоветски настроенной РПЦЗ. Это означало расширение сети русских православных приходов МП в мире и их активное финансирование со стороны советского правительства. Одной из главных целей было также возвращение церковной собственности и недвижимости Св.-Владимирского Братства за границей, которая ранее принадлежала Российской Империи, а в период с 1923 по 1939 годы была частично передана в собственность РПЦЗ.

После окончания войны и подписания Германией акта о капитуляции начинается сложный процесс перехода некоторых приходов РПЦЗ в Европе в юрисдикцию Московского Патриархата на территории Восточной Германии и Восточной Европы. Этот процесс был ознаменован не только борьбой за сердца и умы верующих мирян в конфликте между РПЦЗ и МП, но и сложным процессом укрепления юридических прав русских приходов на церковную недвижимость Св.-Владимирского Братства.

Св.-Владимирское Братство

Стоит кратко остановиться на истории Св.-Владимирского Братства. Его полное и точное наименование гласит «Свято-Князь-Владимирское Братство». Общество было основано в 1890 году протоиереем Алексеем Мальцевым (1854–1915) при церкви посольства Российской империи в Берлине. Это было благотворительное общество по оказанию помощи русским подданным любой христианской конфессии (помощь оказывалась также католикам и протестантам царской России) и любой национальности, попавшим в тяжелое материальное положение на чужбине. Кроме оказания материальной помощи для подданных Российской империи в задачи Владимирского Братства входило сооружение и уход за православными храмами в Германии. Вследствие этого Св.-Владимирское Братство являлось с 1890 года одним из самых крупных владельцев российской церковной недвижимости в Германии.

После Октябрьского переворота 1917 года окончательные права владельцев бывшей российской собственности оставались не утвержденными со стороны германского правительства. С 1923 года Владимирское Братство было зарегистрировано как самостоятельное юридическое лицо и, тем самым, получило легитимное право владения этой недвижимостью. С 1938 года Владимирское Братство входило в состав РПЦЗ.

После Второй мировой войны начался процесс спора между РПЦЗ и Московским Патриархатом об исключительности права наследия на имущество Владимирского Братства при регистрации религиозных общин в тех регионах, где находились прежние православные

храмы и принадлежавшие к ним земельные участки. Решающее слово в этом вопросе оставалось за Военными администрациями оккупационных властей союзников, а с момента основания ФРГ (23.5.1949) – за правительствами ФРГ и ГДР.

Следующие храмы Владимирского Братства оказались после окончания Второй мировой войны, таким образом, в разных оккупационных зонах Германии:

В американской зоне оккупации:

- храм всех Святых в Бад-Хомбурге, построен в 1899 году, и «прицерковный» дом, построен в 1911 году;
- храм Преподобного Сергия Радонежского в Бад-Киссингене, построен 1901 году;
- домовые церкви в Бад-Брюкенау, построены в 1908 году;
- храм свт. Иннокентия Иркутского и преп. Серафима Саровского в Бад-Наугейме, построен в 1908 году.

В английской зоне оккупации:

- домовая церковь Св. Николая Чудотворца в Гамбурге, построенная в 1901 году.

Во французской зоне оккупации:

- храм Св.Св. Елены и Константина в Берлине-Тегеле с прилегающим к нему русским кладбищем.

В советской зоне оккупации:

- храм Св. Архистратига Божьего Михаила в Гёрберсдорфе в Силезии, построен в 1901 году;
- домовые церкви в Бад-Вильдунге, построены в 1912 году;
- домовая церковь с Данциге (ныне Гданьск, Польша), построенная в 1913 году.

Оккупационные власти Берлина передали всю собственность Владимирского Братства в Берлине Московскому Патриархату. Правление же Свято-Владимирского Братства в составе РПЦЗ оказалось в Западной Германии, с 1961 года – в Бад-Киссингене, что осложняло весь процесс выяснения юридических прав владения церковной недвижимостью. Именно на этом общем политическом фоне произошли изменения и в структуре Русской Православной Церкви Заграницей в первый послевоенный период с мая по октябрь 1945 года. К середине октября 1945-го Владыка Анастасий получает разрешение от Американской Военной Администрации в Баварии (OMGBY – Office of Military Government for Bavaria) на выезд в нейтральную Швейцарию для восстановления связи с подведомственными епархиями РПЦЗ, утраченной во время войны и в первый послевоенный период. За время пребывания Владыки Анастасия в Швейцарии были сознательно распространены слухи

о роспуске Архиерейского Синода РПЦЗ и об отсутствии руководящего духовенства РПЦЗ в Мюнхене во всех приходах РПЦЗ в лагерях ДиПи¹⁶. Целью этих слухов было внесение смуты и растерянности в среду мирян и служащего духовенства РПЦЗ. Можно лишь догадываться об источнике распространения этих слухов, но таковые реально существовали и стали возможными из-за трудной послевоенной коммуникации между приходами и Архиерейским Синодом, из-за невозможности быстрого восстановления печатного органа Архиерейского Синода в первые месяцы после войны при общей острой нехватке бумаги, при закрытом характере границ между всеми зонами оккупации в Германии и трудностями как в перемещении, так и в почтово-телефонных связях.

Даже в тех православных приходах, которые возникли в западных зонах оккупации в многочисленных лагерях ДиПи распространение достоверной информации от РПЦЗ в Германии и Австрии было осложнено. Существовавший в Германии даже в годы войны журнал «Распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима, Митрополита Берлинского и Германского и Средне-Европейского Митрополичьего округа» имел маленький тираж и не распространялся широко в православных приходах при лагерях ДиПи уже по причине отсутствия машины у Архиерейского Синода РПЦЗ в Мюнхене до декабря 1945 года. Была реальная проблема с доставкой журнала по адресам. Да и стоимость журнала в 1,50 рейхсмарки была для многих русских дипийцев высокой ценой при отсутствии денежных средств, т. к. они жили на довольствии УНРРА и ИРО*.

* УНРРА – «Управление Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и восстановлению» (UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration), организация, созданная для решения проблемы ДиПи на глобальной мультилатеральном уровне; создана в 1943 году. На ее создание 52 страны-участницы внесли средства в размере 2% от их национального дохода; порядка 4 млрд долларов было потрачено на снабжение продовольствием и медикаментами, восстановление коммунальных услуг, сельского хозяйства и промышленности. Большая часть помощи поступила в Китай, Чехословакию, Грецию, Италию, Польшу, Белорусскую ССР, Украинскую ССР и Югославию. При содействии УНРРА около 7 миллионов ДиПи вернулись в страны, где проживали до войны. Были созданы лагеря для перемещенных лиц, где размещалось около 1 миллиона беженцев, не пожелавших вернуться на родину. Более половины всех средств поступило от США, все три генеральных директора УНРРА были американцами. ИРО – The International Refugee Organization, 1.07.1947 – 1.07.1950. Эта организация сменила УНРРА, имела те же цели, но другую программу, – прежде всего программу по расселению ДиПи в разные страны и предоставлению реальных гражданских прав на пребывание в той или иной стране.

Информационный вакуум заполнялся слухами. Этому вскоре было найдено противодействие через распространение копий регулярных телеграмм и писем Владыки Анастасия. Их перепечатывали на машинке или переписывали от руки и распространяли в приходах РПЦЗ в лагерях ДиПи от прихожанина к прихожанину все семь месяцев отсутствия Владыки Анастасия в Мюнхене. Это развеяло слухи о его исчезновении, как вспоминает бывшая дипийка Е. Трудник из Бремена¹⁷.

По предположению Евгении Трудник, этими слухами о распаде Архиерейского Синода РПЦЗ и исчезновении митрополита Анастасия пытались склонить верующих к переходу в состав Московского Патриархата. Истинный архипастырь, Владыка Анастасий был хорошо осведомлен обо всем происходящем в лагерях ДиПи уже и потому, что сам был зарегистрирован как русский беженец из Югославии с нансеновским паспортом в дипийском лагере Фюссен в Баварии. Он открыто выступал с протестами против насильственных выдач как старых, так и новых советских эмигрантов; их защита стала для него и Архиерейского Синода РПЦЗ христианским долгом.

Так, на первую известную насильственную выдачу, совершенную в австрийском городке Лиенце на границе с Италией, когда 1 июня 1945 года было выдано, помимо бывших советских граждан, 1430 старых эмигрантов, не подлежащих репатриации согласно Ялтинским договоренностям, митрополит Анастасий выразил протест генералу Эйзенхауэру против выдачи этих казаков Первой Казачьей дивизии под предводительством Гельмута фон Паннвица (Helmut von Pannwitz). Митрополит Анастасий разрешил отпевать самоубийц этой трагедии, при которой женщины с грудными детьми бросались в горную реку Драву, разбиваясь насмерть, – во избежание насильственной репатриации. Первоиерарх и священнослужители РПЦЗ ходатайствовали перед союзническими властями о прекращении антигуманных насильственных выдач на протяжении всех последующих подобных акций в лагере Кемптен, Фюссен, Платлинг, Дахау.

Решительное обличение безбожного коммунизма на фоне краха нацизма, рядившегося в антикоммунистические одежды, легко могло привести к небезопасному тогда обвинению в «фашизме». Из этого идеологизированного периода до сих пор слышатся различные обвинения в сторону Русской Зарубежной Церкви в «сотрудничестве с нацистами» – «не выдерживающие серьезной исторической критики, но до сих пор затуманивающие умы»¹⁸.

За эти семь месяцев пребывания Владыки Анастасия в Женеве, в Швейцарии, удалось восстановить письменные сношения со всеми

подведомственными епархиями и церковными общинами РПЦЗ, вследствие чего была укреплена пошатнувшаяся за годы войны организационная структура РПЦЗ и, главное, было достигнуто единство внутри РПЦЗ. Владыка Анастасий возвратился в Мюнхен к православной Пасхе 23 апреля 1946 года, где созвал Архиерейский Собор РПЦЗ.

Послевоенный состав Архиерейского Синода

Перед митрополитом Анастасием стояла одна из важнейших задач по объединению Зарубежной Церкви в новых, послевоенных условиях. Критическое положение РПЦЗ требовало скорейшей новой организации и нового устройства для преодоления этого «структурного кризиса» в РПЦЗ. В связи с этим, первоочередной задачей было утверждение нового, послевоенного состава Архиерейского Синода и новых положений в Уставе РПЦЗ, которые были выработаны и провозглашены как программная ориентация для всех епархий РПЦЗ в первый послевоенный период в Баварии. Эта программа была продолжена и на последующем этапе существования Русской Православной Зарубежной Церкви, после переезда правящего духовенства в США и другие страны.

После Собора РПЦЗ в апреле 1946 года Архиерейский Синод РПЦЗ был представлен в новом составе. Председателем Архиерейского Синода по-прежнему оставался митрополит Анастасий (Грибановский) в свои почтенные 73 года. В Синод вошли также новые архиереи, выехавшие во время войны из СССР и входившие ранее в состав Украинской и Белорусской Автономных Церквей. Интересно отметить тот факт, что чем больше в Архиерейский Синод РПЦЗ приходило сообщений о переходе приходов РПЦЗ в состав Московского Патриархата, тем больше появлялось новых приходов в лагерях ДиПи в американской зоне Германии. Это была уже другая по составу паства по сравнению со старой русской эмиграцией «первой волны», – в основном, это были люди, лишенные иллюзий о жизни в СССР; люди, пережившие около 25 лет страшного кровавого красного террора. В числе их были гражданские беженцы из Западной Украины, Польши, Чехословакии, стран Прибалтики, из СССР, перемещенные войной и хлынувшие от наступления Советской Армии в Германию. Многие православные беженцы, примкнувшие к РПЦЗ, принадлежали до того к автономным православным национальным Церквам. Оставив свою родину, они сделали осознанный выбор, протестуя, таким образом, против террора во имя спасения своих детей и себя. Парадоксально, но именно война стала для большинства бывших граждан СССР единственным шансом избавиться от советского террора.

Окормление этих православных беженцев, сознательно решившихся на Исход из СССР, было одной из самых главных чаяний Владыки Анастасия – дать успокоение и надежду этой пастве, убедить и защитить их от насильственных выдворений советским репатриационным комиссиям, организовать и упорядочить их приходскую жизнь в лагерях ДиПи, организовать юридическую помощь для выстраивания новой жизни. А часто бывало и так, что бывшим советским гражданам, новым беженцам, необходимо было освоение азов православия и правил поведения во время богослужения.

БЕРЛИНСКАЯ И ГЕРМАНСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ В ЛАГЕРЯХ ДИПИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЗОНЕ ГЕРМАНИИ

Прежде чем описывать процесс возникновения новых православных приходов в лагерях ДиПи в западных зонах оккупации Германии после подписания капитуляции Германии в 1945 году, стоит совершить краткий экскурс в историю Берлинской и Германской епархии РПЦЗ, бывшего Средне-Европейского митрополичьего округа.

Берлинское викариатство было учреждено в составе РПЦЗ и находилось в подчинении управляющего приходами в Западной Европе митрополита Евлогия (Георгиевского) с 1924 года. После проведения Архиерейского Собора РПЦЗ в Сремских Карловцах в июне 1926 года, оно преобразовано в Германскую епархию, получившую административную и юридическую самостоятельность во главе с епископом Тихоном (Лященко)¹⁹, который пробыл на этом посту 14 лет; его сменил митрополит Серафим (Ляде) (Имело значение и то, что он был этническим немцем).

Стоит заметить, что в 1936 году Германская епархия получила статус «Публично-правовой корпорации», т. е. Православная Русская Церковь Заграницей в Германии получила те же права, что и Католическая и Протестантская Церкви. Архиепископ Серафим (Ляде) был утвержден Германским правительством на пост Германской епархии в 1938 году. К этому моменту в юрисдикции РПЦЗ оказались почти все существовавшие русские православные приходы Германии. Те приходы, которые придерживались «евлогианской» линии, как и сам епископ Евлогий (Георгиевский), находились в составе Константинопольской Патриархии; они подверглись давлению со стороны немецких властей с целью их перехода в состав РПЦЗ.

О росте православной паствы в Германской епархии во время Второй мировой войны и об изменении ее социально-этнического состава мы находим информацию в «Отчете о заседании

Епархиального собрания» от 16-17 июля 1946 года²⁰. В своем докладе митрополит Германской епархии Серафим (Ляде) анализирует общее положение дел с момента его назначения на этот пост. Следующая статистика представлена им:

- 1938 год: 4 прихода;
- 1942 год: 15 приходов;
- Февраль 1945 года: 80 приходов;
- Август 1946 года: 98 приходов.

С начала Второй мировой войны существенно изменился как состав православной паствы, так и сам клир Берлинской и Германской епархии РПЦЗ. Появились беженцы из Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии. Начиная с 1941 года после значительных потерь на фронте для частей советских вооруженных сил наступил момент массовой сдачи в плен; было создано огромное количество немецких лагерей для советских военнопленных. С захваченных немцами значительных территорий СССР на работы в Германию стали отправлять гражданское молодое население, т. н. остарбайтеров. Вследствие чего в Германии были созданы многочисленные рабочие лагеря «остовцев», в основном для русских, украинцев, белоруссов.

Именно советские военнопленные и остовцы составили круг верующих мирян, которые окормлялись священнослужителями РПЦЗ во время и после войны. Здесь стоит заметить, что окормление советских военнопленных и остовцев стало возможным не сразу. Это был долгий процесс запросов митрополита Серафима (Ляде) в Германское министерство по делам Церкви с просьбой о богослужениях в нацистских лагерях. Вот что сообщает митрополит Серафим (Ляде) на Епархиальном собрании в июле 1946 года, анализируя военные годы: «Так называемый Аamt Розенберга²¹, а позже Восточное министерство причинило нам много огорчений. Оно всячески препятствовало осуществить духовное окормление всех т. н. ‘остов’. Нашему духовенству было поначалу запрещено служение в лагерях, а ‘остам’ было строго запрещено посещение наших приходских церквей. Дети оставались некрещенными, новобранцы неповенчанными, умершие хоронились без церковного отпевания и т. д. Даже распространение духовной литературы было нам долгое время запрещено. Только в отдельных случаях нам удавалось пробить брешь в этой мрачной стене ограничений, запретов и притеснений. Там, где в лагере были священники, мы снабдили их Св. Антиминсом и по мере возможности церковной утварью, пожертвованной приходами; мы снабжали лагерь богословскими книгами и литературой. То же нам удалось достичь в лагерях военнопленных. Это достигалось величайшим трудом и путем обхода разных ведом-

ственных распоряжений. В конце концов, после долгих хождений и переговоров нам было дано разрешение на назначение 15-ти разъездных священников для обслуживания лагерей»²².

К мирянам православных приходов Германской епархии относились также и русские военнослужащие в составе Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова (РОА), которые вербовались немцами из лагерей советских военнопленных, размещенных на территории Германии и оккупированных территориях СССР. Из их числа были созданы независимые военные национальные подразделения в составе вермахта. О кормление представителей Русской Освободительной Армии проходило при военных школах подразделений, например, в Дабендорфе под Берлином, в Мюнзинге в Баварии.

С 26 мая 1942 года Берлинская и Германская епархия была переименована по требованию немецких властей в Средне-Европейский митрополичий округ, территория которого значительно расширилась за счет присоединения к Германии оккупированных территорий. Территория Средне-Европейского митрополичьего округа включала в себя территорию «Великой Германии»: Германию, Австрию, Судеты, Лотарингию, протекторат Богемии, Моравию, Словакию, Люксембург, Бельгию, Польшу. С 1942 года в округ вошли такие оккупированные немцами территории СССР, как Орловская, Смоленская, Белостокско-Гродненская епархии. Балканский округ был упразднен. Архиепископ Серафим (Ляде) был назначен митрополитом. Период до окончания войны отмечен единовластием митрополита Серафима (Ляде), за это время не состоялось ни одного епархиального собрания. О его единовластии критически отзывались как священники, так и миряне.

Для поддержания связи между отдельными викариатствами и приходами в Средне-Европейском митрополичьем округе началось издание информационного бюллетеня митрополита Серафима (Ляде) «Распоряжения и Сообщения». Это был своего рода информационный орган для священнослужителей и мирян, дававший общие сведения о делах в Германской епархии и на местах в приходах, а также освещавший распоряжения Церковного министерства Третьего рейха относительно РПЦЗ и распоряжения митрополита Серафима (Ляде), в частности.

С середины 1943 года к числу православных мирян Средне-Европейского митрополичьего округа РПЦЗ прибавилось большое количество гражданских русских беженцев, «перемещенных лиц», добровольно покинувших родину вместе с отступающими частями вермахта из оккупированных регионов СССР.

За эти военные годы усилиями о. архимандрита Иоанна (Шаховского²³) и прот. Александра Киселева²⁴ было хорошо налажено кни-

гоиздательство духовной православной литературы на русском языке в Берлине, а также печатались бумажные иконы и распространялись в лагерях – открыто и тайно – среди советских военнопленных, а также среди православных русских, украинских, белорусских остовцев. Была напечатана полная Библия на русском языке, Св. Евангелие от Иоанна, молитвословы, брошюры с разъяснением православия для остовцев из СССР. Была хорошо налажена миссионерская работа, в основном так называемыми «разъездными» священниками – в лагеря остовцев и советских военнопленных; если были получены разрешения на окормления в лагерях, эту работу проводили прот. Александр Киселев, прот. Форманчук и другие.

К маю 1945 года штат священников и количество православных мирян Средне-Европейского митрополичьего округа РПЦЗ увеличился в несколько раз за счет расформирования лагерей советских военнопленных и лагерей остарбайтеров и преобразования этих лагерей в сборные пункты (non-static camps) по репатриации на родину. В этих временных лагерях – сборных пунктах – началось открытое окормление православных советских военнопленных и остов, предназначенных для массовой репатриации. Несмотря на кратковременность существования этих сборных пунктов, усилиями отдельных священников из рядов самих лагерников были созданы православные приходы, или же туда посылались священники РПЦЗ для богослужений на большие праздники, совершения таких треб, как крещение, бракосочетание, погребение.

В стационарных лагерях ДиПи (static camps) были размещены прежде всего русские православные ДиПи с нансеновскими паспортами, не подлежащие репатриации; эта группа была меньше по численности, чем группа т. н. «невозвращенцев», т. е. новых советских беженцев. И в этих стационарных лагерях формирование православных приходов и церквей началось также с инициативы самих священнослужителей, имеющих такой же статус ДиПи, как и все.

О ситуации стихийного создания церквей в лагерях ДиПи указывает в своем докладе митрополит Серафим (Ляде) на Епархиальном Собрании в августе 1946 года в Мюнхене: «Само собой разумеется, что капитуляция Германии должна была отразиться на положении церковных дел в нашей епархии. Вся советская зона отошла. Невозможно было узнать, что делается в других зонах, включая даже американскую. Ведь почтового сообщения не было, железная дорога действовала в самом ограниченном размере. Только случайно можно было узнать, что делается в провинции Баварии и в других зонах. Духовенство находилось в неопределенном положении, т. к. священники не знали, есть ли еще правящий епархиальный архиерей и где

он?*

Но несмотря на все трудности, начался процесс собирания епархии и восстановления церковной жизни в отдельных приходах. Так, выяснилось, что в Баварии имелось довольно большое число приходов. Образовались они большей частью без всякого руководства ‘сверху’, а именно в лагерях, по инициативе или священников, живших в этих лагерях, или верующих, приглашавших к себе священников из других мест. Когда духовенство и верующие узнали, что я в Мюнхене, они приезжали ко мне, чтобы оформить свое положение. В американской и французской зонах нормальный порядок епархиальной жизни восстановился сравнительно скоро и легко, благодаря сознательности и верности священным канонам духовенства и верующих. Что же касается английской зоны, то у меня пока нет сведений**, необходимых для того, чтобы составить себе верную картину о положении. По постановлению Архиерейского Собора РПЦЗ этой областью управляет Преосвященный Нафанаил.»²⁵

После капитуляции Германии Германская епархия РПЦЗ сохранила свой юридически-правовой статус «публично-правовой организации», но положение ее было до конца не подтвержденным со стороны Американской Военной Администрации вплоть до конца 1946 года. Это объяснялось прежде всего тем, что статус Католической и Протестантской Церквей зависел также от нового закона о положении Церквей в Германии и от закона о денацификации священников и руководящего клира Католической и Протестантской Церквей. В случае с Русской Православной Церковью важен был вопрос назначения на должность приходского священника: если священник был иностранным подданным или бесподданным, то решение о его назначении зависело от согласия правительственной власти, в данном случае, от Американской Военной Администрации. Члены Епископского Совета назначались епархиальным архиереем.

С мая 1946 года в Германской епархии было учреждено 6 викариатств:

- Английская зона,
- Французская зона,
- Гросс-Гессен,
- Вюртемберг-Баден,
- Оберфранкен,
- Ганновер-Брауншвейг.

* Митрополит Серафим с апреля по июль 1945 г. находился в деревне Кухле, вблизи Зальцбурга, во избежание ареста со стороны американских властей и неясности отношения западных союзников к РПЦЗ в первые месяцы после войны. (Прим. автора)

** На момент августа 1946 года. (Прим. автора)

Согласно данным по регистрации православных приходов в Архиерейском Синоде РПЦЗ на момент августа 1946 года статистика православных приходов в лагерях и вне их была таковой:

Бавария: 55 приходов;
Французская зона: 8 приходов;
Вюртемберг-Баден: 5 приходов;
Гросс-Гессен: 10 приходов;
Английская зона: 20 приходов.

Всего: 98 приходов.

Православные приходы были разные по величине, из них самые многочисленные приходы находились в Мюнхене, Регенсбурге, Касселе, в зависимости от расположения в пригородах этих городов больших стационарных лагерей ДиПи; имелись также и маленькие приходы в 300-500 человек, как, например, в Мурнау, Бад-Айблинге, Розенхайме (маленькие городки в Баварии), Люттензее. К концу 1948 года по 1952 год начинается массовый выезд русских ДиПи из лагерей в Новый Свет по программе переселения ИРО, в связи с этим резко уменьшается численность православных приходов в Германской епархии РПЦЗ.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕПИСКОПОВ В РАЗДЕЛЕННОЙ НА СЕКТОРЫ ГЕРМАНИИ²⁶

Положения о делении Германской епархии на викариатства были разработаны на Зарубежном Архиерейском Синоде РПЦЗ в 1946 году в Мюнхене. Основным принципом было определено единство территориального размещения православных приходов в лагерях ДиПи, а также в уже существующих православных церквях РПЦЗ в западных оккупационных зонах. Эта структура РПЦЗ стала основополагающей также и в новых, послевоенных условиях.

В первоначальный хаотичный послевоенный период назначение священнослужителей в приходы имело спонтанный характер и выглядело так: священники, зарегистрированные как ДиПи, сами инициативно организовывали церкви при помощи верующих, а их назначение осуществлялось «постумом». Православные храмы, как и церкви других конфессий в лагерях ДиПи, устраивались с разрешения офицеров УНРРы и ИРО непосредственно в лагерях в согласовании с высшими оккупационными военными администрациями западных зон Германии. С декабря 1946 года по настоянию Американской Военной Администрации была произведена регистрация служащего духовенства в лагерях ДиПи, что упорядочило процесс назначения священнослужителей в приходы.

Облегчил общение между викариатствами в Германской епархии РПЦЗ и тот важный факт, что с 6.12.1946 года была создана «британско-американская 'би-зона', а с 3.6.1948 года была создана 'тризония' после присоединения Французской оккупационной зоны»²⁷. Благодаря этому началась постепенная стабилизация общей структуры внутренних взаимоотношений между викариатствами внутри Германской епархии РПЦЗ и их взаимоотношений с Архиерейским Синодом как высшим органом управления без получения дополнительных разрешений со стороны военных правительств западных союзников на проезд из зоны в зону для духовных лиц РПЦЗ.

Согласно протоколам Архиерейского Собора 1946 года, митрополит Серафим (Ляде) осуществлял каноническое назначение по запросу и воле Преосвященных. Епископы не могли получать полных епархиальных прав в силу временного характера церковных православных приходов в лагерях ДиПи. «Положения о викариатствах Германской Епархии» дают представление о правах викариатств на местах и об их взаимоотношении с Архиерейским Синодом РПЦЗ как верховным управляющим органом.

Впервые «Положение о викариатствах Берлинского и Германского Митрополичьего округа» было принято в 1925 году. В 1946 году этот митрополичий округ имел территориальные изменения в связи с крушением нацистской Германии и распада территории «Великой Германии» с входящими в ее состав оккупированными территориями других государств. 16 ноября 1948 года «Западно-Европейский Митрополичий округ» был вновь переименован – в Берлинскую и Германскую епархию (в документах обозначена как «округ»).

Новый вариант «Положения о викариатствах», выработанный на Архиерейском Соборе 1946 года, имел важное значение при организации приходов в Германской епархии. Численность приходов РПЦЗ в лагерях ДиПи постоянно менялась по причине текучести жителей и их частого перемещения или санкционированного перевода из лагеря в лагерь, позднее – в связи с переездом в другие страны.

На Владыку Анастасия и викариатских епископов возлагалась большая ответственность по организации приходов в трудных лагерных условиях. Такие приходы существовали кратковременно, как, например, в лагере Кемптен – лишь 4 месяца, или в лагере Фюссен – лишь 1 год. Некоторые православные приходы в стационарных лагерях ДиПи просуществовали намного дольше, как, например, в лагере Шляйсхайм – почти 7 лет. Именно эти первые православные лагерные приходы стали основополагающими ячейками для создания православных приходов РПЦЗ уже в новых центрах рассеяния русских

беженцев и эмигрантов в странах Северной и Южной Америки, в Бельгии, Австралии.

Чтобы ощутить всю полноту ответственности епископов РПЦЗ и митрополита Анастасия в этих трудных условиях, нужно обратиться к «Положению об устройстве викариатств» в Германской епархии РПЦЗ от 1946 года; таковое гласило:

1. Православная Германская епархия делится на викариатства, из коих каждое является частью ее и, как таковое, входит в состав Русской Православной Церкви Заграницей.

2. Учреждение и упразднение викариатства производится Архиерейским Синодом по представлению Митрополита Берлинского и Германского.

3. Территориальные границы викариатства определяются в том же порядке.

4. Епископы, управляющие викариатствами, назначаются и освобождаются от должности Архиерейским Синодом по представлению Митрополита Берлинского и Германского.

5. Имя управляющего викариатством Преосвященного возносится во всех храмах того викариатства, после имени правящего Митрополита.

6. Управляющий викариатством сам избирает себе резиденцию в пределах последнего и имеет право быть настоятелем церкви в данном месте по своему усмотрению.

7. Управляющий викариатством в вопросах управления последним подчиняется непосредственно Митрополиту Берлинскому и Германскому, коего он является полномочным представителем перед всеми местными военными и гражданскими властями.

8. Управляющий викариатством имеет право совершения хиротоний подходящих кандидатов в духовный сан, с предварительного разрешения правящего Митрополита.

9. Управляющий викариатством представляет правящему Митрополиту к церковным наградам подведомственных ему священно- и церковнослужителей и мирян викариатства.

10. Управляющему викариатством принадлежит право в соответствующих случаях разрешать браки в степенях родства и свойства, требующих Архиерейского решения.

11. В викариатствах Вюртембергском, Баденском, Гессенском и Французской зоны учреждается церковный суд в составе председателя – викария и двух священнослужителей по его назначению. Церковный суд постановляет решения о церковных правонарушениях и по бракоразводным делам, представляя таковые решения на утверждение Митрополиту Берлинскому и Германскому, которому представляются и апелляции на таковые решения.

12. Апелляции на постановления управляющих викариатствами по другим делам передаются также на решение Митрополита Берлинского и Германского и, в случае разногласия, переносятся в Архиерейский Синод.

13. Распоряжения Управляющего викариатством входят в силу немедленно, но Митрополиту Берлинскому и Германскому принадлежит безусловное право утверждать, отменять или приостанавливать их.

14. Управляющий викариатством применяет меры архипастырского воздействия на неисправных членов причтов в порядке статьи 155 Уст. Дух. Кон.

15. Управляющий викариатством имеет право: учреждать и упразднять приходы и другие церковные установления, как то: братства, сестричества, церковно-благотворительные и просветительные учреждения, назначать, перемещать и смещать настоятелей приходов и других клириков, членов церковно-приходских советов, ктиторов или церковных старост и проч. церковно-административных лиц, сообщая об изменениях в составе настоятелей приходов Митрополиту Берлинскому и Германскому для утверждения.

16. По мере надобности в викариатстве учреждаются благочиния, руководимые благочинными, назначаемыми управляющим викариатством с ведома и утверждения правящего Митрополита.

17. Все распоряжения правящего Митрополита, касающиеся приходов викариатства, делаются им через управляющего викариатством.

18. Управляющий викариатством распоряжается имуществом церкви в пределах викариатства в согласии с местными законами и общими церковными законоположениями, давая отчет во всех своих действиях Митрополиту Берлинскому и Германскому.

19. С доходов от продажи свечей, кружечных сборов и пожертвований на общецерковные нужды церкви викариатства отчисляют 10% в управление Германской епархии, высылая их правящему Митрополиту.

Создание приходов в «монациональных» или «мультинациональных»^{*} лагерях ДиПи проходило в первый период начала формирования лагерей довольно спонтанно и не носило характер канонической регистрации православных приходов и канонического назначения священнослужителей на места. Требовалось срочное упорядочивание канонической регистрации православных приходов в лагерях ДиПи, что предполагало прежде всего принятия священников из СССР под юрисдикцию РПЦЗ.

^{*} Эти две категории лагерей были введены в англоязычной терминологии Американской Военной Администрации в Германии.

Регистрация священнослужителей РПЦЗ

По предписанию Американской Военной Администрации и управления ИРО в американской зоне оккупации Германии была предпринята регистрация всех служащих священнослужителей. Тема регистрации священнослужителей впервые была затронута на Архиерейском Соборе РПЦЗ в апреле 1946 года. Так, в протоколах Архиерейского Собора РПЦЗ от 1946 года мы находим следующую информацию: «Архиепископ Венедикт поднимает вопрос о повышении церковной дисциплины, сильно упавшей за последние годы. Есть много духовенства, живущего вне всякого иерархического подчинения. Епископы Григорий и Феодор, соглашаясь с Архиепископом Венедиктом, предлагают произвести полную регистрацию духовенства. Украинские автокефалисты уже проводят такую регистрацию. Митрополит Анастасий соглашается с вышесказанным мнением и предлагает назначить известный срок, к которому все духовные лица должны зарегистрироваться у Митрополита Серафима с тем, что те, кто не сделают сего, не будут более иметь права служения. Учреждение викариатств облегчит проведение этой меры и вообще контроль над духовенством»²⁸. Была ли проведена планируемая регистрация уже в 1946 году и были ли зарегистрированы все священнослужители-беженцы в лагерях, а не только служившие, нам неизвестно. Известно лишь предписание со стороны ИРО об обязательной регистрации служащего духовенства в лагерях ДиПи с осени 1946 года.

В нашем распоряжении имеется лишь документ из архива Германской епархии РПЦЗ, подтверждающий начало регистрации священников в лагере Шляйсхайм на имя Владыки Пантелеимона (Рудык), проживающего в лагере Шляйсхайм. Из документов мы узнаем, что 10.2.1948 года выдано 17 анкет по регистрации священников в лагере Шляйсхайм вместе с Владыкой и перечислены священнослужители в сане архиепископа, протоиерея, диакона и протодиакона. Перечислены имена служивших священнослужителей в двух церквах лагеря или же как преподавателей Закона Божьего.

Регистрация священнослужителей производилась в форме стандартных анкет, где запрашивалась информация о дате и месте рождения, времени рукоположения, кем было духовное лицо хиротонисано, информация о церковных наградах, местах служения. Таким образом, именно благодаря этим регистрационным анкетам, введенным как обязательные с осени 1946 года, мы имеем сегодня прекрасную базу данных о священнослужителях в лагерях ДиПи в американской зоне оккупации на территории Германии и Австрии. Эти анкеты сохранены в архиве Германской епархии и размещены в жен-

ском монастыре Св. Новомученицы Вел. кн. Елизаветы в Гаутинге-Бухендорфе, вблизи Мюнхена.

Для священнослужителей-беженцев, желающих покинуть послевоенную Германию, такие анкеты регистрации были подчас единственным документом и доказательством их деятельности в период существования лагерей ДиПи; это давало легитимное право на выезд в другие страны. Сведения запрашивались ИРО в Архирейском Синоде РПЦЗ как достоверное письменное доказательство служения священников в православных приходах в лагерях ДиПи. Филиал Толстовского Фонда в Мюнхене, который организовывал переезд русских ДиПи в США по договору с ИРО, также запрашивал информацию из этих анкет священников, прежде чем оказать помощь по подготовке их переезда в США.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РПЦЗ.

23.04. / 6.05. – 26.04 / 9.05 1946

Архирейский Собор РПЦЗ состоялся в православную Пасху 23 апреля / 6 мая 1946 года, проходил в течение трех дней до 26 апреля / 9 мая. Он объединил 26 епископов РПЦЗ, из которых 15 присутствовали лично, остальные, из отдаленных стран, прислали полномочия на участие. Вот состав участников Зарубежного Собора:

1. Митрополит Анастасий (Грибановский), председатель Архирейского Синода.

2. Митрополит Берлинский Серафим (Ляде), примкнул в 1920 г. к обновленчеству, через покаяние принят в РПЦЗ, с 1930 г. как этнический немец – в Германии, с 1942 г. по настоянию правительства возглавлял Средне-Европейский округ, покинул Собор 10.5.1946 по болезни, объяснений не было представлено. Скончался от ранений после теракта в 1950 г.

3. Архиепископ Пантелеимон (Рудык), как епископ Львовский 5.4.1946 был принят в состав РПЦЗ, с 1947 г. – епископ Буэнос-Айресский, Аргентинский; с 1959 года перешел в состав Московской Патриархии, скончался в Канаде 3.10.1968.

4. Архиепископ Венедикт (Бобковский), был рукоположен 1905 в Минской губернии, с 1925 года – в автокефалии Польской Православной Церкви, с 1940 г. – в МП, с 1942 года был назначен Гродненско-Белостокским архиепископом, экзарх Восточной Пруссии; в 1943 г. участвовал в Вене в совещании епископов РПЦЗ, с апреля 1946 – в составе РПЦЗ. С сентября 1950 – архиепископ Берлинский и Германский. Жил в Шляйсхайме, скончался от рака печени 3.9.1951 г.

5. Архиепископ Филофей (Нарко), белорус, с 1941 был рукопо-

ложен в епископа Слуцкого при Белорусской Автономной Православной Церкви, с 1942 г. – епископ Могилевский-Мстиславский, с февраля 1946 вошел в состав РПЦЗ, с 1946 возглавлял Северо-Западное викариатство Германской епархии в Гессене, с 1971 г. назначен архиепископом Берлинским и Германским с резиденцией в Гамбурге, скончался 24.9.1986 в Гамбурге.

6. Епископ Леонтий (Филиппович), киевлянин, пострижение в монашество в 1927 г. в Ленинграде, с 1937 г. в Житомире находился на нелегальном положении, много раз был арестован, с ноября 1941 – на легальном положении, епископ в составе Украинской Автономной Православной Церкви УАПЦ, признававшей себя частью Московского Патриархата; с 1943 – в Варшаве, с 1944 – в Вене, с мая 1944 принят в состав РПЦЗ, с апреля 1945 – в Мюнхене, в сентябре 1948 – в Буэнос-Айресе, вышел из состава РПЦЗ, в декабре 1949 вошел вновь в РПЦЗ, с 1957 г. – архиепископ Сантьягский-Чилийский; скончался 2.7.1972 в Буэнос-Айресе.

7. Епископ Афанасий (Мартос), родился в Минской губернии (с 1920 Западная Белоруссия вошла в состав Польши), в 1942 рукоположен в епископа Витебского, в июне 1944 вместе с митрополитом Пантелеимоном покинул Белоруссию, с 5.4.1946 – в составе РПЦЗ, с сентября 1946 назначен архиереем Северо-Германской епархии с кафедрой в Гамбурге, окормлял русские лагеря ДиПи, с 1950 – в Австралии, Мельбурнский епископ; в 1961 награжден бриллиантовым крестом на клобук; скончался от сердечного приступа 3.11.1983 г.

8. Епископ Стефан (Севбо) родился в Минской губернии, 17.5.1942 рукоположен в епископа Минского, с 1946 в юрисдикции РПЦЗ, с 1946 г. – архиепископ Венский, окормлял лагерь ДиПи Парш; скончался 25.1.1963 в Зальцбурге.

9. Епископ Венский Димитрий (Евгений Митрофанович Маган, 25.6.1899, Чернигов, – 1.4.1970, Джексон, шт. Нью-Джерси), епископ Северо-Американской митрополии, архиепископ Филадельфийский и Пенсильванский. После присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР в 1939 году вошел в клир МП. 25.11.1941 был назначен епископом Черниговским во время немецкой оккупации. К концу 1943 года в связи с наступлением Красной Армии эвакуировался в Словакию, затем в Германию, Мюнхен. С осени 1946 года жил в лагере Шляйсхайм, служил в гимназической церкви Св. Иовы Почаевского, жил в бараке № 114 вместе с митрополитом Пантелеимоном (Рожновским) и архиепископом Венедиктом (Бобковским), с 5.4.1946 принят в состав РПЦЗ. В 1948 выехал в США, вышел из состава РПУЦ и вошел в состав Американской митрополии в подчинении митрополита Феофила (Пашковского).



Архиерейский Собор 1946 в Мюнхене. 1-й ряд: еп. Серафим, еп. Леонтий, архиеп. Пантелеимон, митр. Анастасий, еп. Димитрий, еп. Григорий, еп. Александр; 2-ряд: еп. Стефан, еп. Феодор, еп. Афанасий, еп. Филофей, архиеп. Венедикт, еп. Евлогий. Архив РПЦЗ, Джорданвилль, США.

10. Епископ Евлогий (Марковский, 20.01.1878, Ровенский уезд, Волянь, – 24.03.1951, Магопак, шт. Нью-Йорк). С 1920 после присоединения Воляни к Польше был в составе Польской Православной Церкви, с 1939 после вступления советских войск – в юрисдикции МП, с 1941 – епископ Украинской Автономной Церкви за границей с титулом «Винницкий и Подольский». Епископ РПЦЗ с 1946 г., с 1948 г. в составе Архиерейского Синода. Скончался через три месяца после переезда в США.

11. Епископ Федор (Рафальский, 21.10.1895, Луцкий уезд, Волянь, – 5.5.1955, Сидней), окончил богословский факультет Варшавского университета, путь – схожий с епископом Евлогием (Марковским), с 1946 г. в составе РПЦЗ, архиепископ Сиднейский и Австралийский.

12. Епископ Григорий (Боришкевич, 18 (30) апреля 1889, д. Ровенская, Волянская губ., – 13 (26) октября 1957, Чикаго, Иллинойс, США), епископ РПЦЗ, архиепископ Чикагско-Детройтский и Среднего Запада. В 1942 г. – кандидат в епископы для автономной Белорусской Церкви. 21-26.10.1943 участвовал в совещании епископов РПЦЗ в Вене, в это время хиротонисан в епископа Гомельского и Мозырского автономной Белорусской Церкви. С 7.07.1944 эмигрировал в Германию с епископатом Белорусской Православной Церкви. В апреле 1946 г. был принят в РПЦЗ на Архиерейском Соборе.

13. Епископ Киссингенский Александр (Ловчий, 1.12.1891, Волянь, – 11.9.1973), епископ РПЦЗ, архиепископ Берлинский и Германский. После революции эмигрировал в Болгарию, в составе

РПЦЗ с 1923 г.; в 1936–1937 гг. обучался на философском факультете Берлинского университета, в 1937–1940 гг. – помощник настоятеля Воскресенского собора в Берлине, в 1940–1942 гг. – настоятель кладбищенской церкви Св.Св. Елены и Константина в Тегеле, Берлин, в 1941 году совершил постриг в монашество с именем Александр, в 1942–1945 гг. – настоятель Св. Николаевской церкви в Мюнхене на Сальваторплатц.

14. Епископ Сантьягский Серафим (Иванов), представитель Северо-Американского митрополичьего округа. (1.8.1897, Курск, – 25.7.1987, Магопак, шт. Нью-Йорк), эмигрировал с Белой Армией в Югославию, закончил философский факультет Белградского университета, с 1934 вступил в Братство св. Иова Почаевского в Ладомировой, в бытность там развил монастырь в один из главных печатных центров РПЦЗ в предвоенный период. Во время Второй мировой войны печатал православную литературу для распространения на оккупированных немцами территориях СССР. С 1944 – в Германии, вместе с Владыкой Анастасием. После призыва к покаянию московского патриарха Алексия I составил опровержение Послания о «полной религиозной свободе в СССР», активно распространял текст в Западной Европе. Переехал с Владыкой Анастасием в Швейцарию. Рукоположен в епископа Сантьягского и Чилийского 24.2.1946 г. Эмигрировал в США. Жил в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, издавал газету «Православная Русь», епископ Чикагский и Детройтский.

15. Епископ Брюссельский Нафанаил (Василий Владимирович Львов, 30.08.1906, Москва, – 8.11.1986, Мюнхен), после революции оказался с матерью и братьями в Харбине, где закончил Высшие богословские курсы, в 1938 г. участвовал во Всезарубежном Соборе РПЦЗ, с 1939 по 1944 годы – в братии Ладомировского монастыря Иовы Почаевского в Словакии, редактор «Православной Руси» и богослужебной просветительской литературы для оккупированных вермахтом областей СССР, автор и издатель учебников для начальных школ по Ветхому и Новому Завету, брошюры «Беседы о Боге и духовном мире». В январе 1945 года выехал с братией в Берлин. Окормлял в лагерях ДиПи в Гамбурге, вместе с иеромонахом Виталием (Устиновым) активно противостоял насильственной выдаче русских ДиПи из лагеря Фишбек, тем самым спас 600 человек от репатриации из Британской оккупационной зоны. Хиротония – в Женеве в 10.03.1946 году, в 1946–1950 гг. – епископ Брюссельский и Западно-Европейский, в 1950–1952 гг. – епископ Гаагский и Западно-Европейский, в 1976–1986 гг. – архиепископ Венский и Австрийский.

16. Епископ Павел (Мелетьев) – прибывший на Собор РПЦЗ 1946

года, был перед открытием исключен из его состава за отказ дать письменное подтверждение в непричастности к католицизму.

Как видно из выше представленных кратких биографических данных епископов, среди них были по преимуществу епископы Автономной Украинской и Белорусской Церквей. Их участие в Архиерейском Соборе РПЦЗ в апреле-мае 1946 года осуществлялось на одинаковых правах. На этом Архиерейском Соборе был утвержден следующий состав Архиерейского Синода РПЦЗ:

- Митрополит Серафим (Ляде), как представитель Средне-Европейского митрополичьего округа;
- Архиепископ Пантелеимон (Рудык), как представитель Украинской иерархии;
- Архиепископ Филофей как представитель Белорусской иерархии;
- Епископ Нафанаил как представитель Западно-Европейского округа.

Архиерейский Собор 1946 года состоялся в здании на Донауштрассе 5 в Мюнхене, в вилле, предоставленной Русской Православной Церкви Заграницей американским военным управлением Мюнхена. Здесь разместились Архиерейский Синод РПЦЗ, его канцелярия и резиденция митрополита Анастасия, а также домовая церковь Св. Владимира.

Донауштрассе находится в одном из красивейших и самых зеленых районов Мюнхена, с прекрасными виллами. Этот городской район Богенхаузен в силу своей отдаленности от железнодорожных коммуникаций и важных стратегических объектов рейха не был так сильно поврежден английской авиацией при регулярных бомбежках Мюнхена во время войны, как другие районы города (78% разрушений в центре города). Размещение Архиерейского Синода в этом здании относится к концу 1945 года.

Примечательна история размещения Архиерейского Синода в этой вилле. Вот как рассказывает ее эмигрант первой волны Георгий Всеволодович Александрович (Коммак, шт. Йорка): «Наша семья прибыла в Мюнхен в конце войны, проделав трудное путешествие из городка Нови Сад в Белград и далее трудный путь с бомбежками в августе 1944 года до австрийского городка Грац и Вены; к концу войны мы прибыли сначала в Зальцбург, потом в Мюнхен. С приходом американцев мы сумели найти пустой дом на Вассербургерштрассе 25 в Мюнхене в районе Богенхаузен; я осмелился и вступил в контакт с американцами, которые были размещены в некоторых виллах красивого района Мюнхена. Отдельные части американской армии были размещены в вилле по адресу Донауштрассе 5. Мне было

17 лет, я начал работать у американцев помощником на кухне, мне разрешалось брать еду домой, чем я очень помогал моим родителям и нашим друзьям из русской диаспоры Югославии, которые были размещены вместе с нами в одном из домов. Через несколько месяцев эти америанские военные части уезжали обратно в США, а здание опустело. Об этом я рассказал моему другу по Югославии Мите Граббе и Юре Месснеру, попросил их передать нашему Белградскому Архиерейскому Синоду с Владыкой Анастасием во главе, что освобождается дом, пригодный для нужд Архиерейского Синода. Что и произошло. Так начался пятилетний период существования Архиерейского Синода РПЦЗ в этом красивом месте»²⁹.

Архиерейский Собор РПЦЗ 1946 года был своеобразным ответом Владыки Анастасия и руководствующего клира «карловацкой ориентации» и мирян на воззвание Патриарха всея Руси Алексия I (Московского Патриархата) о покаянии священнослужителей РПЦЗ и на призыв к возвращению «в лоно Матери-Церкви» в СССР, произнесенный символически в Пасху 1945 года. Официальным ответом на Патриаршее воззвание стала резолюция Архиерейского Собора РПЦЗ от 26 апреля / 9 мая 1946 года.

Это был открытый отказ Алексию I в каноническом подчинении Московской Патриархии от лица всех присутствующих архиепископов. В тексте резолюции РПЦЗ говорилось: «Повинуясь велениям своей пастырской совести, мы не находим для себя нравственно возможным пойти навстречу этим призывам до тех пор, пока Высшая Церковная власть в России находится в противоестественном союзе с безбожной властью и пока вся Русская Церковь лишена присущей ей по ее Божественной природе истинной свободы. Мы не хотим закрывать глаза пред тем фактом, что Советская власть со времени войны должна была возвратить Церкви некоторые из отнятых у нее законных прав. Однако свобода, данная Русской Церкви в данный момент, носит очень ограниченный и при том более внешний и кажущийся, чем подлинный и существенный, характер. Эта свобода должна быть искуплена, кроме того, такими обязательствами, возложенными властью на духовенство, какие не отвечают высокому достоинству Церкви. Если коммунистическое правительство в России хочет показать действительное уважение к Русской Церкви и создать нормальные условия для ее деятельности, оно должно предоставить ей полную свободу в осуществлении указанного ей свыше призвания на земле и обеспечить ей такое правовое положение, каким она искони пользовалась в Православной России. Прежде всего, власть обязана раскрыть двери темниц и концентрационных лагерей, чтобы освободить томящихся там донныне архипастырей и пастырей, явивших себя

истинными исповедниками Православия, и предоставить духовенству полную свободу устной и письменной проповеди Слова Божия и религиозного воспитания молодых поколений. Глубоко сожалея о тяжелом и зависимом нынешнем положении иерархии и духовенства в России, мы не хотим требовать от них непосильных жертв и возлагать на их рамена непосильного бремени, однако не можем со скорбью не указать на то, что Высшая иерархия Русской Церкви стала на неверный и опасный путь, поскольку она, с одной стороны, замалчивает горькую для советской власти правду, представляя положение церковной и общественной жизни в России не таким, каково оно есть в действительности, и, забывая изречение Григория Богослова, что в таких случаях «молчанием предается Бог», а с другой – сознательно утверждает кощунственную неправду, будто гонений на Церковь не только нет, но и никогда не было в России со стороны большевистской власти, и, таким образом, глумится над страдальческим подвигом множества священномучеников и мучеников, которых она дерзает приравнивать к политическим преступникам, понесшим якобы справедливую кару со стороны правительства. Это есть подлинно великий грех хулы на их священную память и клеветы на нашу Матерь-Церковь, за который иерархия и особенно ее возглавитель дадут тяжкий ответ пред Богом и судом истории. Склоняясь с благоговением пред образом наших великих страстотерпцев, пострадавших за веру и Божию правду, мы усердно молимся об упокоении их, как и о других многочисленных русских людях, особенно о тысячах военнопленных, принявших мученическую кончину от жестокой руки так называемых ‘немецких нацистов’. Уповаем, что жертва тех и других была не напрасна, что на их мученических костях воздвигнется новая свободная Русь, сильная своей православной правдой и братской любовью, которой она искони светила миру. И тогда все рассеянные сыны ее, без всякого насилия, но свободно и радостно устремятся отовсюду в материнские объятия ее. В сознании своей неразрывной духовной связи с нашей Родиной, усердно просим Господа, чтобы Он возможно скорее залечил раны, нанесенные нашему Отечеству в столь тяжелую для него, хотя и победоносную, войну и благословил его миром и полным благоволением»³⁰.

СТРУКТУРА АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА РПЦЗ. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД В МЮНХЕНЕ

К моменту Архиерейского Собора от 1946 года РПЦЗ насчитывала 25 лет своего существования и имела свою хорошо упорядоченную каноническую организацию, выстроенную за все эти годы.

Последний предвоенный Собор РПЦЗ 1936 года выработал Устав Архиерейского Собора РПЦЗ, который после войны необходимо было приспособить к новым условиям отсоединения некоторых приходов на подконтрольных Советской Армии территориях и, одновременно, присоединения новых иерархов-беженцев Украинской и Белорусской Автономных Церквей.

В основе управления РПЦЗ лежал принцип митрополичьего управления, который соотносился с определенной территорией, на которой находился округ. Это территориальное деление было принято как Временное Положение в военное время 22 мая 1942 года, из чего следовало создание Средне-Европейского округа, о чем уже упоминалось. За военный период 1939–1945 годов не состоялось ни одного общего заседания Архиерейского Собора РПЦЗ, но по вопросу управления были опрошены Преосвященные. После войны это территориальное деление срочно требовало корректировки в соответствии с новым геополитическим порядком и новыми государственными границами в Европе. Имелись также серьезные изменения в епархиях РПЦЗ в странах Северной и Южной Америки, в Азии. Вот что зафиксировано в протоколе № 2 Архиерейского Собора 1946 года: «Северо-Американский округ существует на прежних основаниях и со временем, может быть, сможет прислать в Синод своего представителя, как делал это ранее. Дальневосточный округ изменил свой объем. С нами остался Епископ Шанхайский Иоанн, и мы вправе считать его представителем округа, а он может уполномочить кого-нибудь для участия в Синоде. К нам присоединились иерархи Украинской и Белорусских Церквей со своею паствою. Естественно, чтобы и они участвовали в Синоде в лице своих представителей. Южноамериканские Церкви не входят ни в какой округ и, по-видимому, Архиепископ Феодосий предпочитает пока сохранить непосредственное подчинение Синоду. Если в Южную Америку прибудет много эмигрантов, там, может быть, со временем тоже образуется округ. Далее Председатель указывает на то, что со смертью Епископа Василия нет секретаря Синода, его надо будет избрать из числа членов Синода»³¹.

До Второй мировой войны паства РПЦЗ в странах рассеяния состояла, в основном, из эмигрантов и беженцев русской национальности, покинувших Россию после 1917 года и Гражданской войны; однако после Второй мировой войны национальный состав паствы значительно изменился. Среди беженцев и ДиПи были православные из Западной Украины, Белоруссии, прибалтийских стран. История формирования православных епархий в этих странах привела к созданию Автокефальных Церквей; все проповеди и богослужения проходили не на старославянском, как требовал того православный канон, а

на родных национальных языках этих епархий. Во избежание нарушения стройной системы РПЦЗ на Архиерейском Соборе 1946 года было принято решение о принятии этих Автономных Церквей в лоно Зарубежной Православной Церкви. Это было особенно важно в связи с предстоящим закрытием лагерей ДиПи в конце 1940-х – начале 1950-х гг. и при массовом выезде православных беженцев в разные страны. Для сохранения этих Церквей в составе РПЦЗ уже в новых странах рассеяния в Северной и Южной Америке, епископы и архиереи при выезде из лагерей ДиПи из Германии старались переезжать группами, сохраняя единство паствы.

Примером сложного процесса вхождения автономных национальных Церквей в состав РПЦЗ может служить Белорусская Православная Церковь (БПЦ) и ее паства. На Архиерейском Соборе РПЦЗ обсуждался вопрос о БПЦ. Белорусская паства в американской зоне в Баварии была немногочисленной. Судьба этой нации и территории Белоруссии трагична уже в силу ее географического расположения между большими империями, в силу геополитических изменений после Брест-Литовского мира 1918 года и последовавшего за ним сложного процесса борьбы белорусов за национальную независимость. С 1939 года после Пакта Молотова–Риббентропа произошел новый передел и отторжение территорий. При общей численности нации в 5 миллионов до начала Второй мировой войны белорусы проживали в СССР, Польше, Латвии, Литве. Во время войны большая часть населения была вывезена немцами на работы в Германию, многие решились на Исход с отступлением вермахта. В начальный послевоенный период в Германии белорусы были разбросаны по «мульти-национальным лагерям» ДиПи в американской зоне. Окормление их было чрезвычайно сложно при трудности перемещений от лагеря к лагерю.

В Регенсбурге существовал единственный лагерь, жители которого были преимущественно белорусами, это были представители интеллигенции, вожди национального движения и пр. Ратуя за богослужения на белорусском языке и за независимость БПЦ, 5.5.1946 ими был созван съезд численностью в 120 человек. На этот съезд был приглашен от белорусской паствы митрополит Белорусского митрополичьего округа архиепископ Филофей³². Созыв съезда стал своего рода нонсенсом, т. к. подобные православные съезды имеет право созывать лишь сам митрополит. Но белорусская интеллигенция взяла инициативу в свои руки – с задачей сохранения организационной автономной самостоятельности в той форме, которая существовала до их прибытия из Белоруссии в Германию. Ввиду существующего принятого принципа образования митрополий, жидущихся на тер-

риториальном единстве паствы, при разбросанности белорусской паствы по разным лагерям ДиПи, автокефалию Белорусской Православной Церкви было трудно воплотить в реальности. Церковно-культурная белорусская автономия должна была быть сохранена с назначением в различные лагеря ДиПи соответствующих епископов с проповедованием на белорусском языке. Согласно Протоколу № 2 Архиерейского Собора РПЦЗ от апреля 1946 года, архиепископ Филофей (Нарко) объясняет причины такого положения: «Новая эмиграция, к которой и мы принадлежим как епископы, в церковном и национальном отношении представляет собою нечто другое. В церковном отношении из частей Русской Церкви образовались отдельные митрополичьи округа. Есть эмигранты из Польской Автокефальной Церкви, значительная часть духовенства и верных из области Белорусской Церкви, которая должна была образоваться и развиваться независимо от других Церквей; из Украинской Церкви, которая поделилась на автокефальную и автономную Церкви. Эти части были уже независимы от Российской Церкви, имели свои Соборы, епархии с большим количеством духовенства и верующих. В национальном отношении это были Церкви, в которых развивалось новое национальное чувство, и в силу этого работа в Церкви носила отчасти национальный характер. Этой эмиграции теперь здесь большинство. Прежняя организация Зарубежной Церкви, может быть, не вполне подойдет к нашему положению. Белорусские епископы прибыли на Собор, с одной стороны, стремясь к единству не меньше, чем другие епископы. Мы хотим сохранить церковное единство, но и стремимся унормировать жизнь. Мы поэтому не организовали сами церковную жизнь в эмиграции, а хотели, чтобы уже существующая здесь иерархия нас собрала и организовала. Эмиграция украинская и белорусская состоит, главным образом, из интеллигенции, с остро развитым национальным чувством, которое в эмиграции еще сильнее, чем на Родине. Ожидая Собора, мы не развивали деятельности, и от нас уходила паства. И мы утратили руководство ею. Когда мы подали прошение о принятии нас в юрисдикцию Зарубежной Церкви, многие смущались... Заметка о вхождении Украинской иерархии в Зарубежную Церковь с 'ликвидацией' своей Церкви настолько возбудила умы, что был собран съезд, который был назначен на 5-е мая без епископов. Были разосланы повестки, в которых говорилось, что Православный белорусский комитет приглашает на совещание белорусскую иерархию, духовенство и мирян. Мы были смущены тем, что миряне приглашали нас на такой съезд. Принимать приглашение было нельзя, потому что звали на собрание, которое могли созывать только епископы. С другой стороны, не ехать было опасно, ибо на собрании могли

натворить беды. Поэтому делегировали меня и епископа Афанасия в качестве гостей... Нас со слезами просили не уничтожать нашего национального имени и выразили это пожелание в особой резолюции, в которой просили нас сохранить всю полноту нашей самостоятельности, с какой мы прибыли с Родины в Германию, входя в единение с другими Церквями на равноправных началах»³³.

Архиепископ Филофей ратовал за внимательное отношение к просьбам автономных национальных православных Церквей во избежание «раскола» или ухода в унию или сектантство паствы Украинской и Белорусской Православных Церквей. При переезде в другие страны был предложен возможный выезд национальными группами или целыми национальными лагерями ДиПи во главе со своими архипастырями и пастырями.

Вопрос отношения РПЦЗ к Автокефальной Украинской Православной Церкви в случае присоединения к РПЦЗ был также острым. Речь шла о признании или отказе канонического молитвенного общения с ней. Вопрос о признании рукоположения украинских священнослужителей, оказавшихся на территории, временно перешедшей в ведомственность Московского Патриархата, был особенно насущным и требовал выяснения лояльности священников. Вот что зафиксировано в Протоколах Архиерейского Собора РПЦЗ 1946 года: «Епископ Григорий подробно рассказал о положении в части б. Польши, оккупированной Советами в 1939 году; он считает, что можно допускать, что Митрополит Александр и Архиепископ Поликарп имели некоторое право основываться на указаниях Митрополита Дионисия, как своего Кириарха. Архиепископ Пантелеимон вносит поправку, что и Митрополит Александр после занятия его епархии Советами признавал московскую церковную власть и подчинялся ей, таким образом, выйдя из юрисдикции Митрополита Дионисия»³⁴.

Зарубежный Собор РПЦЗ 1946 постановил сохранить автономную организацию Украинской и Белорусской Православных Церквей при отъезде их паств в новые страны; было решено окормлять паству по национальному признаку; в состав Архиерейского Синода вошли представители украинской и белорусской иерархий. Но Украинская Автокефальная Православная Церковь была признана «безблагодатной».

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ. 16-17 ИЮЛЯ 1946. МЮНХЕН

Подведение первых итогов после Архиерейского Собора РПЦЗ апреля-мая 1946 года состоялось на заседании Епархиального собра-

ния Германской епархии 16-17 июля 1946 года. На заседании присутствовали 84 делегата от духовенства и 124 делегата от мирян Германской епархии³⁵.

Открытие заседания произошло с предварительным торжественным молебном в храме Св. Николая, который был к этому моменту размещен в здании бывшей школы рядом с греческой православной церковью на Сальваторплац в Мюнхене.

За время войны, с апреля 1941 года, момента немецкой оккупации Греции, до января 1946 года здание Греческой Православной Церкви принадлежало РПЦЗ. В феврале 1946 года оно было возвращено Греческой Церкви.

Ввиду многочисленности Епархиального собрания и невозможности разместить всех желающих в храме, Архиерейский Синод РПЦЗ сделал запрос и получил разрешение от Американской Военной Администрации провести Епархиальное собрание в здании протестантской церкви Dreieinigkeitskirche в районе Богенхаузен, в Мюнхене, вблизи виллы, где был размещен Архиерейский Синод РПЦЗ. На Епархиальном собрании РПЦЗ были сделаны доклады митрополита Серафима (Ляде) о положении дел Средне-Европейского митрополичьего округа за время войны и обсуждено положение на местах в шести викариатствах. Одна из наиболее острых проблем для православных приходов Германской епархии была их негомогенность. Православные приходы создавались, в целом, спонтанно, непосредственно в лагерях ДиПи, а при наличии общих канонических форм православного богослужения во всех регионах России, Белоруссии, Украины имела своя национальная специфика, которую и желали воспроизвести миряне в образованных приходах. Вот что сообщает по этому поводу митрополит Серафим (Ляде): «Во многих приходах в лагерях ДиПи возникли споры и раздоры. Возникли они потому, что в Германию пересылались люди из разных стран в надежде найти тут работу и кусок насущного хлеба, например, из Польши, Франции, Бельгии и, отчасти, из Югославии. А тут-то и оказалось, что каждый привык к тем порядкам и формам церковной жизни, какие сложились в их приходах той страны, в которой они жили доселе. Потому были случаи, когда переселенцы из Франции попали в приход, где служил священник, служивший ранее в Югославии, или священник из Бельгии попал в приход, где большинство прихожан были из Польши или другой страны. Печальное следствие – взаимное непонимание и неприязненное отношение! К сожалению, это явление всё еще не изжито. Напротив, ситуация ухудшилась тем, что в число прихожан влилась новая советская эмиграция, воспитанная в духе совершенно чуждом прихожанам старой эмиграции»³⁶. Трения возникали между



Епархиальное собрание Германской епархии. 1946. В центре – митр. Серафим (Ляде), справа от него – еп. Бад-Киссингенский Александр (Ловчий), слева – архиеп. Филофей (Нарко), архиеп. Венский и Австрийский Стефан (Севбо). Здание протестантской церкви Dreieinigkeitskirche, Wehrlestraße 8, Богенхаузен, Мюнхен. Архив Германской епархии РПЦЗ, Бухендорф.

мирянами и по причине прискорбного разделения на так называемую «старую» и «новую советскую» эмиграции. Здесь сказывалась разница в опыте социализации и в воспитании, а также разница в уровне знаний по православию. Оказалась важна активная миссионерско-просветительная деятельность священников.

МИССИОНЕРСКОЕ ДЕЛО

Существующий при Архиерейском Синоде РПЦЗ Миссионерский комитет был переименован в Религиозно-Просветительный Комитет во избежание неправильного истолкования названия со стороны Американской Военной Администрации и Немецкого правительства. Просветительные православные комитеты важны были не только при Архиерейском Синоде, но и на местах в приходах РПЦЗ. Трудным оказался подбор персонала для миссионерского дела по причине недостатка библиотеки и общего уровня богословского образования среди миссионеров-священников. Православное просвещение среди новых советских эмигрантов существенно затруднялось из-за отсутствия богослужебных книг и духовно-нравственной литературы. Епархиальный миссионерский книжный склад с большим количеством духовной литературы на русском языке, изданной за шесть лет войны, остался в советской зоне Германии, часть его не была вовремя вывезена и погибла при бомбежке Берлина в последние недели войны. Нужно было начинать с самого начала издание духовно-нравственной литературы в Мюнхене. При трудностях в снабжении печатной бумагой и отсутствии типографских станков с кириллицей

издание книг было очень непростым делом и требовало контактов с американскими военными инстанциями, требовало их разрешений и лицензий на печать. И всё же трудами многих священнослужителей РПЦЗ с конца 1946 года начали регулярно выходить в Мюнхене церковные журналы «Церковная летопись», «Церковная жизнь», «Православная Русь». Эти церковные журналы стали первыми ориентирами для богословского православного просвещения как для священнослужителей, так и для мирян.

Первые инициативы по печатанию религиозно-нравственной литературы были предприняты после войны в Мюнхене протоиереями о. Александром Киселевым в Доме милосердного самарянина, протоиереями Донецким и Коломийцевым. В качестве главы Миссионерского комитета РПЦЗ при Архиерейском Синоде был назначен протоиерей о. Иоанн Лёгкий, получивший богатейший опыт работы миссионера во время войны в Псковской Духовной Миссии. Но отсутствие собственной библиотеки при Синоде затрудняло миссионерское дело. Та часть библиотеки Архиерейского Синода РПЦЗ, которую удалось вывезти из Белграда, была невелика и предоставить ее в пользование всех приходов в американской зоне оккупации не представлялось возможным. В первый период после окончания войны устная проповедь была единственной вседоступной формой миссионерства.

ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ШКОЛА РПЦЗ

Еще до начала Второй мировой войны предполагалось открытие православного богословского института в Германской епархии РПЦЗ. Эта идея так и не была реализована. В новых послевоенных условиях необходимы были, во-первых, «кадры» духовенства, во-вторых, повышение богословско-образовательного уровня у уже имеющегося духовенства РПЦЗ. Богословско-образовательный уровень духовенства из СССР был довольно низким. Это объяснялось непрерывными гонениями на Православную Церковь в СССР, закрытием практически всех духовных семинарий и богословских институтов и прямым физическим уничтожением высокообразованного духовенства.

Для духовенства, прибывшего как гражданские беженцы из СССР, необходимо было организовать дополнительные богословско-образовательные курсы. Духовенство, прибывшее в послевоенную Германию из центров русского рассеяния, было намного образованнее. Так, многие священнослужители из Югославии имели возможность до начала войны получить высшее богословское образование на богословских факультетах в Белградском или в Варшавском университетах.

В силу сложной материальной ситуации большинства русских беженцев, создание богословских институтов и духовных семинарий было существенно осложнено. Исключение составлял Свято-Сергиевский Православный институт, учрежденный в 1925 году в Париже после проведения Второго съезда Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД). Но в силу разногласий «карловацкого» и «евлогианского» течений, в РПЦЗ отношение к РСХД было, скорее, негативным, и институт был недоступен для священнослужителей РПЦЗ. В Парижском Православном Богословском институте были основаны кафедры церковной истории, догматического богословия, патрологии, философии, истории западных вероисповеданий и иностранных языков, пастырского и нравственного богословия, канонического права, литургики, кафедра древних языков. В составе профессорско-преподавательского состава были философы-богословы с мировым именем, такие как протоиерей Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Василий Зеньковский, Владимир Ильин, Борис Вышеславцев.

Для послевоенного периода РПЦЗ самым насущным был вопрос не духовной православной академии, как в Париже, а богословской духовной школы. С этой идеей выступил епископ Григорий (Борискевич) на Архиерейском Синоде в апреле-мае 1946 года в Мюнхене; он предложил двухступенчатую модель: низшую и высшую с двухгодичным курсом обучения в каждой. Обучение предусмотрено было для желающих стать кандидатами в священники, а также для уже служащего духовенства. «Первая служила бы для подготовки церковных клириков, псаломщиков, регентов, и была бы подготовительной ко второй ступени, имеющей задачу подготовки достойных просвещенных пастырей Церкви. Соответственно с этим должно быть распределение учебного материала и программ для каждой ступени. Институт должен быть в высшем ведении Архиерейского Синода. При институте должен быть создан интернат со строгим порядком жизни»³⁷.

Владыкой Анастасием была предложена идея трехступенчатого богословского образования для псаломщиков, пастырей и высших богословов; но из-за отсутствия финансовых средств и помещения, а также в силу разрозненности мнений в Архиерейском Синоде РПЦЗ, да и текучести населения в лагерях ДиПи, этот проект не был реализован. При быстрой смене мест проживания священников, быстро изменялись также места их служения.

И всё же попытки организации богословско-просветительных курсов были предприняты. В двух лагерях ДиПи – в Фюссене и Бамберге – попытки по созданию богословских курсов оказались

успешными. В Фюссене были организованы богословские курсы протоиереем Мартенсоном для 15 кандидатов в священники, а в лагере в Бамберге епископом Григорием созданы богословские кружки. В лагере Шляйхсхайм был создан богословский кружок протоиереем Иоанном Лёгким. В лагере ДиПи в Гамбурге были созданы курсы для псаломщиков.

Позитивным сигналом в деле воспитания и обучения священников стал рапорт от архиепископа Виталия из Америки. Он сообщал из Джорданвилля, что 16 июля 1948 г. от штатного департамента образования было получено разрешение на организацию Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле для образования молодых людей для белого и монашеского духовенства Русской Православной Церкви Зарубежом в Америке. «На это сообщение последовала от Митрополита Анастасия телеграмма следующего содержания: 'Архиерейский Синод благословляет открытие семинарии, Митрополит Анастасий'»³⁸.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЛАДЫКИ АНАСТАСИЯ В 1946 ГОДУ

В 1946 году предполагалось празднование пятидесятилетия священнослужения, сорокалетие епископства и десятилетие первоиераршества митрополита Анастасия. На Архиерейском Соборе 1946 года было высказано предложение введения титула «Блаженнейший» и права ношения двух панагий и поднесение креста. Но Владыка Анастасий категорически отклонил эти предложения, заявив: «Теперь не время праздновать!»³⁹ Этот отказ говорил о скромности Владыки и сыскал среди мирян большое уважение.

«Усилия Владыки Анастасия (Грибановского) и общее стремление Собора РПЦЗ к единству РПЦЗ принесли свои плоды: священнослужители и приходы, отошедшие было к Московской Патриархии, стали возвращаться в лоно РПЦЗ, и церковная жизнь, объединявшая в Германской епархии более сотни приходов, консолидировалась. Архиерейский Собор 1946 года в Мюнхене нарочито одобрил проведенные ранее Архиерейским Синодом принятия автономного Белорусского и Украинского епископата и духовенства и прещением решительно отверг пути националистической автокефалии. Ввиду массовой эмиграции в Америку и переселения туда же Синода, следующий Архиерейский Собор предвиделся в США. Туда собирался переселиться и архиепископ Венедикт, поставленный во главе Предсоборной комиссии, он успешно прошел все необходимые для этого проверки. Но тут скончался митрополит Серафим (Ляде). На его место как возглавителя Германской епархии Архиерейским

Синодом на заседании 6/19 сентября 1950 был назначен член Синода и старший архиерей белорусской автономной иерархии архиепископ Венедикт. Это послушание он исполнял неполный год»⁴⁰.

С января 1948 года началось активное переселение ДиПи в разные страны при помощи ИРО. Русские лагеря для перемещенных лиц начинали пустеть, некоторые из них сразу же расформировывались, а вместе с ними исчезали и лагерные православные приходы. Переезжали, получая приглашение от частных лиц или по рабочим квотам, и священнослужители. Владыка Анастасий отбыл с Архиерейским Синодом в США 23 ноября 1950 года. Путешествие прошло не морским путем через Бремерхафен, как это было типично для большинства русских беженцев. В порядке исключения, Владыке и его окружению была предложена американскими властями в Баварии возможность перелета в Нью-Йорк самолетом. И вот почему. Архиерейский Синод во главе с митрополитом Анастасием из Мюнхена перевозил в Новый Свет православную святыню Русского Зарубежья 700-летнюю чудотворную Курскую Коренную икону Божьей матери «Знамение». Икону перевозили в монастырь в Джорданвилль, в шт. Нью-Йорк.

В Нью-Йорке Владыка Анастасий был торжественно встречен в Вознесенском кафедральном соборе. И уже через 2 дня он освятил каменный храм в честь Святой Троицы в Джорданвилльском мужском монастыре. После освящения состоялся Архиерейский Собор 1950 года, в котором приняли участие 11 иерархов Русской Православной Церкви Заграницей. С этого момента наступает новый, американский, период для РПЦЗ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Seide, Gernot*. Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland von der Gründung bis in die. – Gegenwart, Wiesbaden: Harrassowitz, 1983; *Seide, Georg*. Die russisch-kirchliche Emigration in Deutschland nach dem II. Weltkrieg (2), in: Der Bote der deutschen Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland 2/1994, S. 15–20; *Seide, Georg*. Die russisch-orthodoxen Kirchen-gemeinden in Deutschland in den Jahren 1920–1940, in: *Schlögel, Karl* (Hg.). Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941; Leben im europäischen Bürgerkrieg. – Berlin: Akademie Verlag, 1995; *Seide, Georg*. Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Diözese. – München: Kloster des Hl. Hiob von Počaev, 2001; *Seide, Georg*. Die russisch-kirchliche Emigration in Deutschland nach dem II. Weltkrieg (1), in: Der Bote der deutschen Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland (Vestnik Germanskoj Eparchii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi za granicej) 1/1994, Ss. 19–22.

2. Статья «К 50-летию со дня кончины архиепископа Венедикта (Бобковского)» за подписью Н. А. / «Вестник Германской епархии». 2000–2001. – Мюнхен. Вероятно, автором является о. Николай Артемов.
3. Архимандрит Александр (Ловчий) служил в 1940–1942 гг. настоятелем кладбищенской церкви Свв. Константина и Елены в Тегеле, в Берлине, а с 1942–1945 гг. – настоятелем Свято-Николаевской церкви в Мюнхене, а также являлся настоятелем приходов в Аугсбурге и в Нюрнберге (1942–1944).
4. Алексей I (Сергей Владимирович Симанский, 27.11.1877, Москва, – 17.4.1970, Переделкино, Московская обл.) с 4.2.1945 года был избран Патриархом всея Руси после кончины Патриарха Сергия (Страгородского). Занимал патриарший пост 25 лет.
5. Акт подписания капитуляции Германии состоялся дважды: первый раз в Реймсе в 02 ч. 41 мин. центральноевропейского времени, вступил в силу 8 мая в 23 ч. 01 мин. Вторичный акт подписания капитуляции состоялся по требованию Сталина в ночь с 8 мая на 9 мая 1945 в 2 ч. 41 мин. в Берлине-Карлсхорст.
6. Так, Е. Трудник сообщает, что в русском лагере ДиПи в Регенсбурге, где была ее семья, распространялись листовки с содержанием этого обращения к мирянам. 22 июня 1934 года митрополит Сергей (Страгородский) со своим Синодом постановили: «1. Заграничных русских архиереев и клириков так называемой Карловацкой группы, восставших на свое законное Священноначалие и, несмотря на многолетние увещания, упорствующих в расколе, предать церковному суду по обвинению в нарушении правил Святых Апостолов 31, 34, 35; Двукратного Собора 13-15 и других с устранением обвиняемых впредь до их раскаяния или до решения о них суда от церковных должностей (если таковые они занимают). 2. Запретить в священнослужении Преосвященных: бывшего Киевского митрополита Антония (Храповицкого), бывшего Кишиневского архиепископа Анастасия (Грибановского), бывшего Забайкальского архиепископа Мелетия (Заборовского), бывшего Финляндского архиепископа Серафима (Лукиянова), бывшего Камчатского епископа Нестора (Анисимова), а также епископа Тихона (Лященко), епископа Тихона (Троицкого), возглавляющего карловчан в Америке, и епископа Виктора (Святина) – в Пекине. 3. Предупредить православных архиереев, клир и мирян, что входящие в молитвенное общение с раскольниками, принимающие от запрещенных Таинства и благословение, подлежат по церковным правилам одинаковому с ними наказанию». («Журнал Московской Патриархии». 1934. № 22. Сс.1-2)
7. Согласно воспоминанию родителей Е. Трудник из Бремена. Личная беседа автора с Е. Трудник от 25.5.2016.
8. Послание Владыки Анастасия (Грибановского) к русским православным людям по поводу «Обращения патриарха Алексея к архиереям и клиру т. наз. карловацкой ориентации». Октябрь 1945. / Сборник избранных сочинений Высокопреосвященнейшего митрополита Анастасия. – Джорданвилль. 1948. С. 216.

9. Там же. С. 222.

10. Архиепископ Сергей (Ларин, 11.3.1908, Санкт-Петербург, – 12.9.1967, Мамонтовка, Московская обл.), епископ РПЦЗ. Некоторое время с 1923 г. пребывал в обновленчестве. Окончил в 1930 г. Высший Богословский институт, руководимый «обновленцами». Идеи обновленчества были использованы советской властью уже с 1921 г. для создания атмосферы раздробленности в церковной среде. В 1943 г. началось позитивное изменение отношения государственной политики в СССР к Патриаршей Церкви и санкционированное отвержение обновленчества. Потеряв все церковные саны обновленчества, Архиепископ Сергей перешел из обновленчества в лоно Московского Патриархата мирянином, монахом. В феврале 1945 г. он был командирован в Югославию как глава делегации МП. В послевоенный период принимал активное участие в программе по переходу приходов РПЦЗ в лоно МП, в том числе в Чехословакии, Румынии, Японии, Китае.

11. Митрополит Евлогий в течение своего пути священнослужителя несколько раз менял юрисдикции. С 1921 г. был назначен Патриархом Тихоном Управляющим русскими приходами МП в Западной Европе, в 1922 г., имея права автономии митрополичьего округа в Париже и Франции, состоял в составе РПЦЗ. С 1931 г. принадлежал к юрисдикции Константинопольского патриарха. Синоду РПЦЗ не удалось примириться с митр. Евлогием. С сентября 1945 г. он был назначен Западноевропейским экзархом РПЦ МП. Незадолго до смерти митр. Евлогий перешел из юрисдикции Константинопольского патриархата в Московский Патриархат.

12. Митрополит Серафим (Лукьянов), оставшись в Финляндии после Октябрьского переворота, был назначен архиепископом Финляндским и Выборгским. С 1926 г. проживал сначала в Лондоне, затем в Париже, по приглашению митрополита Евлогия на правах викарного епископа.

13. Митрополит Серафим (Ляде) (Karl Georg Albert Lade 4.6.1883, Лейпциг, Германия, – 14.9.1950, Зёлльн, близ Мюнхена, ФРГ), примкнул к обновленчеству в 1922 году, был возведен в сан протоиерея. В 1927 г. получил обновленческий сан «епископ Ахтырский». Как этнический немец, выехал из СССР в 1930 году. С февраля 1938 г. был назначен митрополитом Берлинским и Германским. С 26.5.1942 г. был назначен главой Средне-Европейского митрополичьего округа.

14. Протокол № 1 заседания Архиерейского Собора РПЦЗ от 24.4./7.5.1946.

15. Об идее Вселенского Собора Сталина см. в монографии *О. Ю. Васильева*. Русская Православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. – М.: Институт Российской истории РАН. 2001.

16. Личная беседа автора с Е. Трудник в Бремене от 25.5.2016.

17. Там же.

18. Статья «К 50-летию со дня кончины архиепископа Венедикта (Бобковского)».

19. Епископ РПЦЗ Тихон (Лященко) (22.2.1875, Воронежская губерния, – 11/24.2.1945, Карлсбад), в 1919 эмигрировал из России в Болгарию, служил настоятелем православного храма Св. Николая Мирликийского в Софии. 15.4.1924 состоялась хиротония в архиепископа Германского и Берлинского, оставался до августа 1938 г. на этом посту. Был смещен в пользу архиепископа Серафима (Ляде); пребывал с 1938 по 1944 гг. в Сремских Карловцах, с 1944 г. вместе с Владыкой Анастасием прибыл в Карлсбад, где в феврале 1945 года скоропостижно скончался.

20. Распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима, Митрополита Берлинского и Германского и Средне-Европейского митрополичьего округа. Август 1946 г., Мюнхен. / Архив женского православного монастыря Св. Елизаветы. – Бухендорф. С. 2.

21. «Амт Розенберга» находился на Margaretenstraße 17, в одном из самых зеленых районов Берлина Тиргартен (Tiergarten); это обобщенное название одного из главных идеологических министерств, куда входило несколько важных учреждений, как то: Министерство внешней политики НСДАП (Außenpolitisches Amt der NSDAP, APA), «Борьба за немецкую культуру» (Kampf für deutsche Kultur, KfdK); «Штаб действий Розенберга», занимающийся исключительно трофейным искусством на оккупированных территориях (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR).

22. Распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима... Указ. документ.

23. Архиеп. Сан-Францисский и Западно-Американский Иоанн Шаховской. Был настоятелем «евлогийанского» прихода Св.-Владимирской церкви в Берлине с 1.4.1932; с 1942 гг. В Епархиальном Совете РПЦЗ как «евлогийанский» представитель в Берлине; с 1946 г. – в США, перешел в юрисдикцию Северо-Американской митрополии.

24. Свящ. Александр Николаевич Киселев (7.10.1909, имение Каменка, Осташковский уезд, Тверская губерния, – 2.10.2001, Донской монастырь, Москва), протопресвитер; в разное время своей жизни принадлежал к разным юрисдикциям: живя в Эстонии – к Эстонской Апостольской Православной Церкви, во время Второй мировой войны был священником при Русской Освободительной армии ген. А. А. Власова, после войны принадлежал к РПЦЗ, в США входил в лоно Северо-Американской митрополии. Александр Киселев был вывезен в Эстонию в 1918 г. еще ребенком, окончил Рижскую духовную семинарию, в 1933–1938 гг. стал настоятелем Нарвской крепостной церкви Успения Божией Матери, в это время – активный участник РСХД, редактор культурно-церковных газет. С 1938 г. – настоятель Коппельской Николаевской церкви в Таллине. Перед вступлением советских войск в Эстонию 18.10.1939 уехал в Германию, служил в соборе Св. Владимира в Берлине, настоятелем которого был архимандрит Иоанн Шаховской. Так как мать о. Александра Киселева была урожденной княжной Шаховской (Анастасия Владимировна), близость к архимандриту Иоанну Шаховскому

была по давней семейно-духовенческой традиции. Во время войны занимался пастырской деятельностью в лагерях для советских военнопленных, организовывал помощь с продуктами, одеждой, православной литературой. С августа 1942 г. был ключарем кафедрального Воскресенского собора в Берлине, с 1944 г. вновь в храме Св. Владимира. Принял активное участие в организации Русской Освободительной Армии, был священником при РОА. После окончания войны избежал насильственной выдачи в СССР, с апреля 1945 г. – в Мюнхене, где организовал Дом милосердного самарянина. При Доме была создана русская гимназия, домовый храм преп. Серафима Саровского, медлаборатория, школа сестер милосердия, издательство, отдел социальной помощи. В 1949 г. выехал в США, был настоятелем Свято-Троицкой Асторийской церкви в Нью-Йорке, был секретарем епископа Иоанна Шаховского, организовал РСХД в Нью-Йорке. В 1950 организовал Свято-Серафимовский фонд для сохранения русского наследия; в 1951 г. Епископальная церковь предоставила Фонду дом на 99-й ул. Нью-Йорка, где был открыт домовый храм во имя прп. Серафима Саровского. С 1970 г. – в юрисдикции РПЦЗ, возведен в сан протопресвитера. В 1991 г. с женой Каллистой Ивановой, урожд. Кельдер (1911–1997), вернулся в Россию; они жили при Донском монастыре. Выступил за вхождение РПЦЗ в юрисдикцию Московского Патриархата.

25. Распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима... Указ. документ.

26. *Солдатов Г. М.*, ред. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей. Мюнхен (Германия). 1946 г. – Minneapolis, Minnesota: AARDM Press, 2003.

27. *Wolfgang Benz*. Ost-West-Konflikt und deutsche Teilung. Bundeszentrale für politische Bildung. – 13.07.2005. URL: <https://www.bpb.de>

28. Протокол № 2 Архиерейского Собора РПЦЗ в Мюнхене, от 1946 года.

29. Письмо автору от Г. В. Александровича по электронной почте от 21.3.2019. Интересна также история и самого здания. Вилла была выстроена в 1925 году по плану архитектора Штефана Вольманна (Stefan Wollmann) для Кристиана Бека (Christian Beck). С приходом нацистов к власти в 1933 году началась программа «аризирования» еврейской собственности в Мюнхене; вилла была национализирована в 1938 году, вследствие чего перешла в собственность Германского рейха; там было размещено Рейхское Казначейство авиации (Reichsfiskus Luftfahrt). После войны здание было поначалу конфисковано американской военной администрацией в Мюнхене. С декабря 1945 года на вилле разместился Архиерейский Синод РПЦЗ. Канцелярия Архиерейского Синода РПЦ просуществовала в этом здании вплоть до 1 июля 1952 года. С июля 1952 года вилла на Донауштрассе 5 была сдана в аренду под офис Австрийского отдела связи и коммуникации в американской зоне. В феврале 1956 года в этом здании разместилось Генеральное консульство Австрии. В 1972 году вилла с обширной жилой площадью в

2.250 м² была куплена у правительства ФРГ правительством Австрии за 1,29 млн DM. Вилла стала постоянной резиденцией Генерального консула Австрии. По материалам книги: *Rudolf Agstner. 130 Jahre Österreichische Botschaft Berlin: Von der Moltkestraße zur Stauffenbergstraße. Handbuch der Vertretungsbehörden von Österreich (-Ungarn) in Deutschland seit 1720.* / Philo Verlagsgesellschaft. – Berlin. 2003. Ss. 363-375.

30. Протоколы Архиерейского Собора РПЦЗ 1946 года. URL: <http://www.synod.com/synod/documents/epistles.html>

31. Там же.

32. Архиепископ Филофей (Владимир Евдокимович Нарко или Норка; 21 февраля/6 марта 1905, село Заноточки, Виленская губерния, – 24 сентября 1986, Гамбург, Германия). Белорус по национальности. С 1942 года – епископ Могилевский и Мстиславский. С 1946 года – в составе РПЦЗ, управляющий Гессенским (впоследствии Северо-Западным) викариатством Германской епархии. 14 сентября 1971 года решением Священного Собора РПЦЗ назначен архиепископом Берлинским и Германским «с предоставлением ему жить в Гамбурге».

33. Протокол № 3 Архиерейского Собора РПЦЗ, от 23.4.1946. Мюнхен. URL: <https://sinod.ruschurchabroad.org/Arh%20Sobor%201946%20Prot.htm>

34. Протокол Архиерейского Собора РПЦЗ от 25.4.1946. Мюнхен.

35. Распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима... Указ. документ.

36. Там же.

37. Протоколы Архиерейского Собора от 1946.

38. Информация с официального сайта РПЦЗ. URL: <http://www.synod.com/synod/history/htm.html>

39. Протоколы Архиерейского Собора 1946 года.

40. Статья «К 50-летию со дня кончины архиепископа Венедикта (Бобковского)».

Мюнхен

Сергей Шиндин

Мария Моравская

Из «теневого окружения» Осипа Мандельштама

Современная ситуация, складывающаяся с освоением архивных, малодоступных и по разным причинам выпавших ранее из поля зрения исследователей, источников, относящихся к литературному процессу 1890-х – начала 1930-х годов и поступивших в активный научный оборот в последние десятилетия в России и в Русском Зарубежье, позволяет с новой точки зрения взглянуть на многие его главные и нередко кажущиеся второстепенными составляющие. То же самое можно сказать и о биографических портретах его участников – как тех, кто всегда был в поле самого пристального внимания, так и тех, кто прежде оставался на периферии изучения данного фрагмента истории русской литературы. Во многом именно этими факторами определяются два наиболее актуальных в настоящее время направления в изучении жизни и творчества Осипа Мандельштама: «Мандельштамоведение, начинавшее с анализа стихотворений и закончив определенный свой период несколькими собраниями произведений поэта и итоговыми монографиями, теперь неизбежно сосредоточено либо на очень частных аспектах – эпизодах биографии или деталях произведений, которые требуют реального комментария, либо на очень общих – осмыслении так или иначе присутствующих в творчестве Мандельштама отражений различных явлений мировой культуры»¹. Соответственно, одной из главных задач первого направления является максимально полное восстановление реального круга общения Мандельштама во все периоды его жизни, в том числе и создание своего рода «конкорданса» имен тех, кто появлялся в биографии поэта эпизодически или единожды, подчас не соприкасаясь с ним лично, но в той или иной форме оставил в ней свой след.

Среди современников Мандельштама немало тех, кто нередко известен широкой литературоведческой науке лишь в отраженном свете его биографии и творчества, чья прямая или опосредованная биографическая связь с поэтом чаще всего и становится импульсом

для обращения к подобным фигурам. В силу конкретных историко-культурных обстоятельств в наибольшей степени это относится к поколению 1910-х годов, что неудивительно по целому ряду причин. С одной стороны, представители художественной и научной среды этого периода оказали основополагающее влияние на всю российскую культуру и науку XX века и практически предопределили новый этап их развития. С другой стороны, именно тогда происходило активное вхождение Мандельштама в литературную среду и неоднозначная, часто противоречивая ассимиляция его поэзии. Как следствие, «теневые» для современного российского литературоведения фигуры как были, так и остаются интересны прежде всего в статусе «реципиентов» творчества и участников жизненного пути поэта, тогда как их индивидуальное, независимое историко-культурное значение не исследовано, или мало исследовано, российскими учеными и нередко проявляется только в процессе мандельштамоведческих штудий, что умаляет реальную значимость многих из этих представителей русской культуры XX века. В начале едва ли не безграничного списка таких «возвращенных» для официальной науки с начала 1990-х годов современников Мандельштама можно практически произвольно назвать относящихся к разным этапам его биографии Сергея Каблукова, Григория Петникова, Марка Талова, Бориса Кузина, Дмитрия Усова, Сергея Рудакова, Павла Калецкого, Якова Рогинского и др. К сожалению, и недавняя двухтомная «Мандельштамовская энциклопедия», «компендиум» жизни и творчества поэта, не включает в себя эту богатейшую россыпь имен. И установить точное число появившихся за последние годы глубоко информативных и содержательных публикаций, посвященных данной теме, было и остается крайне затруднительным². Далеко не все материалы, представленные в данном издании, отвечают задаче максимально полного и точного освещения взаимоотношений Мандельштама и его современников, многие из которых, достойные самого внимательного рассмотрения, по разным причинам не нашли себе места в этом «профильном» издании. Среди тех, чьи имена из списка простого перечисления необходимо было бы перевести в активный научный оборот (именно активный, выходящий за границы только «упоминательной клавиатуры»), – Михаил Долинов, Вера Алперс, Юрий Терапиано, Андрей Седых, Александр Соколовский, Эрих Голлербах, Леонид Гроссман, Борис Горнунг, как и множество других.³ Одновременно с этим, актуален и параллельный – еще более широкий – набор имен тех, для кого встреча с Мандельштамом биографически и творчески имела исключительное, подчас основополагающее в целом ряде аспектов значение.

Одной из таких фигур является Мария Магдалина Франческа

Людвиговна Моравская (31.12.1889, Варшава, Российская империя – 26.6.1947, Майами, США) – поэтесса, прозаик, критик. «Из польской католической семьи, в два года потеряла мать, в детстве жила в бедности <...>. Спустя несколько лет отец женился на сестре матери Моравской и семья переехала в Одессу. В 15 лет Моравская ушла из дому, не поладив с мачехой, и потеряла связи с семьей. Переехала в Петербург, зарабатывала на жизнь уроками, перепиской, поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы (не закончила). Участвовала в политических кружках и была польской патриоткой, потом социалисткой», дважды находилась под арестом⁴. В 1917 году после Февральской революции и краткосрочного пребывания в Японии переехала на постоянное жительство в США, сначала – на длительное время в Нью-Йорк, затем – во Флориду. Пребывая в эмиграции, Моравская продолжала самую активную литературную, публицистическую и общественную деятельность, однако о последнем периоде ее жизни вся информация не собрана⁵. Современному исследователю принадлежит следующая краткая характеристика литературной судьбы поэтессы: «Писательница, создавшая за пять лет свыше 400 стихотворений, не менее 30 рассказов и очерков, около 10 книг, пользовавшаяся вниманием не только читателей и критиков, но и собратьев по перу – М. Волошина, Р. Иванова-Разумника, В. Брюсова, И. Эренбурга, А. Ахматовой и многих других <...>, прожившая после революции 30 лет, была на десятилетия вычеркнута из русской литературы. <...> Поэтесса, покинув в годы революции родину и вычеркнув этим себя из литературы советской, в эмигрантскую тоже не вошла»⁶.

Время, место и обстоятельства знакомства Мандельштама и Моравской неизвестны, но оно представляется несомненным ввиду общности их литературных интересов и конкретных биографических фактов⁷. Вероятнее всего, оно состоялось на «Башне» у Вячеслава Иванова; возможно, 14.3.1911, когда оба впервые читали там свои стихи; днем позже Федор (Фридрих Людвиг Конрад) Фидлер записал в дневнике: «Вчера – у Вячеслава Иванова <...>. Сперва говорили о возможности войны, затем – о симфонии Скрябина ‘Прометей’ и наконец началось чтение вполне осмысленных стихов. Читали <...> и еще ни разу не выступавшие в печати новички – О. Мандельштам, Анна Ахматова <...> и Мария Моравская (пищала как семилетний ребенок)»⁸. Позднее оба поэта посещали проходившие под эгидой Вяч. И. Иванова заседания «Общества любителей художественного слова»⁹. Главным эпизодом во взаимоотношениях Мандельштама и Моравской стало их участие с осени 1911 года в «Цехе поэтов»; позднее Василий Гиппиус в одноименной мемуарной публикации

(Жизнь. – Одесса. 1918. № 5. С. 12) свидетельствовал: «Самыми прилежными, не пропускавшими почти ни одного собрания, были – Анна Ахматова, Ел. Кузьмина-Караваева, Зенкевич, Нарбут, Мандельштам, Лозинский, Георгий Иванов, Моравская и я»¹⁰; имена обоих присутствуют и в первом варианте «канонического» списка участников этого литературного объединения, составленном Анной Ахматовой (очевидно, весной 1964 года)¹¹. Повторяются они и в содержащемся в письме Бориса Эйхенбаума родителям изображении «типологического» заседания 10.1.1914 (т. е. уже акмеистического периода): «В пятницу провел довольно интересный вечер – в ‘цехе поэтов’. Народу было много – Гумилев, Городецкий, [Вас.] Гиппиус, Ахматова, Зенкевич, Мандельштам, Моравская и др. <...> Читали стихи и обсуждали. Я тоже прочитал два»¹². В отличие от поэта, поэтесса упоминалась и в самом знаменитом, наверное, шуточном «цеховом» коллективном стихотворении – «стиховедческом» сонете «Valere Brussoff не презирал сонеты...»: «[И для него Зенкевич пренебрег / Алмазными росинками] Моравской»¹³. Как участники «Цеха поэтов», оба присутствовали на прошедшем 13.1.1912 в «Бродячей собаке» чествовании 25-летия поэтической деятельности Константина Бальмонта, о чем хроникер оставил такое свидетельство (Обзорение театров. 1912. 18 янв. С. 13): «Вечер начал С. Городецкий остроумной, несколько парадоксальной речью <...>. Затем ‘Цех поэтов’ приступил к чтению своих стихов. Читали: Гумилев, Анна Ахматова, Мандельштам, Василий Гиппиус, Мих. Долинов, М. Моравская и др.»¹⁴. В этот же период оба регулярно бывали в артистическом кабаре «Бродячая собака», при этом, согласно одной из точек зрения, Моравская была названа в числе постоянных посетителей, «близких в той или иной мере и в разное время к акмеистам»¹⁵. Вместе с тем, современниками было подчеркнуто ее сдержанное отношение к акмеизму: позднее Василий Гиппиус, анализируя неудачную, с его точки зрения, художественную практику нового литературного направления, в частности, отмечал, что «у школы не оказалось последователей. В самом цехе не все ее признали. <...> – М. Моравская, рассказывающая в рифмованной полупрозе о своих домашних вещах и домашних настроениях; Георгий Иванов, научившийся недурно писать о чем угодно, – и некоторые другие, не враждебно и не дружелюбно, а как-то кисло-сладко встретившие декларацию акмеистов, – были схвачены потоком эклектизма и оппортунизма, захлестнувшим нашу поэзию. В этом потоке они потерялись и исчезли – и так и должно было быть»¹⁶.

С весны 1913 года оба литератора принимали участие в деятельности Общества поэтов («Физа») ¹⁷, где, в частности, 11.12.1913

Владимиром Пястом был прочитан доклад о Тирсо де Молина (Габриэле Тельесе) и его комедии «Осужденный за маловерие» (1635)¹⁸. Один из присутствовавших на этом вечере записал в своем дневнике: «Среди публики были – А. Ахматова, М. Моравская, <...> Г. Иванов, О. Мандельштам <...> и еще много, которых я не знаю в лицо»¹⁹. Перед этим, 11.12.1913, поэт прослушал выступление Моравской «О частушке» и состоявшиеся после него поэтические чтения²⁰: согласно дневниковой записи современника, на заседании общества присутствовали «А. Кондратьев, В[ас.] Гиппиус, О. Мандельштам, Скалдин, Рюрик Ивнев, Чеботаревская, Недоброво <...>. Гиппиус и Вир читали стихи, обсуждали Недоброво и Скалдин»²¹. К этой теме поэтесса возвращалась и позднее – 1.10.1915, когда «в помещении Лиги равноправия женщин М. Моравская прочла доклад ‘Поэзия миллионов людей’ (о частушке). Б. Садовской назвал это выступление призывом ‘свести словесное искусство на самую низшую ступень’, ‘проповедью одичания поистине ужасной’, хуже футуризма (‘Вредное чириканье’, Биржевые ведомости, 3. окт.)»²². Еще резче данный факт охарактеризовал Георгий Иванов, закончивший обзор литературной жизни 1915 года следующим образом: «В заключение можно бы сказать о нескольких докладах М. Моравской, но чтения эти нашли уже себе достойную оценку даже в нашей невзыскательной насчет вопросов поэзии общей прессе. ‘Вредное чириканье’ – определил их один критик. С этим определением нельзя не согласиться. И досадно за молодежь, посещавшую все эти доклады и принимавшую на слово безвкусную и неумную дамскую болтовню»²³. Однако вряд ли будет преувеличением утверждение о том, что доброжелательно воспринятые многими современниками эти выступления стали ярчайшими событиями литературной биографии поэтессы. Отчасти это могло быть мотивировано тем обстоятельством, что хронологически и содержательно они совпали с обострившимся вниманием к народной песне и частушке в самых разных направлениях культурной жизни России середины 1910-х годов²⁴. Интерес Моравской к современной фольклорной традиции в известном смысле мог быть если не изначально предопределен, то дополнительно стимулирован художественными ориентирами «Цеха поэтов» – программная статья в первом номере выпускаемого им журнала «Гиперборей» завершалась утверждением: «Русская поэзия предчувствует новые завоевания. – Они возможны и в безымянной народной поэзии, и современной деревенской песне будет уделено место на этих страницах»²⁵. Сказанное вполне согласуется со следующим утверждением современного исследователя и комментатора, касающегося «акмеистического» интереса к жанру частушки: «О неожи-

данном увлечении этим жанром в кругах, близких к Ахматовой, вспоминал поэт и филолог Г. В. Маслов: 'Но вот (какой скачок!) на Маланью <...> засмотрелась в лорнет жеманная эстетка и прочитала об этом доклад в "Цехе поэтов". Ну, а с "Цехом" – кто же с ним станет спорить?' (Г. В. Маслов имел в виду скорее всего доклад М. Л. Моравской в Обществе поэтов <...>)»²⁶.

Не столь ярким, но более значительным для реконструкции литературной истории «Цеха поэтов» эпизодом стало участие Моравской в состоявшемся 25.2.1915 в «Бродячей собаке» вечере, посвященном выходу в свет поэтического альманаха «Стрелец». Особенностью данного издания (Стрелец. Сборник первый / Под ред. А. Беленсона. – Пг.: Стрелец, 1915) являлось то обстоятельство, что в нем под одной обложкой выступили представители и уже уходящего в прошлое символизма, и всё еще претендующего на свою новизну футуризма. Современные исследователи прокомментировали данное событие так: «Критика отмечала, что выход первого выпуска 'Стрельца' знаменует собой вхождение футуризма в главный поток русской литературы, в котором уже первенствовал символизм. Можно сказать, что альманах 'Стрелец' продемонстрировал взаимную необходимость и взаимную помощь этих двух полюсов русской литературы. Символисты дали футуристам расписку в том, что те приняты в клуб достойных и уважаемых людей, а футуристы расписались под справкой о том, что символисты вполне современны»²⁷. В одном из отчетов об этом мероприятии (Современный мир. 1915. № 3. 1 марта), в частности, говорилось: «Молодая поэтесса М. Моравская подошла к вопросу с точки зрения здравого смысла и высказала ряд совершенно правильных мыслей... 'Символисты, – говорила она, – это полутрупы, отжившие люди. Они дряхлы, седы и во власти рамолисмента. Но им чрезвычайно не хочется показать, что они стары... На общение с футуристами эти молодящиеся старички смотрят как на омолаживающее средство'»²⁸. То, что выступление Моравской не осталось незамеченным, очевидно; в частности, данное поэтессой определение представителей старшего поколения, по-видимому, вошло в литературно-критическую фразеологию современников. По предположению Леонида Кациса, оно нашло и интертекстуальное отражение в продолжающейся публикации Виктора Ховина (Безответные вопросы. IV // Очарованный странник. Вып. 8: Альманах осенний. – СПб.: Издательство эго-футуристов, 1915. С. 10-11), где, задавая риторический вопрос об историко-литературном статусе «Стрельца», он в статусе «метацитаты» совершенно явно использует уничижительную терминологию Моравской: «Действительно ли это жертвенность или только страничка в жизни 'молодящихся старич-

ков' – с одной стороны, с другой – последний трюк исчерпавших себя эксцентриков?»²⁹ Присутствовал ли Мандельштам на вечере альманаха «Стрелец» в «Бродячей собаке», неизвестно (возможно, в этот день его не было в городе³⁰), но о сказанном Моравской он, вполне вероятно, мог знать, тем более что оно было близко его собственной антисимволистской позиции.

В этот же период времени оба поэта сотрудничали с журналом «Голос жизни», который «выходил в Петрограде в течение девяти месяцев с начала октября 1914 г. по 24 июня 1915 г.» и, по оценке современного исследователя, стал «ярким феноменом русской периодики эпохи Первой мировой войны», прежде всего в силу того, что «уже в самых первых номерах 'Голоса жизни' звучат довольно отчетливые ноты протеста если не против самой войны, то против пропагандистского угара, порой перехлестывающего, по мнению авторов журнала, границы здравого смысла»³¹. Формированием поэтического раздела журнала полностью занималась непосредственно Зинаида Гиппиус³²; Георгий Иванов в своем традиционном обзоре, посвященном прошедшему литературному году, так охарактеризовал краткий путь этого издания: «С ноября 1914 г. по май 1915 издательство Каспари выпускало еженедельник 'Голос жизни', бывший вначале не лучше и не хуже прочих 'иллюстраций'; но, совершенно неожиданно, редактированием его занялся Д. В. Философов. И в течение полугода мы имели странный журнал: по внешности – вроде 'Огонька', по содержанию – сплошь З. Гиппиус, Мережковский и Философов. Занятный 'только как явление', журнал этот, конечно, не мог рассчитывать на успех и быстро зачах, совершенно не выяснив, зачем это понадобилось представителям 'большого искусства' 'опуститься до толпы' и вести какую-то странную агитацию посредством уличного журнальчика. В 'Голосе жизни' стихам и поэтической критике отводилось почетное место, но, разумеется, подбор и того и другого был очень 'специальный'»³³. Тем не менее, если Моравской в столь нелицеприятно охарактеризованном единомышленником по «Цеху поэтов» издании было напечатано лишь одно ее известное стихотворение «Золушка» (1914. № 9. 23 февр. С. 9), то публикации Мандельштама состоялись дважды (1915. № 14. 1 апр. С. 10; № 25. 17 июня. С. 13), причем фактом появления первой из них, согласно трактовке Николая Богомолова, «стихи Мандельштама были вставлены в сердцевину полемики о судьбах России, ее нынешнем и грядущем предназначении. <...> Виртуальный цикл Мандельштама 'Рим' должен был представлять 'западническую' точку зрения, и не только в полемике между публицистическими выступлениями, но и в поэзии»³⁴.

И тогда же, в 1915–1916 годах, Мандельштам и Моравская, оче-

видно, виделись в редакции «Нового журнала для всех», где регулярно проходили собрания самых разных литераторов. Один из их участников этих встреч вспоминал о них так: «Тесная редакционная квартира в эти вечера бывала переполнена гостями, причем здесь можно было встретить представителей всех школ и всех течений. Так было и в хорошо памятную мне ноябрьскую среду 1915 года. < ... > Здесь были: уже и тогда маститый М. А. Кузмин, неизменные аяксы Георгий Иванов и Георгий Адамович, Всеволод Курдюмов, Рюрик Ивнев, О. Мандельштам, Н. Венгров, О. Брик, Ек. Низен, М. Моравская и многие другие»³⁵. Тому же более чем осведомленному мемуаристу принадлежит и краткая, но емкая характеристика данного неформального объединения: «Это был своего рода ‘литературный университет’: в 1915–16 гг. эта редакция была одним из самых живых петербургских кружков»³⁶. Подобный статус, формировавшийся вокруг журнала в глазах современников, не исключил и в данном случае критических нападков на само издание со стороны Георгия Иванова; в упомянутом ежегодном обзоре он, в частности, писал: «Двойственное впечатление производит ‘Новый журнал для всех’. Совершенно ясно культурное стремление редакции быть в курсе поэтических дел, интерес к поэзии и благожелательное отношение к молодежи. Но, по-видимому, журналу этому более свойственны благие порывы, чем удачное осуществление их. Ворох бесцветных стихов начинающих авторов, которым никогда не суждено созреть, и... А. Тиняков с М. Моравской в роли поэтических судей – вот к чему сводится физиономия ‘Нового журнала для всех’. Всё же попадают там, хоть и редко, Блок, Гумилев, Ахматова... Стихи Г. Адамовича, Всеволода Курдюмова и некоторых других позволяют нам приветствовать этот журнал, пожелав ему всяческой строгости и самопроверки»³⁷. В свою очередь, участник одного из первых собраний в редакции журнала позднее вспоминал о нем: «После патетической декламации А. А. Мгеброве и Виктории Чекан, после того как жеманный Георгий Иванов прошепелявил свои стихи о веселой труппе бродячих гимнастов, после торжественной речи Осипа Мандельштама и старинной мудрости Кузмина [Маяковский прочитал ‘Флейту-позвоночник’]»³⁸. Недавно введенное в научный оборот Павлом Нерлером краткое жизнеописание Мандельштама (к сожалению, не подкрепленное никакими указаниями на источники) содержит информацию о том, что 30.3.1916 тот выступал на вечере в редакции «Нового журнала для всех» с чтением стихов³⁹.

Как известно, литературная критика середины 1910-х годов была крайне противоречива по отношению к поэтическим опытам Мандельштама; то же самое в полной мере характерно и для реакции

современников на творчество его современницы: «Можно утверждать, что литературная судьба Моравской сложилась не очень счастливо. В литературном процессе она держалась особняком. Установка на тематические открытия (поэзия телеграфа, авиации, кинематографа) не была оценена, находки в области разговорной интонации поблекли на фоне развивающегося творчества сверстников»⁴⁰. Едва ли не единственный безусловно положительный отклик на публикации Моравской присутствует в рецензии на первый сборник ее стихов «На пристани» (Пб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1914), где, в частности, отмечалось: «Поэтесса очень чутка к ритму: во всей книжке – ни одного стихотворения школьно-правильного размера, ни одного с выдержанными рифмами, а между тем, с звуковой стороны всё это очень приятные вещицы, иногда кажущиеся даже совсем новыми. <...> К достоинствам книжки надо отнести неподдельность и ненадуманность авторских эмоций, у М. Моравской нет <...> никакой, словом, лжеромантической мишуры, столь свойственной поэзии столь многих из нынешних стихотворцев. Поэтесса пишет только о том, что она действительно переживает или пережить собирается» (Отклики. 1914. 8 мая)⁴¹. Совершенно противоположная оценка этого сборника, в том числе и его метрической составляющей, принадлежит Георгию Иванову: «Прежде всего смущает стих книги. Странно читать эти отрывки, построенные без всякого согласия не то что с метрикой, но и с внутренним ритмом. Содержание – у всех стихотворений общее; чтобы пересказать его, достаточно нескольких слов. ‘На пристани’ можно охарактеризовать сборником лирических пространств на тему о том, что на юге жить приятнее, чем на севере, и что на свете много несправедливости... Всё это очень, кажется нам, мало занимательно, очень ‘не без Надсона’, – но, конечно, своего читателя и эти стихи найдут»⁴². Очевидно, об этом же издании оставила выдержанный в тех же «семантических координатах» и сочувственно принятый Александром Блоком рукописный отзыв Александра Кублицкая-Пиоттук: «По-моему, это не поэзия... Может быть, Брюсов и Андрей Белый думают, что стремление на юг, в котором состоит почти всё содержание, – это тоска трех сестер и вообще по Земле Обетованной. – Они ошибаются. Это просто желание поехать в теплые страны, в Крым, на солнышко»⁴³. Тогда же другой автор в связи с творчеством наиболее известных поэтесс, в частности, отмечал: «Если уж говорить о ‘королевском’ пафосе в писаниях современных женщин-писательниц, то его в действительности можно открыть разве только в лирике З. Н. Гиппиус. <...> Наряду с Гиппиус, и А. Цветаева, и А. Ахматова, и наивная М. Моравская – скромные фрейлины, правда, порою несговорчивые, капризные,

часто ноющие, иногда удачно имитирующие жесты своей старшей сестры, но не способные к ее упорству, к ее немеркнувшей сознательности и вечному оплакиванию утраченных прав»⁴⁴.

Фактическим ответом на упреки в формальных упущениях стихосложения можно считать некоторые положения, высказанные Моравской в статье (а по сути, индивидуальном поэтическом «манифесте») «Волнующая поэзия» («Новый журнал для всех». 1915. № 8. Сс. 39-41), которая современным комментатором была названа «выразительным примером варьирования положений акмеистической программы (даже без называния слова ‘акмеизм’))»⁴⁵. Объект описания в публикации – «новое поэтическое движение, <...> поэзия конкретная, близкая к жизни, близкая каждому будничному дню» с формальной точки зрения детально (и можно сказать – профессионально) охарактеризован автором следующим образом: «Форма такой взволнованной поэзии не могла остаться прежней, классической. Разве можно всё многообразие радостей и страстей вместить в тесные рамки ямбов и хореов? Классическое стихосложение подходит для эпоса, для описания красивых вещей, для спокойных стихов. Современную лирику оно связывает. И поэты последнего призыва стали писать освобожденным ритмом, близким к разговорной речи. Этот ритм легко передает все изгибы душевного волнения; он близок к музыке, в его основе лежит так называемая ритмическая пауза. Стихи делятся на такты, а не на стопы. Количество стоп может не быть равным. Если одна или две стопы пропущены (ритмическая пауза), это нарушает метр, который сковывает стихи, но усиливает их гармоничность. Вместо мертвого выстукивания ямбов и хореов получается живая гармония русской речи, такой естественно музыкальной, освобождающейся от тисков метра и классических форм, навязанных русскому языку филологами-западниками. Образцы такого освобожденного ритма читатели могут встретить в любом номере ‘Журнала для всех’»⁴⁶. Очевидно, что сказанное было исключительно актуально для художественного мировоззрения автора – тогда же, 1.7.1915, Моравская, «в период своей работы над поэмой ‘Девушка с фонариком’ о билетерше в кинозале обратилась к незнакомому ей Ефиму Янтареву, автору очерка о телефонистках, с предложением объединить усилия для создания нового поэтического направления и с этой целью переделать очерк в поэму: ‘выработать подходящий ритм (обязательно освобожденный) – и выйдет чудесная, волнующая поэма! <...> единственное неиспользованное в поэзии – красота обыденности <...> А символизму надо дать по шапке. Красота обыденности идет ему на смену’ (ЦГАЛИ, ф. 1714, оп. 2, ед. хр. 3, л. 3–4). Примечательно, что ‘красота обыденности’ служит мотивировкой

обращения к верлибру»⁴⁷. Именно по данному формальному признаку Моравская сближала индивидуальную авторскую поэзию с современной фольклорной традицией: «Народный ритм, ритм современной частушки, тоже родственен новой поэзии». А далее это сближение распространялось автором и на содержательный строй текстов: «И не только рифмы и ритм роднят эту поэзию душевного волнения с современной народной песней. В ней та же реальность образов, и душевное их содержание, та же близость к жизни и субъективный подход к ней»⁴⁸. В связи с начальной фразой приведенной цитаты Олег Лекманов указывал на принадлежащую Дмитрию Святополку-Мирскому характеристику творчества самой поэтессы: «‘Мария Моравская, соединявшая крайнюю сентиментальность с интересными попытками учиться у современной частушки’ (*Мирский Д. С.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. – London, 1992. Сс. 759-760)», и отмечал, что «у ‘современной частушки’ учились многие акмеисты, в том числе Ахматова и Нарбут»⁴⁹.

Здесь же нельзя не вспомнить и принадлежащую Мандельштаму развернутую характеристику блоковской поэмы «Двенадцать», данную им в посвященной годовщине трагической смерти поэта заметке «А. Блок (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)»: «Самое неожиданное и резкое из всех произведений Блока, – ‘Двенадцать’ – не что иное, как применение независимо от него сложившегося и ранее существовавшего литературного канона, а именно частушки. Поэма ‘Двенадцать’ – монументальная драматическая частушка. Центр тяжести – в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность, и каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии, но сила ‘Двенадцати’ не только в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки, вроде ‘у ей керенки есть в чулке’ и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы. <...> Независимо от различных праздных толкований, поэма ‘Двенадцать’ бессмертна, как фольклор» (2, 225)⁵⁰. Более того, точка зрения Моравской на ритмико-метрические параллели в новой поэзии и фольклорной традиции могла формироваться под прямым влиянием Мандельштама, который в лаконичной рецензии 1913 года на выход сборника эгофутуристических стихотворений Павла Кокорина «Музыка рифмы: Поэзопись» (СПб.: Типография «Улей», Лета 1913), в частности, отметил, что поэтический ритм автора «находится в полном согласии с дыханием, как народная песня. – Книжка Кокорина очень народна, без всякой кумачности и, в то же

время, утонченна, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наивности автора» (1, 194)⁵¹. Позднее, в статье с более чем симптоматичным названием «Письмо о русской поэзии» (1922), Мандельштам по тому же признаку сближал с фольклорным началом поэзию Николая Клюева, который, согласно его определению, «народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вешим напевом неграмотного олонецкого сказителя»; и там же, подводя итог сказанному о «генетических» истоках новой поэзии, Мандельштам отмечал: «Вся эта форма, вышедшая из асимметричного параллелизма народной песни и высокого лирического прозаизма Анненского, приспособлена для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой» (2, 238-239)⁵². Подобного рода мандельштамовским характеристикам вполне созвучен финальный пассаж статьи Моравской: «Наша новая поэзия счастливо встретила с поэзией народной, способы изображения у них общие, хотя темы – разные. И факт этой встречи лучше всего доказывает, что возникающая в последние годы поэзия – коренное русское движение, а не ‘прекрасная иностранка’, какой была в России поэзия эстетов»⁵³.

Если мандельштамовское отношение к поэтическим опытам Моравской неизвестно, то о ее заинтересованном внимании к творчеству своего современника он не мог не знать. Согласно представляющей убедительной точке зрения Олега Лекманова, несмотря на то, что «слово ‘акмеизм’ в статье ‘Волнующая поэзия’ не встречается ни разу, кажется вполне очевидным, что эта статья варьировала именно акмеистическую программу»⁵⁴. В откровенно «проакмеистической» статье поэтессы центральным для новой поэзии содержательным элементом становится категория души и распространяемое ею на самые разные образы вещного мира состояние одухотворенности: «одухотворенность обычных вещей – крупная отличительная черта новой поэзии. Я бы назвала ее ‘душевной конкретностью’. Душу и ее волнение изображают ‘поэты последнего призыва’. Самыми конкретными образами они говорят о самом ирреальном, о душевном волнении. В их изображении все обыденные предметы глубоко романтичны. И охра, заменяющая солнце, и соломинка, которую пьют душу, и черная фата осиротелой невесты – всё это проникнуто душевным волнением. Никаких пейзажей, никакого образа ради образа не знает новая поэзия. Мир для человека, а не человек для мира! Вся вселенная имеет значение лишь поскольку она отражает человека, – так кажется, когда читаешь эти стихи, где ‘бережно и нежно’ целуют ‘прошлогоднюю траву’, потому, что ‘снегами изранена, она еще жива’ и ‘шепчет прошлогодние слова’. Даже траве способен дать душу современный поэт. А иначе она для него не существует, трава

как часть ландшафта – в этом не было бы никакого волнения. И всё разнообразие мира, вся современность и прошлое, война и мир, гроза и тишина, купола церквей и мох на землянках, всё это входит в современную поэзию, если отражает волнение души. Личность вернулась ко всей жизненной конкретности лишь для того, чтобы обогатить себя новыми переживаниями. – И с этой точки зрения самый обыкновенный, придорожный камень становится поэтичным, если о него облокотилась рука странника. Самая будничная реальность прекрасна, если она соприкасается с душой человека»⁵⁵. Вне зависимости от того, продолжает Ронен, содержит ли присутствующее в финале данного пассажа слово «камень» анаграмму понятия «акме» (и, следовательно, слова «акмеизм»)»⁵⁶ или нет, у искушенного читателя в данном контексте оно не может не ассоциироваться с названием дебютного поэтического сборника Мандельштама «Камень», первое издание которого вышло в свет в 1913 году, а второе (по сути, совершенно новая «акмеистическая» книга, пришедшая на смену «символистской») готовилось к печати с начала 1914 до конца 1915 года⁵⁷.

Образ «души», к которому в статье прибегает Моравская, исключительно актуален и для раннего этапа мандельштамовского творчества, где он в традиционном «общепозэтическом» смысловом наполнении сформировался на начальном «символистском» этапе 1908–1911 годов⁵⁸. Именно в таком качестве он присутствует уже в первом известном «взрослом» стихотворении «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...», написанном в апреле 1908 года в Париже⁵⁹: «В водном плеске душа колыбельную негу слыхала» (1, 32), – и регулярно повторяется в других стихах того же периода, причем в самых актуальных контекстах: «встающая волна / Набегающего сна // Вдохновенно разобьет / Молодой и тонкий лед, // Тонкий лед моей души – / Созревающий в тиши» (1, 38), «И печальна так и хороша / Темная звериная душа: // Ничему не хочет научить, / Не умеет вовсе говорить / И плывет дельфином молодым / По седым пучинам мировым» (1, 44–45), «Душа устала от усилий, / И многое мне всё равно» (1, 233) (вариант), «И каждый совершил душою, / Как ласточка перед грозой, / Неописуемый полет» (1, 53), «кризой думы важной / Всю душу мне одень» (1, 53), «Я не хочу моих святынь, / Мои обеты я нарушу – / И мне переполняет душу / Неизъяснимая полын» (1, 54), «И в пустоте, как на кресте, / Живую душу распиная, <...> / Исчезнуть в облаке Синая» (1, 54), «В тисках постылого Эреба / Душа томительно живет» (1, 58) Последние пять цитат – из хронологически следующих друг за другом стихотворений лета 1910 года. «Я не хочу души своей излучин, / И разума, и Музы не хочу» (1, 58), «Знают души наши/ Отчаянья власть: / И поднятой чаше / Суждено упасть» (1, 63), «Душу

от внешних условий / Освободить я умею: / Пенье – кипение крови / Слышу – и быстро хмелею» (1, 63), «И я, какой-то невеселый, / Томлюсь и падаю в глуши – / Как будто чувствую уколы / И холод в тайниках души...» (1, 67), «О, маятник душ строг – / Качается глух, / прям, / И страстно стучит рок / В запретную дверь к нам...» (1, 68).

Из приведенных контекстов следует, что образ «души» в стихах этого периода носит глубоко экзистенциальный характер, причем во многих случаях он присутствует в текстах, тем или иным образом отмеченных автором или его читателями. Тогда же в стихотворении «Отчего душа так певуча...» (1911) он обнаруживает явные коннотации с темой художественного творчества (причем оформляется это и актуальным для данного контекста образом «ритма»): «Отчего душа так певуча / И так мало милых имен, / И мгновенный ритм – только случай, / Неожиданный Аквилон? // <...> Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?» (1, 68)⁶⁰. Прямо или опосредованно с метатекстуальной тематикой оказываются связаны и другие случаи обращения Мандельштама к образу «души» в текстах 1910-х годов: «И вся моя душа – в колоколах, / Но музыка от бездны не спасет!» (1, 74), «И бездыханная, как полотно, / Душа висит над бездною проклятой» (1, 75), «Мы напряженного молчанья не выносим – / Несовершенство душ обидно, наконец» (1, 80), «пятиглавые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой» (1, 120), «здесь душа моя вступает, / Как Персефона, в легкий круг, / И в царстве мертвых не бывает / Прелестных загорелых рук. <...> // Туда душа моя стремится, / За мыс туманный Меганом» (1, 129) и др. Симптоматичным представляется тот факт, что образ «души» присутствует в «программных» акмеистических стихотворениях Мандельштама 1912 года, получивших самый широкий резонанс, – «Айя-София» («Но что же думал твой строитель щедрый, / Когда, душой и помыслом высок, / Расположил апсиды и экседры, / Им указав на запад и восток?» (1, 79)) и «Notre Dame» («Стихийный лабиринт, непостижимый лес, / Души готической рассудочная пропасть» (1, 80)). Он также встречается в адресованном союзнице по новому литературному объединению восьмистишии «Ахматова» («В поднятьи головы крылатый...», 1913): «Зловещий голос – горький хмель – / Души расковыривает недра» (1, 98)⁶¹ и повторяется в обращенном к ней стихотворении «Твое чудесное произношение...» начала 1918 года («Пусть говорят: любовь крылата, – / Смерть окрыленное стократ. / Еще душа борьбой объята, / А наши губы к ней летят» (1, 133)).

С течением времени частотность образа «души» в стихах Мандельштама не уменьшается, а ее семантические коннотации становятся многообразней и сложнее. Если первоначально «душа»

предстает в традиционном бестелесном, эфемерно-бесплотном, нематериальном образе, то начиная с текстов конца 1910-х годов в противоположность этому происходит ее явная антропоморфизация. Опосредующим в данном процессе звеном становится наделение души признаком предрасположенности, способности к активным действиям, свойственным живому существу: «душа моя стремится, / За мыс туманный Меганом» (1, 129), «Еще душа борьбой объята» (1, 133), «И в нежной сутолке не зная, что начать, / Душа не узнает прозрачные дубравы, / Дохнет на зеркало и медлит передать / Лепешку медную с туманной переправы» (1, 148) (вариант: «И в нежной сутолке не зная, как ей быть, / Душа не узнает ни веса, ни объема, / Дохнет на зеркало – и медлит уплатить / Лепешку медную хозяину парома» (1, 265)); ср.: «Душа устала от усилий» (1, 233), – а также: «здесь душа моя вступает, / Как Персефона, в легкий круг» (1, 129), – и: «Психея-жизнь спускается к теням / В полупрозрачный лес, вослед за Персефой» (1, 147)⁶². Столь же нередки в мандельштамовской поэзии случаи наделения обобщенного образа «души» и ее конкретных персонификаций антропоморфными признаками и качествами: «Когда душе и торопкой и робкой / Предстанет вдруг событий глубина, / Она бежит виющеюся тропкой, / Но смерти ей тропина неясна» (3, 87), – и вариант: «Когда душе взволнованно торопкой» (3, 327), «И беснуется от жару / Домовитая душа» (2, 38), «Это чумный председатель / <...> Правит, душу веселя» (3, 58); ср. опосредованное метафорическое наделение души «национальными» признаками: «пятиглавые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой» (1, 120), а также актуализацию фразеологической конструкции в шуточном стихотворении: «Чую смущенной душой запах голландского сыра» (3, 154) и т. п. вплоть до совершенно эксплицитного прямого отождествления души с женским началом: «Душа ведь женщина, ей нравятся безделки» (1, 147)⁶³.

В литературно-критических публикациях современников имени Мандельштама и Моравской могли соприсутствовать, как, например, в целом благожелательной рецензии Андрея Левинсона на выход в свет первого номера «Гиперборея», определенного им как «ежемесячник молодой поэзии» (Театр. 1912. 25 нояб. № 87): «Нечеток <...> поэтический облик О. Мандельштама; для юного поэта ‘мгновенный ритм’ еще ‘только случай’; но уже не бесплодно его поэтическое волнение <...>. Сотрудниками первого выпуска не исчерпаны силы цеха; <...> не слышен <...> тонкий комариный голосок Музы ‘голубых лютиков’ г-жи Моравской. Но всё же есть в этой маленькой желтой тетрадке явная прелесть начала, обещания утренней свежести»⁶⁴. Имена обоих поэтов встречаются и в посвященном «‘аполлоновскому’ содружеству»⁶⁵ фрагменте заметки Николая Бернера (Божидара)

о стихах, обращенных к теме Первой мировой войны, где осведомленный современник отмечал: «Что касается молодых версификаторов – Георгия Иванова, Владислава Ходасевича и Мандельштама, – все они друг другу не уступают в искусственности, а из поэтесс Аполлоновского содружества претендует на мудрость и положительно угнетает своей скукой М. Моравская. О ней приходится упомянуть лишь на том основании, что книгу военных стихов поэтессы расхвалили (право же, без основания) некоторые критики»⁶⁶. Аналогичную оценку дал и близко общавшийся с О. М. в этот период Георгий Иванов, в обзоре «писания ‘военных’ стихов» упомянувший о «не слишком порадовавшей <...> военной лирике М. Моравской» и мотивировавший это таким образом: «То, что в небольшой дозе было на месте, и очаровывало даже в детских ее стихах, непоправимо губит военные. Сентиментальный тон, жеманно невыразительный язык и развинченный стих – суть качества, характерные для стихов поэтессы». Прочитав стихотворение «Неустанно мне снится война...», рецензент высказался еще резче: «Кому нужны эти ‘всхлипывания’ – неизвестно. На наш вкус, это не трогательно и не жалостливо, а просто скучно»⁶⁷. Два номера спустя Иванов еще раз лаконично отзовется о стихотворениях Моравской о войне: «Неврастенический стих сочетается здесь с бессодержательностью; характерна для них склонность к изображению разных надрывных эпизодов и морализованию, довольно слащавому, на этот предмет»⁶⁸.

Одновременно с этим, «Моравская активно работала в литературе для детей; печаталась в журналах ‘Тропинка’, ‘Галчонок’, выпустила сборник рассказов ‘Цветы в подвале’ (СПб., 1914). О сборнике ‘Апельсинные корки’ (СПб., 1914) писала А. И. Тинякову: ‘это мои любимые стихи’ (РНБ, ф. 774, № 30)⁶⁹», – и именно эту публикацию некоторые современники воспринимали иначе, чем другие художественные опыты поэтессы: «Из трех книжек М. Моравской – самой значительной оказалась нам как раз претендующая на незначительность и легкость ‘Апельсинные корки’. Слон, <...> чахоточные обезьянки, тоскующие по югу, разные банановые и апельсинные страны выдуманы не без тонкости, и рассказано обо всем этом со вкусом. А главное – это действительно детские стихи, без серьезничанья, но и без надоедливой сюсюканья. ‘Апельсинные корки’ очень милая и приятная книга, в ней поэтесса овладела и языком и темами»⁷⁰. В начале 1910-х годов Корней Чуковский называл Моравскую в числе лучших писателей России для детей⁷¹. И в данном отношении ее художественная практика близка поэтическим опытам Мандельштама в сфере детской литературы, к которой он обратился в начале второй половины 1920-х годов.

Естественным продолжением всего сказанного выше стали бы попытки обнаружения «мандельштамовских следов» в эмигрантском периоде жизни Марии Моравской, но такая задача для автора настоящей публикации является невыполнимой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Рогов О.* Шевелящиеся виноградины // *Волга*. 2010. № 5–6. С. 248.
2. См.: *Мандельштамовская энциклопедия*. В 2 т. / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. – М.: Политическая энциклопедия, 2017. 574 с.
3. Попытки осуществить это начинание, более чем актуальное и требующее не описательного «научно-популярного» подхода, а конкретного фактографического и аналитического рассмотрения, были предприняты автором этих строк в ряде публикаций: Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. I // *Toronto Slavic Quarterly*. 2016. № 55. Сс. 74–86 (URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/55/index.shtml>); Из «теневого окружения» Мандельштама: Юрий Терапиано // *Кормановские чтения*. Вып. 15: Статьи и материалы межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель 2016). – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2016; Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский // *Новый Журнал*. 2017. Кн. 288; «Тех европейнок нежных...»: Осип Мандельштам и Ольга Гильдебрандт // *Вопросы литературы*. 2018. Сентябрь–октябрь; Из «теневого окружения» Мандельштама: Иван Аксенов (Статья первая) // (в печати) и др.; см. также выполненные в соавторстве с Леонидом Видгофом работы «‘Наш общий любимец’. Художник Лев Бруни» и «‘Вот это действительно стихи!’ Художник Александр Осмеркин» в издании: *Видгоф Л.* Мандельштам и... Архивные материалы. Статьи для энциклопедии. Работы о стихах и прозе Мандельштама. – М.: Новый хронограф, 2018.
4. *Тименчик Р. Д.* Моравская М.М.Ф.Л. // *Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь*. Т. 4. – М–П / Гл. ред. П. А. Николаев. – М.: Большая Российская энциклопедия; ФИАНИТ, 1999. Сс. 124–125. Помимо данной энциклопедической статьи можно назвать еще только одно, очевидно, на сегодняшний день изложение биографии и творческого пути этой современницы Мандельштама, содержащееся в хронологически первой и едва ли не единственной «литературоведческой» публикации на эту тему: *Понов В. В.* Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета) // *Русская литература*. 1998. № 3. Сс. 181–217. Неслучайно она открывается воспроизведением точки зрения журналиста и критика Ал. Ожигова (Николая Ашешова), высказанной «в момент творческого пика Марии Моравской» (*Журнал журналов*. 1915. № 24. С. 10): «Будущий ее биограф, историк и исследователь с кропотливым трудом будет разыскивать в ее произведениях крупинки личных отражений, чтобы восстановить по ним, как восстанавливал Кювье по кости целый

организм, весь облик поэтессы наших загадочных дней». Там же (С. 182) указан и обширно процитирован главный источник сведений о жизненном пути поэтессы – «написанная ею в 1915 году автобиография, посланная С. А. Венгерову <...> в виде письма» (ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 6. Ед. хр. 2469).

5. У редакционной коллеги недавно изданной «Мандельштамовской энциклопедии» не нашло сочувственного отклика предложение о включении в нее лаконичной заметки о современнице поэта; см.: *Шиндин С.* «Печальную повесть сотворив...»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья первая: А–Д // *Toronto Slavic Quarterly*. 2018. № 63. С. 72, стб. 1.

6. *Попов В. В.* Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). Сс. 181–182.

7. На «теневой» характер взаимоотношений Мандельштама с Моравской косвенно указывают мемуары вдовы поэта, в которых имя поэтессы не появляется ни разу, что вероятнее всего можно объяснить только его отсутствием в адресованных ей мандельштамовских рассказах о 1910-х годах.

8. *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения / Изд. подгот. К. Азадовский. – М.: НЛЮ, 2008. Сс. 551–552.

9. См., напр.: *Шруба М.* Общество ревнителей художественного слова // *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. – М.: НЛЮ, 2004. С. 158.

10. Цит. по: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // *Russian Literature*. 1974. № 7/8. С. 31.

11. См.: Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой. – М.; Torino: Giulio Einaudi editori, 1996. С. 447.

12. Цит. по: *Чудакова М. О., Тоддес Е. А.* Наследие и путь Б. Эйхенбаума // *Эйхенбаум Б. М.* О литературе: Работы разных лет / Изд. подгот. Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. – М.: Советский писатель, 1987. С. 6.

13. Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). С. 13. Оформление цитаты – по источнику.

14. Цит. по: *Парнис А. Е., Тименчик Р. Д.* Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1983. – Л.: Наука, 1985. Сс. 180–181. Автором заметки, скрывшимся за говорящим псевдонимом «Цеховой поэт», был М. А. Долинов; см.: Акмеизм в критике: 1913–1917. С. 27); подробнее о нем говорится в публикации.: *Шиндин С.* «Печальную повесть сотворив...»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья первая: А–Д. Сс. 81–85.

15. *Тименчик Р. Д.* Комментарии // *Пяст Вл.* Встречи / Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. – М.: НЛЮ, 1997. С. 363; ср.: *Шруба М.* «Бродячая собака» // *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. – М.: НЛЮ, 2004. С. 32.

16. *Галахов Вас. [Гиппиус В.]* Цех поэтов // Жизнь (Одесса). 1918. № 5. С. 12; цит. по: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // *Russian Literature*. 1974. № 7/8. Сс. 34–35.

17. См.: *Шруба М.* Общество поэтов // *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. – М.: НЛЮ, 2004. С. 154.
18. См.: *Тименчик Р.* Комментарии. С. 346; программа воспроизведена по первой публикации: Письма Александра Блока / Вступ. ст. и примеч. С. М. Соловьева и др. – Л.: Колос, 1925. Сс. 212–213.
19. РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. Ед. хр. 119. Л. 85; цит. по: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 71.
20. См.: *Тименчик Р.* Комментарии // *Пяст Вл.* Встречи / Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. – М.: НЛЮ, 1997. С. 346; программа воспроизведена по первой публикации: Письма Александра Блока / Со вступ. ст. и примеч. С. М. Соловьева и др. – Л.: Колос, 1925. Сс. 212–213.
21. РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. Ед. хр. 119. Л. 69 об.; цит. по: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. Сс. 67–68.
22. Летопись литературных событий в России конца XIX – начала XX в. (1891 – октябрь 1917). Вып. 3: 1911 – октябрь 1917 / Под общ. ред. А. В. Лаврова. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. Сс. 414–415.
23. *Иванов Г.* Стихи в журналах, издательствах, альманахах, кружки в 1915 г. // Аполлон. 1916. № 1. С. 61, стб. 1.
24. Данный факт и, в частности, его соположенность с фигурой Ахматовой неоднократно был отмечен Романом Тименчиком: Музыка и музыканты на жизненном пути Ахматовой // *Кац Б., Тименчик Р.* Анна Ахматова и музыка: Исследовательские очерки. – Л.: Советский композитор, 1989. Сс. 46–49; К истории русского кабаре // *Русская развлекательная культура Серебряного века. 1908–1918.* – М.: Высшая школа экономики, 2017. С. 190.
25. От редакции // *Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики.* 1912. № 1. С. 4. Там же среди готовящихся к печати «цеховых» изданий соседствуют сборники «Раковина» Мандельштама и «Голубые лютики» Моравской; см.: *Чабан А.* Журнал «Гиперборей». Роспись содержания // *Озерная школа: Труды Пятой Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе.* – Поляны (Уусикирко) Ленинградской обл.[б. и.], 2009. С. 198. Еще до выхода журнала в свет Дмитрий Цензор, один из участников объединения, в лаконичной заметке с характерным названием «Цех поэтов» (Черное и белое. 1912. № 1. С. 11) сообщал: «В ближайшее время 'Цех Поэтов' выпускает несколько книжек стихотворений интереснейших своих членов: Сергея Городецкого, Н. Гумилева, Анны Ахматовой, Владимира Нарбута, Зенкевича, З. Моравской (sic!), Василия Гиппиуса и др.» (Акмеизм в критике: 1913–1917) / Сост. О. Лекманов, А. Чабан. – СПб.: Изд-во Тимофея Маркова, 2014. С. 27.
26. *Тименчик Р.* Музыка и музыканты на жизненном пути Ахматовой. С. 47. Речь идет о мемуарной публикации с говорящим за себя заглавием: *Маслов Г.* Победившая песенка // *Сибирская речь.* Омск. 1919. 18 мая.
27. *Сегал Д., Сегал (Рудник) Н.* К типологии русских литературных альманахов и сборников первой четверти XX века // От Кибирова до Пушкина: Сборник в

- честь 60-летия Н. А. Богомолова. – М.: НЛЮ, 2011 (URL: <http://pushkin-lit.ru/pushkin/articles/ot-kibirova-do-pushkina/segal-segal-k-tipologii.htm>).
28. Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности / 5-е изд., доп. Отв. ред. А. Е. Парнис. – М.: Советский писатель, 1985. С. 101.
29. Цит. по: *Кацис Л. Ф.* Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи / 2-е изд., доп. – М.: РГГУ, 2004. С. 126.
30. См.: *Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама*. С. 87.
31. *Козьменко М. В.* Полузабытый «Голос жизни» – «пораженческий» еженедельник // *Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы*. – М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 476, 479. Там же представлена полная роспись содержания данного издания; все номера журнала размещены на сайте ИМЛИ РАН «Первая мировая война и русская литература. URL: <http://ruslitwvi.ru/source/periodicals/golos>
32. См.: *Богомолов Н. А.* Неосуществленный цикл О. Э. Мандельштама и журнальная полемика 1915 г. // *Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны...* – С. 244.
33. *Иванов Г.* Стихи в журналах, издательства, альманахи, кружки в 1915 г. С. 60, стб. 2. Негативная тональность данного отзыва не свидетельствует о небрежении автора критикуемым изданием, где он публиковался (*Голос жизни: Литературно-политический иллюстрированный еженедельник*. 1914. № 3. 20 окт. С. 6; № 4. 4 нояб. С. 13; № 8. 30 нояб. Сс. 14-15; 1915. № 10. 4 марта. С. 12). Факт соседства Георгия Иванова и Мандельштама в этом издании остался неотмеченным в монографической описательной публикации: *Арьев А. Ю.* Иванов Г. В. // *Мандельштамовская энциклопедия*. В 2 т. Т. 1. Об особом Ивановском отношении к журнальным публикациям для начинающего поэта см.: *Шиндин С.* Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский // «Новый Журнал». 2017. Кн. 288. Сс. 268-269. Учитывая данное обстоятельство, кажется вполне достоверным предположение о том, что близко общавшийся в этот период с Мандельштамом enfant terrible Серебряного века стал для него Вергилием по периферийной петроградской периодике периода Первой мировой войны.
34. *Богомолов Н. А.* Неосуществленный цикл О. Э. Мандельштама и журнальная полемика 1915 г. // *Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны...* Сс. 251, 244. – К сожалению, данный факт творческой биографии поэта не нашел своего отражения ни в опытах создания его трудов и дней (см.: *Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама*. – С. 78), ни в посвященном ему первом и пока единственном энциклопедическом издании.
35. *Оксенов И.* Маяковский в дореволюционной литературе // Ленинград. 1931. № 4. С. 96; цит. по: *Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама*. – С. 95.
36. *Оксенов И.* Писатели – о себе. Дим. Крачковский. Иннокентий Оксенов // Новая русская книга [Берлин]. 1922. № 10. С. 41, стб. 1. В более широком контексте об объединении см.: *Шруба М.* «Нового журнала для всех» кружок //

Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. – М.: НЛО, 2004. Сс. 137–138.

37. *Иванов Г.* Стихи в журналах, издательства, альманахи, кружки в 1915 г. С. 60, стб. 1. Сдержанно-негативное отношение Георгия Иванова к рецензируемому изданию могло иметь и личные основания: в 1915 году в № 9 там был опубликован отклик Александра Тинякова на сборник Ивановских стихотворений «Памятник славы» (Пг.: Лукоморье, 1915), открывающийся иронической афористической «дефиницией»: «Литературное дарование Г. Иванова представляется нам столь же несомненным, как и скромные размеры этого дарования» (*Тиняков А.* [рец.] *Георгий Иванов.* «Памятник славы». Стихотворения. – Петроград, изд. «Лукоморье», с. 79. Ц. 1 р. // Новый журнал для всех. № 9. 1915. С. 59, стб. 1). Четырежды повторяющееся в этой лаконичной рецензии употребление инициала автора, возможно, содержит довольно прозрачный намек на обращение к нему как к «господину», с соответствующим эмоционально и семантически сниженным ореолом подобного именованья в художественно-артистической среде начала XX века, что позволяет отнести его к той же экспрессивно-оценочной группе, к которой принадлежали известные «фармацевты». – «Акмеистический» фрагмент истории журнала, связанный с периодом руководства им Владимиром Нарбутом, отражен в беллетризованной мемуарной прозе поэта. См.: *Иванов Г.* Петербургские зимы // *Иванов Г. В.* Собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика / Сост., подгот. текста Е. В. Витковского, В. П. Крейда, коммент. В. П. Крейда, Г. И. Мосешвили. – М.: Согласие, 1993. Сс. 114–116.

38. *Оксенов И.* Маяковский в дореволюционной литературе. С. 96; цит. по: *Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама.* – С. 96.

39. См.: *Нерлер П. М.* Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама // *Мандельштамовская энциклопедия.* В 2 тт. Т. 2. С. 13, стб. 1.

40. *Тименчик Р. Д.* Моравская М.М.Ф.Л. – С. 125, стб. 3.

41. Цит. по: *Тименчик Р. Д.* Комментарии. С. 343. Под определенным углом зрения поэтические искания Моравской действительно могли восприниматься современниками в качестве новаторских, как, например, стихотворение «В дни перелета» (Гиперборей. 1912. № 3 (декабрь). С. 18): «Говорят, наши предки кочевали / Осенью и весной. / От того так влекут нас дали, / Так волнуется ветер и прибой – / Осенью и весной. / <...> И я думаю в томительной печали, / Поезда провожая на вокзале / И на муфте поглаживая мех, – / От сырости запахший зверем мех, – / Что отцы мои наверно кочевали / Дольше всех». – Как ни странно, отрецензированное Пястом издание, как и другие литературные опыты Моравской, не нашло отражения в «Письмах о русской поэзии» Николая Гумилева. Вместе с тем, акцентирование рецензентом особого внимания автора к стихотворному ритму не может не вызвать в памяти то, какое значение придавалось формальной организации поэтических текстов в наборе структурно-семантических координат художественной практики «Цеха

поэтов» и акмеизма, где метру и ритму стиха уделялось особое внимание. См.: Шиндин С. Категория ритма в художественном мировоззрении Мандельштама // «Сохрани мою речь...». Вып. 5. Ч. 2. – М.: РГТУ, 2011. Сс. 291–302, 323–330. Более того, в этом же номере «Гиперборея» опубликованы стихи О.М. и его рецензия «И. Эренбург. Одуванчики. Париж 1912. Ц. 75 к.» (с. 30), в которой, в частности, говорится о том, что автор, выступающий в роли поэта, «пользуется своеобразным ‘тютчевским’ приемом, вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритмически суровый ямб» (1, 181). Все цитаты из произведений Мандельштама даны с указанием в тексте тома и страницы по изданию: *Мандельштам О.* Собрание сочинений: В 4 тт. Т. 1: Стихи и проза. 1906–1921 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993; Т. 2: Стихи и проза. 1921–1929 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993; Т. 3: Стихи и проза. 1930–1937 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. – Одно из самых глубоких определений семантической, содержательной природы стихотворного ритма и ее смыслообразующих функций принадлежит Ефиму Эткинду. См.: *Эткинд Е.* Форма как содержание (Избранные статьи). – Würzburg: Jal-Verlag, 1977. С. 27. В качестве иллюстрации актуальности данного явления для поэтики русского модернизма можно привести ранний текст Валерия Брюсова «Есть что-то позорное в мощи природы...» (1896), в котором «ритмическая структура стихотворения <...> и его семантическая структура (тема, смысл) не автономны, а определенным образом соотносятся. Можно сказать и по-другому: ритмика стихотворения мотивирована (обусловлена) его темой (или – наоборот?)». Здесь же может быть назван и случай, когда в стихотворении Иннокентия Анненского «Вербная неделя» (1907) «тема абсолютной гибели, разрушения, дисгармонии находит соответствие в ритмической структуре текста: текст в финале тоже разрушается, утрачивает ритмическую упорядоченность. Смыслом предопределяется (диктуется) ритмическая структура стихотворения» (*Доценко С. Н.* К проблеме взаимосвязи ритма и смысла: «Отчет» об одном стихотворении В. Брюсова // *Toronto Slavic Quarterly*. 2005. № 14. URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/14/dotsenko14.shtml>). В этой связи нельзя не вспомнить и название первого поэтического сборника Константина Вагинова – «Опыты соединения слов посредством ритма» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931), причем, как отмечал Владимир Топоров, глубокое понимание специфики семантических трансформаций, происходящих со словом внутри стихотворной строки вследствие ее ритмической организации, являлось общим для Вагинова и Мандельштама: утверждаемый первым в стихах и прозе принцип «соединения слов» близок теории «знакомства слов» второго; см.: *Топоров В. Н.* Стихи И. Игнатова. Представление читателю // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 857: Блоковский сборник. Вып. IX. 1989. С. 41. О поэтическом диалоге Мандельштам и его младшего современника см. публикацию автора

этих строк: Из «теневого окружения» Мандельштама: Константин Вагинов (Статья первая) // Кормановские чтения. Вып. 15.

42. *Иванов Г.* О новых стихах // Аполлон. 1915. № 3. С. 53.

43. Запись воспроизведена в публикации: *Бекетова М. А.* А. Блок и его мать: Воспоминания и заметки. – Л.; М.: Петроград, 1925. С. 171; цит. по: *Тименчик Р. Д.* Моравская М.М.Ф.Л. – С. 125, стб. 2.

44. *Лундберг Е.* [рец.] Цветаева А. Королевские размышления. – М., 1915 // День. 1915. 8 авг.; цит. по: *Тименчик Р.* Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е годы / 2-е изд., испр. и расш. – М.: Мосты культуры / Гешарим, 2014. Т. II: Сноски и выноски. С. 439. Этому же автору принадлежит исключительно негативный отклик и на другой сборник стихов Моравской – «Золушка думает» (Пг.: «Прометей» Н. Н. Михалкова, 1915); см.: *Лундберг Е.* О поэтической нищете и нищей поэзии // Голос. 1915. № 32.

45. *Лекманов О. А.* Акмеизм в зеркале критики // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. С. 22. Там же в примечании к опубликованной статье (Сс. 426–427) приведен отзыв на нее одного из современников: «За последние годы мы были свидетелями неимоверно быстрого возникновения поэтических школ: одна сменяла другую (вспомним акмеизм, футуризм и пр.). Статья г-жи Моравской является в некоторой степени тоже маленьким манифестом (или, по крайней мере, носит черты его) новой поэтической школы» (*Аишукин Н.* О волнующей поэзии // Новый журнал для всех. 1915. № 9. С. 59). «Акмеистическая» составляющая текста была рассмотрена в публикации: *Лекманов О. А.* Акмеизм после акмеизма // *Лекманов О. А.* Книга об акмеизме и другие работы. – Томск: Водолей, 2000. Сс. 130–134.

46. *Моравская М.* Волнующая поэзия // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. Сс. 423, 425.

47. *Тименчик Р. Д.* К символике телефона в русской поэзии // Ученые записки Тартуского государственного университета. 1988. Вып. 831. Труды по знаковым системам. Вып. XXII: Зеркало: Семиотика зеркальности. С. 162.

48. *Моравская М.* Волнующая поэзия. С. 426.

49. *Лекманов О. А.* Акмеизм после акмеизма. С. 642, прим. 17.

50. Редакция процитированного фрагмента в последнем полном собрании произведений Мандельштама отличается пунктуационным оформлением; в частности, принципиальное в данном случае отсутствие запятой в заключительной фразе этого пассажа кажется нам логически ничем не мотивированным: «Независимо от различных праздных толкований поэма ‘Двенадцать’ бессмертна как фольклор» (*Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Том 2: Проза / Сост., подгот. текста, коммент. А. Г. Меца, коммент. Ф. Лоэста, А. А. Добрицина, П. М. Нерлера, Л. Г. Степановой, Г. А. Левинтона. – М.: Прогресс-Плеяда, 2010. С. 91). Вряд ли Мандельштам выходил

за границы «типологического» уподобления художественного и фольклорного текстов и придавал труднообъяснимый статус последнего поэме Блока.

51. Связь художественной манеры Кокорина с фольклорным началом отчетливо проявилась в более ранних его произведениях – сборниках «Песни и думы» (СПб.: Типография И. Флейтмана, 1909) и «Фантастическая явь» (СПб.: Типография И. Флейтмана, 1910), содержащих, в частности, формально-смысловые параллели с русской народной песней, а также в замеченной Брюсовым книге стихов «Песни девушек» (СПб.: Типография «Улей», 1912), в которую включены «стилизации под обрядовую и календарную поэзию» (*Никольская Т. Л.* Кокорин П. // *Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь.* Т. 3: К–М / Гл. ред. П. А. Николаев. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 17, стб. 1), что отмечалось и рецензентами этого издания.

52. Несколько подробнее о корреляции литературной и фольклорно-мифологической традиций в художественном мировоззрении Мандельштама см. напр.: *Шиндин С. Г.* Фольклор // *Мандельштамовская энциклопедия: В 2 тт.* Т. 1. С. 500.

53. *Моравская М.* Волнующая поэзия. С. 426.

54. *Лекманов О. А.* Акмеизм после акмеизма // *Лекманов О. А.* Книга об акмеизме и другие работы. – Томск: Водолей, 2000. С. 131.

55. *Моравская М.* Волнующая поэзия. – Сс. 424–425.

56. См.: *Ронен О.* Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // *Поэтика Осипа Мандельштама.* – СПб.: Гиперион, 2002. Сс. 16–18.

57. См.: *Мец А. Г.* «Камень» (к творческой истории книги) // *Мандельштам О.* Камень / Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. – Л.: Наука, 1990. Сс. 279–280. На эту тему: *Васильева А. А.* О роли заглавия в ассоциативном развертывании текста (На материале сборника «Камень» О. Мандельштама) // *Художественный текст и языковая личность: проблемы изучения и обучения: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Томского государственного педагогического университета (11–12 окт. 2001 г.).* – Томск: ТГПУ, 2001. Сс. 50–56.

58. Как это ни парадоксально, данный образ и его самые разнообразные семантические коннотации с другими содержательными элементами художественной модели мира Мандельштама, кажется, еще не были предметом самостоятельного рассмотрения исследователями творчества поэта.

59. Невозможно безоговорочно принять предложенную современным исследователем попытку интерпретации этого текста в социально-исторической и, в известном смысле, политической перспективе: «Есть основания полагать, что это элегически-печальное стихотворение содержит отклик на смерть Гершуни и воплощает момент перелома, осознания того, что еще совсем недавнее настоящее безвозвратно ушло в прошлое, момент прощания с этим прошлым» (*Фролов Д. В.* О ранних стихах Осипа Мандельштама. – М.: Языки славянских культур, 2009. С. 42; далее (Сс. 48–50) в публикации содержится

попытка автора доказать данное утверждение, кажущееся слишком одно-значным).

60. При этом данное стихотворение, как «Сегодня дурной день...» (оба – 1911) были опубликованы в упоминавшемся выше в связи с «источниками» статьи Моравской первом номере журнала «Гиперборей», вышедшем в свет в октябре 1912 года.

61. Впервые текст с посвящением Ахматовой был опубликован именно в «цеховом» периодическом издании: «Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики». 1913. № 9–10 (ноябрь–декабрь). С. 30; по сообщению адресата, «стихотворение написано в начале января 1914 г. (№ 9–10 «Гиперборей» вышел в феврале 1914 г.)» (*Харджиев Н. И.* Примечания // *Мандельштам О.* Стихотворения / 2-е изд. Сост., подгот. текста и примеч. Н. И. Харджиева. – Л.: Советский писатель, 1978. С. 264.

62. Своего рода опосредующим семантическим проводником образа «души» выступает мотив «дыхания», исключительно актуальный в художественной модели мира Мандельштама.

63. Сказанное относится к содержащейся в стихотворении ноября 1920 года «Когда Психея-жизнь спускается к теням...» характеристике теней (то есть душ умерших), встречающих Психею (то есть душу) в загробном мире: «Навстречу беженке спешит толпа теней, / Товарку новую встречая причитаньем, / И руки слабые ломают перед ней / С недоумением и робким упованьем. // Кто держит зеркальце, кто баночку духов» (1, 147).

64. Цит. по: Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. С. 60.

65. Речь идет о так называемой «молодой редакции 'Аполлона'», участника-ми которой были оба поэта; см.: *Шруба М.* «Аполлона» кружок (молодая редакция «Аполлона») // *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. – М.: НЛО, 2004. С. 23.

66. *Бернер Н.* Война и поэзия // Песни Жатвы. Тетрадь первая. – М.: Жатва, 1915. С. 27; цит. по: *Устинов А.* Две жизни Николая Бернера // Лица: Биографический альманах. 9. – СПб.: Феникс, 2002. С. 22. Очевидно, под «военными стихами» подразумевается поэтический сборник Моравской «Стихи о войне» (Пг.: Книгоиздание М. И. Семенова, 1914).

67. *Иванов Г.* Военные стихи // Аполлон. 1915. № 1. С. 58. Сказанное вступает в своеобразный диалог с опубликованным в том же номере (С. 3) стихотворением Гумилева «Война» («Как собака на цепи тяжелой...»), возможно, позднее нашедшем отражение в «военно-поэтической» топике О. М.; см.: *Шиндин С. Г.* Мандельштам и Гумилев: о некоторых аспектах темы // Н. Гумилев и русский Парнас: Материалы научной конференции. – СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 1992.

68. *Иванов Г.* О новых стихах. – С. 53.

69. *Тименчик Р. Д.* Моравская М. М. Ф. Л. – С. 125, стб. 3.

70. Иванов Г. О новых стихах. Сс. 52-53. Вероятно, переиздание книги в 1921 г. в Берлине стало единственной «монографической» публикацией Моравской в эмиграции; ср.: Библиография русской зарубежной литературы: 1918–1968 / Сост. Л. А. Фостер. Т. 2: Л–Я. – Boston, Mass.: G.K. Hall, 1970. С. 784; Штейн Э. Поэзия рассеяния: 1920–1977. – Ashford, Conn.: Ладья, 1978. С. 91.

71. Позднее он вспоминал: «Я давно носился с соблазнительным замыслом – привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной ‘Книги для маленьких’, в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1912 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием ‘Жар-птица’, пригласив для участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую, а также многих первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарною дрянью» (Чуковский К. Горький // Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 тт. Т. 5: Современники. Приложение / Сост., коммент. Е. Чуковской / 2-е изд., эл., испр. – М.: Агентство ФТМ, 2012. Сс. 70-71. «Книга вышла в 1912 г. в издательстве ‘Шиповник’ и украшена рисунками С. Ю. Судейкина, С. В. Чехонина, М. В. Добужинского, А. Радакова и В. П. Белкина. Кроме авторов, перечисленных Чуковским, в сборник вошли и его собственные первые работы для детей» (Чуковская Е. Комментарии // Чуковский К. И. Собрание сочинений. В 15 тт. Т. 11: Дневник 1901–1921 / Коммент. Е. Чуковской. – Сс. 531-532). Позднее детские стихи Моравской были включены в составленный Бенуа и Чуковским сборник «Елка: Книжка для маленьких детей» (Пг.: Парус, 1917). См.: Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1: Москва и Петроград. 1917–1920 гг. / Отв. ред. А. Ю. Галушкин. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 81.

От редакции. Мария Моравская прожила в США почти половину жизни. В 1920 году ее имя впервые упоминается в переписи населения по адресу West Washington Square, Manhattan, профессия – *writer*. Спустя десять лет Моравская вышла замуж второй раз за писателя Эдуарда Кафлана (Edward M. «Ted» Coughlan). Союз оказался весьма творческим; супруги открыли в Майами, шт. Флорида, куда переехали в 1932 г., собственное издательство Fiction Farm. В 1930-40 гг. Моравская-Кафлан активно печатается в сборниках и журналах, напр.: *Black Book Detective*, *Detective Novels Magazine*, *Popular Magazine*, *Short Stories*, *Thrilling Detective*, *Thrilling Mystery* и т. д., а также издает собственные книги (наиболее известны *The Bird of Fire: A Tale of Russia in Revolution*. 1927; *Winglets, Poems*. 1938). Мария Моравская скончалась от кровоизлияния в мозг 6 июня 1947 года в Майами. (См. подробнее на англ.: <https://tellersofweirdtales.blogspot.com/2012/01/maria-moravsky-1889-1947.html>)

ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

Павел Глушаков

Вокруг одного письма Василия Шукшина

Да, я б хотел и смеяться, и ненавидеть, и так и делаю.
Но ведь и сужу-то я судом высоким, поднебесным – так называемый простой, средний, нормальный положительный человек меня не устраивает. Тошно. Скучно¹.

Василий Шукшин

В своих воспоминаниях о Шукшине Виктор Некрасов говорит о сочетании в натуре актера, будущего режиссера и начинающего еще тогда писателя напористости и застенчивой искренности. «Что-то его мучило и в то же время радовало, и чего-то ему не хватало, и чего-то не находил»².

Контрастные эти сочетания (правда, осознанные не в индивидуально-психологическом плане только) позднее оформились в известную шукшинскую автохарактеристику: «Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю – упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) – очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои ‘плюсы’ (захотелось вдруг написать – флюсы). От сравнений, от всяческих ‘оттуда – сюда’ и ‘отсюда – туда’ невольно приходят мысли не только о ‘деревне’ и о ‘городе’ – о России»³.

Драматичное положение ухода, «отрыва», потери связи с народом, частью которого еще недавно себя осознавал, – эти комплексы были чрезвычайно значимы для Шукшина. Промежуточное профессиональное положение (актер – режиссер – писатель), динамическая социальная роль (крестьянин – интеллигент в первом поколении) были для Шукшина болезненным поводом для личной и творческой рефлексии, которая для нелюдимого и застенчивого художника («Я воинственно берегу свою нежность»⁴) выливалась в традиционную русскую хворь⁵. В воспоминаниях Некрасова эти эпизоды показаны весьма правдиво, тем более, что и сам их автор не минул этой болезни.

Во время одной из хмельных встреч произошла ссора Некрасова

и Шукшина, причины которой так и остались неясными («Глупая, ненужная ссора. Не хочется и вспоминать о ней»⁶). Ссора эта закончилась позднее полным примирением. Спустя два года Некрасов отправляет Шукшину теплое письмо: «Вася! С удовольствием прочел твои рассказы (Имеется в виду подборка трех текстов: Сельские жители: Рассказы // Октябрь. 1962. № 4. – П. Г.). Ей-богу! И рад об этом тебе сказать. Хвалить всегда приятно. К сожалению, это нечасто случается. Рассказ про бабушку и внука («Сельские жители». – П. Г.) совсем хорош. Два другие похуже (с концовочками!) – но, в общем, молодец. К тому же, надеюсь, лучшие рассказы журнал не напечатал (Некрасов неприязненно относился к журналу «Октябрь». – П. Г.) и что они у тебя где-то в запасе. Писать ты можешь, мне это и раньше было ясно, важно только, чтоб кончились всяческие твои завихрения. Хотелось бы в это верить. Ну ‘хай тобі щастя’, як кажуть у нас на Україні! – Будь! – В. Некрасов. – 14. VI. 62»⁷. А публикуемое ниже письмо Шукшина стало знаком этого примирения.

Письмо в высшей степени откровенное, эмоциональное. Это – крик ранимого и, в сущности, беззащитного человека. Шукшин пишет не только и не столько о бытовой стороне произошедшего (этот аспект сравнительно легко можно восстановить по контексту подобных хмельных излияний, описанных Некрасовым в тех же воспоминаниях), но говорит об экзистенциальном опустошении, выраженном мотивом гибели (поданной в регистрах мифопоэтической образности). «Сложить... голову» соотносится с текстом шукшинского стихотворения «Это было давно...» с повторяющимся рефреном: «Голова ты моя, / чердак славянский, / С богатырских плеч / покатилась в анютины глазки»⁸.

Это еще и письмо мужественного человека, нашедшего силы для искренне-горького анализа своей жизни. Мотив покаяния, часто слезного, пронизывает повесть «Калина красная», там же находится и экспрессивная характеристика Егора Прокудина, которая определенно соотносима с риторической интенцией публикуемого письма («Не могу пока – сердце лопнет. Не могу. Понимаешь? <...> Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю»⁹).

В шукшинском словоупотреблении слово «гад» амбивалентно: это и бранная характеристика врага («гад зубастый» в «Беседах при ясной луне» или «гад сумеречный» в «Любавиных»), но это и ироничное и даже несколько нежное присловье – «гады милые» («Любавины»). Эта зооморфная лексема балансирует на грани высоких библейских регистров и одновременно низкой знаковости блатного жаргона. Такие подвижные процессы были характерны для поэтики Шукшина.

В письме значим мотив молчания, который также многозначен. Это, вероятно, традиционное для советского общества конформистское «помалкивание» (по слову А. Галича, «Промолчи – попадешь в первачи!»). Такому молчанию Шукшин ответил опубликованной только после смерти рабочей записью: «Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду... И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют»¹⁰. Однако в поздней прозе Шукшина этот мотив усложняется, становится знаком отхода от суетливой и неплодотворной жизни-борьбы за блага общества, сосредоточенности на духовной составляющей.

Письмо публикуется по оригиналу, хранящемуся в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), Ф. 1505, № 1056, л. 1, с разрешения Е. В. Шукшиной.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Шукшин В.* Собрание сочинений. В 5 тт. – М.: Panprint publishers, 1996. Т. 5. – С. 224.
2. *Некрасов В.* Записки зеваки. – М.: Вагриус, 2003. – С. 295.
3. *Шукшин В. М.* Нравственность есть Правда. – М.: Сов. Россия, 1979. – С. 60.
4. *Шукшин В.* Собрание сочинений. Т. 5. – С. 221.
5. Как ни парадоксально звучит, это было одной из форм (пусть и маргинальной) проявления гражданской солидарности с тем народом, который привычно именовался «простым»:

«В России пьют, потому что так веками заведено, говорят люди, верящие в силу традиций. В России пьют с горя, говорят ненавистники советской власти. В России пьют, потому что только выпивши человек чувствует, что ему все нипочем, говорят люди по натуре трусливые.

Кто прав? Все! А лучше всех подытожил эту неразрешимую проблему один старик, с которым меня свело знаменитое наше ‘на троих’ в одной из московских ‘деревяшек’ (тогда, в 50-х годах, не было еще этих отвратительных, у всех на виду, ‘стекляшек’). ‘Эх, сынок, сынок, – вздохнул он, по-отечески глядя на меня. – Душа просит, потому и пьем...’

<...> ...само всенародное пьянство – лучшее средство затуманить мозги. Ясный, трезвый мозг – вот чего больше всего в жизни бояться те, кто пытается из 250-миллионного народа сделать народ роботов. И вот тут-то они, руководители наши, где-то смыкаются с этим самым народом, который роботом быть отказывается, но к трезвому, непьющему человеку всегда относится с подозрением. Верно сказал Вася Шукшин: ну как я к ним трезвый подсяду, сразу за стукача примут...» (*Некрасов В.* Записки зеваки. – Сс. 326-327). Ср. с развернутым эпизодом:

«Последний раз по-настоящему мы виделись не помню уже в каком году. Сидели в ‘Марсе’ на улице Горького, и я пил коньяк, а он кофе. Он был в зените своей славы. Но оставался таким же, для меня во всяком случае. <...> Застенчивый Вася не стал ждать меня в редакции – придут тут всякие, начнутся разговоры, – прохаживался у подъезда, чуть в сторонке. Выглядел плохо.

Потом за столиком в ‘Марсе’ говорил:

– Ты поймешь меня, Платоныч, не можешь не понять. Пить не пью, а веселее не стал... Ну почему русские пьют, почему?

– Потому что вкусная она, – попытался я сострить.

Он даже не улынулся.

– Вот бросил, Платоныч, пить и что-то отрезал я в себе. Точно руку или ногу. Лишился чего-то. Даже не чего-то, а точно знаю чего. Людей лишился, своих людей. Общества, если хочешь. Ну, есть у меня жена, хорошая, люблю ее. И детей люблю. По-настоящему люблю. А вот поговорить... Не в ЦДЛ же, не в ВТО... Бывало, зайдешь в кабак, нет, не в этот, а в простую забегаловку, рыгаловку обычную, гадюшник, подсядешь к столику... И такое тебе рассказжут, такое разрисуют... Да ты пей, Платоныч, не стесняйся, я при деньгах, а я свой кофеек, по-интеллигентному, отпил уже свое...

Он прихлебывал кофе и курил сигарету за сигаретой.

– И лишен я теперь этого. Лишен теперь того самого общества, не профессор там всяких и лауреатов – ты не обижайся, ты не лауреат, – а тех самых, с кем у меня общий язык, Ванек и Петек, калымщиков, не подсядешь же к ним трезвый, за стукача примут. А с ними мне просто и ясно... А Сергей Аполлинариевич – грех мне на него роптать, многим я ему обязан, – да разве мне интересно с ним выпить? Да ну их всех на фиг, всех этих киношников знатных, обрыдли. С одним Генкой Шпаликовым только и можно, а ему тоже нельзя, видал, как распух?» (*Некрасов В. Записки зеваки. – Сс. 298-299*).

Именно так, не в личном, а в общественном плане понимал подобную проблему и Шукшин: «‘Я со своей драмой питья – это ответ: нужна ли была коллективизация? Я – ВЫРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА’» (*Шукшин В. Собрание сочинений. Т. 5. – С. 231*).

6. *Некрасов В. Записки зеваки. – С. 296.*

7. Архив В. П. Некрасова, публикуется впервые.

8. Об этом мотиве см.: *Глушаков П. С. Шукшин и другие: статьи, материалы, комментарии. – СПб.: Росток, 2018. – С. 101-141.*

9. *Шукшин В. Собрание сочинений. В 5 тт. – М.: Panprint publishers, 1996. Т. 4. – С. 219.*

10. *Шукшин В. Собрание сочинений. Т. 5. – С. 230.*

Письмо В. М. Шукшина к В. П. Некрасову

29 марта 1960 г.

Платоныч!

Мне сейчас тяжело. И завтра будет тяжело. Я боюсь этого. Кажется: остался совсем один, и все люди молчат со мной, и кто-то меня проклял. И хоть ты что делай – хоть кричи, хоть бейся головой об дорогу – они все молчат.

Не надо обо мне думать, что я самый последний гад. Мне же трудно будет. Без хороших людей трудно, я знаю это. Задохнуться можно.

А говорил я – бред. Один, сам с собой, я не так думаю. Поверьте мне. Сам не знаю, почему так получается. Сложить бы уж где-нибудь дурацкую голову свою, потому что мучительно так жить. Стыдно, аж глаза слепнут. Только начнешь думать, что поумнел малость, только поднимаешься – опять в какой-нибудь позорной яме¹. И больно, и непоправимо².

Простите меня, Платоныч. И мама³ Ваша пусть простит. И Сима⁴ и его жена. И тот человек из газеты – тоже. Мне легче будет.

Это ведь хорошо, что вы есть на свете. Нужно, чтобы вы были, лучше.

Шушкин

1. См. рабочую запись: «Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл» (*Шушкин В.* Собрание сочинений. Т. 5. – С. 222).

2. Синтаксическая конструкция этой шукшинской сентенции оставляет ощущение литературности и напоминает мизантропические строки из Лермонтова: «И скучно и грустно, и некому руку подать / В минуту душевной невзгоды...»

3. Некрасова Зинаида Николаевна (1879–1970).

4. Возможно, Семен Львович Лунгин (1920–1996) – драматург, друг В. Некрасова.

БИБЛИОГРАФИЯ

Солженицынские тетради: Материалы и исследования. Альманах: Вып. 7. / Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына. – М.: «Русский путь». 2019. – 360 с.

«А однажды, хорошо помню, вдруг в большой тишине он спросил класс: – А кто еще сегодня верит в Бога? Поднимите руки. / Так горячим обдало изнутри – страшно! Да неожиданно как! Немного было и времени поднимать – не поднять, – полминуты? Класс затаил дыхание. Игорь Вознесенский, наискось впереди меня, залился багрянцем и поставил локоть на парту. А я горел (и был виден, конечно!) – а решиться не мог: ведь это скрывается, ведь это опасно всем, не мне одному, маму опять ‘вычистят’. Позорно не решился. Уже обрабатывала меня мясорубка.» Я думаю, многие, прочтя эти строки, сразу узнают автора по какой-то обжигающей исповедальности. Да, это слова Александра Исаевича Солженицына из его очерка «Школа».

Очерк этот, составной частью вошедший в воспоминания писателя о детстве, до сих пор вряд ли кто читал, кроме, наверное, Наталии Дмитриевны Солженицыной и ее ближайшего окружения. Он долго хранился в архиве писателя в Троице-Лыково, а только что увидел свет на страницах седьмого выпуска альманаха «Солженицынские тетради». Подготовила текст к печати сама Наталия Дмитриевна.

В предыдущих «Тетрадах», выходящих под руководством известного литературного критика Андрея Немзера, уже печаталась первая часть воспоминаний Солженицына «Детство», поразившая читателей какой-то старорусской, лесковской или шмелевской, интонацией в рассказе о первых годах жизни во взбаламученной революцией и войной России. В «Школе» он с потрясающим, своим поистине исполинским мастерством, показывает, как рушили новая жизнь и вводимая при ней система воспитания души ребят, калечили их. И, в то же время, восхищается старыми преподавателями, которые смогли сохранить лучшие человеческие и профессиональные качества в условиях, угрожавших реальной, совсем не придуманной опасностью.

Другая, также никогда не публиковавшаяся часть наследия великого писателя, представленная на страницах альманаха, – это его переписка с Генрихом Бёллем. Когда-то Генрих Бёлль, лауреат Нобелевской премии, был одним из самых известных в СССР европейских писателей и интеллектуалов 1960–1980-х гг. Вся Москва буквально ломилась на спектакль театра им. Моссовета «Глазами клоуна», по его роману. Хлебнувший Восточный фронт и американский плен, Бёлль, как и Александр Исаевич, принадлежал к числу людей, для которых правда и справедливость были превыше всего. Книги Бёлля выходили в СССР огромными тиражами. Он верил в социализм с человеческим лицом и, до поры до времени, был угоден вождям

Советской империи. Пока не начал открыто поддерживать А. И. Солженицына. Именно в доме у Генриха Бёлля Александр Исаевич и провел свою первую ночь на Западе после высылки из СССР в феврале 1974 года.

Переписка охватывает большой период: с 1968 по 1982 гг. Писатели затрагивают самые разные темы, спорят, но это – спор титанов. Обсуждали они социализм как политическую систему, причем Солженицын всегда отстаивал тезис о «нормальном» устройстве общества, – как всегда доказывал и то, что нельзя стричь под одну гребенку разные эпохи и цивилизации: «Вы дважды повторяете: ‘классическое русское антизападничество’». Генрих, это миф: мы к Западу всегда были чутки и впитывали, и восхищались (сегодня здесь я этих поводов нахожу меньше, но потому что произошло сильное старение цивилизации), однако многие из нас отстаивали право на особый путь, но это не антагонизм; для такого колосса, как Россия, естественно иметь такой путь». Писатели много размышляют и о национальном раскаянии, об исторической вине, – и Солженицын напоминает Бёллю: «... Через раскаяние найти примирение между германским и русским народами... Вы верно пишете – ‘неопределенное европейское прошлое’, но откуда ведете его? Включаете ли конец WWI, когда Германия в погоне за близкой целью – не проиграть войны – взорвала Россию чумной пробиркой – и получила через 28 лет собственный распад?» Словом, для всех, кому близки проблемы истории XX века, эти письма станут настоящим открытием.

Наверное, уже многие подзабыли, как в яростном остервенении против писателя советская власть не стеснялась просто врать. Так было, когда со всех трибун говорили, что, якобы, он не слишком был смел в годы Отечественной. Тем ценнее публикация теледокументалиста Алексея Денисова о создании фильма «Фронтовой дневник Александра Солженицына». Послужной список, приказы о награждении, характеристики, биографии, встречи с боевыми товарищами – всё это рисует портрет настоящего воина, капитана артиллерии в неполные 26 лет. К той же теме примыкает и уникальная фотогалерея снимков солдат и офицеров, которые, еще лейтенантом, Солженицын сделал для фронтовой стенгазеты.

Еще одна тема, занимающая значительное место на страницах новых «Тетрадей», – Нобелевская премия 1970 года и отказ писателя ехать получить ее в Швецию: он слишком хорошо понимал, что назад дороги не будет. Читателям предоставляется возможность познакомиться с материалами совершенно уникальными. Это воспоминания самого Александра Исаевича о декабрьских днях в Стокгольме 1974-го, когда он, наконец, получил награду; свидетельства шведского корреспондента С. Фредриксона о его общении с Александром Исаевичем в дни сообщения о получении премии и об их дальнейшей дружбе, когда швед тайно вывозил за границу произведения писателя.

В коротком обзоре трудно перечислить все материалы этой замеча-

тельной книги. Здесь и статья Галины Тюриной о влиянии на Солженицына путевых заметок «Остров Сахалин» А. Чехова; материалы о том, как в России и за границей проходило чествование 100-летия писателя, и размышления о постановках произведений Александра Исаевича на театральной сцене. Всё перечислить трудно. Лучше взять в руки седьмые «Солженицынские тетради».

Виктор Леонидов

Марк Уральский. Горький и евреи: по дневникам, переписке и воспоминаниям современников / Пред. С. Гардзонио, Е. Шуган. – СПб: Алетейя. 2018. – 584 с.; Марк Уральский. Бунин и евреи: по дневникам, переписке и воспоминаниям современников. / Пред. С. Гардзонио. – СПб: Алетейя. 2018. – 448 с.

Появление книги о Горьком и евреях не является чем-то необыкновенным. Те, кто знаком с жизнью и творчеством писателя, помнят, что в начале 1900-х годов издательство «Знание», в котором он играл ведущую роль, выпустило немало книг еврейских авторов и, в первую очередь, Семена Юшкевича – самого значительного и популярного русско-еврейского писателя эпохи Серебряного века. В 1916 г. Горький вместе с Леонидом Андреевым и Федором Сологубом выступил соредактором сборника «Щит», который был составлен из сочувственных и доброжелательных по отношению к еврейскому народу, его культуре и религии литературных и публицистических работ русских писателей, ученых и общественных деятелей. Одной из главных целей издания сборника «Щит» являлась борьба с антисемитскими настроениями в российском обществе, резко усилившимися из-за неудач русской армии на фронтах Первой мировой войны. После революции Исаак Бабель, ставший известным советским писателем, не раз вспоминал о поддержке, которую на начальном этапе его литературной деятельности оказал ему Горький.

Приведенные нами исторические факты – лишь малая, наиболее известная часть того обширного материала, который подпадает под определение «еврейская тема» в биографии Горького. Горячая симпатия писателя к евреям; постоянная поддержка им евреев в условиях политики государственного антисемитизма; его личные связи с представителями еврейского народа; интерес к иудаизму, еврейской культуре и сионизму – все эти, в целом не известные ранее широкому кругу читателей, аспекты проеврейской активности великого русского писателя получили наиболее полное на сегодняшний день освещение в книге Марка Уральского «Горький и евреи».

Однако тема «Бунин и евреи» является необычной. Современник, а до революции и друг Горького, Бунин также был одним из авторов сборника «Щит». Впрочем, его вклад в составление корпуса текстов этой книги

состоял только из нескольких стихотворений на библейские темы. В отличие от других авторов сборника Бунин не делал резких заявлений, осуждающих антисемитизм в русской среде, и не декларировал проеврейские симпатии. Да и в личном плане, живя в России, этот писатель не состоял ни в каких особенных или очень близких отношениях с евреями. Если Горький часто писал о евреях, особенно в публицистических работах, то Бунин, напротив, никогда не вводил еврейские персонажи в свои произведения. Однако – как об этом убедительно свидетельствуют документальные материалы, собранные в книге Марка Уральского, – в годы Гражданской войны в Одессе, где тогда жил писатель, в ближайшем окружении Бунина появилось много интеллектуалов еврейского происхождения. Окончательно круг близких друзей писателя, в котором заметную роль играли евреи, сформировался во Франции, где Бунин прожил почти половину жизни – тридцать три года. В течение всего этого времени Иван Бунин поддерживал самые тесные контакты практически со всеми известными в эмиграции литераторами, деятелями культуры и общественниками еврейского происхождения. Некоторые из них оказывали ему действенную помощь в ключевые моменты его жизни. В свою очередь, сам Бунин совершил героический поступок, которому до последнего времени не уделялось должное внимание: в годы Второй мировой войны он укрывал на своей вилле в Грассе русских евреев-эмигрантов из числа его друзей, которым угрожала депортация в нацистские лагеря смерти.

Книга «Бунин и евреи» состоит из пяти глав, предваряемых введением, в котором автор кратко описывает историю взаимоотношений Бунина с евреями, начиная с относительно редких контактов в дореволюционные годы до постоянного дружеского общения в эмиграции. Две начальные главы книги Уральского являются своего рода предисловием к основному исследованию. Первая глава содержит обзор роли евреев в русской литературе и журналистике в начале XX века. Бунин здесь – только второстепенная фигура. Задача автора состояла в том, чтобы рассказать современному читателю о еврейском присутствии в русском культурном мире тех лет, подчеркнуть возникший тогда интерес к изображению евреев в литературных произведениях. Автор обращает особое внимание на тот факт, что, в отличие от своих сотоварищей-писателей «натуральной школы», Бунин в своей прозе явно игнорирует еврея «как знаковую фигуру» на просторах русской земли.

Во второй главе Уральский использует в качестве документальных артефактов воспоминания людей, знавших писателя, и, что особенно интересно, его прижизненные портреты, созданные разными художниками. Таким образом ему удастся очень живо и образно описать рецепцию современниками личности Бунина. Хотя в повествовательной части этой главы Бунин уже находится в центре пристального внимания автора, заявленная в названии книги тема «Бунин и евреи» выходит на первый план только в третьей главе. Она полностью посвящена «еврейским друзьям и покровите-

лям Бунина», и в каждом ее подразделе описываются отношения между Буниным и конкретным лицом из его еврейского окружения. Некоторые из этих людей – знаменитый в эмиграции писатель Марк Алданов, многолетний друг Бунина, или же редактор нью-йоркской газеты «Новое русское слово» Андрей Седых – хорошо известны историкам литературы. Имена других – таких, например, как Леонард Розенталь, разбогатевший в период между двумя мировыми войнами торговец жемчугом (его дочь Рэйчел Розенталь прославилась в США как художник-акционист), или же промышленник Фрэнк Атран, крупный еврейский филантроп и общественный деятель, – знакомы очень немногим. Однако эти люди, будучи в первую очередь еврейскими общественниками, оказывали при всём том в разные годы существенную материальную поддержку Бунину и другим русским писателям-эмигрантам. В этой главе представляют также интерес редкие биографические подробности о жизни некоторых еврейских друзей Бунина, оставивших по себе память в жизни русской эмиграции. Например, как дополнение к истории дружеских отношений Бунина с Ильей Марковичем Троцким, читатель познакомится с разносторонней деятельностью этого «ходатая за интересы русских писателей в изгнании» (С. 129) и плодовитого разностороннего журналиста, публиковавшего свои репортажи, очерки и воспоминания на идиш, немецком и русском языках. Отдельной темой здесь является прояснение той исключительно важной роли, которую сыграли Илья Троцкий, Марк Алданов и некоторые другие еврейские друзья Бунина в его многолетней нобелиане, закончившейся обретением писателем в 1933 году Нобелевской премии по литературе. Данный раздел особенно интересен для тех читателей, которые мало осведомлены о политических коллизиях и интригах, игравших столь важную роль в кампании по присуждению Нобелевской премии Бунину.

Самая короткая глава – четвертая, она посвящена «бунинской кровле», служившей убежищем для его друзей-евреев во время Второй мировой войны. В ней рассказывается о пианисте-эмигранте Александре Либермане и его жене Стефе, которые были приглашены Буниным к себе домой, когда в 1942 году над ними нависла угроза ареста и депортации. Подробно проясняется положение, на котором под бунинской кровлей с 1940 года и до освобождения Франции в 1944-м проживал Александр Бахрах. Этого литератора, достаточно известного в эмиграции, все считали евреем, коим он и являлся по рождению. То обстоятельство, что его отец в свое время перешел из иудаизма в лютеранство (как и позднейший переход самого Бахраха в православие), в глазах нацистов не освобождало его от преследований.

Последняя глава, по объему равная почти половине книги, представляет собой хронику, составленную из переписки Бунина и его жены с разными людьми, начиная с 1920 года. Основными корреспондентами писателя здесь являются супруги Марк и Татьяна Алдановы, однако в должной мере представлены письма и других хороших знакомых Бунина, в числе

которых Илья Троцкий, Марк Вайнбаум (издатель газеты «Новое русское слово»), Михаил Цетлин, основавший вместе с Марком Алдановым нью-йоркский «Новый Журнал», и его жена, известный в эмиграции общественный деятель и благотворитель Марья Самойловна Цетлина. Большая часть документального материала была опубликована ранее, в том числе и самим Уральским, но здесь он выбирает ключевые фрагменты из писем и дает объединяющий их комментарий. Это позволяет ему сформировать у читателя детальное и яркое представление о повседневной жизни Бунина в эмиграции. Автор уделяет внимание и отношениям Буниных с другими писателями-эмигрантами, обрисовывает его трудную жизнь во время и после войны, когда нобелевский лауреат по литературе, страдая от болезней и хронического безденежья, вынужден был уповать на дружескую помощь и доброхотство благодетелей.

Судя по библиографическому указателю книги «Бунин и евреи», Марку Уральскому не было известно, что американский профессор Томас Марулло в конце 1990-х – начале 2000-х гг. опубликовал три тома исследований об Иване Бунине с подзаголовками, которые аналогичны данной книге: «Иван Бунин: русский реквием, 1885–1920: портрет из писем, дневников и художественной литературы»; «Иван Бунин: с другого берега, 1920–1933: портрет из писем, дневников и художественной литературы»; «Иван Бунин: Сумерки эмигрантской России, 1934–1953 гг.: Портрет из писем, дневников и мемуаров»*. По своему характеру методология, использованная Томасом Марулло, похожа на построение текста в главе 5-й книги «Бунин и евреи»: выдержки из различных произведений используются для создания портрета писателя и его жизни. Хотя книга Марулло написана по-английски, он часто цитирует те же фрагменты, что и русский автор. Вместе с тем, книги Марулло и Уральского не повторяют, а напротив, в значительной степени дополняют друг друга. Марулло больше фокусируется на литературной карьере Бунина, дает детальный обзор его художественных интересов и проблем. В целом его книги представляют собой первоклассное научное исследование, являющееся, на наш взгляд, самым подробным изложением биографии Бунина на английском языке. В отличие от работы Марулло, книга Уральского посвящена одному лишь, причем довольно специфическому аспекту биографии Бунина, а потому внимание в ней концентрируется на более узкой выборке персонажей и событий. Главный акцент делается на подробном описании характера отношений Бунина с отдельными лицами. Например, в главе 5-й приводятся обширные выдержки из его переписки с Марком Алдановым, свидетельствующие о высоком уровне интимной дружеской близости между этими писателями и той исключительной заботе, которую за все годы знакомства оказывал Алданов по отношению к своему старшему другу. Кроме того, скрупулезно изучая контакты Бунина с видными литераторами еврейского происхождения, Марк

Уральский представляет читателю фигуры значительных в историческом плане деятелей эмиграции, обойденные вниманием в исследованиях профессора Марулло, в первую очередь – вышеупомянутых Илью Троцкого и Марка Вайнбаума.

Как и книга о Бунине, «Горький и евреи» состоит из нескольких глав, каждая из которых посвящена отдельной теме, зачастую лишь косвенно связанной с концептом, заявленным в названии книги. Например, введение «Горький вчера и сегодня», состоящее из почти 70 (!) страниц, представляет собой биографический очерк, в котором особое внимание уделяется деятельности Горького после большевистского переворота. И только в последней трети вступления автор переходит к темам, освещающим положение евреев в Российской империи начала XX в. и борьбу Горького с антисемитизмом. В первой главе «Человек идеи: Горький как русский мыслитель» высказывания Горького об иудаизме рассматриваются в контексте всех его мировоззренческих представлений, в первую очередь интереса к религиозной, по сути своей, концепции «богостроительства». Отдельно обсуждаются также и другие философские учения, оказавшие влияние на мировоззрение Горького. При этом наибольшее внимание уделяется Ницше и, в частности, его многочисленным высказываниям о евреях. Отмечая, что в высказываниях Ницше и Горького можно обнаружить немало родственных интонаций, Уральский при этом подчеркивает наличие у этих мыслителей принципиально важных расхождений в отношении к иудаизму и еврейству в целом.

Во второй главе, посвященной многолетнему сотрудничеству и товарищескому общению Горького с видными большевиками, основная тема книги затрагивается лишь эпизодически. Хотя главными фигурами в этой главе являются Ленин, Сталин и Л. Троцкий, отношения Горького с Каменевым и Зиновьевым также уделено должное внимание. Нельзя не отметить, что из всех этих большевистских вождей Русской революции только Троцкий и Зиновьев были по рождению евреями (Каменев родился в православной семье, его отец был крещеным евреем). Большевистские вожди являлись декларативными атеистами; религиозными вопросами, включая иудаизм, не интересовались, а к сионизму относились враждебно. В общем же все тематические линии второй главы, так или иначе, репрезентируют общественно-политический имидж Горького, который из всех русских писателей имел, пожалуй, самые тесные, хотя – в силу серьезных мировоззренческих расхождений с ортодоксальными большевиками, в том числе и по «еврейскому вопросу», – временами и проблемные отношения с архитекторами Революции.

Автор, как и в книге о Бунине, переходит непосредственно к рассмотрению конкретных отношений между Горьким и евреями только в третьей главе – «Горький и еврейская литературная волна в России начала XX века». Определение Уральским еврейского присутствия в русской литературе

Серебряного века как некоей «волны» может кому-то показаться преувеличением: удельный вес еврейских писателей и еврейской тематики в огромном потоке публикаций того времени не так уж и значителен. Тем не менее, автор вполне оправданно использует столь «значимое» определение, поскольку в предшествующем XIX веке евреи практически не фигурировали в русской литературе, не говоря уже о том, что их образы в русской беллетристике, в основном, подавались в уничижительной коннотации. И только в начале XX столетия на российскую культурную сцену выходят русско-еврейские литераторы, на прилавках книжных магазинов появляются переводы книг еврейских идишевских писателей, а в произведениях популярных русских писателей – положительные образы евреев. Сам Горький был хорошо знаком с такими ведущими литераторами, писавшими на идиш, как Шолом Аш и Шолом-Алейхем. Три тома сочинений Шолома Аша в переводах на русский язык были опубликованы в его издательстве «Знание». Горький столь высоко ценил творчество великого еврейского поэта Хаима Нахмана Бялика, писавшего на иврите, что даже опубликовал восторженную статью о нем и его лирике. Описывая отношения Горького с Семеном Юшкевичем и Владимиром Жаботинским, Уральский подчеркивает важность дружеской поддержки, которую всемирно известный русский писатель неизменно оказывал этим русско-еврейским литераторам.

Четвертая глава книги «Горький и евреи» – самая длинная, около 160 страниц. Автор приводит в ней цитаты из переписки и воспоминаний знакомых Горького, чтобы завершить картину, иллюстрирующую его причастность к разрешению различного рода вопросов, касавшихся еврейской проблематики в СССР и судеб отдельных евреев-интеллектуалов, не разделявших коммунистических идей. Несколько разделов этой главы содержат историю его отношений с такими знаменитостями, как, например, художник Исаак Бродский или же адвокат Оскар Грузенберг. Другие разделы посвящены ключевым моментам жизни Горького, например, его поездке в США, где он произнес речь о «еврейском вопросе» в России, которая затем была опубликована в виде статьи с названием «О евреях».

Книга «Горький и евреи» является, в некотором отношении, «сборником»: в ней автор собирает разрозненные материалы и широко использует более ранние тексты, в которых рассматриваются различные аспекты заявляемой им темы. Например, более трех десятилетий назад Михаил Агурский и Маргарита Шкловская составили сборник «Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос» (Иерусалим, 1986), в котором содержатся статьи Горького о евреях, часть его переписки и мемуары о Горьком, имеющие отношение к этой теме. Марк Уральский, несомненно, опирается на этот труд. Он цитирует (с точным указанием источника) многие из приводимых в сборнике документов, а также выдержки из них, сопровождая эти подборки своими комментариями. Таким образом он не только встраивает

эти и сопутствующие им материалы из других источников в свою тему, но популяризирует их, делает их доступными для самой широкой аудитории.

Книга «Горький и евреи» включает в себя также обширную библиографию и список имен. Последний является скорее глоссарием, чем индексом: он не содержит номеров страниц, на которых появляется конкретное имя, однако предоставляет даты рождения и смерти и короткую информацию о каждом человеке. Можно, конечно, сожалеть об отсутствии привязок к номерам страниц в именном указателе, но, вместе с тем, информация о персоналиях является очень важной, т. к. имена многих людей, упомянутых в книге, не известны широкому читателю. На 47 страницах этого индекса замечено несколько незначительных ошибок. Например, первое слово, которое использовалось для описания Муры Будберг, – «дипломат», хотя она была лишь замужем (в первом браке) за дипломатом и, участвуя в различных интригах, не имела при этом дипломатического статуса. Александр Солженицын жил в Соединенных Штатах с 1976 по 1994 год, а не в 1972–1993 гг. В книге «Бунин и евреи» информация о людях, упомянутых в тексте, разбросана по сноскам, что гораздо менее удобно; также в ней отсутствует библиография.

Эти наблюдения наводят на мысль об отсутствии технической редактуре и спешке при подготовке обеих книг к печати. Этим же, очевидно, обусловлены недочеты в композиционной структуре книг и наличие в их текстах значительного числа мелких ошибок и опечаток. Неформальный, во многом журналистский, стиль, который выводит книги Уральского из разряда научной литературы в область документальной прозы, подчас является причиной слишком свободной организации текста, изобилию в нем отступлений. В результате смысловой фокус отдельных глав в ряде случаев становится расплывчатым. Кроме того, в обеих книгах отсутствуют разделы «Заключение», которые суммировали бы наиболее важные концептуальные моменты представленных читателю материалов. Среди недостатков книги «Бунин и евреи» нельзя не отметить, что в цитатах иногда отсутствуют промежуточные абзацы, которые есть в оригиналах. Хотя это, в целом, и мелочь, отсутствие подобных пробелов может мешать читателю уловить смысловые сдвиги в контексте темы. В обеих книгах встречаются случайные повторения. Так, в книге «Бунин и евреи» большая часть цитаты из письма Алданова на с. 172 вновь появляется на с. 175; в книге «Горький и евреи» на с. 197 Екатерина Желябужская именует квартиру Горького в Петрограде как «Центржалоба», это же выражение повторяется затем на с. 205 (за исключением того, что там пишется «Центрожалоба»); на с. 147 имеется длинная цитата из сборника Агурского–Шкловской, описывающая нападки критика Виктора Буренина на Горького, и она же затем полностью повторяется на с. 289. Ко всему прочему, книга «Горький и евреи» содержит удивительно большое количество опечаток: «сновные» вместо «основные» (С. 20), «Томас Манна» вместо «Томас Манн» (С. 113), «В свое следующей» вместо «В своей

следующей» (С. 270), «обстоятельства его поездки в Горького США» вместо «обстоятельства его поездки в США» (С. 360) и т. п. В цитатах также встречаются ошибки, например, на с. 449 повторяется предложение, начинающееся «Благодарю Вас наперед...», а на с. 479 цитата со сс. 304-305 из книги Агурского–Шкловской: «Борьба, которая ведется против гебраизма, против еврейских школ и, главным образом, против лучшего театра, который существует в России, – против ‘Габимы’» по форме воспроизведена неточно.

Однако все отмеченные недостатки и огрехи нисколько не умаляют научно-просветительской значимости книг Марка Уральского. Отметим еще раз, что в книге «Бунин и евреи» он первым раскрыл на достойном научном уровне тему, которую, несмотря на ее значимость для буниноведения, биографы писателя ранее обходили стороной. На основании введенных им в научный оборот документальных материалов Уральский убедительно показал, что наличие у Бунина дружеского еврейского окружения способствовало, даже в тяжелейших условиях изгнаничества, блестящему упрочению его литературной славы и во многом облегчило тяготы повседневной жизни писателя. Что же касается Горького, то здесь для полноценного раскрытия темы его отношений с евреями Марку Уральскому удалось собрать и литературно обработать огромное количество разбросанных по всему миру и зачастую малодоступных документальных материалов. На их основе он выявил очень важные с точки зрения полноценного раскрытия личности Горького-мыслителя факты. В его представлении Горький был не просто сочувствующим евреям русским человеком, а проеврейски ориентированным мыслителем. Как никто другой из русских писателей, он проявлял живой интерес к еврейскому вероучению и еврейской культуре, защищал неудобных советской власти еврейских националистов и религиозных деятелей от репрессий. В заключении отметим, что читатели, интересующиеся биографиями Бунина и Горького, а также русско-еврейскими отношениями в XX веке, найдут много для себя нового и интересного в рассмотренных нами книгах Марка Уральского.

* *Marullo T.* Ivan Bunin: Russian Requiem, 1885–1920: A Portrait from Letters, Diaries and Fiction; Ivan Bunin: From the Other Shore, 1920–1933: A Portrait from Letters, Diaries and Fiction.; Ivan Bunin: The Twilight of Emigré Russia, 1934–1953: A Portrait from Letters, Diaries and Memoirs. – Chicago: Ivan R. Dee Ed., 1993, 1995 and 2002.

проф. Барри П. Шерр, Дартмутский колледж, Гановер

Григорий Марк. Четыре времени ветра. Сборник поэзии. – АСТ, 2020.

Григорий Марк пишет давно; несколько поэтических и прозаических книг вышло за почти двадцать пять лет. По ним нетрудно составить общее

впечатление о своеобразии и силе его дарования. И все-таки появление сборника «Четыре времени ветра» многое проясняет в его творчестве и на многое заставляет посмотреть иначе. Целостность имеет свои неоспоримые преимущества. Я бы сказала так: в этом сборнике обнаружилось главное свойство поэзии Марка – стремление населить внешний мир миром внутренним, полная свобода всех языковых средств – для того, чтобы предметы человеческой жизни, равно как и сами люди, а также природа, их взрастившая и окружающая, оторвались от своей осязаемой и всем понятной действительности. Отрыв осуществляется болезненно, изредка проступает кровь.

Слова мои – эски колонной по трое –
шагают по мертвой земле на работу.
А сбоку и сзади, как вохра, конвоем
казенные рифмы в тулупах добротных.

По сгорбленным спинам гуляют приклады:
«Шаг в сторону будет считаться побегом!»
Вдоль вышек с охраной, засыпанных снегом,
идут оцепленные в строфы отряды.

Когда Григорий Марк делает попытку разложить мир на разумно действующие силы, он сталкивается с одной, но напрочь лишенной разума субстанцией, а именно: с человеком. И поскольку он далек от того, чтобы судить или выносить какие бы то ни было приговоры другим, он пристально всматривается в себя самого, безжалостно вылепливая черты и черточки лирического героя:

Я вышел из себя – и не могу
вернуться. А снаружи неприятно.
Чужие лица. Каждый смотрит в оба.
и громко мысль кудачтает в мозгу,
что нет меня. Но есть – вот эти пятна.

При всём изощренном подчас умении декорировать слово, разложить его на составные части, обыграть его фонетическое звучание, работа Григория Марка не содержит в себе ничего искусственного. Его поэзия – это самое что ни на есть органическое строение, свободная игра сил и тяжестей, дремучий лес, который то затихает до шопота, то вдруг начинает аукаться каждым птичьим голосом, и шорохом листьев, и скрипом корней.

Массивные женщины с маленькими головами,
похожие на динозавров, сквозь солнечный блеск
спускаются к речке. Земля чуть дрожит под ногами

Сочится зеленою влагою девственный лес.
В высокой траве их колени хвощи раздвигают,
тельца кровяные в набухших аортах поют,
вибрирует воздух, на платях цветы расцветают.

И райские птицы над ними деревья клюют.

Как оградить человека от самых ошеломительных потрясений, от вечной опасности, на которую он обречен в жизни? Как отделить свет его незатейливого человеческого счастья от тьмы потерь и боли? В сущности, Марк никогда не обращается к сиюминутному, социальному, «прямому» — тому, что нужно и понятно большинству, потому что он сам чувствует иначе, чем большинство, и поэзия его понятна немногим. Людям, привыкшим к социально-правовым, общественным плоскостям и меркам, трудно принять «на ура» поэта, для которого слово есть главное осознание собственной правоты в мире. А ведь известно, что труднее всего научить грамотных людей верно прочесть чужой текст. Прочесть его так, как это было написано автором. С этой точки зрения, Григорий Марк действительно стоит особняком. Его место в литературе нельзя назвать непрочным или незаметным — о нем много писали, его быстро заметили, — но то, что поэт всякий раз приближается к той или иной теме с неожиданной стороны и хватает ее так, как щипцами выхватывают из огня раскаленную головешку, ставит иногда в тупик привыкшего к азбучному благозвучию человека.

Разговор словно мост над бурлящим потоком.
Двое смотрят на воду, на россыпь камней,
вспоминают ушедших, и мост кособокий,
с каждым словом качаясь, скрипит всё сильней.

Лунный свет пробирается между горами,
наполняет ущелье от края до края.
Восседая в открытых гробах, проплывают
люди детства. Зияют пустыми зрачками.

Машут тем, на мосту, равнодушно, устало.
Возвращаясь во тьму, исчезают. И сразу
освещение сменилось, раздвинулись скалы.
Всё ущелье нельзя охватить уже глазом.

Это прошлое снова меняет окраску.
Черно-белая графика в свете наклонном
стала серой, чуть розовой. Детская сказка
там, где были параграфы четких законов...

Григорию Марку назвать вещь заново – значит опознать ее, прошупать до самой глубины, но это своеобразное, вторичное, то есть собственным словом производимое, «крещение» не имеет ничего общего с декадентской, как и с графоманской игрой, хорошо известной нам еще со времен Крученых. Вот прекрасный пример того, как он пишет о молитве. Никогда – прямо, ибо это может прозвучать пафосно, но так, что перед глазами умного читателя немедленно возникает чистый свет храма, где совершается таинство и слышатся звуки чудесного хора:

Двусторчатый домик Хореев
раскроет дощатые двери,
и выпорхнет птица колибри,
как стих с перебитым крылом.
В сияющем клюве эпитафия
повиснетверху над листом,
усыпанном густо значками.
И если всмотреться, то в нем
услышишь, как звук возникает –
как старческими голосами
друг друга касаясь едва,
нестройно псалмы распевают
и молятся Слову слова.

Новый сборник «Четыре времени ветра» ждет того, о ком с благодарной надеждой писал Баратынский, называя неведомого ему ценителя своим «читателем в потомстве»: «И как нашел я друга в поколеньи, / читателя найду в потомстве я». Хочется надеяться, что это случится скоро.

Ирина Муравьева

Лиля Газизова. О летчиках Первой мировой и неконтролируемой нежности. – Нью-Йорк: Библиотека журнала «Интерпоэзия». 2019.

Мы познакомились на вечере журнала «Интерпоэзия», одним из редакторов которого она стала. Лиля Газизова представляла поэтов, напечатанных в новом номере, и читала сама. Стихи, прочитанные обычным голосом, тихо, без всякого «сильного эго», на слух показались мне чем-то «скромненьким синим». Синее запомнилось как цвет, часто встречающийся в ее стихах: «О чем она думала, / Когда бежала в синем платье...»

Траектория ее образования и профессиональных занятий начинается в Казанском медицинском институте, работой детским врачом... – «Мне было восемнадцать. / По ночам / я подрабатывала медсестрой... У мамы была

болезнь крови... Я научилась подвязывать бинтом / подбородок умершим...» Впоследствии Лиля отказалась от карьеры врача, поступила в Литературный институт, затем в аспирантуру Института мировой литературы в Москве. Где-то между этим она успела поучиться философии в аспирантуре в Казани.

Разговаривая тогда, в Нью-Йорке, мы пришли с Лилей к одной остро-болезненной, личной теме. Узнав, что я в прошлом – жена алкоголика, Лиля предложила прислать эссе о ее собственном алкоголизме. На русском языке этот жанр возник не так давно, на английском подобных нарративов существует астрономическое количество, как медицинских, целительных, так и личных. Лиля опубликовала свое эссе он-лайн, что было жестом смелым и, наверное, для нее самой необходимым.

По некоторым строчкам стихов можно понять, что в жизни ее было много потерь. Расставание с собственным имиджем как веселой и бесшабашной, которая «по-прежнему / На предельной громкости...» слушает музыку в машине; узнавание себя другой, научившейся без глушения выносить эмоциональную боль, принимающей трезвое состояние жизни как новую экзистенциальную возможность, – всё это присутствует в ее стихах. Стихи написаны, как короткие фрагменты наблюдения за собой, за процессом тревоги, внутренней и скрытой, от которой невозможно избавиться.

Название последней книги Лили Газизовой «О летчиках Первой Мировой и неконтролируемой нежности» напомнило мне фразу Шкловского: «Не взлетевшие самолеты мечты. Сколько их было придумано». Мне хотелось понять, можно ли сказать что-то путное о «поэзии вообще», о поэзии, не занятой гендерными проблемами или конфликтами меньшинств и не вписанной в концепт деконструкции культурных мифов, социального абсурда и его апроприации (как это было у московских концептуалистов и соцартников). Подзаголовок книги «О неконтролируемой нежности» говорит о попытках более осмысленного регулирования бытия, изменение в восприятии себя.

НАСТРОЕНИЕ

Стать стрелкой на часах
Казанского Кремля.
Клавишей delete
Мирового компьютера.
Западающей си-бемоль,
Утренним бесцветным мраком,
Всеми собаками мира.
Очками Exte на родной переносице,
Безвольным сердечным клапаном –
Чем угодно,
Только не Лилей Газизовой.

Это написано свободным стихом, каковых большинство в последних книгах Лили. Ее предыдущая книга называется «Верлибры» (Татарское книжное издательство, Казань, 2016). В ней, судя по предисловию, написанному Александром Переверзиным, Газизова покинула пределы рифмованной поэзии. Название заявляет об этом и выглядит вызовом. На русском языке свободный стих и верлибр – это понятия взаимозаменяемые, тогда как на языке оригинала *vers libre* предполагает строгую специфику формы. К счастью, больше не нужно ничего доказывать старшим товарищам-шестидесятиникам, считавшим, что писать не рифмуя легче. Как раз рифмой легче задекорировать, задрапировать, закамуфлировать или утешить, добавив пафосного звучания к идеологически верному содержанию, политическому или патриархальному. В свободном стихосложении это сделать намного сложнее, поскольку в нем всё наружу.

В стихах Лили Газизовой много атмосферных происшествий, дождя, снега, ветра, воздуха; автор ощущает на себе их влияние, будь то «утренний бесцветный мрак», «туман кисейный» или «российские сумерки». Это создает взаимоотношения с читателем, ощущающим пространство стиха тактильно. В ее стихах много движения и остановок во времени, приближений и отдалений, как бы крупный план и отводящий взгляд, перемещение из того материала, что внутри автора, – во вне.

...Теперь Лиля живет в Турции, преподает в университете Эрджиес. Город Кайсери, где она живет, не столь популярный в травелогах туристов и малоизвестен, но он находится как бы внутри очертаний знакомой истории. Кто только здесь ни проезжал, ни доплывал из России в Турцию в первой волне эмиграции, чтобы, дождавшись визы, устремиться в Европу, где легче не становилось, но обстановка менялась на более знакомую. Был среди них и Илья Зданевич, ожидавший визы во Францию. В это время он начал писать заумь с грузинским акцентом, что понятно только тем, кто об этом акценте знает с детства из поездок на Черное море или из этнических анекдотов. Эта отмычка к его текстам не может прийти в голову французским или американским славистам и их не убеждает. Дистанцирование от родной культуры превращается в расстояние, с которого лучше видится, – это нормальный опыт эмигрантов. Выбор Турции как места жизни интересен тем, что прецедент такой миграции в русском культурном контексте не вдруг отыщется и, кажется, еще мало описан. Здесь находились проездом – не для того, чтобы остаться. Это «челноки» 80–90-х годов и русские женщины, попавшие в Турцию после распада Союза, которых нужно было спасать, о чем, например, написан роман кубинского писателя Хозе Мануэль Прието «Ночные бабочки Русской империи».

Расстояние от Казани, где Лиля Газизова родилась в семье профессора истории, должно быть, ею сейчас ощутимо. Казань – город другой географии и истории, номинальной автономии не слишком в советское время

популярного татарского меньшинства. В постсоветское время Татарстан начал переоткрывать свою историю, и его столица Казань нашла себя в ситуации этнической мультикультуры. Мы не обговаривали с Лилей, что значит для нее ее татарское происхождение. Тема эта трудная из-за травм, личных и коллективных, которые были нанесены нескольким поколениям татар. Пока что личные нарративы на татарском только начали складываться и надо ждать их количественного накопления в публичном пространстве, чтобы понять сложности этой идентификации.

Лиля пишет на двух языках. Мне важно это знать из-за конфликтного и конкурирующего дискурса двуязычия, происходящего в Татарстане. Это когда-то Казанское царство на середине Шелкового пути из Китая озвучивалось гулом множества войн, племен и языков. Возможно, я Лиле завидую, поскольку хоть и пишу на двух языках, на родном и благоприобретенном, при этом ни одного из двух своих возможных этнических языков не знаю. Чувство истории в Казани многослойно и интенсивно. Лиля не пропускает случая заметить в стихах, как «В эфире сумеречном стынет / Протяжно-сложная / Песнь муэдзина».

Пытаюсь понять, есть ли среди известных мне поэтов – шестидесятников и семидесятников – профессорские дети, и почему я о таких не знаю. Цветаева писала, что их сблизило с Белым то, что они оба были профессорские дети (Котики Летаевы наши). Без биографии и психологии говорить об авторе невозможно, чем он/а и отличается от читателя, безликого «некто», как довольно-таки свысока определил Ролан Барт, заодно демократически покончив и с самим «автором». Это можно понять, как сопротивление ситуации позднего модернизма, хотя и объявившем романтизм «трупом», но сохранявшем этот труп живым довольно долго, как памятник великому автору, герою и культурному символу нации, будь то авангардист или кто еще.

Далее думаю о псевдониме Ахматовой, гречанки по материнской линии. Псевдоним произошел от имени хана Ахмата, памятную доску о котором я видела около Рязанского кремля. Также вспоминаю, что Белла Ахатовна Ахмадулина, кажется, нигде словом не обмолвилась о своем татарском происхождении, культивируя романтическую, похожую на бутафорскую фигуру предка, итальянского шарманщика, якобы забредшего в Россию в поисках заработка. Похоже, мы находимся в состоянии нового «промежутка», описанного Тыняновым. Он сопротивлялся традиции литературной истории как «истории генералов». Героические нарративы закончились и движущая их сила инерции кончилась. Постсоветское пространство состоит скорее из литератур «маленьких», как говорил Кафка, и авторов не самых великих. Саморефлексия, самолечение, самотерапия частного человека как источник творчества в героический сценарий не вписывается, хотя он был всегда изначальным. Мы заговорили тише, играем в поэзию концептуально и редуцируем иерархию поэзии (этой, по мысли Марины Цветаевой, «высшей

формы языка», ставшей незакавыченной идеологией Иосифа Бродского). Мы даже коллективно перестаем сопротивляться и склоняемся к тому, что поэзия, как всякое искусство, есть терапевтическое развлечение.

Мне кажется, что Лиля Газизова позиционирует себя в этом «промежутке». Вот она читает в пелеринке и в перчатках – эти знаки прекрасной эпохи в сочетании с рыжими волосами Годивы могли бы быть седуктивны. Они могли бы казаться продуманным имиджем, если бы составные его не вызвали ощущение защитных реакций. Содержание ее стихов состоит в том, что она видит, когда она одна, в отношениях с собой или в попытках и невозможностях отношений с другим человеком, в сближениях и расставаниях, в излечении и его эфемерности, в отдельно от нее взрослеющих детях, в узнавании себя новой и другой. Это стихи адекватны автору, мимолетным процессам ее внутренней жизни. Обе ее книги передают интимное ощущение жизни, недоговоренность мысли, незаконченность выражения; несвязки, спонтанные наблюдения и замечания во время остановок движения как будто бессюжетного фильма. И опять – о сумерках: «...Я заметила, российские сумерки / Самые безысходные, / Но и они когда-нибудь / Заканчиваются».

Марина Тёмкина

Марина Тёмкина. Ненаглядные пособия / Серия «Новая поэзия». – М.: НЛО. 2019. – 224 с.

У новой книги Марины Тёмкиной есть черта, чаще присущая философским, а не поэтическим трудам: это книга не правильных ответов и, тем более, не готовых рецептов, а правильно поставленных вопросов, выражаясь точнее – осмысленных и художественно оформленных попыток их задать: кто я? что делает нас – нами? как формирует человека прошлое и настоящее? что значит быть евреем/русским/европейцем/американцем? что такое родина и любовь к ней? И – не в последнюю очередь: «что есть человек, рожденный женщиной?»...

...скажи мне, детей любить
у кого нам учиться примеру, объясни, если можешь,
как играть с детьми, как давать им себя побеждать,
да и просто, как обнимать их, пока время есть
и пока они не превратились во взрослых.

Есть в книге и прямые вопросы и риторические, ироничные и как бы подчеркивающие человеческую страсть к вопрошанию (например, в стихотворениях «Рембо» или «Категория лифчика»)...

Первый же читательский вопрос возникает при прочтении названия книги: «ненаглядные пособия» –

не наглядные, то есть скрытые, потайные (а предваряющий эпиграф из Пригова – «книга как способ нечитания» – подталкивает именно к *негации*)? Или все-таки «ненаглядные» – от которых глаз не отвести? По мере чтения, понимаешь, что – и те, и другие.

«Другая» речь в книге Тёмкиной отличается от «родной» так же, как суша отличается от воды: первая относительно неподвижна (посему – нередко закавычена, обособлена), вторая, напротив, – динамична, текуча, всеобъемлюща. Чужая речь, устная ли, письменная, – это берег, от которого необходимо оттолкнуться, чтобы потекла твоя собственная, способная начаться с любого места – в разговоре, в читаемой книге, в непрерывном внутреннем монологе. Речь собственная наводняет, переполняет, захлебывает: «между речью родной и другой просочилась какая-то хлябь». Слова, звуки и смыслы насканивают друг на друга, подгоняют, торопятся, взаимосообщаются или переходят одно в другое, подобно тому, как вода при определенной температуре переходит в иное состояние. Отдельные поэтические тексты Тёмкиной напоминают своеобразный словарь синонимов/антонимов или же постоянно пополняющееся собрание ассоциаций, будто поэт находится в непрерывном поиске единственно верного слова, которое, неизбежно, – даже не ускользает, а проходит сквозь свернутые кувшинками ладони, ибо речь – не нить Ариаднина (по Цветаевой), а именно живая вода: вода не как «волны качанье, убаюки», а скорее, как музыка, как протяжная нота «ми», звучащая из-под груди упавшего на клавиатуру мертвого органиста (цикл «Маленькие трагедии»). Множественность и сложносоставность всего и вся подталкивает к поиску идентичности и описывающих ее эпитетов – качественных, относительных, притяжательных: «Много страхов съезжилось в моем теле: / новорожденный, ленинградский, еврейский, / детский, женский, что залечиваю, блокадный, / подростковый, тоталитарный, эмигрантский...»; «Теперь запросто / отвечаю, что я поэт политический, постсоветский, / эмигрантский, русско-еврейский, феминистский, / испытывавший влияния футуризма, афроамериканской поэзии / и Нью-Йоркской конкретной школы 60-х»; «Любовь бесконечная, неземная, божественная, роковая. / Братская, сыновняя, смертельная любовь. Армейская, / нераспознанная, неразделенная, детская, подростковая / любовь, чтобы вырасти, стать взрослым»... В стихотворениях Тёмкиной, в этих, согласно авторскому определению, «шифровках / из мешанины слов исторических с опасностью времени», всё намеренно смешано – свое и чужое, частное и общечеловеческое, насущное и историческое, действительное и вымышленное, детское и взрослое, житейское и книжное/художественное: «Детство Люверс / мое-твое и модернизма не отличается ничем, / его всё те же составные, пальто навыворот, платье в гости, / перебирание нотной гречки». Из этого водоворота поэт, подобно берущему из общего резервуара дозированные пробы исследователю, извлекает то «русскую революцию в семейных масштабах»,

то «мамины страхи, страхи войны, / бедности, старости, умиранья», унаследованные как от собственного, так и от чужого детства («Девять речитативов для женского голоса»), и одновременно, хоть и, по-видимому, не всегда осознанно, от знаменитой «Стены» Пинк Флойда: *«Mother's gonna put all her fears into you...»*. Подчас вода (речь/жизнь) плотна и тягуча, вроде пластилина, поскольку сохраняет отпечатки пальцев некогда черпавших ее, лики тех, чьи лица она омывала, тела однажды силившихся по ней плыть или следы тех, кто когда-то пытался по ней идти; а подчас она щедра и плодородна: то выплеснет к ногам мандельштамовскую (а если быть точным, целановскую, приговскую) бутылку с посланием, то «ящик писем с речью семидесятых / на берег вынесет». У воды (речи/жизни) нет одного определенного истока: так подземный ключ сопряжен с дождем, так на жизненном или историческом отрезке каждой исходной точке предшествует другая, более ранняя, так: «Детство началось с войны. / Война началась с оккупации, пропажи необходимого, / введения карточек», – и так далее, к началу начал. Закономерно фамильная история предстает историей эпохи в миниатюре, фотографии из семейного архива – историческими документами, «роман о Первой мировой» – описанием жизни деда («Сегодня: 26 мая, 2018»), а мысль о ГУЛаге приводит к рассказу о «бабушке моих друзей» («Когда я думаю о ГУЛаге...»). В этом контексте примечательны, например, несколько смысловых и хронологических цепочек в стихотворении «Рассказ Мишеля: 12 декабря, 2007», в котором говорится о болезненной одержимости человечества образом смерти – от греков до Бёклина, автора шести вариантов «Острова мертвых»: стихотворение, построенное по принципу зеркальной галереи, вмещает в себя и русскую революцию, и Вторую мировую, и приближенный во времени Берлин, и вовсе сиюминутное, суженное до ручного, сугубо частного пространства, помеченного, как многие другие стихотворения Тёмкиной, дневниковой датой (другой пример – стихотворение «Café Reggio: 28 января, 1999», датированное 1996–1999-м, в котором даты и место выдают неназванного адресата). *Частное* зеркально отражается в *общем*, а война – в мире, как, к примеру, в стихотворении-письме о войне в Хорватии, – точнее, о странным образом совпадающей цветовой гамме разрушения и созидания:

Вдали агония выглядела огромным облаком в виде
атомного гриба светло-красного цвета. Карловац и Шварча
горели желтым цветом. Пушки стреляли светло-голубым.

.....
В субботу после обеда, сразу по окончании рева
всевозможнейших видов артиллерийского оружия,
продолжавшегося много дней подряд, я вышла в сад
и набрала георгинов. Сегодня подрезала розы.

И, конечно, сразу вспомнила твою тоску по цветам.
 Сообщаю тебе, что для весенней пересадки
 У меня есть следующие виды:
 георгины (желтые и красные)
 пионы гиацинты (голубые)
 гвоздика (белая)
 маргаритки
 анютины глазки
 хризантемы.

Равно как частное у поэта неотделимо от общего, его художественный жест совпадает с духовным и, следовательно, стихотворение как событие – с гражданским поступком: «Эти двадцать пять строчек есть моя антивоенная пропаганда». Говоря начистоту, конечно же у поэзии нет целей, тем более, целей политических, и поэт нисколько не пытается приравнять «перо к штыку», а его протест (или облеченная выше в оболочку самоиронии «пропаганда») – так называемый «побочный продукт» его, поэта, вдохновенного – но не пафосного – говорения. Поэт движим переосмыслением «опыта травмы» («Этнос я лучше политики понимаю...») и, закономерно, подспудным стремлением не отказать человеку в его неоспоримом, казалось бы, праве, дарованном ему при рождении, – в праве на чувство боли (по ходу заметим, что Тёмкина по роду занятий и, несомненно, по призванию, – психотерапевт и время от времени, например, в «Обзоре рецензий на книги о браке Льва Николаевича и Софьи Андреевны», не без иронии демонстрирует уязвимость психоаналитического подхода к литературе, литературу же выхолащивающего). Не отвести взгляда от этой боли (sic! название книги), пережить *чужое как свое* («прими, прими»), вобрать его до полного разрушения водораздела – и смысл, и мотивация, и посыл.

То, что перед читателем – книга поэта с опытом «западного» бытования и мышления, становится понятно не только благодаря автопереводам с английского, на которые щедры «Ненаглядные пособия», не из-за англицизмов (вроде «плезир», «биллборд», «сэлфи», «маркетинг» или же холодноватого, заимствованного у деловой сферы человеческой деятельности слова «партнер», используемого применительно к спутнику жизни, мужу) и не из-за множества сугубо нью-йоркских реалий («Перерыв», «Выборы: 2009», «Согласование времен», «МоМА Дуомо, или Двенадцать предметов из ‘Меланхолии’ и ‘Разрушенный обелиск’» и др.), а в силу снова и снова озвучиваемой поэтом мысли о *множественной идентичности* – будь то этнической, культурной, духовной или социальной.

Моя жизнь русско-еврейского космополита в Нью-Йорке.
 Моя жизнь как матери сына, моего сына.

Моя жизнь как дочери моей матери, это всегда.
Моя жизнь как процесс отделения от матери,
от материнского языка,
его гендерных и этнических предубеждений.

Поэтому чаще и ярче, чем закономерная для жителя мегаполиса обезличенность («Я проживаю несколько жизней бессобытийных, / частным лицом, пальтом, туфлем, кошельком»), в стихотворениях Тёмкиной проступает многоликость, но не беглая, не поверхностная, а обозначаемая медленными и внимательными остановками на каждом выхваченном из урбанистического ландшафта лице. Среди этих лиц – много женских, нередко со следами отрицаний и запретов, которые, как ни парадоксально, формируют личность («Заплачка»). Здесь у стремительно исчезающих феминисток старой школы, с их установкой на фигуру сильной женщины, неизбежно возникают вопросы к феминисткам современного образца, акцентирующим женскую жертвенность и, следовательно – хоть, кажется, невольно, – женскую слабость, незащитность под шквалом воспрещающих «не»: «...не жаловаться, не говорить, / что это несправедливо, что это просто неправда». Многожды повторенное «это несправедливо» постепенно и логично приводит к самооправдательному «я не виноват/а» и, тем самым, превращает независимый субъект в подверженный воздействиям со стороны объект, косвенно освобожденный от ответственности за происходящее и, главное, лишает его силы, необходимой для живительного движения, – словами автора, «живого дыхания». Сам процесс переосмысления травматического опыта, ведущий к выказыванию и постепенному высвобождению от боли, терапевтичен – до того предела, пока не подменит жизнь, не заполнит по самое горло обидой и чувством непоправимости, не превратится в затянувшийся «синдром возвращения», и потому, как любая *статичная* терапия, неотвратимо заводит в тупик. «Лао Цзы, старичок, до конца советовал выговориться, / выразить, что хочешь, полностью, а потом замолкнуть», – кажется, не столь о стихах, сколь о проговаривании боли... Иными словами, в какой-то момент ламентация из целительного механизма превращается в разрушительный.

Вышесказанное, однако, не означает, что однажды боль непременно улетучивается, да и концептуальная метафора *душа как сосуд* представляется не более, чем упрощением; нет, боль переходит в иное состояние, поскольку тоже может располагать созидательным потенциалом, ибо: «Не разлюбишь, что любила, оно болит». Лирический субъект Тёмкиной растет и меняется с течением жизни, с течением книги, от текста к тексту, – вернее, с совершенствованием орудия (а орудие поэта – его речь), необходимого как для плотного приближения к источнику боли, так и для защиты от него. Постепенно колкие и болящие «не» материнских запретов и порицаний

(«Критиковать, не одобрять, / не поддерживать, всегда быть недовольной детьми, / раз жертвуешь собой, это естественно, и оставляет их / в вечном долгу. В чем еще могла проявиться ее сила в жизни, / власть над детьми... иначе она не умела, так ее научили / революции, войны, погромы») перерабатываются в «не» индивидуального протеста, в автономную и дерзновенную прямую речь: «‘Ни за что не вернусь, не сдамся’, – сопротивляюсь, это прямая речь».

Иногда хочется поспорить с поэтом, пишущим о ставшем родным Нью-Йорке с частыми оговорками: «как везде», «как в Питере»... Не как везде, конечно, и, тем более, не как в Питере, особенно, когда речь идет о феминизме или, к примеру, о социальном положении меньшинств, – западная реальность значительно отличается от российской, равно как американский феминизм отличается от русского. Нью-йоркский поэт уже вправе замечать детали следующего этапа, вряд ли приложимые к жизни питерцев или москвичей: «Авторы-женщины, поэты, Пушкин-Душкин-Кискин, / жизнеописания выдающихся евреев и выдающихся / геев и лесбиянов — обыкновенных в общество / еще не пускают». И дальше:

Закончилась эпоха
одной масскультуры, началась эпоха другой
масскультуры. И никакой философии.
Она в отдельном каталоге вместе с историей
и прочими гуманитарными рекламами, которые,
как полагается, отстают. Когда еще они опишут
реальность, какая есть, какой больше нет,
мы все успеем отдать концы, чтобы всё как следует
стало навсегда непонятно, как мы жили.

Однако любое наблюдение может неожиданно обернуться обобщением, а скрупулезно выведенное правило нарушиться ярким исключением.

«...А как поэты выживают
в Америке?» – С трудом, если их идеализм не станет
прагматичным. А как куда более редкие существа,
политические деятели-женщины, выживают в России?
– «С трудом, потому что приходится иметь дело
не с заботами об общем благе, а с национальным
мифом, с деньгами и с силой власти.»
Откуда у нее это
чувство индивидуальной свободы в коммунальной стране?
(«Памяти Галины Старовойтовой»)

В таких неожиданных срезах, в пластичных ракурсах медленно движущейся поисковой камеры поэта, в непредвзятости и разнообразии авторских интонаций – серьезных и ироничных, реалистичных, модернистских и фольклорных (как в «Песнях и перфомансах», например) – еще одно достоинство этой книги.

«Ненаглядные пособия» Марины Тёмкиной – это не только коллекция ассоциаций и поиск определяющих компонентов, из которых состоит как отдельно взятый человек, так и эпоха, в которой он жил или живет; это и своеобразный, мучительно собранный и бережно сохраненный дом-музей – с ударением на первом звене цепочки (см. замыкающий книгу цикл «События»). Описательность для поэта – не просто художественный инструмент, необходимый для воссоздания атмосферы, а качество памяти, которая, безусловно, не способна сберечь все имена, но сохраняет и воскрешает невидимые глазу «ненаглядные пособия», – то есть нечто большее, чем сухие факты, нечто гораздо труднее уловимое и не сохранившееся ни в одной картотеке, ни в одном государственном архиве: голоса и лица, предметы и запахи, страхи и любовь... Не в последнюю очередь – любовь.

Марина Гарбер, Лас-Вегас

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Ю. А. Сандулова (1953–2020)

6 мая в день Великомученика Георгия Победоносца скончался Юрий Аскольдович Сандулов, коллекционер, общественный деятель, исследователь истории Русского Зарубежья.

Юрий Сандулов был многолетним автором и другом «Нового Журнала». Благодаря ему были собраны и сохранены сотни частных архивов русской эмиграции первой и второй волн, восстановлены и опубликованы десятки уникальных манускриптов, в том числе по истории Русской Зарубежной Церкви; собрано и сохранено наследие художников-эмигрантов всех волн. Его энергией были установлены памятники выдающимся деятелям Церкви и культуры, подготовлено и выпущено несколько серий открыток по истории и культуре эмиграции, в их числе «Награды Белых Армий и правительств», «Художники Русского Зарубежья» и др.; собраны и изданы книги по истории Зарубежной России и РПЦЗ, среди них – «Русские места захоронений в США», «Русский некрополь в Магопаке» и др. Прекрасный фотограф, он отснял и собрал уникальную портретную галерею современной русскоязычной эмиграции в США. Его фотоколлекция легла в основу уникальной книги-альбома «Волны русской эмиграции в США», составленной «Новым Журналом».

Биография его удивительна. Бывший моряк, он затем окончил Санкт-Петербургский университет, там же – аспирантуру и докторантуру; доктор философских наук Ю. А. Сандулов преподавал в университете до отъезда в США; работал также гл. редактором изд-ва «Лань». В США Юра долгие годы, до выхода на пенсию, работал на русскоязычном телеканале RTVI.

В Нью-Йорке он основал и возглавил историко-культурное общество «Северный Крест», посвятив свою жизнь и деятельность сохранению наследия русской эмиграции в XX веке. Многотомный архив Юрия Сандулова пока размещен в Ново-Дивеевском монастыре – как основа задуманного им будущего музея истории русского рассеяния в XX веке. Юрий был полон планов. Его уход – это тяжелейшая утрата для всей русскоязычной диаспоры США. Сегодня практически не осталось людей его энтузиазма и бескорыстия, его открытости миру и готовности работать на ниве сохранения культурного наследия русской эмиграции.

Ю. А. Сандулов погребен на Русском кладбище Ново-Дивеевского монастыря в шт. Нью-Йорк. После Юрия осталась большая дружная семья – жена, дочери, множество внуков. Редакция «Нового Журнала» выражает соболезнования родным покойного. Вечная память!

Редакция «Нового Журнала»

ОБ АВТОРАХ

БАУМАН Андрей (1976, Ленинград). Поэт. Окончил философский факультет Санкт-Петербургского университета и Институт кино и телевидения. Литературный редактор издательского отдела Мариинского театра, журналов «Проект Балтия» и «Эрмитаж». Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Нева», «Дружба народов», «Урал», «Интерпоэзия», «Гвидеон», «Новый берег», и др.; были переведены на итальянский, французский и литовский языки. Автор книги стихов «Тысячелетник» (2012).

БРЫЛЕВСКАЯ Дария (1990, г. Зыряновск, Восточный Казахстан). Поэт. По образованию метеоролог. Подборка стихов опубликована в журнале «Плавучий мост» (2019).

ГАРБЕР Марина. Поэт, эссеист. Родилась в Киеве. Эмигрировала в США в 1989 году. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор пяти поэтических сборников, среди них «Между тобой и морем» (The New Review Publishing, 2008). Член редколлегии НЖ. Поэзия, проза, переводы и критические очерки публиковались в журналах «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литература», «Нева», «Стороны света», «Шо» и др. Живет в Лас-Вегасе.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг: «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ГЛУШАКОВ Павел Сергеевич (1976). Литературовед, доктор филологических наук. Специалист по истории русской литературы XX века; публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение» и других. Автор книг: «Шукшин и другие» (2018), «Мотив – структура – сюжет» (2020). Живет в Риге.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology». Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Гл. редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry. Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad. Past and Present» (США). Стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold».

Награждена Национальной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

ИГНАТОВ Дмитрий Алексеевич (1986, Ярославль). Прозаик. Специальность «инженер-педагог», занимается веб-дизайном и веб-разработками. Автор сценариев для короткометражных фильмов; участвовал в фестивалях «КиноШок» и «Метрополис». Ранее не издавался. Живет в Воронеже.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989-91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNВ. Автор десяти сборников поэзии, среди них «Нью-Йоркский букварь», за которую номинирован на премию «Московский счет».

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет в Северном университете (Архангельск), Институт Восточной Европы при Университете в Берлине (Freie Universität). Работает в качестве свободного историка-слависта в рамках научного исследования о русских ДиПи в послевоенной Баварии. живет в Германии.

КУРАС Игорь Джерри (1963, Ленинград). Поэт, прозаик, редактор поэзии ж. «Этажи» (Бостон). Автор поэтических сборников: «Камни/Обертки», «Загадка природы», «Не бойся ничего», «Ключ от небоскрёба», «Арка»; книги сказок для взрослых «Сказки Штопмана» и др. Стихотворения и проза публиковались в журналах «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый Берег», и др. С 1993 года живет в Бостоне.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Литературный критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского Фонда Культуры. Автор известных песен, посвященных русской эмиграции.

ЛИТИНСКАЯ Елена (Москва). Прозаик, поэт. Окончила филфак МГУ. Автор пяти книг стихов и прозы. Публикации в журналах и газетах «Новый мир», «День и ночь», «Зарубежные записки», «Ковчег», «Алеф», «Литературная газета», «Поэтоград» и др., а также в сборниках и альманахах. Президент Бруклинского клуба русской поэзии, заместитель гл. редактора онлайн журнала «Гостиная». Проживает в Нью-Йорке.

МАРК Григорий (Ленинград). Поэт. Автор книг стихов «Гравёр», «Среди Вещей и Голосов», «Оглядываясь Вперед», «Глаголандия», двух книг прозы. Печатался в ж. «Арион», «Время и мы», «Грани», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Континент», и др. Переводы публиковались в «Glas», «Modern Poetry In Translations» (UK), «Przekladnics» (Польша) и др. Живет в Бостоне.

МЕТЕЛЬСКИЙ Игорь (1987, Чарджоу). Поэт. Окончил факультет теоретической ядерной физики МИФИ, в 2017 г. – аспирантуру Физического института (ФИАН). Работает научным сотрудником в Центре фундаментальных и прикладных исследований (РОСАТОМ) и ФИАН. Живет в Подмоскowie.

МУРАВЬЕВА Ирина (Москва). Прозаик. Окончила филфак МГУ. Автор восьми книг прозы, одна переведена на английский и три на французский языки. Рассказ «На краю» вошел в сборник «26 лучших произведений женщин-писателей мира» (1998); роман «Веселые ребята» был номинирован в 2005 году на Букеровскую премию; роман «Любовь фрау Клейст» вошел в long-list «Большой книги» (2009). Эмигрировала в США в 1985-м, живет в Бостоне.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Екатерина (1982, Санкт-Петербург). Поэт, переводчик. Окончила филфак Санкт-Петербургского университета. Публиковалась в ж. «Новый берег» (Дания), «Интерпоэзия» (США), «Гвидеон», и др. Стихи переводились на итальянский и английский языки. Книга стихов «Неподвижные письма» (2018) переведена на итальянский язык. Переводы с итальянского: Рикардо Каналетти «Незначительное забвение», антология «Слова в это время» (Рикардо Каналетти, Сирена Дибьязе. 2019).

ТЁМКИНА Марина (1948, Ленинград). Поэт. Окончила исторический факультет Ленинградского университета. С 1978 в США. Работала как психолог и культуролог в проектах по изучению Холокоста. Автор четырех книг стихов; публиковалась в ж. «Континент», «22», «Время и мы», и др., в антологиях «У Голубой Лагуны», «Строфы века», «Освобожденный Улисс». Лауреат американской премии «National Endowment for the Arts».

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Прозаик, историк культуры. Окончил МИТХТ. Автор книг о литературно-художественном андеграунде «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», и др. С 1992 г. живет в Германии. Автор статей и книг по истории Русского Зарубежья, среди них «Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны», «Марк Алданов», и др. Публикуется в «NOVUM-Verlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др.

ФАБРИКАНТ Борис (1947, Львов). Поэт. Окончил Политехнический институт. Публикации в ж. «Эмигрантская Ли́ра», «Литературный европеец», «Этажи», «Литературный Иерусалим», «Крещатик», др.; в альманахах «Кочевье», «Роза ветров», «Культурное безбрежье», «Рукопись». Книги: «Стихотворения», «Сгоревший сад», «Крылья напрокат». Первое место в номинации интернет-конкурса «Эмигрантская Ли́ра», второе место на Всемирном фестивале «Эмигрантская Ли́ра» (2018), второе место на фестивале «Пушкин в Британии» (2018). Член СРП. С 2014 г. живет в Англии.

ШАКАРЯН Константин (2000, Москва). Поэт, переводчик. Стихи, эссе, переводы печатались в периодических изданиях «Плывущий мост», «Новая Немига литературная» (Минск), «Наш современник», «Литературная Армения» (Ереван), «Поэтоград» и др. Живет в Ереване.

ШЕРР Барри (Barry Scherr, 1945, Хартфорд, Коннектикут). Получил докторскую степень в Чикагском университете; профессор Дартмутского колледжа (Ганновер, Нью-Гэмпшир). Автор, редактор и составитель книг по русской современной литературе, среди них: *Russian Poetry: Meter, Rhythm, and Rhyme, Maksim Gorky: Selected Letters* (Edited, translated, and commentary by Andrew Barratt and Barry P. Scherr), *A Reconsideration* (Ed. by Al LaValley and Barry P. Scherr), и др.

ШИНДИН Сергей (1963, Саратов). Литературовед. Окончил Саратовский университет. Принимал участие в нескольких исследовательских проектах сектора структурной типологии Института славяноведения и балканистики РАН. В 1999 году в Амстердамском университете защитил докторскую диссертацию о творчестве О. Мандельштама. Член редколлегии академического проекта «Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта» и Совета Мандельштамовского общества. Автор статей о творчестве О. Мандельштама и его литературного окружения.

ЭСКИНА Марина Викторовна (Ленинград). Поэт, переводчик. Окончила физический факультет ЛГУ. Автор четырех сборников стихов и книги детских стихов на английском. Дипломант Санкт-Петербургского конкурса Фонда И. А. Бродского (2014). Победитель конкурса «Эмигрантская ли́ра» в трех номинациях (Льеж, 2017). Участник многих антологий и альманахов, в том числе: «Из не забывших меня. Иосифу Бродскому. In memoriam», «Царскосельская антология»; «70», к 70летию Израиля (2018). Стихи переведены на английский язык. С 1990 года живет в Бостоне.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patron: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine; Russian Nobility Association in America;

Sponsors: American-Russian Aid Association "Otrada"; Mr. S. Hollerbach; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. A. Nemirovsky;

Fellows: Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. A. Petrov; Mr. & Mrs. J. Vulfin;

Friends: Mr. & Mrs. M. Averbuch; Mr. & Mrs. G. Golovin; Mr. A. Gritsman, Ms. N. Kossman, Mr. A. Moussaïan; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2020:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

RBC Video / Bukinist: 269 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY, USA

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel; +972 55 968 24 16
на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)